

## Annotation

От чтения «Вольного горца» невозможно оторваться. Кавказ как на ладони! Россия как на ладони! Это сборник прозы и публицистики Гария Немченко. «Гвоздь» книги — повесть о Пушкине. Смысл же заголовка повести и всей книги — «Вольный горец» раскрывает эпиграф из высказываний Н. В. Гоголя о А. С. Пушкине: «В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец в полном смысле этого слова...».

\* \* \*

Гарий Немченко

Предисловие

ВОЛЬНЫЙ ГОРЕЦПУШКИН В ОТРАДНОЙ

В УРОЧНЫЙ ЧАС, В НУЖНОМ МЕСТЕ...

СЛУГА ПОКОРНЫЙ

ТАЙНА «ДРАГУНСКОГО БАТЮШКИ»

СОН ПЕГАСА В БОГАТОМ «СТОЙЛЕ»

«АУЛ ПУШКИНА»

ЦЕЛЕБНЫЙ ПОСОХ

ВОЖДЬ ПЛЯШУЩИЙ ОГОНЬ, ПОТОМОК ПУШКИНА

РУКА ПУШКИНА

СЭМАУР

«ВО ГЛУБИНЕ СИБИРСКИХ РУД...»

«ЗДОРОВО, РЕБЯТА!...»

ПРИСНОПОМИНАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР...

ЖУК ПОДМОСКОВНЫЙ

Я, ПОЧТОВАЯ ЛОШАДЬ...

«ЗНАКОВАЯ ФИГУРА»

РУССКИЙ МАЛЬЧИК1

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13

МЕДЛЕННЫЙ ДЖИГИТ

ЛЕЗГИНКА ДЛЯ СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНЫХ

БЕРЁМ ОТ ВЫСОКОГО ДУХАОткровение

Дружище Элик

Газырь о Валентине Распутине

«ВО ДНИ СОМНЕНИЙ...»ХОРОШЕЕ СЛОВО

НА ПРИЕМЕ У СТАЛИНА

МУРОМЕЦ И ХАЗАНОВ

«МУХАДЖИРЫ» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

СОБЕРИСЬ, РОДИНА!

СКАЗКИПУТЬ КУДРЯВКИ

ЧЕРКЕССКАЯ СКАЗКА

notes1

2

3

4

5

6

\* \* \*

Гарий Немченко

«Вольный горец»

ThankYou.ru: Гарий Немченко «Вольный горец»

Спасибо, что вы выбрали сайт ThankYou.ru для загрузки лицензионного контента. Спасибо, что вы используете наш способ поддержки людей, которые вас вдохновляют. Не забывайте: чем чаще вы нажимаете кнопку «Спасибо», тем больше прекрасных произведений появляется на свет!

Предисловие

ЗНАК РЫЦАРСТВА

Вся загвоздка в том, что Гарий Леонтьевич Немченко слишком русский. Он русский среди русских, он русский среди черкесов-адыгов, среди осетин, дагестанцев, чеченцев, грузин, армян и т. д.

Он русский и в наше непонятное время, в среде ещё непонятой общероссийской общественной формации. Русские ведь всегда считались непонятными и ещё долго будут оставаться непонятыми. Всё ясно, когда хочется поругать их, а когда нельзя, ну, невозможно не похвалить, вмиг забываются все добрые слова и даётся привычная отмашка: загадочная русская душа.

Загадка, конечно, есть, это все то же неистребимое желание оставаться русским, это даже не желание, а естественное, если хотите, богодуховное состояние, корни которого не подвластны ни текучим временам, ни самой вечности. Приходят властители, свои и чужие, давят и — славятся, хапают и — славятся, рубят под самый корень и — славятся. Казалось, ну, все сделали, чтобы духом русским вообще не пахло, а они, эти Немченко, Распутины, Беловы, Астафьевы опять вырастают и возрастают. И опять Слово слышится, песня поётся, и опять свои и иные мыслители и творцы создают шедевры на пепелищах неуничтожимой русской души.

Гарии Леонтьевичи неистребимы. Они живут в любом времени. Они здравствуют и в безвременье. Они не то чтобы не хотят, они не могут измениться. Вот как пишет рано ушедший от нас выдающийся русский поэт Юрий Кузнецов, который был близким по духу товарищем Гария Леонтьевича:

Бывает у русского в жизни

Такая минута, когда

Раздумья его об Отчизне

Сияют в душе как звезда.

Как видите, речь идет опять о душе. И не просто о душе, а о душе сияющей, сияющей, как звезда. Сравнение со звездой не может быть случайным, случайных слов у таких поэтов не бывает. Главное здесь не сияние, а далёкость этой звезды. Сиять может и засижженная мошкаркой лампочка в грязном подъезде. Непостижимая отдаленность — вот что имеется в виду. И способность сиять, когда вокруг тьма и не видно ни зги. Но почему не как солнце? Потому, что с солнцем все понятно: это освещающий мир свет, это тепло. А звезда — это маленькая, сияющая, загадочная точка. Она ничего не освещает, никого не обогревает, она — как раздумье русского человека об Отчизне. Это раздумье, которое порождает печаль, но — светлую, грусть и слезы, но — очищающие, тоску, но заставляющую вспомнить, как сказал другой классик, что звезды кто-то зажигает, потому что это кому-то нужно.

Мне кажется, Гарий Леонтьевич Немченко занимался всю жизнь этим — ищет сияющие, пусть иногда очень слабо, звезды и сам их тоже зажигает. Он находит их в самых необычных местах и ситуациях, в неожиданных людях, которые живут очень уж просто, очень уж по-русски, а оказываются теми самыми корнями, на которых потом вырастает все то, что становится неистребимым ни во времени, ни в вечности и что опять будет названо русской загадочной душой.

Сотни и тысячи встреч, расставаний и воспоминаний. Сотни и тысячи друзей, близких товарищей, добрых знакомых. Неубывающая жадность до людей, до встреч, разговоров, до каких-то мелочей, пустяков. И все это потом, при совершенном отсутствии какого-то дозволенного жанра, выстраивается в некий жанр о судьбах людей, где уже нет мелочей и пустяков.

Гарий Леонтьевич Немченко из тех писателей, у которых надо читать всё. Бывают такие писатели. Они не в одной или двух главных книгах. Они во всех своих книгах. Но чтобы прочитать все его книги, надо быть таким же непоправимо русским, каким является он сам. Вот я адыг, в 50 лет меня назвали известным поэтом, в 60 — выдающимся. Скоро мне 70, и я с лёгкой душой и без всякого сомнения жду очередного повышения. Я не возражаю. У нас, у адыгов свои правила и мерки. По этим меркам Гарий Леонтьевич должен быть хотя бы чуток повыше меня. Но он неисправимо русский. Даже когда переводит романы адыгского писателя, за которые автору дают звание Народного писателя и Государственную премию. А переводчик, как правило, считается соавтором. Значит, и он внёс весомый вклад в адыгскую литературу. Но почему тогда не звучат в его честь фанфары, где номенклатура, которая просто обязана быть здесь и низко поклониться за отличную работу? Гарий Леонтьевич и сам написал немало произведений в самых различных жанрах, прославив или вспомнив добрым словом десятки людей — представителей разных национальностей нашей Республики.

Что спасает писателей, подобных Гарию Леонтьевичу? Что спасает человека, исколесившего Россию вдоль и поперек, повидавшего жизнь в провинциях и столицах, на великих стройках и погибающих хуторах и деревнях, в начальственных кабинетах и дружеских застольях, прошедшего через большие и малые беды, испытавшего судьбу со всеми её непредсказуемыми поворотами, глухими перекрестками и темными скользкими порогами? Что спасает писателя, живущего в самой богатой стране, с нищенствующим народом, где духовность подменена безнравственностью и где великая столица, прежде бывшая средоточием культуры и знаний, ныне превращается в рассадницу бескультурья и разврата? Спасает вера — вера в непогрешимость Небес, где все также загадочно сияют звезды, особенно Вера в «русского мальчика», одновременно простого и непонятого, грешного и чистого, упрямого и безотказного, темного и все понимающего, безрассудного и всевидящего. Этот русский мальчик Гария Немченко — наверное, и он сам тоже — седой мальчик, неистово верящий в русского человека, вообще в человека.

Кажется, он действительно верит в Микулу Селяниновича, русского мужика, пеше идущего с котомкой за плечами, которого на коне не может догнать Святогор-Богатырь. У Микулы в котомке — вся тяжесть земли. Микула хранит землю, а писатель — свет души человека. И веру в свой народ, веру в человека.

Дай Бог тебе, Гарий Леонтьевич, долгих лет и здоровья на твоём пути, да не померкнет в очах твоих свет далекой звезды.

Нальбий Куёк, народный поэт Адыгеи. Речь на праздновании 70-летия Г. Немченко в Майкопе.

## ВОЛЬНЫЙ ГОРЕЦ

(ЗАПИСКИ О НАРОДНОМ ПУШКИНОВЕДЕНИИ)

«В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец в полном смысле этого слова...»

Н. В. Гоголь о А. С. Пушкине

## ПУШКИН В ОТРАДНОЙ

В журнале, где нынче тружусь, шло обычное заседание редакционной коллегии, и в самом конце его главный в дружелюбной своей манере напомнил: не будем, мол, забывать, что начался «год Пушкина», и публикации об Александре Сергеевиче хорошо бы давать из номера в номер. Как бы ожидая ответа, обвёл всех взглядом, остановился на мне и, пока с нарочито серьёзным и в то же время чуть ироничным вниманием меня разглядывал, а я, охотно соглашаясь с ним, молча и с пониманием кивал, один из заместителей, мой старый товарищ, с усмешкой подначил: «Дай ему волю! Напишет: „Пушкин в Отрадной“.»

Тут странная такая история: о чём бы в последнее время ни писал, непременно упомяну родную свою станицу. Даже в самой крохотной статейке найдётся ей не то что подходящее — как бы даже законное место. Не исключено, даёт себя знать неосознанная тоска по временам далёкого и, кажется теперь, безоблачного детства, в котором, бывает, посреди бела дня незаметно даже для самого себя укрываешься, оставаясь сидеть в трудном раздумьи за рабочим столом — подобно тому, как ночью, поудобнее в постели устраиваясь, находишь, наконец, эту позу со склонённой к груди головой и прижатыми чуть не к подбородку коленями: «утробное бегство». Может быть, разгадка в другом: нынешняя непреходящая тревога за ближних и дальних и боль за Отечество, хочешь или не хочешь, то и дело извлекают из глубин подсознания постоянно, как сердце, пульсирующее там: родина, родина, родина!..

Это не очень весёлое предположение пришло теперь, когда начал писать о Пушкине и Отрадной, но тогда, в редакции, дружеская подначка вполне могла бы побудить меня к грустному размышлению о психологии заскорузлого куличка, который, где бы не летал, всё равно норовит при каждой возможности в своё гнилое болото плюхнуться, и даже испытать что-то вроде чувства профессиональной неполноценности: мол, сколько, и правда, можно — всем уши прожужжал!

Но тут особая статья: я рассмеялся так искренно и сердечно, как, может, давно уже не случилось смеяться. «Поверь, — воскликнул, вытягивая руку к моему насмешнику, — что именно этот заголовок я и поставлю!» Тоже невольно рассмеявшись, он отмахнулся от меня, как от человека конченного: «Дарю!»

Может быть, сложился такой во всех отношениях удачный для меня день?.. До вечера я ходил в предвещавшем удачу счастливом юношеском возбуждении. Нет-нет, да и потирал пятерни, а то вдруг негромко подушечками ладоней прихлопывал. «В Отрадной, — бормотал. — Пушкин!.. А вы думали? „Пушкин в Отрадной“. А?!»

Дома, едва переступив порог, чуть не в пальто ещё, двинулся к полке, где стояли пушкинские тома, нашёл нужный, принялся торопливо листать... всё так, верно!

Всегда во мне жило, всегда таилось под толщей повседневных забот, непрерывных дел, срочных обязательств и вовсе необязательной суеты. Под спудом житейских проблем надёжно хранилось, как зёрнышко, постоянно готовое ударить в рост... Может, пришла пора?

Вот оно, из «Путешествия в Арзрум»: «Наконец, увидел я Воронежские степи, свободно покатился по зелёной равнине и благополучно прибыл в Новочеркасск, где нашёл гр. Вл. Пушкина, тоже едущего в Тифлис. Я сердечно ему обрадовался, и мы согласились путешествовать вместе. Он едет в огромной бричке. Это род укрепленного местечка; мы её прозвали Отрадною. В северной её части хранятся вина и съестные припасы; в южной — книги, мундиры, шляпы, етс, етс. С западной и восточной стороны она защищена ружьями, пистолетами, мушкетонами, саблями и проч. На каждой станции выгружается часть северных запасов, и таким образом мы проводим время как нельзя лучше.»

Вы разочарованы и назовёте меня обманщиком? Погодите-ка! Прошу вас.

От нынешних наших горьких бед, от печального неурюстройства, от мелкой политической колготы и облепившей чуть ли не всех нравственной грязи, которой за прошедший век кто только к нам не натаскал, попробуйте хоть на эти пяток минут, пока будете держать в руках текст, мысленно выйти на свежий воздух счастливого для России девятнадцатого века, попробуйте постоять под тем тихим солнышком.

Александрю Сергеевичу в ту пору вот-вот должно было исполниться тридцать, он в самой силе и давно уже в славе. Он уже не тот гусарствующий вольнодумец, который мог позволить себе и двусмысленную улыбку в беседе с Господом Богом, и колкую насмешку в адрес Его помазанника, наместника Его на земле. Император уже сказал своё знаменитое «Пушкин — мой!», и это не было следствием изворотливого ума поэта — то был осознанный выбор верного судьбе Отечества сердца.

И тут бумерангом возвращается из юности скандальная слава «Гавриллиады», он снова вынужден объясняться с Государем и в письме к нему даже взять ещё один, получилось, грех на душу: определённо отказаться от авторства.

Именно в это время выходит в свет второе издание «Кавказского пленника», которое наверняка не только воскрешает в его душе дорогие видения, но и придаёт им иной, тоже державный смысл.

Десяток лет назад совсем ещё юная его Муза «к пределам Азии летала и для венка себе срывала Кавказа дикие цветы». Но уже тогда прозвучит в эпилоге и твёрдый голос воина: «Поникни снежной головой, смирись, Кавказ: идёт Ермолов!»

«В Ларсе остановились мы ночевать, — напишет он впоследствии в своём „Путешествии“. — Здесь нашёл я измаранный список „Кавказского пленника“ и, признаюсь, перечёл его с большим удовольствием. Всё это слабо, молодо, неполно, но многое угадано и выражено верно».

Конечно же, прежде всего это — об «ощущении» Кавказа. Но, без сомнения, — и о Ермолове тоже.

Вернёмся к первым строчкам «Путешествия в Арзрум»: «Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орёл и сделал таким образом 200 верст лишних, зато увидел Ермолова.»

Через полтора года лет бьют грозного генерала раз за разом — потому что опытные в решении национального вопроса партийные чиновники повелят заранее изготовить несколько, сразу с запасом, копий — взрывали ещё в довоенной Чечне, а во время войны его именем был назван добровольный казачий батальон, не посрамивший имени Алексея Петровича, нет... что ж впрочем! Этак можно далеко зайти: листая «Энциклопедический словарь» Брокгауза и Ефрона, только что нашёл в биографии Ермолова фразу о том, что он «присоединил к русским владениям Абхазию, ханства Карабагское и Ширванское.»

Так вот, в Орёл, к опальному генералу, предсказывавшему войну с турками, но не услышанному во дворце и потому вынужденному подать в отставку, поэт заезжал в надежде из первых рук получить особенное знание того края, куда он держал путь, когда война уже началась, и заодно как бы взять благословение бесстрашного генерала — это станет очевидным из того как вёл потом себя Пушкин на Кавказе «в виду неприятеля».

Но это будет чуть позже, а пока попытаемся представить то чувство вольной воли, которое должен был он испытать, вырвавшись, наконец, ещё в марте из Петербурга, а спустя месяц из Москвы, представим предвкушение встречи со старыми, служившими на Кавказе его друзьями, и то радостное возбуждение, которое наверняка нарастало по мере того, как приближалась цель путешествия и постепенно брала своё встречающая его щедрая весна и всё более припекавшее южное солнышко.

Снова опередим Александра Сергеевича на пару недель — встретим его уже в Тифлисе: «Ежедневно производил он странности и шалости, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Всего больше любил он армянский базар, — торговую улицу, узенькую, грязную и шумную... Отсюда шли о Пушкине самые поражающие вещи: там видели его, как он шёл обнявшись с татариним, в другом месте он переносил в открытую целую стопку чурехов.

На Эриванскую площадь выходил в шинели, накинутой прямо на ночное бельё, покупая груши, и тут же в открытую и не стесняясь никем, поедал их... Перебегает с места на место, минуты не посидит на одном, смешит и смеётся, якшается на базарах с грязным рабочим муштайдом и только что не прыгает в чехарду с уличными мальчишками. Пушкин в это время пробыл в Тифлисе в общей сложности дней, всего лишь одну неделю, а заставил говорить о себе и покачивать многодумно головами не один год потом.»

Это из воспоминаний, собранных Викентием Викентьевичем Вересаевым в его интереснейшей книге «Пушкин в жизни», имеющей подзаголовок: «Систематический свод подлинных свидетельств современников». Привёл же я его для того, чтобы вместе мы попытались увидеть поэта ещё в дороге, в той самой, чуть ли не на Ноев ковчег, судя по всему, похожей бричке, которую вместе с милым его сердцу попутчиком, графом Владимиром Алексеевичем Мусиным-Пушкиным они называли Отрадню.

Граф, дальний родственник Александра Сергеевича, был на один год старше, и у него тоже имелись все основания необычайно радоваться путешествию. Ещё недавно он, член Северного общества декабристов, пережил сперва заключение в крепости и после милость Государя: разжалованный из гвардейцев, сначала был переведён в армейский Петровский полк, а потом получил назначение в Тифлис — тоже в «пехоту». И вот вдвоём они едут к верным своим товарищам!

Уж коли дали они столь одухотворяющее название просторной бричке Мусина-Пушкина, то, можно с полной вероятностью предположить, не один раз и не два обыгрывали его потом и в шутках да остротах, и просто в бытовой речи: мол, как тебе в моей Отрадней, дорогой Александр?.. Суший рай, любезный Владимир, эта твоя Отрадняя, суший рай!.. Надеюсь, тебе и впрямь в ней удобно?

Тут, пожалуй, самое время напомнить, что вокруг станицы Отрадней раскинулись ещё несколько с такими же благостными названиями, и одна из них как раз именуется Удобною. Неподалёку от неё в нашем Предгорьи лежат также Спокойная и Надёжная, Изобильная и Благодарная, Бесстрашная и Отважная. Но что делать, что делать, дорогие земляки? Только в таком вот чисто вспомогательном, как бы подчёркивающем исключительное значение Отрадней, смысле могли быть они тогда, пожалуй, славным нашим поэтом и его спутником упомянуты.

Не считите только что сказанное мной за отрадненское высокомерие, дорогие насельники остальных упомянутых тут станиц, — это не так. Если бы вы могли знать, как пылко и горячо люблю я исхоженный с мальчишеских лет весь наш приткнувшийся к подножию двуглавого Эльбруса закубанский куток с его живописной долиною по Урупу, с плоскими холмами и крутыми катавалами, упрямо взбирающимися по обе стороны от неё на водораздельные хребтины Лабы и Большого Зеленчука... Уже достаточно много по белу свету поездивший, я твёрдо знаю, что мало найдётся на земле мест красивее наших, богаче и щедрее наших и, всё чаще думается мне, — беспризорнее.

В середине прошлого века это был один из самых мощных русских форпостов на Кавказе: детство моё прошло под рассказы прабабушки Татьяны Алексеевны о стародавних временах, когда «девок», идущих по воду на Уруп, непременно сопровождала команда пеших солдат, а то и «казаки верхами» — иначе могли украсть. После большой, сплотившей нас всех войны и общей над немцами победы рассказы эти казались нам, возраставшим под «солнцем сталинской конституции» комсомольцам, как бы не очень приличными: ясное дело, что во времена седой старины случалось всякое. Кто прошлое помянет — тому глаз долой!

Но с нами произошло худшее, что только могло произойти: мы прошлое забыли.

Вслед за первою войной, за «германской», вслед за братоубийственной гражданской, за беспощадным и целенаправленным истреблением времён расказачивания-раскулачивания и всеобщим голодом тридцать третьего года жертвенная Отечественная стала последним, унесшим работников да защитников нашего Предгорья жестоким укосом.

Может, замкнулся некий очередной круг возмездия в наших от века беспокойных краях? Бесславно



заканчивается великая миссия России на Кавказе вообще?.. Или издавна привыкшее к дальним отзвукам боя чуткое ухо горцев снова насторожил некий словно из тьмы веков доносящийся древний зов, который на этот раз может стать предвестником трагической вселенской подвижки ведущейся всё пока тихим сапом третьей войны?

Так, нет ли — наш предгорный форпост давно уже сдан, и лишь неписанные правила мародёрства не позволяют новым аульским да городским, всё якобы чеченским абрекам разбойничать днём: по наводке старых станичных хитрованов, в районном масштабе часто весьма высокопоставленных, грабят и угоняют скот пока только ночью.

На уникальной минеральной водичке, уже разведанные запасы которой куда больше чем на знаменитых Кавминводах, на горячих, как кипятки, подземных водах — термальных, среди редчайших лекарственных трав и реликтовых кустарников предальпийских лугов, где пастись бы тучным стадам и табунам выгуливаться, оцепенел наш Богом забытый угол в похмельно-тяжкой дремоте, в страхе и в нищете. Мёртвая вода давно тут сделала своё дело, а живую, за которой только нагнись, никто так и не возьмётся братьев и сестёр своих окропить... На кого всё надеемся? Чего ещё ждём?

До Краснодара от нас три сотни километров и всего лишь сотня — до Ставрополя: когда-то в Отрадной чуть ли не подписти тайком собирали с требованием определить район под иную властную руку, под ближнюю. Тут Бог миловал! Хоть то уже хорошо, что ненавидимое всею страдающей Россией позорное пятно, скользнувшее с предательского лба одного на весь многолюдный край так и останется в старых административных границах, не доползёт до нас. Как бы нам худо ни было, мы — не ставрополи. Мы — кубанцы. С ударением и тут на последнем слоге... Разве не утеха — при остальном безрадостном житии?

Но мы не о нас. Мы — о Пушкине.

Само собой ехали они с графом по правому, по высокому берегу Кубани, по знаменитым, вроде Усть-Лабы, хлебородным, по золотым всего лишь десяток лет назад пшеничным местам, но разве такими, как нынче, были они в ту пору?.. Не будем забывать, что особое очарование кубанским степям встарь придавали древние курганы: недаром же «курган» — одно из ключевых слов и в «кавказских» стихах Пушкина, и в «Путешествии в Арзрум». Но разве сохранились они нынче на правом берегу? Почти всюду раздавлены тяжёлою техникой, распаханы, разглажены, окончательно заутюжены, совсем исчезли среди прямоугольных да квадратных полей. Это ведь только на наших закубанских неудобьях курганы пока и остались! А весенний адонис, лимонно-жёлтый да пурпурно-алый горичвет, наш лазорик, которому самая пора ярко пылать в самом начале мая? А темноглубые ирисы, петушки наши, кочетки — как раз в это время они и распускают баранчиком острые свои высокие стрелки. Кто ещё, как не вы, милые мои земляки из всех предгорных станиц, может представить себе картину почти бесконечных разноцветных островов и длинных проливов между ними, этих пятен и латок, то и дело меняющих оттенки на боках да на макушках ближних и дальних холмов под набегающими на них прохладными облаками и вдруг пробивающим облака и мгновенно сжигающим тень от них яростным солнцем.

Сказочна в первые майские дни наша почти нетронутая пока степь, поистине сказочна!

Можно предположить, как посреди дороги, петляющей между высокими, с чупринами терновника на макушках курганов останавливались наши путешественники и по вполне понятным причинам и нарочно останавливались: для полноты души хорошенько оглядеться окрест... Как слушали жаворонков, тоненько кующих звонкое серебро в притихшем небе, как ловили внизу неуверенное в начале весны перепелиное «пить пойдём?», как глядели вслед убегающим по невысокой ещё траве голенатым дрофам — серым дудакам, которых много было в закубанских степях даже во времена моего послевоенного детства.

Если даже в наших, по тем или иным причинам огрубевших сердцах, специально нынче отучиваемых радоваться красоте Божьего мира, вид майской степи вызывает чуть ли не слёзы умиления, то как должна была отозваться на него чутко настроенная поэтическая душа? И если изгвазданного

машинным маслом, чёрного как шахтёр, от пыли усталого тракториста, если разомлевшего в минуту отдыха пастушка либо праздного, каким тут чаще всего сам я бывал, отпускника неодолимо тянет в такие дни посидеть в придорожных «кущарях», а то и полежать, якобы бездумно глядя в высокое небо, а в самом деле — наполняясь его бесконечно загадочною высью, то неужели наших славных соотечественников миновала тогда чаша сия?

Сдаётся мне, что «часть северных припасов» они «выгружали» не только «на станциях», но и посреди кубанской степи, рядом со своею «Отрадной».

Наверное, Александр Сергеевич отлучался зачем-либо к своему тарантасу, который следовал за бричкой Мусина-Пушкина, может быть, слегка там задерживался, и тогда граф с улыбкою поторапливал: «В Отрадную, Александр! В Отрадную!..»

Потом они наверняка остановились на высоком берегу Кубани, не доезжая станицы Прочный Окоп, на том самом взгорке, где возвышается нынче памятный знак в честь Пушкина: тут, и правда, не остановиться нельзя. Какой распахивается перед тобой окоём, какой вид открывается на речную излучину, за которой и нынче зеленеют перелески, и лёгкое марево дрожит теперь над просторно разбросавшимся вдалеке городом Новокубанском — тогда на его месте был Каплановский аул: аул Каплан.

Вились ли над саклями дымки? Какие звуки доносились из-за реки, где пасли свои отары и горячили конские табуны всегда готовые к войне мирные черкесы?

В прошлом году, в самом начале мая, мы долго стояли над Кубанью вместе с моим старым другом, как раз и поставившим этот памятный знак Володей Ромичевым, давно уже, конечно, Владимиром Михайловичем. Он коренной сибиряк, чалдон, но вот поди ты: мы с ним как будто поменялись местами. На Кубань он уехал ещё в шестьдесят четвёртом, когда в Новокузнецке, на нашем Запсибе, пустили первую домну, а я оставался там ещё чуть не десяток лет и постоянно потом туда возвращался, жил по несколько месяцев, так что в конце концов вышло: я там, бывало, позванивал его родне, передавал приветы с Кубани, а он мне рассказывал тут о наших отрадненских новостях. Отсюда до нас меньше ста километров, какое по недавним-то временам расстояние, и Ромичев, полжизни проработавший начальником Межколхозстроя, а потом ПМК — Передвижной механизированной колонны, постоянно бывал в Отрадной, дружил с моими однокашниками, тоже строительными воротилами, и нет-нет, да подбрасывал арбузов моей родне: новокубанцы всегда привозили их менять на «горскую» нашу, вкуснее которой нету, картошку.

Бетонный этот, без лишних затей облицованный плитою под мрамор памятный знак с фамилией поэта и цифрой «1829» друг мой поставил наверняка между делом, после сдачи какого-нибудь тебе животноводческого комплекса и началом строительства сахарного завода, так живём, это ясно, но когда стоял тут теперь со старым товарищем, литератором по профессии, само собою расчувствовался: «Я тебе честно скажу: эта горка для меня всё и решила. Одно дело, что базары тут по станицам против наших сибирских куда богаче и цены подешевле. Что воздух тут не то что наш „коксохим“... Весною да осенью хочешь — дыши им, а хочешь — пей, такой сладкий. Но когда на обрыв на этот заехал да глянул за Кубань — такая, и правда красота! Ну, чем тебе не Сибирь? Чем тебе — не Горная Шория?»

Чего ещё от него, от неисправимого чалдона, ожидать! Давно уже и Заслуженный строитель, и Почётный гражданин своего Новокубанска, а всё «в Сибирь смотрит»!

Я только рукой махнул: «Скажи честно, вы ради какого Пушкина тут стараетесь?.. Ради Александра Сергеевича? Или?..»

Дело в том, что глава администрации Новокубанского района — тоже Пушкин. Виталий Владимирович. Чем ближе пушкинский юбилей, чем чаще произносят по радио либо по телевизору фамилию славного поэта, тем больше шуток в Новокубанском районе слышится.

Тут любопытная такая история: новокубанский Пушкин — демократ. Записной. Так и хочется сказать:

настоящий. Не из тех, которые решили сперва всё разрушить, а потом в который уже раз с чистого листа начать, нет. Став главою по сути после первого секретаря райкома партии Андрея Филипповича Недилько, одного из самых уважаемых в прошлом, самых маститых на Кубани хозяйственников, Пушкин взялся энергично противостоять всякому даже мало-мальскому разрушению, а где возможно было, попытался общий, народный само собою, успех и приумножить. Упрямое желание во что бы то ни стало идти вперёд по нашим-то непростым временам оборачивается всего лишь замедлением отступления, да что делать? Но держится Новокубанка по сравнению с остальными, ещё как держится!

Никого из «недилькинских» Пушкин не снял и не задвинул, никого из своих дружков на их место не посадил. По-прежнему свято блюл неписанную районную традицию: перед посевной всем управленческим корпусом, с жёнами и детьми, ехать на ипподром в Нальчик: поболеть за великолепных скакунов знаменитого новокубанского «Восхода», а по окончании «поля», когда урожай уже в закромах, — собирать на черноморском побережье вольный председательский да директорский «мальчишник». Право на него зарабатывают новокубанские начальники трудом поистине беззаветным и тяжким, трудом каторжным: это правда. Зато кругом упадок и повес головы, а в Новокубанке — чуть ли не «послесовдеповский» рай, и «краснокоричневый», на котором больше негде «капэрофовской» пробы ставить, «сталинист» и «антисемит», как только его кубанская земля такого носит, «батька Кондрат», само собою идеологический противник Пушкина, заезжает иной раз к нему просто по пути: по-отечески обнять демократа и рядом душою отдохнуть.

Но не только ведь на привесах да на удоях держится в Новокубанске авторитет Виталия Владимировича Пушкина. Давно уже собираюсь о нём написать и всё с неостывающим интересом размышляю. До чего-то главного пытаюсь додуматься, а он всё остаётся загадкой для меня. Кроме располагающей внешности, кроме обаяния, которым Господь Пушкина не обделил, в чём же, думаю часто, ещё секрет? Душе радостно, когда среди чуть ли не бесконечной череды ловкачей с жуликоватыми глазами встречаешь вдруг человека со спокойным достоинством во взгляде. Неужели и это теперь большая редкость?

Несколько лет назад, когда всё у нас принялись делить, всё приватизировать, на просторном выгоне под Новокубанском один за другим стали вдруг приземляться лёгкие спортивные самолёты и издававшие виды «кукурузники». Глава администрации сел в машину и помчался с неожиданным этим десантом разбираться: что за новости? Оказалось, это нальчикский аэроклуб: в полном лётном составе и при всей «матчасти».

«В Кабарде нас хотели раскупить, — стал объяснять Пушкину глава клуба — седой пилот со шрамами на лице и искорёженною левой рукой. — Но мы не продаёмся. Не для того мы разбили немца. Примешь — останемся у тебя, начальник. Нет — нет. Россия большая — дальше полетим. Только подзаправимся. Горючка у нас с собой. Всё с собой.»

Рядом с ним в ожидании стояли пилоты помоложе и стояла лётчица, дочь руководителя аэроклуба. Из «кукурузников» всё продолжали спускаться на выгоревшую траву женщины и выпрыгивать детишки.

«А летать научите?» — спросил Пушкин. И протянул старшему руку.

Через два или три года Пушкину не понравилась одна из передач ОРТ, в которой, как он считал, оскорбляли русских, и он дал резкую телеграмму на имя Ельцина. Через неделю в Новокубанск приехали комментатор с телеоператором ОРТ: с явным намерением чего-нибудь такого «накопать» и показать, кто в России хозяин.

«К сожалению мы не можем взглянуть на весь ваш район», — со значением начал комментатор.

«Отчего же? — возразил Пушкин. — Часок у вас, надеюсь, найдётся?»

Привёз столичных гостей на выгон за городом, посадил в кабине самолёта рядом и запустил мотор. Они облетели сперва новокубанские земли, потом забрали вглубь на запад: Пушкин заодно решил

показать предгорные Лабинский, Мостовской и Отрадненский районы, которые с недавних пор входят в возглавляемую им ассоциацию Юга Кубани.

Не только своего брата, местного жителя поражает вид этих благодатнейших окрестностей с высоты птичьего полёта, не только!

Москвичи попросили уделить им ещё три-четыре денька, ходили за Пушкиным как привязанные и сделали потом достойную и честную передачу о Новокубанском районе: по нашим-то временам — разве не подвиг?!

Когда стояли с Ромичевым у памятного камня над Кубанью, мы тоже само собою насчёт обоих Пушкиных слегка поёрничали: мол, ясное дело! Вот вам живое доказательство того, что Александр Сергеевич, и точно, проезжал по нашим местам, — новокубанский мэр, сохранивший, несмотря на все исторические передраги в России, даже свою «родную» фамилию!

Но это всё шутки.

Не всё же нам горе горевать!

А неистребимая правда, если хорошенько вдуматься, заключается в том, что по-прежнему жива не только славная фамилия — бессмертен великий пушкинский дух. Тот могучий и спокойный, мятежный и вольный, приземлённый до травинки под ногой и возвышающийся до звёзд в небесах всеобъемлющий дух братства, которым пронизано всё лучшее в русском человеке и который не даёт ему, слава Богу, ни вознестись в гордыне над остальными, ни зазнаться, а всё только терпеть, печалась душой над несовершенством мира вокруг и прежде всего над самим собою посмеиваясь.

Полный отрадненский сирота, давно оставшийся в истончившемся роду старшим, в Новокубанке я, и правда, как будто подзаряжался всякий раз теперь её двужильным упрямством и её энергетическим напряжением. Надежды молодости на великое будущее родной станицы давно теперь похоронены рядом с родными могилами на кладбище неподалеку от аэропорта, куда давно уже никто не прилетает и откуда никто и никуда не летит.

И Большой Телескоп бессонными ночами глядит в многозвездное небо достаточно далеко от нас, от места изначального замысла, и далеко от нас сверкают под солнцем крытые непробиваемым стеклом, снабжающие овощами якобы половину Москвы почти километровые парники... С нами осталось лишь то самое рекордное даже для Северного Кавказа число безоблачных дней в году да немеренное количество звёзд ясной ноченькой: я думаю, самые несгибаемые из моих земляков, из станичников, непререкаемо верят, что над нашей станицей и самих звёзд уж почему либо да всё равно больше чем над остальными окрестными. Блажен, кто верует!

Старый спор о неком главенстве в наших краях давно решился в пользу практичной и самоотверженной Новокубанки, и кроме тех слов, которые, несмотря на нынешнюю вседозволенность ни в письменной, ни даже в устной речи я предпочитаю ни в коем разе не употреблять, крыть отрадненцам больше нечем. Разве только на полном серьёзе доказывать, что даже и там, на крутом обрыве рядышком с Новокубанкою, где стоит нынче памятный знак, уже не граф Мусин-Пушкин — сам Александр Сергеевич вполне мог в нетерпении воскликнуть: «В Отрадную, друг мой, поскорее — в Отрадную!»

До Прочного Окопа им оставалось всего-то несколько вёрст, а там Пушкина дожидался служивший в то время в знаменитой казачьей станице Лев Сергеевич, родной младший брат.

В УРОЧНЫЙ ЧАС, В НУЖНОМ МЕСТЕ...

Дело было в начале зимы.

В машине старого моего друга Бориса Шанаурова, Бориса Павловича, вместе со священником Ярославом Шиповым, тоже давним товарищем, мы ехали из подмосковного села Лапино в деревню Кобяково, что под Звенигородом.

В Лапине батюшка только что освятил первую на большом подворьи постройку — крепкую и ладную, навек сделанную «временку» с прекрасною банькой и просторными столовой и спальней: по ним видно было, какой дом собрался, наконец, поставить себе Борис, блестящий инженер с золотыми руками, всю жизнь строивший жильё для других.

Мы с Борисом долго жили в Сибири, отец Ярослав начинал своё служение на Севере, в вологодской глубинке, а потому после освящения мы с толком и расстановкой, как говорится, отдали должное целительнице-парилке с непременно чайком на травах, и настроение у нас было самое благодушное, тем более, что дальнейшее наше путешествие имело целью проведать моего младшего сына, хирурга, который вдруг ударился в фермерство: все мы сочувствовали ему и, как могли, опекали — особенно хорошо знавший, что почём в наше время, Борис Павлович.

Миновали очередную развилку со множеством указателей на обочине, когда он остановил вдруг свою выдавшую виды «ниву» и сказал, словно что-то прикидывая:

«Я гляжу: не дать ли нам тут крюка? С нашего Рублёво-Успенского да повернуть на Можайку?.. На старую-то Смоленскую дорогу?»

Я на полушутке откликнулся:

«Хозяин — барин! Почему бы не повернуть? Если есть такая необходимость.»

«Есть, есть, — не только с загадкой в голосе, но как бы и с неким вызовом сказал Борис Павлович и повёл головой, на миг оборачиваясь к сидевшему позади священнику. — Вы никогда, батюшка, не были в Захарове?»

«Не был, — живо откликнулся отец Ярослав. — К сожалению, нет.»

«Вот и заедем сейчас на минутку-другую» — решил Борис Павлович.

И только теперь я подхватил:

«А ведь — правда! И как сам-то я не вспомнил?»

Тут надо сказать, что отец Ярослав давно уже был известен как духовный писатель, прекрасный прозаик с языком родниковой чистоты — его небольшую книжечку рассказов «Отказывать не вправе» читающие добрые люди передавали буквально из рук в руки. Потому-то Борис Павлович и взялся надо мною насмешничать:

«Удивляюсь я вам, братья-литераторы... Нет другу предложить: давай, Павлович, завезём батюшку в Захарово, пусть он постоит на том месте, где Александр Сергеевич мальчишкой бегал. В самом, можно сказать, впечатлительном возрасте. Где он возростал, как вы, писатели, любите говорить, в доме у Ганнибалов...»

«Почему это — мы? — пробовал я возражать. — Ты тоже вот говоришь.»

«Я не только говорю, — не отступал мой друг. Нарочно на сиденьи откинулся, словно показывая нам баранку своего „внедорожника“. — Я — делаю!»

«Молодец ты, что вспомнил, — похвалил я его совершенно искренне. — Действительно, молодец!»

Как-то в конце лета мы с ним по моей просьбе заезжали в Захарово. Чёрные стволы столетних лип вокруг большой открытой площадки, где когда-то стоял давно сгоревший дом Ганнибалов, снизу были обвязаны свежими досками, и я обрадованно сказал:

«Ну, наконец-то!.. Скоро строить начнут.»

«Держи карман шире, — ворчливо проговорил ещё молодой мужчина, державший в одной руке верёвочные поводки с тянущимися в разные стороны козами и длинный прутик в другой. — Спасибо, что хоть с деревьев доски не посдирали — тех, что рядом сложили, уже давно нет. То они сгорят, то их украдут!»

«А сам небось не поспел — теперь переживаешь?», — с нарочито грубоватой усмешкой сказал Борис.

«Причём тут я?» — обиделся козопас.

«Ну, не я же к вам сюда за этими досками приезжал! — урезонил его Борис. — Вы тут небось „под Пушкина“ уже не одну избу задарма поставили...»

«Да кабы ж — мы!», — вгорячах проговорился случайный наш собеседник.

Друг мой, которого и в молодые годы отличал от многих из нас здоровый практицизм, спросил уже сочувственно:

«Подменяешь небось хозяйку? Вот и ворчишь.»

«Как не ворчать? — миролюбиво согласился мужчина, оглядывая свой приличный костюм, для пастушества явно не предназначенный. Поддёргнул поводок и поиграл прутиком. — Известное дело — козы. Только и жди от них!»

Но доски от лип и впрямь отодрали: когда мы с Борисом заехали сюда через какую-то недельку — их как не было!

«Неужели так-таки не успеют?» — горевал я, когда мы шли обратно к машине.

«В очередной раз украсть, что ли?» — насмешничал мой друг.

«Да ну тебя! — пришлось отмахнуться. — Я серьёзно...»

«А я — нет, что ли?»

Надвигался «круглый» Пушкинский юбилей, праздник двухсотлетия со дня рождения, и оба мы так или иначе переживали за подмосковные места, давно ставшие нам родными. Нет, правда.

Кто не слышал о селе Михайловском?.. О Болдине с его знаменитой осенью? О Святогорском монастыре?

Захарова же нашего ну, как не было!

А ведь само собой разумеется, что главная «кладовая», тот самый неиссякаемый родничок, из которого любой творец черпает всю жизнь вдохновение, — конечно же, его детство.

У Александра Сергеевича оно прошло в имении Ганнибалов в Захарове — недаром ведь он писал потом в юношеском «Послании к Юдину»:

«Мне видится моё селенье, моё Захарово: оно с заборами в реке волнистой, с мостом и рощею тенистой зеркалом вод отражено. На холме домик мой: с балкона могу сойти в весёлый сад, где вместе Флора и Помона цветы с плодами мне дарят, где старых клёнов темный ряд возносится до небосклона и тихо тополы шумят, — туда с зарею поспешаю с смиренным заступом в руках, в лугах тропинку извиваю, тюльпан и розу поливаю — и счастлив в утренних трудах. Вот здесь под дубом наклоненным с Горацием и Лафонтеном в приятных погружен мечтах...»

«Дуб наклоненный», от которого остался только высокий пенёк, всё продолжает и в таком своём виде сопротивляться забвению, а что же — мы все, потомки?!

...Зимний день потихоньку клонился к вечеру, наступала пора ранних сумерек, но перед железной оградой захаровской усадьбы стояли несколько легковых машин — Борис Павлович, которому пришлось искать удобное место для стоянки, проворчал даже:

«Что это тут за съезд?»

Вылезли из машины, и первое, что услышали — настойчивый, какой ни с каким другим не спутаешь, перестук плотницких топоров: деловитый и в то же время весёлый.

Не сговариваясь, мы ускорили шаг.

Знакомая площадка посреди особенно чёрных зимою лип, давно заменивших клены пушкинской поры, была по краям завалена добротным лесом, а посередине её лежал громадный четырёхугольник из ошкуренных бревен: самый первый венец будущего дома. На нем здесь и там неторопливо, но споро трудились плотники, а чуть поодаль стояла группа людей явно городских, и вид у них у всех был не только явно озабоченный, но как бы даже слегка растерянный.

Человек из нас троих, может быть, самый общительный и самый, благодаря большой сибирской стройке, где прошла моя молодость, артельный, я сперва громко поздоровался с работавшими, сказал наше русское «Бог в помощь!», а потом двинулся к стоявшим в сторонке, спросил с дружелюбным юмором: «Что за печаль на лицах высокого начальства?»

Все они обернулись нехотя, один сухо сказал:

«Это наши проблемы.»

Невольно захотелось также, на полушутке спросить: мол, так, значит? Считаете, другим до Пушкина и дела нет?..

Сбоку от продолжавших свой разговор мужчин, нас как бы нарочно теперь не замечавших, стояла миловидная женщина средних лет и, уловив сочувствие в её взгляде, я начал говорить ей что-то дружески-деликатное: мол, простите, но мы не праздные зеваки, мы — люди не чужие...

Да и кто из нас, правда что, беззаветно любящих Пушкина, ощутил бы себя здесь лишним — разве это не так?

Я представился, и женщина тоже назвалась: Карташева Наталья Евгеньевна, архитектор, автор проекта реконструкции дома Ганнибалов. Повела головой на одного из споривших:

«С мужем, мы с ним соавторы проекта, пороги обили — добивались, чтобы стройку включили в план... Всем не до того, у нас руки опустились, перестали работать, а тут вдруг, когда до юбилея осталось всего ничего — нате вам, вспомнили! Долг чести, видите ли...»

«Это кто же так?»

«Гладышев, — сказала она. — Глава Одинцовского района. Александр Георгиевич.»

«Ну, так великолепно, что он — об этом самом долге!» — искренне порадовался я за «главу».

«Тем более — тёзки! — поддержал Борис. — С Александром Сергеичем.»

«Так-то так, но нам теперь не легче от этого, — разговорилась Наталья Евгеньевна. — Ошибку исправили, чиновника, который задерживал строительство наказали на всю катушку, что называется. Тут же завезли гору материалов, чуть ли не всё сразу... Бригада хорошая попалась, неизбалованная. Из Смоленска. Смоляне, говорят. Как взялись! Как навалились. Мастера — любо посмотреть. Но мы-то, мы... Из правых тут же виноватыми сделались: проектировщики, мол, ясное дело — не успевают как всегда! А где же теперь успеть — нас даже не предупредили, поставили, как говорится, перед фактом. Хотели священника позвать, чтобы всё честь по чести, и даже тут заминка вышла...»

Мы с Борисом одновременно взглянули на батюшку: отец Ярослав наш прямо-таки сиял!

«Сейчас он облачится» — поторопился я сказать за своего товарища.

«Кто, извините?»

«Батюшка!»

«Батюшка? — переспросила она. — А где он?»

Отвечать пришлось снова мне: отец Ярослав с Борисом уже шли к машине.

Появились они минут через пяток, не больше: батюшка был в своей черной рясе и с саквояжем, Борис Павлович, вытягивая руку, осторожно нес легкий, но явно непривычный для него груз — батюшкино кадило.

На угол из ошкуренных бревен отец Ярослав поставил свой саквояж, начал доставать из него необходимые для своего священнодействия предметы: требник с крестом, флакон с освященной водою, кропило.

«Придётся тебе пономарить! — сказал мне с весёлой строгостью. — Надеюсь, не откажешься? Тогда разведи огонёк, приготовь кадило... помочь? Или сам справишься?»

Борис Павлович деловито достал из кармана куртки фотоаппарат, туда и сюда зашагал, примериваясь:

«Шутки шутками, а момент-то ведь, и действительно, исторический!»

И вот уже плотники хоть и не очень умело, но усердно крестились, стоя дружным рядом, а топором ударял по бревну произносивший молитву батюшка: входило в древний обряд.

«Основается дом сей!» — раздался потом его трогательно-торжественный голос.

Запахло, как в храме, сладким дымком, ветер тут же отнёс его, и мужчины перестали спорить и тоже подошли к нам: лица у них были сперва такие, словно делали нам одолжение.

«Основается дом сей!» — снова радостно воскликнул отец Ярослав, окропляя бревно на венце и торчавшие лезвием в нём топоры.

С кропилом направился к плотникам, и они сосредоточенно посерьезнели, заранее зажмуривая глаза и улыбаясь одними губами.

«Основается дом сей — во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!» — в третий раз пропел-проговорил отец Ярослав.



...Когда мы сели в машину, и от захаровского парка вновь выехали на Звенигородское шоссе, Борис Павлович сбросил скорость и, вполоборота взглядывая на отца Ярослава, спросил с упрямым сомнением:

«Как же это, батюшка, понимать? Когда предложил в Захарово завернуть, я ведь ни сном, ни духом, как говорится...»

Отец Ярослав, на лице которого всё ещё плавало тихое умиротворение, положил руку ему на плечо:

«Для нас это обычное дело... Господь всегда так устраивает, чтобы священник оказался в урочный час в нужном месте.»

«Да вот... если бы не сам за рулём, — словно не договаривая чего-то, медленно продолжал мой ни в сон, ни в чох не веривший друг. — Если бы не сам... сказал бы: присочинили... придумали.»

«Как видите, придумывать ничего не пришлось!» — мягко, но не без торжества подтвердил отец Ярослав.

«А я, выходит, — снова начал подбирать слова Борис Павлович. — Как бы и не я это предложил? Заехать в Захарово.»

Батюшка дружелюбно рассмеялся, явно довольный ходом размышлений моего старого друга:

«Вы услышали...»

«Хорошо, хоть услышал!» — пробовал отшутиться Борис.

«Прислушивайтесь, прислушивайтесь, — мягко наставлял батюшка, поглядывая и на меня тоже. — С удивительным постоянством происходит не только с нами. Касается всех, кто воцерковлен, кто в вере крепок. Господь ведёт таких. Нужен — окажешься в нужном месте. В тот самый час, когда это необходимо — край, как говорится. Либо самому тебе, либо кому-то другому, кого в этот час помощь твоя поддержит, а, может быть, и спасёт. Начните примечать, вы начните...»

С тех пор прошло около двух лет.

Если нам случается ехать по Звенигородскому шоссе, Борис Павлович без лишних слов поворачивает к Захарову, и мы с ним, если нет времени зайти во всё ещё новенький, успевший вырасти тогда к пушкинскому празднику дом Ганнибалов, хотя бы обходим вокруг него, дойдём, бывает, до озера, чтобы взглянуть на «зерцало вод» и на сидящего теперь неподалёку от него бронзового подростка — Пушкина.

Всякий раз, поглядывая на вековые деревья вокруг, на стоящий среди них дом с колоннами и с балконом, Борис Павлович сперва насмешливо ворчит как бы про себя:

«Долг чести, долг чести!..»

И, поглядывая на меня, добавляет с весёлым удивлением:

«Выходит, мы — в урочный час тогда, а?»

СЛУГА ПОКОРНЫЙ

Этим рассказом я тоже обязан своим друзьям — священнику Ярославу Шипову, призывавшему почаще размышлять и к самому себе прислушиваться, помните, и Борису Шанаурову, Борису Павловичу: после того, как «случайно» привёз батюшку в Захарово, он не только зачастил в бывшее имение Ганнибалов, но и постоянно возвращался туда в наших беседах.

Вот и получилось, что задуманный когда-то рассказ «Володя-Паяла» не только заголовок сменил, но постепенно приобрёл некий достаточно странный, а для меня — прямо-таки загадочный смысл...

Дело в том, что десяток лет назад, когда стало модным искать свои дворянские или какие-нибудь иные, не менее древние корни, я грешным делом тоже поддался искушению. Не потому, поверьте, что мне было невтерпёж обзавестись благородным знаком отличия от остальных соотечественников, нет, — скорее наоборот. Желających найти свою фамилию в «Бархатной книге» русского дворянства сделалось вдруг так много, что я прямо-таки затосковал, можно сказать. Останешься простолюдином посреди всей России один-одинешенек, и на тебя начнут пальцем показывать: поглядите-ка на него, господя, вы только на этого лентяя и олуха поглядите!..

А кое-какие основания для поиска доказательств непростого происхождения в семейных наших преданиях имелись. Девичья фамилия моей мамы, Антонины Мироновны, была Лизогуб. Предки её перебрались на Кубань из Украины и чтили себя запорожскими казаками. Но Лизогубы — одна из самых главных ветвей родословного дерева Николая Васильевича Гоголя. Для начала не слабо, верно?

И стал я, значит, к великому писателю потихоньку подкрадываться.

Мы уже говорили благодарное слово Викентию Викентьевичу Вересаеву, собравшему интереснейшую книгу документов о жизни Пушкина. Но такого же достоинства книга, тоже включающая в себя документальные свидетельства и воспоминания современников, есть у Вересаева и об Николае Васильевиче: «Гоголь в жизни».

Принялся я эту книгу листать, и чем дальше листал, тем больше прямо-таки раздувался от гордости. На одной из первых страничек в главке «Предки Гоголя» под номером пятым значится: «Афанасий, род. в 1738 году, секунд-майор. Жена его — Татьяна Семёновна Лизогуб». Из очередных документов следовало, что отец Татьяны Семёновны «был, во-первых, родной внук гетмана Скоропадского, получивший богатые дедовские маетности, а во-вторых, это был зять переяславского полковника Василия Танского», который «оставил Польшу в то время, когда Петр Великий вооружился против претендента на польский престол Лещинского. Он усердно служил Петру в шведской войне и занимал всегда одно из самых видных мест между малороссийской старшиною. Прадед поэта, Семён Лизогуб, происходил от генерального обозного Якова Лизогуба, известного тоже в царствование Петра Великого и его преемников.»

Речь о «генеральном обозном» Запорожского войска и упоминание о «сечевиках» с острова Хортицы на Днепре, об их «вольной республике» перенесло меня в давние времена казацкой славы... Взял с полки том Гоголя, открыл на первой страничке «Тараса Бульбу», и уже не мог оторваться от удивительной повести — пока не дочитал до конца. Как это всё-таки здорово, когда в горькую годину снова найдёшь вдруг почти забытое: «Уже и теперь чуют далёкие и близкие народы: подымется из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая была бы непокорна ему... Да разве найдутся на свете такие огни и муки и сила такая, которая пересилила бы русскую силу!»

Чтение «Тараса Бульбы», этого торжественного гимна и казакам, и всей Земле Русской само по себе стало главным, но как бы заодно я выискивал в нём и «нашу» фамилию, мамину — с детства помнилось, что она там вроде была... нет! Дважды встретил одного из непобедимых героев старой Сечи — Ивана Закрутыгубу: «А у воев ворочает врага и бьёт Закрутыгуба.» Наверняка не слабый духом и телом был казачина! С «гоголевской» улыбкой, относящейся к собственному его родословию, — придуманный Николаем Васильевичем? Или реальный, как бы мы сказали нынче, герой?

Ведь вон как всё переплелось в повести: и один раз, и другой, и третий упоминаются в ней принимавшие участие в казацких подвигах курени: «Дятькивский» и «Корсунский», «Тытаревский и Тymoшевский», «Уманский», «Каневский», «Незамайковский»... Но ведь всё это — сегодняшние названия кубанских станиц, куда переселились когда-то с Хортицы запорожцы. Не умерла память! Жив и нынче вольный казацкий дух, погодите — ещё окрепнет и наберёт по-прежнему необоримую силу!

Вдохновение, почерпнутое из «Тараса Бульбы», вело меня по страницам вересаевской книги дальше, и каких только сближающих наш род с гоголевским не находил я подробностей: правда-правда! Были тут и «натуры глубокие», и «художественного склада», были с «тяжелым, своевольным и вздорным характером», чуть ли не самодуры... но разве тут заодно и на самодурство не согласишься — лишь бы к Николаю-то Васильевичу хоть на шагок да ближе? Конечно же, это всё — наше, это — мы!..

И вдруг на странице сто первой издания 1990 года я прочитал: «В 1829 году, когда Яким Нимченко, слуга Гоголя, выехал с ним в Петербург, Якиму было 26 лет.»

Само собой, что отцовская моя фамилия на украинский лад так и пишется... Ну, как это вам, ну — как?!

Лихорадочно листал книжку дальше, и через тридцать-сорок страничек нашёл отрывок из письма Николая Васильевича матери, посланного в начале той петербургской поры: «Да, сделайте милость, выгоните вон Борисовича, и чем скорее, тем лучше: он научил моего Якима пьянствовать. Теперь всё мне открылось, когда они вместе, Яким с Яковом и Борисовичем, ходили за утками и пропадали три дня: это всё они пьянствовали, и были так мертвецки пьяны, что их чужие люди перенесли. Я Якима больно...»

Тут деликатный составитель первого тома писем Гоголя Шенрок посчитал нужным прервать цитирование письма. Но что уж тут скрывать, что? Ясное дело, что Николай-то Васильевич не по головке Якима «больно» гладил!

А вот и доказательство, вот: «Гоголь обращался с ним, — сказано об Якиме в отрывке из литературных воспоминаний „Гоголь в Риме“, — совершенно патриархально, говоря ему иногда: „Я тебе рожу побью“, что не мешало Якиму постоянно грубить хозяину, а хозяину заботиться о существенных его пользах...»

Но я-то, а? Пошёл, выходит, по шерсть, а вернулся стриженным. Более того: наголо!..

Разве близкое знакомство Якима с «зеленым змием» — не есть, думал, прямое подтверждение твоего кровного с Якимом родства?

Ну, прямо как в детстве, когда друг дружке кричали: мол, что — получил?!

Дворянство-то своё липовое, дворянство?

Хоть смейся, хоть плачь.

Но разве это было не справедливо ли, если каждый из тех, кто ищет там, где не положил, нарывался бы в конце концов не то что на кукиш — на крепко сжатый кулак мнимого своего предка?

«Дворянства захотел, братец мой?»

И — в ухо!

И не один бы, не два человека, хорошо заплатившие перед этим жульничающим «архивариусам» за отыскание «дворянских корней», сидели бы потом за рулём «шестисотого» своего «мерседеса» кто с пластырем на щеке, а кто с хорошеньким синячищем под глазом. Не поделом ли?

Но всё-таки был Яким Нимченко не такой уж беспросветно дурною личностью — о своём «пане» что-то и разумел. Свидетельством тому приводимый Вересаевым отрывок из воспоминаний Григория Петровича Данилевского: (Яким, слуга Гоголя, — о Пушкине): — «Они так любили барина. Бывало, снег, дождь, слякоть, а они в своей шинельке бегут сюда. По целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то читал им свои сочинения, либо читая ему свои стихи.»

По словам Якима, Пушкин, заходя к Гоголю и не заставая его, с досадою рылся в его бумагах, желая знать, что он написал нового. Он с любовью следил за развитием Гоголя и всё твердил ему: «пишите, пишите», а от его повестей хохотал, и уходил от Гоголя всегда весёлый и в духе.

Ну, разве не трогательное свидетельство не только о дружбе двух великих сынов России, но и об их взаимном влиянии, щедром и благодатном! И ещё одно, тоже из Данилевского: «Накануне отъезда Гоголя за границу Пушкин по словам Якима (гоголевского слуги), просидел у него в квартире всю ночь напролёт. Он читал начатые им сочинения. Это было последнее их свидание.»

И тут однажды посреди этих весёлых, а больше грустных, конечно, размышлений о поисках собственных корней, о своей мало кем изучаемой до меня нашей родословной, я вдруг вновь вспомнил о Володе-Паяле, у которого мы купили в нашем Кобякове избу.

Там сложная получилась история. На самом-то деле изба принадлежала не ему, а его родному дяде Алексею Степановичу Глазову, плотнику, великолепному мастеру, который срубил её своими руками. Но поближе к старым своим годам дядя составил «дарственную» бумагу на своего племянника: для того, чтобы самому иметь право на квартиру в городе — в Одинцове, да только беда в том, что Алексей Степанович не был в этом смысле первооткрывателем — поступил так вслед за другими своими дальновидными родственниками, прямо-таки «задарившими» избами безотказного Володю Семёнова, у которого вскорости скопилась их чуть ли не целая деревня — кроме избы, законно принадлежащей лично ему в самом Захарове.

Шила в мешке не утаишь: конечно же, об этом прознали в милиции, и Володю уже не раз вызывали, требовали, чтобы он каким бы то ни было образом «избавился от частной собственности»... но как? «Оформить» бумаги на куплю да на продажу было в ту пору вообще делом очень непростым, а в Подмоскowie — тем более. Это теперь ты можешь иметь там не то что две-три избы, а хоть десяток самых настоящих дворцов — да пожалуйста! А тогда бедный Паяла мучился: в самом прямом смысле.

Появление его у нас в Кобякове всегда было и неожиданным, и торжественным, что ли — иного определёнья не подберёшь. Жарким летом он выходил из лесу, через который вела тропинка от ближайшей станции, от Скоротова, непременно в костюме-тройке и в галстукe, вьюжной зимой — в тёплом пальто, но обязательно почему-то в дорогах «мокасилах». Как умудрялся в них пройти по сугробам, для меня так и осталось тайной.

Иногда он бывал самый чуток навеселе, явно, как я понял потом, «для храбрости», но от нашего угощенья, как мы не старались, всегда наотрез отказывался: хотел, видимо, чтобы визит его носил строго «официальный» характер. Начинал он всякий раз одинаково:

«Опять мне пришла повестка из милиции...»

Но что я мог поделаться!

К кому я только не обращался за помощью, кто только в высших инстанциях обо мне не ходатайствовал и за меня не просил! Грустно это всё вспоминать: тем более при виде нынешних, и в самом деле, гигантских дворцов за высокими бетонными, каменными, стальными заборами, совсем стеснившими ближнее Подмоскowie.

И всякий раз я мялся, виновато вздыхал, заверял клятвенно Паялу, что делаю всё возможное и невозможное — тоже, но...

В один из таких своих печально-торжественных приходов он и рассказал о родстве и своём, и

Глазовых с няней Пушкина, с Ариною Родионовной. О вещах и бумагах из её сундука и о самом сундуке, увезённом потом «учёными людьми» вслед за вещами и бумагами... По замыслу Володи, скорее всего, это должно было придать мне сил в борьбе с бюрократами и чиновниками, но дело с «оформлением» так и не подвигалось: и год, и три, и пять лет, и восемь... как он, бедный, и в самом деле столько терпел?

Пришёл однажды озабоченней прежнего:

«Выговор от парткома получил, — сказал хмуро. И по слогам продолжил. — За част-но-собствен-ничес-кие на-стро-ения...»

«Извини, ради Бога!» — начал я как всегда оправдываться.

«Это бы ладно, но ведь дело такое: отберут у меня избу — и у вас тоже отберут. Отдадут кому-то другому, — и руки приподнял выше головы. — И как я в это дело ввязался, как?! Эх, ты... Мне знакомые мужики говорят: плюнул бы ты на этого писателя, да и всё! Отдал он деньги? Отдал. Дядьке отдал, а не тебе. А изба чья — по документам? Твоя изба! Вот и продай тому, кто может оформить. Покупателя мне привели, он — местный, проблем с оформлением не будет. Давай, говорят, при нас — по рукам...»

Прямо-таки дурацкое положение, в котором мы оба оказались, давно уже выводило меня из себя, я вспылил:

«Ну, и ударил бы! По рукам... Что ж теперь?! Взял бы деньги...»

Он прямо-таки вскрикнул:

«Да не могу я, не могу!»

Я тоже чуть не кричал:

«Да почему не можешь-то?!»

Интонация у него сделалась ну до того проникновенная:

«Ты так ничего и не понял, Леонтьич?!»

Махнул беспомощно рукой и через огород пошёл к лесу: не хотел, стало мне ясно, чтобы деревня видела его в расстроенных чувствах.

Потом пришла пора других крайностей, и наши с Володиёвым Семёновым проблемы сделались мелочью, почти не стоившей внимания. Всё было в один момент «утверждено-подписано», в благодарность за десятилетнее долготерпение я принялся совать Паяле деньги, давно оставленные как раз для этого случая, но он строго отвёл мою руку, опять сказал как-то уж очень прочувствованно: «Когда поймёшь?.. Глазовым да Семеновым нельзя себя баловать — нас в Захарове слишком хорошо знают. Может, для кого-то это так... мелочи, которые ничего не стоят. Но мы этим дорожим.»

При нашей-то сумасшедшей московской жизни, когда себя не помнишь, — да не забыть? И я переспросил теперь:

«Да чем дорожите, чем?»

«Родня наша! — сказал он почти торжественно. — Арина Родионовна, я говорил... Мы — потомки! Александра Васильевна Глазова, что в твоей-то избе жила — родная моя тетя.»

По нашим скороспешным временам, чуть ли не всё и вся стирающим в памяти — мало ли?

И уважения к предкам своим. И — благородства.

И вот обе эти семейные истории — реальная история Володи Семёнова, Владимира Николаевича, и мифическая моя — с горе-охотником Якимом Нимченко, предположительно — родственником, долго жили во мне отдельно, а потом вдруг однажды я сказал себе то самое, гоголевское: ба-ба-ба!..

А ведь любопытная штука получается, и в самом деле, — прелюбопытная!

Пушкин и Гоголь после отъезда Николая Васильевича в Рим больше не виделись, но дружба между ними впоследствии получила продолжение в близком родстве их потомков. Два или три года назад в одном из многочисленных тогда комитетов по подготовке 200-летнего юбилея Александра Сергеевича я познакомился с Георгием Александровичем Галиным, в роду у которого как раз и сошлись эти дорогие русскому сердцу фамилии, записал тогда его домашний телефон, и вот нынче, стоило позвонить, Георгий Александрович живо заговорил: «Мария Александровна, урожденная Пушкина, дочь Александра Александровича, старшего сына Пушкина, вышла замуж за Николая Владимировича Быкова, сына одной из сестёр Гоголя, Елизаветы Васильевны...»

Как это великолепно — когда ничего не надо придумывать, и когда это помнится как таблица умножения прилежным школьником: разбуди среди ночи — тут же начнёт «от зубов отскакивать.»

Был у нас с Георгием Александровичем при первом знакомстве и разговор об Якиме Нимченко.

«Как? — удивился он теперь. — Вы так и не посмотрели этот альбом? Говорил вам: называется „На родине Гоголя“. Издан в Полтаве в 1902 году. Составила его Ольга Васильевна Гоголь-Головня, как понимаете, — сестра. В Исторической библиотеке это проще всего найти. Есть там и портрет Якима Нимченко... так до сих пор не видели?»

Нерадив, подумал я о себе после разговора с Георгием Александровичем: ох, нерадив! Некому «побить рожу»?.. Хотя вокруг теперь множество народу не только до этого охочего, но сделавшего сие чуть ли не основным в жизни занятием... нет, надо сходить в «Историчку», надо!

О розысканиях, поглубже этих, потом, коли Бог даст, напишу, а пока остаётся думать, что Тот, кто не только «заключает браки на небесах» — вообще устраивает наши судьбы, то ли просто в минуту отдыха от больших дел, а то ли для постановки некой полунасмешливой задачки для нас, грешных, свёл вместе потомков Арины Родионовны и дальних родственников Якима Нимченко. Наследников няни да слуги... Но так ли уж это плохо?

Няня — почти родной человек, а то и вообще родной: совсем недавно няней звали старшую сестричку, а то даже и старшего брата, он тоже был — няня.

Достаточно хорошо знающему Кавказ, мне первым делом приходит в голову ласковое «нынэ», «нан», «нана» в языке у черкесов. «Мама» и «бабушка».

И слова эти живут в сердце и у аульского сорванца, и у бесстрашного джигита — так же, как мама и бабушка навсегда остаются в сердце у каждого, живущего на нашей теплой и всё ещё пока зелёной земле.

А что слуги?

Великий свой и благородный смысл есть и в этом слове. Конечно, помните лермонтовское: «Слуга царю, отец солдатам...» И недаром ведь мы говорим: «верный слуга Отечества», «преданный слуга общества», «народный слуга». А разве не похвала и уважение звучат в словах: «служить верой и правдой», «служить примером»? Разве можно без благодарности вспомнить усердного и опытного «служаку» — чаще всего старого воина?..

Слуга слуге рознь, это так. Но ведь недаром, уверяя кого-то в своей благожелательности и открытости, в чистосердечии своём и дружелюбии, мы говорим: «ваш покорный слуга» или — «слуга

покорный».

Что же касается родословного дерева, то у каждого из нас, конечно же, оно древнее — у всех, кто на Божий свет появился. Дело в другом.

У кого-то такое дерево попышней, бывает, всего лишь потому, что о нём постоянно помнят и по мере возможностей усердно за ним ухаживают. Но и на таком дереве есть «ветки» мощные и раскидистые, налитые ядреным живительным соком, а есть полузасохшие и совсем истончившиеся... Что можно, казалось бы, в их давно свершившейся судьбе изменить? Для явленного недавно, молодого совсем отростка все они остались ниже него, но в том-то и штука, что здоровая и полноценная жизнь каждой новой веточки как бы придаёт оправдание и смысл тем, которые в тяжёлые для дерева, бесплодные годы перевелись или засохли.

То же — с каждым из нас.

Представить только: какая волшебная возможность даётся нам вместе с нашим рождением!

Если проявишь доброе желание и стойкую волю для того, чтобы вырасти добропорядочным человеком и настоящим слугою страдающего нынче от многих бед и печалей Отечества, то жизнью своей, своим служением ему, ты исполнишь не только лично своё высокое предназначение, но и вернёшь своим предкам когда-то утраченное ими из-за жестокости мира достоинство либо принесёшь славу, которой до тебя в роду ещё и не было.

Вот занятие — и в самом деле, достойное всякого, кем бы он и где бы не родился.

А прицепиться к ветке чужого родословного дерева, раскачиваться на нем и громко по этому поводу верещать — дело больше, пожалуй, обезьянье.

## ТАЙНА «ДРАГУНСКОГО БАТЮШКИ»

«Казачий» художник Сергей Александрович Гавриляченко, проректор «Суриковского» института, стал недавно профессором и получил звание «Заслуженного художника» России: к тому шло.

Старые его товарищи, к которым и себя имею честь относить, всегда отдавали должное и его профессиональному мастерству, и академическому складу ума этого талантливого творца, и его обширным знаниям, особенно в области отечественной истории. Попробуй найди собеседника более увлечённого и более сведущего!

Этим скорее всего и объясняется, что в мастерской у Гавриляченко, когда среди картин, посвященных «дворянам земли» — казакам, впервые увидел на холсте скачущего посреди лавы Александра Сергеевича Пушкина с пикой в руке и восхитился прежде всего и верно схваченным кавказским колоритом, и вообще — достоверностью картины, друг мой заговорил, словно упреждая иные, уже недоверчивые вопросы: «Это исторический факт, можешь проверить. С чего начнём? С „Нижегородского драгунского полка“ или сразу — с Вересаева? „Пушкин в жизни“, тут всё есть.»

Протянул мне пухлый том со множеством повидавших виды, уже закурчавившихся по обреза бумажных закладок: «Вот, начиная с первой...»

Ещё раз помянем благодарным словом писателя Викентия Викентьевича Вересаева: как хорошо, как славно, что когда-то он собрал всё это вместе — отрывки из воспоминаний современников о великом

нашем поэте, письма, записки, строчки из дневников... Вот свидетельство М. И. Пущина, лицейского товарища и близкого друга Поэта, неожиданно встретившего его на Кавказе в июне 1829 года в командирской палатке Н. Н. Раевского под Арзрумом: «А. С. Пушкин бросился меня целовать, и первый его вопрос был: „Ну, скажи, Пущин, где турки, и увижу ли я их, я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. Дай, пожалуйста, мне видеть то, за чем сюда с такими препятствиями приехал!“... Пушкин радовался, как ребёнок тому ощущению, которое его ожидает.»

Давайте запомним, это нам потом пригодится: радовался, как ребёнок.

И снова послушаем Пущина: «Я просил его не отделяться от меня при встрече с неприятелем, обещал ему быть там, где более опасности... Раевский не хотел отпускать его от себя, а сам на этот раз, по своему высокому положению, хотел держать себя как можно дальше от выстрела турецкого, особенно же от их сабли или курдинской пики. В это время вошёл Семичев (майор Нижегородского драгунского полка, сосланный на Кавказ из Ахтырского гусарского полка) и предложил находиться при нём, когда он выедет вперёд с фланкерами полка...»

Вот как описывает, что было потом, свидетель событий того дня Н. И. Ушаков: «Перестрелка 14 июня 1829 года замечательна потому, что в ней участвовал славный поэт наш А. С. Пушкин... Когда войска, совершив трудный переход, отдыхали в долине Инжа-Су, неприятель внезапно атаковал передовую цепь нашу. Поэт, в первый раз услышав около себя столь близкие звуки войны, не мог не уступить чувству энтузиазма. В поэтическом порыве он тотчас выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах. Опытный майор Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин, одушевленный отвагою, столь свойственной новобранцу-воину, схватив пику подле одного из убитых казаков, устремился против неприятельских всадников. Можно поверить, что Донцы наши были чрезвычайно изумлены, увидев перед собой незнакомого героя в круглой шляпе и бурке.»

Ну, вот они теперь на картине, вот: и полуоборот знакомого лица, и «круглая шляпа», и удобная в боевой жизни укороченная бурка...

Понятное дело, что художник, только недавно картину закончивший, сам, как это бывает с натурами искренними и цельными, всё ещё оставался в том давнем времени, всё ещё посреди казачьей лавы, и мне пришлось как бы даже охладить пыл его:

— Как назвал-то картину?

Он откликнулся с живостью:

— А так и назвал. Как раньше баталисты называли... так и я. Вот: эта будет «Александр Сергеевич Пушкин в деле 14 июня 1829 года в долине Инжа-Су.»

С радостью я потом увидел эту картину на выставке в Манеже. И очень пожалел, что не захватил в тот раз свою «мыльницу» от «Кодака»: возле картины бочком стоял высокий негр, сосредоточенно выворачивал голову — словно пытался заглянуть Пушкину в лицо. Я всё понял, заговорил с ним запросто:

— Узнаёте? Родню свою?

С каким добросердечным дружелюбием он отозвался! С какою гордостью и с какой благодарностью:

— Да, да! — и ткнул себя пальцем в грудь. — Эфиоп, эфиоп!

Картину я видел потом на других выставках, видел уже в репродукциях на обложках добропорядочных журналов. С каждым разом проникался к ней всё большей симпатией, и скоро привык душой: как будто написана она была уже очень давно. Была всегда. И написать её должен был не кто-нибудь иной — именно Сергей Гавриляченко, один из самых преданных певцов казачьей



темы: несколько лет назад он уже получил за это премию «Роман-газеты» и Союза казаков России с символическим названием «Стремя».

И все же в истории создания картины что-то оставалось для меня недосказанным, смутно манила какая-то связанная с ней, близкая сердцу тайна, а что это за тайна, понять я никак не мог...

Тут, пожалуй, придётся очень коротко рассказать историю, о которой я, коли даст Бог, непременно напишу потом поподробнее. Дело в том, что два десятилетия назад, в горькие после гибели младшего сына, семилетнего Мити, месяцы, когда нам хотелось бежать из Москвы куда глаза глядят, мы приобрели в долг старую избу в деревне Кобяково под Звенигородом, неподалёку от Захарова, и когда, как водится, подняли на счастье, эх, где оно, где, с щедро уступившим нам избу бывшим хозяином две-три рюмки самого традиционного в таких случаях крепкого напитка, он вдруг отчего-то расчувствовался: «А, знаете, что это за изба? Кто её ставил — знаете?»

И речь пошла о потомках Арины Родионовны: достаточно молодой ещё наш доброжелатель взялся рассказывать о хранившихся в доме его бабушки в Захарове заветном сундучке — сперва в нём незаметно истощились и окончательно исчезли давно пожелтевшие бумаги, после — старомодные вещички. А потом настала очередь и самого сундука: эх, какой был громадный и какой был красивый, этот окованный железом сундук! Но, может быть, тем, кто занимается наукой о Пушкине, кто собирает всё, что с его именем связано, он был куда нужней, верно?

По давней «захаровской» традиции, которая почти исключала фамилии, а предпочитала прозвища, бывший хозяин избы нашей называл себя «Володя-Паяла» и наставлял только так, коли вдруг станем почему-либо искать его, о нём в Захарове спрашивать. Я и рассказ свой, если Бог даст написать его, об этих местах под Большими Вязёмами, где прошло детство Пушкина и где в Голицыне между церковной оградой и стеной Преображенского храма навсегда осталась могила его младшего брата Николеньки, скорее всего озаглавлю именно так: «Володя-Паяла».

Так вот, проезжая теперь в звенигородской электричке мимо платформы с табличкой «Захарово» и всякий раз вглядываясь в неширокую кромку леса, за которой прячется вновь отстроенный недавно дом Ганнибалов, отчего-то я всё чаще стал оживлять в памяти «Пушкинскую» картину моего товарища, а однажды, возвратясь в Москву, тут же достал с полки первый том Александра Сергеевича, снова нашёл датированное 1815 годом «Послание к Юдину». Поэту едва исполнилось шестнадцать, но он уже пишет: «Смотрю с улыбкой сожаленья на пышность бедных богачей...» Это оттуда, из «Послания». А вот и «мирный уголок, с которым роскошь незнакома»:

Мне видится моё селенье,

Моё Захарово...

Именно здесь, в старинном доме Ганнибалов, «привиденья, родясь в волшебном фонаре, на белом полотне мелькают, мечты находят, исчезают, как тень на утренней заре...» О чём же эти мечты?

Среди воинственной долины

Ношусь на крыльях я мечты,

Огни во стане догорают:

Меж них, окутанный плащом,

С седым, усатым казаком

Лежу — вдали штыки сверкают,  
Лихие ржут, бразды кусают,  
Да изредка грохочет гром,  
Летя с высокого раската...  
Трепещет бранью грудь моя  
При блеске бранного булата,  
Огнём пылает взор, — и я  
Лечу на гибель супостата.  
Мой конь в ряды врагов орлом  
Несется с грозным седоком —  
С размаха сыплются удары.  
О вы, отеческие лары,  
Спасите юношу в боях!  
Там свищет саблей он зубчатой,  
Там кивер зыблется пернатый:  
С черкесской буркой на плечах  
И молча преклонясь ко гриве,  
Он мчит стрелой по скользкой ниве...

Теперь-то вот уже и строгие научные трактаты готовы подтвердить, что наше будущее рождается прежде всего в нашем воображении... Да если ещё в таком воображении!..

Недаром ведь нынешний эфиоп в современном нашем Манеже выворачивает голову, словно стремясь заглянуть в лицо Пушкина.

«Среди воинственной долины...»

И вот она, сначала в пылких мечтах, само собой неоднократно повторяющихся...

«О, если бы когда — нибудь сбылись поэта сновиденья!» — восклицает шестнадцатилетний Пушкин там же, в «Послании к Юдину».

И ведь сбылись!

Всё чаще мне теперь кажется, что жизнь Поэта была бы в каком-то смысле неполной, если бы этого не случилось: его прямого — с пикой в руке! — участия в «деле 14 июня 1829 года в долине Инжа-

Су».

Сергей Александрович Гавриляченко, шедший к своей замечательной, я уверен в этом, картине не из подмосковного Захарова, где прошло детство Пушкина — исходивший из исторической правды, подтверждённой не одним документальным свидетельством, наверняка это тоже почувствовал, и на картине своей, как глубокий и чуткий художник, воспроизвёл, конечно же, одно из главных, может быть, событий в жизни русского гения, редко, как это не покажется странным, замечаемых исследователями: показал нам поэта — воина, поэта — защитника Отечества. Патриота.

Из-за необычного для военного лагеря вида солдаты принимали Пушкина под Арзрумом за полкового священника. «Видя постоянно при Нижегородском драгунском полку, которым командовал Раевский, — писал в своих воспоминания М. В. Юзефович, — звали драгунским батюшкой.»

Конечно же, и порывом своим, отныне запечатленным и в живописи, он преподал всем нам образец служения Отечеству, «драгунский батюшка».

И, само собою, — казачий...

...Когда этот маленький рассказ был написан, я решил показать его Сергею Александровичу: вдруг да найдёт в нём какую-либо неточность либо оплошку. Для начала он взялся было слово за словом вымарывать из текста все похвалы в свой адрес, а когда я буквально отнял у него карандаш, развел руками:

«Хорошо!.. Так и будем считать, что только Гаврила и занимается Пушкиным?»

«Гаврила — это...»

«Ну, да: у них это моя „подпольная кличка“. У студентов. Да и не только у них. Из института в Союз художников перешла...»

«Вступила в Союз...»

«Вот-вот: теперь я и там уж давно — Гаврила... Но ты знаешь, с каким интересом ребята здесь берутся за Пушкина? С какой охотой. С какой выдумкой... да вот, погоди-ка!»

Достал мобильник, быстренько набрал номер:

«Вера?.. Постучи там в мастерскую Гавриляченко!»

Как тут было не пошутить:

«Вызываешь собственный дух?»

Но он как будто даже задумался:

«Нет, там свой!.. Упрямый. Да с какой энергетикой! Тоже, правда, — донская...»

«Ну, известное дело, — продолжал я пошучивать. — Донцы — молодцы, кубанцы...»

Но закончить весьма нелестный отзыв о своих земляках мне не пришлось.

«Родя? — заговорил Сергей Александрович. — Твоя картинка в институте? „Пушкин и Байрон“, да? Опять увезли?.. Это-то хорошо, да вот... а фотография хотя бы? В папке твоей? Конечно, найду, спасибо...»

С кем мой товарищ говорит, уже понял: только что «выпустившийся» Родион Кузнецов, один из любимых учеников.

«А что он — у тебя в мастерской?»

«Своей-то пока нет и неизвестно, когда еще будет. Работал дома, снимают с женой квартиру. А сын родился...»

«Ну, если — сын!»

«А он, ты понимаешь, в такой счастливой поре — и спал бы с кистью в руках, — разулыбался профессор. И снова посерьезнел. — Подождешь тут? Схожу в деканат за папкой...»

«Еще бы не обождать — Пушкин и Байрон!»

«А вот поглядишь, как Родя это решил.»

На фотографии среднего формата у двери собственного кабинета на Мойке — задумчивый Александр Сергеевич со сложенными на груди руками, а рядом с ним в таких же темных глухих тонах библиотечные полки, на одной из которых том к тому стоят золотистыми корешками к зрителю многочисленные издания Байрона на английском... Стоят так, что сразу вдруг понимаешь: и бережно собраны, и без внимания надолго не остаются...

Вот ведь не только остроумное, и в самом деле, решение, но и какое глубокое, думал я потом, когда картину донского казака Родиона Кузнецова увидел потом на выставке «вживе». Стоять перед нею можно долгонько: есть в ней магия, которая не только от нее не отпускает — о стольком из области всемирного духа заставляет задуматься.

Но тогда, в институте, все продолжал пошучивать: мол, что же ты, Сергей Александрович, отказываешь своему любимому Родю в духовном родстве? Он — твой ученик, ты — учитель!

«Заставляешь, Г. Л., сказать тривиальное? — вздохнул профессор живописи. — Что вот он в этом случае наш общий учитель: Александр Сергеевич Пушкин. Вышедший из того Царскосельского лица, от которого все мы по многим разным причинам навсегда остались так далеки...»

«За-го-во-рил! — посмеивался я. — Заговорил!.. Как на лекции в аудитории?»

Но он уже приподнял палец:

«Пока не забыл!.. Что касается эфиопа возле моей картинки, может, это был наш Кадыр? Разве ты не знаком с ним? Он всегда приходит на институтские вечера, когда приглашаем попеть ребят из „Казачьего круга“ — он прямо-таки боготворит этот хор. Понимаю, что есть за что, но...»

Я тоже улыбнулся:

«Казачий круг» и в Африке — «Казачий круг»?

«Защитил диплом, уже собрался на родину, — снова посерьезнел мой друг. — Может быть, хочешь поговорить с ним? Нынче он как раз должен прийти — будет паковать свои картины.»

Кадыра Кери Аусмана мы застали в одной из мастерских института: стоя перед холстами, прикидывал, как их получше сложить — дорога им предстояла, и в самом деле, неблизкая.

На полотнах внушительного размера изображены были гигантские баобабы и крошечные по сравнению с ними людские фигурки: на сумеречном закате; под иссиня-черным ночным небом; совсем ранним утром, которое в России называется «досветки»... Вариант африканской тоски по родине?

Вместе с учителем-профессором, как могли, разделили студенческую тоску: родина для африканца,

она и в России — родина!

Потом я начал своё:

«Тогда в Манеже вы так долго вглядывались в „пушкинскую“ картину Сергея Александровича...»

«Да, их там много!» — ещё не дослушав, охотно отозвался Кадыр, и я, настроенный на одного, на Пушкина, сперва не понял выпускника-африканца.

«Кого, извините, много?»

«Казачков! — сказал он радостно. — Русских казаков.»

Невольно пришлось улыбнуться:

«Ну, вот! Даже в Африке знают, что русский и казак — одно и то же. А на Кубани требуют, чтобы национальность свою так и обозначать: „казак“!»

«А ты думал, он в Пушкина вглядывался? — рассмеялся Сергей Александрович. — Нет, Пушкин для Кадыра — свой, а вот казаки...»

«Можно говорить, что казаки тоже... почти? — охотно откликнулся Кадыр. — Почти свои, да. Эфиопы и казаки очень похожи.»

«У тех и у других есть кони, — продолжал дружелюбно посмеиваться Сергей Александрович. — Как раз сейчас мы и видим, как наш Кадыр Кери садится на своего любимого конька... разве не так, Кадыр?»

«Так, так! — прямо-таки лучился от широкой улыбки африканец. — У тех и у других есть отвага, но нет злобы. Храбрость в них есть вместе с уважением тех, кто живёт по-другому. Эфиопы тоже как казаки очень широкие. Такая же душа: мы всех понимаем и всех принимаем в свою страну...»

«В том числе и казаков принимали, — со вздохом поддержал Сергей Александрович. — После нашей „гражданской“ в Абиссинии было много казаков-эмигрантов, которые потом разошлись по всей Африке.»

Как тут не отозваться на горькую тему казачьего рассеяния, которая и нынче у нашего брата остается излюбленной!

«В том числе и тот, — невольно припомнил, — который был потом вождем у пигмеев?»

«Со всеми вытекающими для пигмеев последствиями, рост которых с тех пор несколько увеличился, да! — с профессорской серьезностью согласился Гавриляченко. — Но африканское расселение начиналось на родине Кадыра...»

«Так, так, — радовался Кадыр. — Всегда всех принимали: и православных христиан, и мусульман.»

«Брат у Кадыра — православный» — сказал Гавриляченко.

«А сам?» — я спросил.

«Сам мусульманин, да, — объяснил африканец. — Но у нас христиане и мусульмане дружат — как мы с братом. С казаками тоже всегда были мусульмане: башкиры и татары. Всегда были последователи Будды — калмыки и буряты.»

«В том, что Кадыр, когда вернётся, соберёт в своей Аддис-Абебе казачье землячество, не сомневаюсь, — дружелюбно подзадоривал Гавриляченко своего ученика. — А вот удастся ли ему

создать казачий ансамбль...»

«О, это было бы слишком хорошо! — обрадовался Кадыр. — Тогда бы я, наконец, под эти удивительные песни разгадал тайну... она есть! Пушкин — я понимаю. Казаки — тоже пытаюсь понимать. Но когда это вместе: стихи Пушкина и песни казаков... Пушкин и казаки. Это — тайна, тайна! Пока я думаю, что он очень любил казаков раньше всего потому, что рядом... нет, как это? В нём. Внутри в нём!.. Жил эфиоп. Потому он очень свой казакам, они для него очень свои... так?»

Он всё пытался поточней подбирать слова, а я потихоньку улыбался и думал: ну, вот, вот — выходит, и ещё одна тайна «драгунского батюшки»!

Над смыслом которой, вспоминая студенческие годы в России, наверняка будет размышлять в своей жаркой Эфиопии ещё один «приписной казак» — молодой художник Кадыр Кери Аусман.

## СОН ПЕГАСА В БОГАТОМ «СТОЙЛЕ»

Случаются сны, что и на голову не натянешь, как говорится. Этот — нет.

Он, как в детском «конструкторе», состоял из подробностей, одни из которых давно уже поселились в душе и памяти, другие возникли только что, и в самом деле, — вчера, но и то, и другое было такое свое, кровное и родное, что в номере «четырёхзвездочной» — куда теперь без упоминания об этом?! — «Стойлянки», проснувшись, я ощутил вдруг не то что умиление — ощутил сладостный восторг и ощутил прилив тихой благодарности, которого не бывало уже давно, — как хорошо, что нынче я твердо знал, кому эта неизъяснимая благодарность предназначалась. Была она одной из главных составляющих сна, как бы его несущая... возблагодарим также прошлое, возблагодарим Сибирь с её ударной комсомольской стройкой — другое дело, что нынче тоже иначе думаешь о том, по чьей ты воле попал туда... так вот.

Накануне мы стояли на смотровой площадке Стойлинского карьера в Старом Осколе и сквозь легкую утреннюю дымку глядели вниз, на путаницу дорог, серпантинном уходящих на черное дно гигантской воронки, рукотворного этого цирка с разноцветными, разной толщины террасами, на которых там и тут грызли, кто что, сильно уменьшенные расстоянием экскаваторы, и от них медленными жуками отползали тоже крошечные сверху «белазы» — какой с горкой «синяка» на горбу, какой — с «краснухой»... Мы говорили о темно-желтой «юре» — глине юрского периода, которая вместе со «скальной кровлей» ни в какое дело не шла, ни для чего не годилась: в отличие от тоненькой кожицы чернозема на самом верху, от двадцатиметрового слоя «кирпичной» да «керамзитовой» глины под ним, от тридцатиметровых толщ — одной за другим — мела и мергеля и почти такого же слоя песка, под которым и начиналась юра — «глино-песчаная смесь», лежащая на покрывающей руду «скальной кровле».

«В прошлом году с отцом Василием из церкви святого Пантелеимона, знаете эту церковь, мы ехали к нему в Долгую Поляну, — говорил я начальнику технического отдела Рудоуправления сорокалетнему Евгению Фёдорову, симпатичному, слегка похожему чертами на выходца с Северного Кавказа. — Отец Василий на минутку притормозил и указал на маленькое, уже засыпанное с краю сельцо под самым отвалом. Давно заросшие бурьяном сады, скособооченные избёнки с провалами окон: мол, вот, скоро оно будет окончательно пустой породой завалено... А мы до этого уже выяснили, что он сюда вслед за нынешним белгородским владыкой переехал из Иркутска, знает Валентина Распутина. Я и говорю ему: батюшка! Выходит, в „Матёре“ у Валентина-то Григорья деревня уходит под воду, а в нашем случае она скроется под землёй? Теперь вопрос к вам, Евгений: хочешь-не хочешь, для деревеньки для этой как бы вновь наступит юрский период?»

Словно защищая неведомо отчего горно-обогатительную фирму свою, родной Стойлинский ГОК, не понимающий пока, к чему я это веду, Федоров горячо заговорил о том, какие прекрасные дома получили жители пропащей деревеньки в Долгой Поляне, какие — кто захотел — квартиры в самом Старом Осколе, но в этом ли было дело?!

Всеми четырьмя копытами оттолкнувшись от асфальта смотровой площадки, с которой так хорошо было видать несколько приготовленных к очередному — раз в две недели — взрыву черных полков, пятнанных рыжими, забившими заряды в руде, песчаными пыжами, неудержимый Пегас мой взвился высоко над карьером, над городом и всем, что было окрест, над соседнею Прохоровкой с бессмертною ее славой, над всем удивительным Белогорьем, и от глубинной России с ее крепчайшим, из богатой руды, сердцем мчался над зеленью воронежских дубрав на мою теплую родину, на Кубань — «до кунаков», «до черкесов».

«Несколько лет назад я перевёл роман адыгейского писателя Юнуса Чуюко, — взялся я рассказывать Федорову. — „Сказание о Железном Волке“ — такое название... вот тоже: о Железном! Недаром переводчика в Старый Оскол-то, поближе к руде тянет, а? Давно уже. Ну, как магнитом! Так вот: кроме всего прочего речь там идёт о строительстве Краснодарского моря — оно потом залило несколько аулов, но перед этим пришлось вырубать сады, чтобы вода потом не „зацвела“, бетонными плитами пришлось накрывать могилы на кладбищах... У моего друга один из героев, лётчик, приезжает на родину с опозданием, пытается достать из-под плиты останки матери, чтобы перевезти их в другое место, и его чуть не убивает обломками. А тут ничего этого не надо: сыпь земельку, она всё надёжно укроет... всё, что мы вверх дном перевернули... или не так?»

Накануне всю утреннюю смену я просидел в просторной, на верхотуру вознесенной кабине «белаза» рядом с Алексеем Меденцевым — спасибо вам, Алексей Андреевич, спасибо, Алёша, у вас — не самосвал, а «машина времени»: вернула меня в прошлое... Сидел я и «про себя» посмеивался, видя, как на махине своей в сто пятьдесят тонн Меденцев осторожненько объезжает шелудивого (хоть незадолго перед тем «по решению коллектива», рассказывал водитель, его постригли наголо) пса, который по-хозяйски разлётся посреди дороги в карьере. Посмеивался, вспоминая, что мы любили тогда, почти полвека назад, писать, как чуть не со всем миром конфликтующий по причине упрямого характера бульдозерист пощадил крохотную берёзку, оставил на площадке расти; как монтажник, сорви-голова, бережно, со всеми предосторожностями с «отметки восемьдесят» снимал свитое, считай, из строительного мусора гнездо с птенчатами: перед этим их в шею, что называется, толкали, монтажников, на каждом рапорте чехвостили, почему выше не идут, всех сдерживают, а они ждали, пока вылупятся синички да чуть подрастут — вон как родители теперь носятся над жёлтой каской, вон как кричат, а яйца, уже наполовину насиженные, они бы наверняка бросили... И вот сидел я рядом с водителем, переживавшем совсем недавнее горе... ох, страшное! Может, Алексей Андреевич, я всё-таки расскажу, и оно ещё хоть чуть да отпустит?..

Жена позвонила сыну в воинскую часть в Рязань, но к телефону его не подозвали, якобы не нашли: мол, где-то во дворе гаража болтается, вот мы ему зададим, ишь, не пишет родителям! Мать есть мать: позвонила ещё раз, и другой командир ответил почти такой же неопределённо-строгою полушуткой, а тут как раз приехал парень из той же части, кровати в казарме рядом: его уже месяц, говорит, не видать — в какой-то дальней командировке... в какой?! И мать решила: послали в Чечню. И запилила своего Алексея Андреевича: неужели ты, и правда, такой отец, что лень сесть в машину... Сели, наконец, и почти под Рязанью их ударил в бок грузовик, словно ножом отрезал заднюю часть «жигулька». А парень, и в самом деле, в командировке был, и вовсе недалеко — успел на похороны родной матери: ну, что им там стоило не отбрёхиваться, а сразу бы сказать правду?!

Вот как она неожиданно достаёт, чеченская война, вон — где!

Сочувствуя Алексею Андреевичу, который поглядывал на меня сперва с холодком, а потом всё-таки доверился, поделился недавним горем, я зажмурился, не зная, что сказать ему, как утешить, — только опускал голову, вёл из стороны в сторону — не приведишь никому, не приведишь! — а когда поднимал, опять видел развороченное дно карьера, петлявшую с одного уровня на другой дорогу, островки руды, горки породы, где уже успела и трава загустеть, и одно-другое деревце вырасти...

ковшом экскаватора ли толкнули, под собственной тяжестью ли посунулась, — и вот уже берёза, укоренившаяся в расщелине съехавшей вниз, сильно накренившейся глыбы лежит теперь боком, но продолжает упрямо зеленеть и одной стороной тянуться к солнышку... мать-природа! Мать-Родина!

Не так ли и ты пытаешься залечить свои тяжкие раны? Не только, что все прошедшие годы оставили в Сибири, на Кубани, на Кавказе, в центре черноземной России — ещё и те, кровоточащие, что растравили мы нынче, что нанесли своей стране необузданным воровством и оголтелым разором... Даст ли Бог?

Старый Оскол вообще и Стойлинский ГОК — по-здешнему «Стойло» — в этом смысле можно считать пока счастливым оазисом: город трудится с напряжением, какого кое-где здесь не бывало и раньше.

В кабинете главного инженера Рудоуправления я пытался уговорить его дать мне возможность понаблюдать за предстоящими взрывами из диспетчерской, но он был категоричен: нельзя! Недавно у них случилась история почти фантастическая: два куска руды от двух одновременных взрывов столкнулись в воздухе, и осколком убило сварщика, который спокойно себе работал чуть ли не в полутора километрах от зоны опасности.

«А теперь? — спрашивал главный. — Вы видели, что взрывчатка уложена на террасе почти под самой площадкой? Недаром же оцепление усилили — муха, как говорится, не пролетит.»

«Спасибо за идею! — попробовал было я взять шуткой. — Придётся мне как раз туда попроситься: в оцепление. Когда-то у меня роман вышел: „Пашка, моя милиция“, и мне за него приказом министра МВД значок „Отличника“ вырешили. Знал бы — нацепил. Но, может, и без него позволят рядом-то постоять?»

«На Запсибе тогда говорили, что они вам и пистолет дали?» — спросил молчаливо слушавший до этого наш диалог достаточно пожилой, с седым ёжиком, с внимательными глазами на массивном лице, плотный крепыш, или, как в Сибири больше, — крепак. Оглядывая друг дружку, поручкались, он сказал:

«Ковалёв Виктор Степанович. Бригадиром электриков на заводе был, когда пускали первую домну. Мэр наш, Николай Петрович, бригадой монтажников тогда руководил, более знаменитой и не было, чем бригада Шевченко, а мы были уже эксплуатация — рядом работали... вы, наверно, сюда — к нему?»

Так вот, объезжая старых товарищей, и собираешь о себе байки. Недаром пошучиваю: мол, Кузбасс — моя историческая родина. Столько ходит всяких историй, что сам давно запутался: что правда, а что — присочинили. Но это было. После того, как «Пашку» напечатали, пришёл ко мне прототип, значит, главного героя Павла Береснева — Павлик Луценко, наш первый на стройке милиционер. Расстегнул на груди шинель, достал из-за пазухи кобуру с торчавшей наружу ручкою в рубец:

«Тебе! За твой роман. Ревнаган! — достал его, пощёлкал, переводя пустой барабан, клацнул курком и полез в карман за патронами. — Знаем трое: ты, я и Шилов Иван Фёдорович... Спрячь понадежней. И — могила!»

«Тяжело в деревне без нагана, — как некогда в одном ревстихе говорилось, — но с наганом — вдвое тяжелей!»

Тогда я испытал это, испытал!

Несколько дней без передыху своё «наградное оружие» перепрятывал. Куда ни положу — на него тут же наткнётся либо жена, либо жившая у нас тогда моя сестра-студентка, либо трехлетний сын Гоша. Этот досаждал мне особенно: едва научившись ходить, он первым делом как будто вступил в общество «Юный сыщик», и только тем теперь был и занят, что все мои тайники один за другим обнаруживал...



А через неделю, когда я вышел, наконец, на свежий воздух, ко мне радостно бросился чуть ли не первый встречный, наставил на меня указательный палец:

«На медведя собираемся — дашь свой „пух-пух“? Для страховки.»

«Да откуда ты взял...», — начал было я, но он не дал мне договорить:

«Как это — откуда? Павлик сказал. Смотри, говорит, больше никому — знаем только мы четверо: начальник милиции Шилов, я, да вы двое.»

Буквально через минуту-другую ещё один страдалец начал посреди улицы мрачно гугнить, что вот, мол, всё у них с женой было хорошо, жили, как люди, но вот решили, значит, что тёща продаст дом и переедет к нам на Антоновку малышку нянчить — и что?.. Нянчатся теперь они с тёщей. Вот если бы я по-дружески согласился припугнуть её, а? Поллитра само собою — за ним. И — могила! Павлик сказал, что про наган знают только четверо...

Не прибавляю нисколько: очередной привходящий в нашу — с тремя постоянными членами — «четвёрку» с завистливым вздохом сказал, что всё правильно, да — в посёлок вот-вот эков привезут, на комсомольскую стройку, а, едрёный корень?! Конечно, надо готовиться! Где бы самому «пистоль» достать?

В полном изумлении я вернулся домой, положил «ревнаган» в портфель и отправился в милицию. Пашки не было, пришлось зайти к начальнику отдела капитану Шилкову:

«Спасибо за доверие, Иван Федорович, отпечатки пальцев я стёр — возвращаю.»

Шилов в изумлении глядел на револьвер:

«Откуда это у вас?!»

Он ничего не знал!

Может быть, нынешний главный экономист Рудоуправления Ковалёв тоже входил в одну из мифических четвёрок, которые с одному ему известными целями упорно создавал в нашем посёлке Павлик Луценко, пока я его «ревнаган» судорожно, «денно и ночью» перепрятывал?

Воспользовавшись паузой в нашем разговоре с главным инженером — по срочному делу вошёл кто-то из подчинённых — Виктор Степанович отвёл меня теперь чуть в сторонку, заговорил с загадочным видом: «Не знаю, зачем вы в Старый Оскол приехали... Но я бы вам очень советовал написать о нашем Фёдоре Иваныче, о Клюке. Помните, на Запсибе тогда движение было: за досрочное освоение мощностей? ЦК постановление принимал: мол, инициатива трудящихся. Ордена потом посыпались градом. А тут вот у нас проектная мощность около пяти миллионов тонн, а даем теперь за год — десять. Уже даем. И собираемся в будущем году ещё прибавить: прежде всего — благодаря неукротимой энергии Клюки — это вулкан! Благодаря хозяйской смекалке, неординарным инженерным решениям... Знаете, что он у нас кроме прочего — Президент Союза горнопромышленников России, академик — вы это знаете?»

В гостинице перед тем, как лечь спать, я взял в руки книжку митрополита Антония Сурожского, хотел было найти страничку, на которой остановился до этого, но тут мелькнула другая: «Большинство из нас вступает в ночь покоя: мы отложим тяготу дня, усталость, тревоги, напряжение, озабоченность. Мы отложим всё это на пороге ночи и войдем в забытие. В этом забытии мы беззащитны: в течение этих ночных часов Один Господь может покрыть нас Своим крылом. Он силен оградить наши сердца против того, что может подняться из наших еще не очищенных, не просвещенных, не освященных глубин. Он силен оградить наши мысли, наши сновидения, спасти наши тела.»

А ночью прежде всего я ощутил далёкий запах горячего хлеба... Может, оттого, что номер мой на третьем этаже находился в том конце коридора, в котором на первом была кухня? И через все

«четыре звездочки» сюда проникал еле уловимый дух выпечки — готовили тут великолепно. Может, три долгих года по настоянию докторицы, которой всегда безраздельно верил, не евший хлеба вообще и так по нему истосковавшийся, что вот он, запах — нашёл меня, как заядлого курильщика настигает во сне полузабытая затыжка дымком? Но горячий хлебный дух накатывал на меня вместе с замедлявшими ход вагонами, я не понимал, в чём тут дело, пока в дверях одного из них не появился мой адыгейский друг, крикнувший мне: «Щелям!.. Я везу ему наш щелям!»

Неужели у снов тоже есть и второй план, и третий, и есть на свете такая хитрая штука, которую только и остаётся назвать: подсознание нашего подсознания?..

Краем в памяти скользнула центральная улица уютного и тихого, прекрасного в любую пору Майкопа, мелькнул этот примыкающий к старой кондитерской фабрике новенький магазин, где и в наше время выстраиваются очереди за горячими, на ароматном коровьем масле адыгейскими пышками из лучших сортов общей нашей кубанской пшенички... Магазинчик так и называется — «Щелям», и постоять возле него — уже как будто бы подпитаться, ну, прямо-таки перекусить одним лишь этим ни с чем несравнимым духом детства, посещавшим тебя в самые счастливые, в самые благополучные дни.

Теперь он переместился на Старо-Оскольский перрон, растворился над ним в морозном воздухе...

«Щелям везу ему! — повторял мой друг Юнус на перроне, пока мы с ним на кавказский манер, на два плеча, обнимались. — Срочно нужны эти деревянные штуки, на которых он лежит в хлебозовках, нужны эти решетки... есть они?»

И я их тут же нашёл неизвестно где. Сложенные у меня на руках один на другой, передал ему в вагон несколько... ну, и запах оттуда шел, из вагона — как из доброй пекарни. А я вдруг спохватился: «А сыр?.. Сыр копченый? Гомыль!»

«Сыр он пробовал! — радостно откликнулся Юнус. — Ты забыл?»

И опять краем пронеслось то, что было несколько лет назад: на идущем по Лене теплоходе в каюте, которую мы занимали с Юнусом, сидим втроём вместе с Валею Распутиным, по сути первым прочитавшим «Сказание о Железном Волке» — он написал к нему такое теплое, такое братское предисловие — сидим, и я Вале говорю: вот, мол, видишь, я все спрашивал тебя, как докатилось до твоей родной Аталанки краснобокое кубанское яблоко из твоих «Уроков французского»? А теперь вот к тебе прикатил этот круг копченого сыра — знаешь, что это за сыр, Валя, ты знаешь?! Просушивали его над очажным дымком, а хранили потом в пшеничке, в зерне — там он как бы вылеживался. Такой сыр черкесы брали раньше в дорогу, бывало, — и на несколько лет. В дальний набег. Вместе с вяленой соленой бараниной, вместе с чесночной солью — от всех болезней — входило это в гомыль. Гомыль — еда путника. Еда воина. Всё пахло в ней родным очагом: чтобы в дальнем набеге джигит не забыл о доме, где его ждут...

«Ну, у Юнуса тоже — дальний набег, — мягко, как только он один, кажется и умеет, улыбался Распутин. — Из Майкопа — в Якутск. Из Адыгеи — в Якутию.»

«Через всю азбуку! — радовался счастливый Юнус. — От „а“ до „я“. Если даст Аллах, я потом напишу это: „А“ и „Я“.»

Конечно, для него это было — как сбывшийся сон, для моего кунака, — резал вкусно пахнувший дымком, с коричневой коркой рубчиком, сыр, и мы неторопливо, будто всё пробуя, жевали гомыль нашего друга, по скромности своей, отдававшей древней чистотой аульских нравов, еще не осознавшего, как бесстрашно ворвался он, как далеко проник не только в прозу нынешнего Кавказа — в ту многоводную и мощную, из десятка национальных потоков, литературу, которую — вот тут уж, и точно, во всех отношениях справедливо — называем российской.

И вот теперь сбывшийся в далёкой Якутии наяву сон Юнуса оказался в моём старо-оскольском сне — я горячо говорил ему:

«Что значит — пробовал? Мог бы опять попробовать. Ну, даешь! Не мог захватить?!»

«Постеснялся, — смущенно говорил Юнус. — Щелям взял на этот раз, сам видишь, сколько ему везу... ты чего ждешь, ты садишься?»

«Я не еду!»

«Как — ты не едешь?!»

Отголоски прошлогодней вины перед Валентином Григорьичем?

Сам из Иркутска мне позвонил, спросил номер паспорта и все остальное, что надо для билета на самолет в Сибирь, на его «Сияние России», так назывался этот праздник... а я потом уехал в Кузбасс!

«Место держал для тебя, заходи» — за руку тащит меня в вагон Юнус.

«Не могу!»

«Думал, вдвоем едем!»

«Мне надо дождаться друга, на десяток дней улетел в наши края» — пытаюсь Юнусу объяснить.

Как можно, и правда что, не дождаться того самого бригадира монтажников, землячка, который бережно снимал тогда с опасной высоты рядом с бездонным котлованом гнездо с птенцами, другое дело, что теперь он тут — глава администрации, мэр по-нынешнему, у него теперь другие заботы, и «птенчат» у него при нашей-то нынешней бескормице — ого-го... Даже здесь!

«Я думал...» — мямлит мой друг.

«Брось ты переживать! — перебиваю его. — Хватит тебе прибедняться — что ты как сирота? Когда, наконец, поймешь себе цену?»

«Я думал...»

«Понимаю: по обычаю садись на празднике так, чтобы не пришлось потом уступать место другому. Но сколько можно сидеть на краю скамейки, когда...»

«Я думал...» — снова упрямо начинает мой друг.

Но на этот раз Юнуса перебивает Клюка, президент Союза горнопромышленников; давно уже стоит с «ревнаганом» рядом, вертушкой, на ковбойский манер, подбрасывает его в правой руке:

«Не говори „ГОК!“ — советует со значением: то ли мне, то ли моему черкесскому другу.»

С явным восхищением смотрит на него строгий генерал-полковник Шилов... ну, Иван Фёдорович! Прошёл, можно сказать, «и Крым, и Рим» — так в родной моей станице обозначают «огни и воды», чего только не насмотрелся в Тбилиси, в Сумгаите, в Оше, когда в «конце времен»-то советских был Первым замом Министра МВД СССР, самой, то-есть, рабочей лошадкой, а тут — залюбовался ну, как девица!

«Вулкан! — кивает на Клюку. — И правда, — вулкан! За сколько мы тогда свой клуб-то „Комсомолец“ построили? А он вот церковь Пантелеимона-целителя — за пятьдесят один день!»

Клюка снова ловко подкидывает наган:

«Неговори „ГОК“, пока не побываешь на Стойленском!»

И тут уж сам я изумляюсь афористичности его речи: ведь поговорка, и правда, ещё какая! Надо будет, думаю сквозь сон, непременно записать, пригодится...

«А Пушкин, Пушкин мой как же?! — громко и обиженно кричит мне Юнус, уже становясь на подножку поезда, уходящего в Иркутск, на Валин Байкал. — Ты мне так ничего и не сказал! Неужели откажешься перевести? Неужели мне не поможешь?!»

«Как его Пушкин?» — строго, как на своей оперативке в Управлении ГОКа, спрашивает Клюка.

Ах ты, Господи!.. Радость и печаль моя... да только ли моя?

Начиная с прошлого, девяносто девятого года, января, взялся я своего адыгейского друга потихоньку подначивать: может, мол, прав Александр Сергеевич всё-таки? Когда писал... как там в «Кавказском пленнике»? «В ауле на своих порогах черкесы праздные сидят.» А?!.. «Год Пушкина» идёт!.. А они сидят себе и сидят. Ты хоть бы статью на пять, на шесть страничек, друг мой, сообразил, что-нибудь такое, знаешь: Пушкин и черкесы. Тогда и нынче. Разве не интересно поразмышлять? Вот где: простор и воля! По-моему, как нигде сегодня, поверь, — как нигде! А они, значит, сидят и сидят... ну, медлительный ты черкес, Юнус! Значит, перо — не шашка? Так быстро не поднять?..Ну, тугодум!

И вот «Год Пушкина» благополучно прошёл, как говорится, — и тут-то наш молчаливый тугодум-черкес разродился: повесть около сотни страниц, свыше четырёх печатных листов... да какая повесть!

Ну, что горькая — это само собой.

К сладким речам Кавказ нынче не очень-то, прямо скажем, расположен.

Я пока о другом: о черкесской боли. О русской. О глубине размышлений не только над судьбой нынешнего Кавказа — над судьбой России и мира.

Но что касается мастерства...

Юнус впервые отважился написать на русском, и сквозь его сложно-сочиненные предложения почти не пробраться. Иной раз, только хорошо его зная, можно догадаться: о чем это медлительный мой кунак печется?

Придется переводить с русского на русский? Будет не перевод: толкование?

От литераторов на Северном Кавказе иногда слышишь: мол, переводивший адыгейца Нальбия Куёка самый интересный нынче русский поэт Юрий Кузнецов у наших многому научился... Пусть Юрий Поликарпович, кубанец по рождению, земляка тоже, сам скажет: так, нет ли?

Но что касается меня — признаю. «Работай для другого — учись для себя», а как же?

Тем более, когда есть чему поучиться. Есть!

А то все мы не так давно прямо-таки в нутряной заглот приняли круто замешенную на человеческом естестве прозу колумбийца Габриэля Маркеса: куда там! Загадочный же адыгский фольклор, удивительным образом сочетающий в себе почти нарочитую народную простоту с одухотворенной высокой мудростью остается для нас «землей неизвестной»... И только ли он? Осетинские «Нарты», боевые песни вайнахов, легенды горцев, которых объединил Дагестан, мифы, сказки, величания героев и плачи, пословицы и поговорки народов, населяющих Северный Кавказ, весь духовный космос уникального края — это пока всё ещё остаётся для нас за семью печатями.

Кавказ, считалось раньше, наборный пояс России.

И вот «носили» его и не знали, что носим. И так — до сих пор.

Но мои предки жили в абазинском ауле. Кровь говорит?..

Пожалуй, поэтому пробую у горцев учиться и кое-что, может быть, уже одолел, не только перенял, но — постиг... Недаром живший в Москве Аскер Евтых, светлая ему память, старшему Другу моему и во многом, — несмотря на то, что познакомился с ним уже в зрелые свои годы, — Учителю, так вот, недаром этот талантливейший, недооцененный, как многие у нас, многие, кто саморекламой не занимается, прозаик, не раз ворчливо говорил мне:

«Какой там вы — Гарий, какой вы — Гурий, вы — наш Гирей!»

Спасибо, щедрый Аскер!

Разве это неважно: во времена всеобщего сиротства знать, чей ты?

А «Пушкинская» повесть Юнуса, это так ясно видать, была написана под благотворным влиянием, конечно же, русской прозы последних лет... Я не о себе. Я — Гирей.

Я о Валентине Григорьевиче. О Распутине.

Разве это не духовная своего рода подвижка: как предки наши учили шашкой друг друга мужеству, так мы — совсем недавно ещё! — учили один другого пером. Братству. Добру. Достоинству.

И мастерству, конечно, которое у друга у моего так пока отстаёт от густоты замеса национальной судьбы...

Но крик этот с уходящего на Байкал поезда: «Как мой Пушкин?»

Или нажим тут на другом: как?!

Сам настаивал, сам с ножом к горлу приставал, а — теперь? Мол, работаешь над подстрочником? Доведёшь до ума, кунак? На полдороге не бросишь?!

На этот раз даже не подстрочник... дострочник?

Впору прибегнуть к черкесскому: я рэби! Обращенный к Всевышнему крик печали...

Когда, и правда, заниматься этим — когда?!

Если жизнь нас поставила в такие условия, что каждый пытается выживать в одиночку... Что ноги, всё больше — ноги кормят и самого автора «Железного Волка», и его переводчика, который стал, не поймёшь, — то ли бродячим русским философом, то ли черкесским джегуако — бродячим певцом, складывающим куплеты в честь того, кто пригласил в свою кунацкую переждать непогоду и вечером накрыл стол, и позаботился о ночлеге...

С этим немым вопросом, застрявшем в сознании, как крик в горле, с этим душевным воплем вышел я месяц-другой назад в Москве из метро, из новой «Арбатской», и на углу, где теперь турецкий ресторанчик, чуть не столкнулся с Палиевским, со свет — Петром Васильичем: и верно ведь, — Свет! Сочувственно, как доктор — тут, правда, доктор литературы и философии, спросил:

«Вы чем-то огорчены... чем-то сильно озабочены?»

Я как на грудь ему упал: что делать русскому писателю, как быть? И надо кунака-черкеса перевести, надо, но — когда?!

А он, по-моему, ещё больше ликом своим посветлел, стал ещё сиятельнее:

«Как интересно то, о чём вы рассказываете! Юнус Чуяко. Черкес, говорите? Адыгеец, да. Это прекрасно — такая повесть. Вы понимаете? Великолепно! Единственное: тут неуместно слово „когда“. Оно всегда лишнее, если речь идёт о духовном служении. Это — миссия. Русская миссия. Вы тоже так понимаете?»

Я только невнятно, на черкесский манер протянул: ым-м!.. Потому что в самую точку попал Палиевский. На большую мозоль наступил. Ым-м-м!

А он ещё больше вдохновился:

«И потом: у вас ведь ключ есть. К горестным размышлениям вашего друга. Его вам тоже оставил Пушкин. Помните? — легонько бросил пальцами возле груди. — „Так ныне безмолвно Кавказ негодует. Так чуждые силы его тяготят.“ Ключ! Пушкинский. Из рук — в руки. Всем нам. Само собою — и вам!»

Дома я сперва принялся торопливо листать толстую «Общую тетрадь», в которую ещё недавно записал многое из того, что относилось к Пушкину, особенно, что связывало его с Кавказом: и с казаками, и с горцами... Мелькнула строка из «Путешествия в Арзрум»: «Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружьё его слишком долго было заряжено»... как, и в самом деле, было не выстрелить, ей!.. «Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением.»

Недаром, нет, конечно, недаром кунак мой несколько блестящих, несколько самых глубоких, пожалуй, и горьких страниц посвятил в новой повести игре адыгейских детишек «в самовар»: сэмаур. Но вот оно, вот — пушкинское: «Кавказ ожидает христианских миссионеров»... и тут же — моя заметка: «Сам Пушкин — вечный миссионер на Кавказе. На все времена.» Вот оно! Ведь сам писал? Как будто предчувствовал будущие сомнения, которые Палиевский с такой определённой разрешил одним махом... Что ж теперь? Соответствуй!

Взялся потом за один том стихов, за другой. Перебрал постепенно все, какие только могли относиться к Кавказу, строчки, но той, которую с печальным вдохновением цитировал Палиевский, нигде не было. Нигде.

Позвонил ему: не могу найти — слаб!

«Это, действительно, не так просто сделать, — заговорил он с весёлым сочувствием. — Обождёте несколько секунд? Слушаете? Запишите-ка: один из вариантов „Кавказа“. „Пушкинское собрание“ сорок девятого года выпуска, том третий, страница...»

Спасибо ему за многолетнее шефство: опять пролил свет!.. И как он вдруг проникновенно сказал: «Тут неуместно слово „когда“, если речь идет о духовном служении...»

Ну, прямо-таки строчка из горского «кодекса чести»... как там — в «адыге хабзе»? «Джигит не спрашивает, сколько врагов, он говорит: где они?!»

Так и тут.

Из кодекса русского писателя на Кавказе?

Составленного Петром Васильевичем на основе творчества не только его любимца, Пушкина, но — Марлинского, Лермонтова, Толстого... И сколько их еще было, беззаветно отчаянных, не оставшихся на громком слуху, но достойно прошедших нелегкий путь в этом краю, который излишне пылкие поначалу декабристы называли потом «теплая Сибирь».

Русский Крест?

Но что же это за силы, которые Кавказ «тяготят»?.. Какими были тогда? Как изменились нынче? И разберется ли, наконец, во всем этом Родина? Или же она никак не может дать себе отчета пока даже в том, что за «чуждые силы» вот уже столько-то лет тяготят ее самое, и это, может быть, больнее всего остального ранит где лаской, а где кровавою таской взятый ею некогда под опеку гордый Кавказ?..

Выходит, постичь сии тайны и предстоит нам с Юнусом — хорошенькое дельце!

Но обо всём этом я пока не успел с адыгейским кунаком побеседовать: о повести его говорили с ним только по межгороду, говорили, щадя и без того пустые карманы друг дружки, почти стремительно, а увиделись, наконец, только в моём сне... Но этот ночной, из сна, поезд, за которым постепенно истаивал запах горячего хлеба, уже увозил моего друга на восток, к Байкалу — гостевать у Валентина Григорьича.

И увозил обиженный крик.

«Пушкин мо-ой ка-ак?!» — доносилось уже издалека.

Я протягивал вслед большой палец:

«Молодец! — кричал. — Аферэм! Не сомневайся: ты прекрасную штуку написал. Обождёшь маленечко?! Вале кланяйся! Не робей там — он тебе цену знает... эх, сыр надо было, гомыль, гомыль!»

И я проснулся в слезах, счастливых и горьких: Юнус уехал к нашему другу, а я опять нет... Что это значит? Что значит вообще этот сон?

«В течение этих ночных часов Один Господь может покрыть нас Своим крылом...»

И Он собрал под крылом и старых моих друзей, и новых знакомых — тех, кого я люблю и чту, и кто, верю, всегда помнит обо мне.

В одном сердце устроил встречу, которая и может быть — лишь во сне.

И вот ведь какое дело: я горячо пообещал Юнусу помочь... Причем тут, и в самом деле, это прямо-таки неприличное для настоящего джигита, слишком унылое «когда?»

«АУЛ ПУШКИНА»

Зиму прошлого года мы с Юнусом Чуюко просиживали в Майкопе над переводом его романа «Милосердие Черных гор, или Смерть за Черной речкой»: о прошлой Кавказской войне. О Хан Гирее. О Пушкине. О нынешней войне — о чеченской.

Роман сложный, работа шла не так просто, временами двигалась совсем медленно. Бывало, подолгу спорили, окончательно заходили в тупик, и тогда я по Перовомайской улице провожал старого своего друга до Заводской, и он шел направо, к остановке троллейбуса на Пролетарской, а я поворачивал налево — пройтись пешочком по Пушкинской.

Ещё с тех пор, когда недолго жили в Майкопе, улица эта стала любимым маршрутом: может быть, потому, что самым коротким путем ведет к старинному городскому парку, в любую пору

очаровательному, к тому его местечку на высоком взлобке над Белой, где всем хочется подольше постоять, вглядываясь и в ленту реки под крутым склоном, и в низкий противоположный берег с разноцветными крышами «забелянцев» посреди их садилов-огородиков у подошвы пологих сопков, скрывающих картину далеких снеговых гор, которые истинный майкопчанин все равно видит: не только здесь — в любом далеком краю...

В тот год дорогу в парк и обратно я проделывал особенно часто и особенно долго на любимой всеми горушке простаивал, словно надеясь именно тут найти ответ на загадки, скрытые в сумраке прошедших столетий.

В часы напряженных размышлений сознание наше к чему только за помощью не обратится, за какие только зацепки-крючки не ухватится. Как-то, возвращаясь домой, в очередной раз подумал, насколько отличаются одна от другой таблички с названием улицы, по которой иду... Начал в них уже с нарочитым вниманием всматриваться и что-то такое весьма любопытное стало мне вдруг приоткрываться.

Совсем рядом с парком, на противоположной стороне, прямо-таки напротив бронзового бюста Александра Сергеевича, за которым стоит его, Пушкинский дом, опять теперь — драмтеатр, на угловом здании висит новенькая эмалированная полоска с общепринятым текстом «ул. Пушкина» и рядом крупный, не меньше четверти, номер: 274. На соседних, уже за республиканской больницей, строениях таблички давно забелены и закрашены — чуть ли не до того «жактовского», на несколько квартир дома, где «коротко и сердито», уже без «ул.» значит: «Пушкина 238».

Чем дальше от центра, тем больше частных домишек, кой-где перемежаемых стоящими в глубине новенькими дворцами, высокие заборы перед которыми скрывают заодно и тайну порядкового номера, а после снова следует это «ул...» — до тех пор, пока взгляд не останавливает неординарная табличка, искусно выполненная по заказу, а то и собственными руками любовно сделанная: «Улица А. С. Пушкина.» Посредине над нею как бы восходит большой белый кругляш с крупным номером: 42.

Понимаю, что никакого, кроме этого круга, сходства тут нет, но мне это почему-то стало потом напоминать о знаке знаменитого 44-го драгунского Его Императорского Величества Нижегородского полка, прошедшего во времена Кавказской войны по этим местам — недаром совсем неподалеку, правда, уже в Краснодарском крае, на Кубани, расположена названная так по имени полка станица Нижегородская.

На старинном знаке нижегородцев изображено восходящее солнце, достающее своими лучами почти до середины круга, обрамленного по бокам лавровыми ветками, а поверху от одной верхушки венка и до другой идет дугой надпись: «Нижегородец не знает заката». Разумелось, в ратных делах и в воинской славе. В солдатской доблести и офицерской чести.

Не исключено, что сначала мое внимание привлекло сходство цифр, но часто я потом, проходя мимо этого двора, невольно провожал кругляш над названием улицы не очень весело улыбкой: какой из бедующих теперь на Северном Кавказе наших полков мог бы, не кривя душой, на этот девиз нижегородцев претендовать?

Останавливаться, чтобы подольше поглазеть на нестандартный номер и заодно на весь еще крепкий, со старой кованиной над крыльцом, дом было неловко, иной раз, чтобы пройти туда-сюда мимо него я возвращался... и правда, разве человеку, равнодушному к гению Пушкина, пришло бы в голову прибить на стену этот явно уважительный, явно благодарный знак памяти?

Кто тут, размышлял я, живет?.. Люди в почтенном возрасте или ещё достаточно молодые?.. Семья либо одинокий человек?.. Может быть, такая же преданная своему делу учительница литературы, как и привившая мне любовь к ней в нашей отраденской школе Юлия Филипповна, страдальца, ссыльная дочь белого казака, известного в свое время кубанского профессора Беднягина?

В мнуту вдохновения чего на ум не взойдет: постучать, думаю?.. Расспросить, кто, и в самом деле,



здешний жилец... Не то что побеседовать — хотя бы несколькими словами с ним перекинуться. Может, о Пушкине. Может быть, — ни о чем, как говорится, да мало ли!

Но вдруг так или иначе это решит какие-то мои сомнения... что им, сомнениям, много надо? Какая-нибудь добрая улыбка, какое-то словцо задушевное, и сердцу вдруг откроется, что я, русский писатель и якобы переводчик, все-таки больше прав, чем автор — черкес, что ты будешь делать, такой несговорчивый!..

Давно оставив позади свою Заводскую, где обычно домой сворачивал, пошел теперь дальше: на обратном пути, думаю, решу — стучать, нет?

Всё продолжал то на стены домов, а то на заборы поглядывать и уже совсем перед переездом, вот он — рукой до него подать, остановился как вкопанный возле третьего от края улицы дома.

Какой-то, видать, шутник таким же шрифтом, как на трафарете было написано «ул.», масляной краской искусно прибавил спереди одну буквочку — «а». Точку перед названием замазал, и я стоял перед табличкой на заборе, трясся от беззвучного смеха: «аул Пушкина».

Ты все знака хотел? — спрашивал себя, издеваясь. — Хотел понятного тебе символа?.. Да вот же он!

Чего тут, и правда, неясного: аул — он и в Африке аул.

И хватит тебе с Юнусом спорить, хватит вам копыя ломать. То он начинает скоропалительную битву на углу Первомайской — Заводской, то ты потом ведешь длительную осаду Асланбада, этого выросшего на окраине Майкопа вокруг дома президента Аслана Джаримова городка, где среди остальных стоит и сакля кунака твоего... Малая Кавказская война, да и только!

Из-за «солнца русской поэзии».

Всё! Как Юнус хочет, так пусть и будет. Твоя задача — точность выражения авторской мысли. А уж какая то будет мысль, для тебя — дело десятое. Лишь бы только мог через невольную — из-за плохого русского языка — заумь к этой мысли пробиться. А, и все эти благонамеренные — в центре Москвы, на скамеечке перед зданием ИМЛИ, Института Мировой Литературы — ученые разговоры с умнейшим Петром Васильевичем Палиевским о продолжении «кавказского миссионерства» Пушкина — пустой звук... аул!

Хотя аул Пушкина...

Ну, что делать, если «проклятый царизм» тут на дух, как говорится, не принимается... если попрежнему тут — вопрос ребром: с кем ты, Пушкин? С вольными черкесами или — с погубителем их, душителем всего передового-прогрессивного Николаем Палкиным, ым?..

Только так!

И если бы дело касалось одного Пушкина!

Мою манеру говорить «от первого лица» Юнус безоговорочно принял ещё в своем «Сказании о Железном Волке», а в «Милосердии...» его самовыражение вдруг начало выписывать такие уж совсем неожиданные крендели!

Лет, пожалуй, пятнадцать-двадцать назад, его повесть «Чужая боль» слишком залежалась в издательстве «Современник», и он попросил меня по возможности разобраться, в чем там дело, и хоть чем-то помочь. Мир не без добрых людей, такая возможность у меня появилась. И обстоятельства открылись весьма печальные: рукопись Юнуса попросил до времени отложить в «долгий ящик» один из старых его майкопских недоброжелателей, ставший к этому времени признанным литературным мэтром не только в Адыгее, но и в слишком доверчивой, там где не надо, Москве... Чтобы не сказать большего?

О чрезмерно услужливых своих столичных земляках.

Что-то я тогда попытался в «Современнике», ссылаясь на кавказский менталитет, объяснить, а заодно на полушутке и пристыдить любителей процветавшей во все веки дармовщинки: застолье, братцы, застольем, но дело-то — делом!..

Всех подробностей, щадя самолюбие Юнуса, не стал ему объяснять: мол, затерялась рукопись, но к счастью нашлась — обычный, к сожалению, вариант!

Но он теперь, когда стало модным ругать цензуру, тоже решил на ней отоспаться. В свое время, мол, приснопамятный граф Бенкендорф запретил Пушкину печатать одного из основоположников адыгской литературы, Казы Гирея. Не то же ли самое случилось через полтора года с моей рукописью «Чужая боль»?.. Мол, что с тех пор изменилось в России, если черкес опять встречается в издательстве все те же «препоны-рогатки» — именно так он это и обозначил.

Ну, что мне оставалось?

Пришлось вернуться к истории вопроса, как говорится.

Есть у адыгов такая фигура умолчания: когда по тем или иным причинам, в том числе из опасения возможного черного колдовства, не хотят назвать кого-то по имени, в разговоре о нем употребляется трудно произносимое для русского человека словосочетание, которое в переводе обозначает: тот, чье имя не называем.

И стал я своему кунаку втолковывать: поверь, что эта историческая параллель с Казы Гиреем тут ни к чему. Сколько ты мне всего понарасказывал о кознях того, чье имя не называем! Не только против тебя. Кто только от них не страдал, от этих козней! Разве в свое время надолго не спрятали в Москве рукопись стихотворений Нальбия? И ты знаешь, почему. Разве Пшимафу, заплатив гонорар, не вернули потом его сборник повестей? А что ответили, когда он спросил, на каком основании? Спросите, сказали, в вашем Майкопе того, чье имя теперь не называем — ему это лучше знать. Так? Так! Тогда почему ты не хочешь поверить, что в точности то же самое было и с твоей повестью?

И граф Бенкендорф тут вовсе ни при чем, и «тоталитаризм совдепии» — тоже. Если тоталитаризм имел место, то исключительно со стороны того, чье имя теперь не называем, — «кишлячные дела», как бы сказал наш общий друг Пету!

Пету — великолепный художник Феликс Петуваш, один из лучших графиков не только на Северном Кавказе, но и в России. Когда-то его предки вместе с Хан-Гиреем стали основателями казачьей станицы Гривенской, в то время — аула Гривен. Русский преподаватель рисования, когда Феликс учился в школе, сумел убедить строгого отца, что на челе его рыжего сорванца разглядел поцелуй самого Господа Бога и отец отвез его в Москву, в СХШ — среднюю художественную школу для особо одаренных детей. Их тогда было две на весь Союз, вторая — в Питере. После пяти лет учебы Феликс поступил в Строгановское училище, прожил в Москве еще пять лет, и в Майкоп вернулся уже зрелым мастером и яростным интер-Националистом: разве это сочетание — такая большая редкость?

Цену себе он понял давно, но никогда не выпендривался, жил свободно, как только можно было свободно в России жить: ну, кто тебе может, действительно, запретить в день открытия твоей персональной выставки скрыться с закадычным дружкой-казачурой, опытным браконьером и старым пьяницей, в родных тебе еще с пра-предков Приазовских лиманах?

В колготне вокруг собственного признания Пету никогда не участвовал, оно само его ревниво разыскивало, не исключено, — по всем знакомому запаху известного русского напитка, а все эти чиновничьи ахи да охи вокруг него и попытки призвать на помощь официальных старших товарищей в дорогих костюмах с галстуком на белых рубашках, обещавших ему в случае добропорядочного поведения звания и награды, Феликс как раз «кишлячными делами» и называл.

Юнус относился к Пету и со вполне с понятным уважением, и с некоторой завистью к его спартанскому стоицизму в отношениях с ветреной капризницей-славой, но...

Но разве легко расстаться с возможностью погарцевать на лошадке, так хорошо обученной этими хитрованами — мнимыми страдальцами от жестокой цензуры? Хочешь-не хочешь, а за последнее время столько она на нашем литературном ипподроме «вывезла в люди», да в какие, какие!..

Скажу я вам!

Как все становится непросто, когда ты, москвич давно и подолгу живешь в тихиньком таком с виду Майкопе и постоянно замечаешь такое, о чем в столице даже и проницательному человеку не так легко догадаться...

Не очень весело, прямо сказать, посмеиваясь, шел я обратно, у дома 42 шага замедлил, но желание постучать в калитку уже исчезло: все мои сомнения уже как бы рассеялись...

Все-таки остановился на миг, опять улыбнулся, на этот раз совсем горько: надо же!

«Улица А. С. Пушкина».

И тут же кольнуло: стоп!

А почему это ты решил, что тут непременно должна жить старенькая «словесница», обязательно русская?!

Забыл одного из главных героев в романе твоего кунака — аульского учителя русского языка Якуба Хуаде, который вызывает у детишек улыбку, когда вместо привычного «А. эС.» Пушкин они вдруг слышат: А-Си?..

Мой милый по-черкесски. Мой дорогой. Мое солнышко...

Только потом, потом — и многие, к несчастью, уже задним числом — различат в голосе у старого своего учителя сокровенную нотку.

Не хочешь ли, мой милый, говорил я себе, мое ты солнышко, принять теперь ну, как будто свалившийся на тебя со страниц «Милосердия...» совсем другой символ — чисто черкесский?!

«Аул Пушкина»!.. Аул.

А сколько в разговоре с Аскером Евтыхом, твоим старшим другом, поздним твоим наставником в терпении и мужестве, каких тебе никогда уже не достичь, сам ты, бывало, говорил: «В этом нашем большом ауле, в Москве...».

Аскер, Аскер...

Вся жизнь его — как будто доказательство взаимозависимости имени и судьбы: солдат в переводе. Боец. Воин.

И не с него ли, если на то пошло, начинался роман Юнуса?

В который раз принялся воскрешать в памяти тот вечер, который провели мы в начале июня 1999 года в Представительстве Адыгеи в Москве. Благодаря председателю республиканского парламента Мухарбию Тхаркахову, отзывчивое сердце которого потянулось тогда к страдающей душе изгнанника из родных мест — Аскера Евтыха, в столицу на посвященный опальному писателю вечер приехали Магомед Кунижев, старый его и благородный друг, приехала троица талантливых литераторов помоложе: поэт Нальбий Куек, прозаик Юнус Чуюко, критик Казбек Шаззо. Глава Представительства Пшимаф Шевацуков, спасибо ему, позвонил в Союз писателей России, пригласил председателя,

Валерия Ганичева, но тот уезжал в командировку, пообещал, что вместо него придет занимающийся национальными литературами секретарь Союза Валентин Сорокин, и я радовался: пусть посидит Валентин Васильич, послушает — может, поймет, наконец, хоть что-нибудь в черкесских делах?

Но Сорокин так и не приехал: как будто, и в самом деле, хотел подтвердить, что самый беспросветный чиновник — литературный.

Зато «именинник» Аскер!..

На приставленных один к одному узких столиках уже лежали заранее заготовленные «тезисы» к разговору о творчестве патриарха адыгской литературы, он понял это первым и, пока мы рассаживались, не спеша обошел стол за нашими спинами, собрал листки, разорвал и также не торопясь отправился к мусорной корзинке в углу и бросил туда обрывки...

— Аскер? — запоздало раздались недоуменные голоса. — Аскер?!

— Пушкинские дни идут, — сказал он ворчливо. — Я ничего не написал о нем... ну, причем тут?

Видели бы это неутомимые организаторы ну, просто немедленного признания их великих заслуг: сколько их развелось в последние времена в России и на Кавказе особенно! Видели бы они, напрочь забывшие мудрое изречение древних: горячее желание прижизненной славы безвозвратно губит посмертную...

Тщательно запланированное Представительством Адыгеи торжество приняло вдруг иное направление. С каким почтением, как самоотреченно заговорили о Пушкине! Взявший слово предпоследним, уже перед виновником так и не состоявшегося в его честь праздника, перед Аскером, я искренно, с чистой душой сказал: давно я не был в нашей столице на таком достойном собрании!

Трое из четверых майкопчан вскоре уехали, а оставшегося по своим делам Нальбия я пригласил пожить у меня, но не одному мне запомнилось гостеванье его в громадном нашем шестнадцатизэтажном доме на Бутырской.

В первый вечер мы вдруг откровенно разговорились о нашем житье-бытье, и Нальбий, печально посмеиваясь, рассказал, в какой долговой западне неожиданно оказался... Не уверен, что хоть что-нибудь нынче в нашем материальном положении изменилось, но тогда это было чуть ли не в порядке вещей, и я ему бесконечно сочувствовал, тем более, что «кинул» его не кто-нибудь — потомок махаджиров, ушедших когда-то в Турцию и приехавший теперь на свою историческую родину присмотреться и решить для себя: стоит ли возвращаться?.. По причине собственного безденежья я все пытался помочь Нальбию хотя бы горячим сочувствием да малопрактичными своими советами... что делать? Это чуть не единственное, что от страны Советов у нас, и в самом деле, осталось.

Наутро мы первым делом решили почтить Пушкина, отправились в центр, и по выходе из метро не успел я, липовый москвич, сориентироваться, как Нальбий уже купил у цветочницы дорожный букет и шел с ним к подножию памятника... для кого как, не знаю. Но для меня это осталось знаком незабываемым!

Прошлись по улице Горького, прошу простить — по Тверской, долгонычо постояли в букинистическом магазине, где поверх стопки пушкинского «Современника» лежал как раз этот, дорогой всем кавказцам, номер, в котором рядом с «Коляской» Николая Васильевича Гоголя напечатана «Долина Ажитугай» Казы Гирея с уважительным предисловием самого главного редактора — Александра Сергеевича... Были бы они у нас!

Эти проклятые «бумажки»...

Домой возвращались в полдень, и уже у подъезда ко мне бросились двое восьмилетних ребятишек-близнецов, брат с сестричкой: Савва и Женя... как бы это всё объяснить?

Теперь уже больше двух десятков лет назад, когда мы только что переехали в Москву, напротив нашего дома трамвай зашиб насмерть младшего нашего сына, семилетнего Митю... Как бы само собой, что с тех пор так и не отболевшее сердце постоянно толкает руку погладить вихры соседских сорванцов... достать, когда в нем хоть что-то есть, кошелек, вынуть из него десятку-другую — им на мороженое...

Нальбию об этом никогда не рассказывал, но когда братец с сестричкой, каждый схватившись за руку, доверчиво повисли у меня по бокам, он тут же полез за бумажником:

— Вижу, что вы друзья моего друга! — сказал со значением, и оба согласно закивали, затрясли своими башочками. — Вот, купите себе подарочки...

Протянул им сотенную — объясняться выпало мне:

— Дядя Нальбий с Кавказа. Он черкес... слышали о черкесах? Только не думайте, что он — богач, нет. Просто он добрый и щедрый человек. И ценит дружбу...

— Вот это — главное! — согласился Нальбий.

Когда поднимались в лифте, посмеиваясь, сказал ему:

— Да, брат, поднял ты планку! Мне теперь неудобно будет давать ребятишкам меньше...

Но ведь приходится, приходится!

Ребятишки чуть подросли и уже стесняются бросаться навстречу, пытаются делать вид, что за игрой не замечают меня, но я окликаю их, достаю кошелек и всякий раз говорю с грустной улыбкой:

— Ну, вы-то знаете: я — не черкес...

— Знаем, знаем! — подхватывают они дружно.

— А друга-то моего помните, черкеса?

И они вскрикивают не только с восторгом, но даже как бы и с осуждением в мой адрес:

— Дядю Нальбия?!

Мол, как же это можно — забыть его?

...И шел я, все это вспоминая, все вместе складывая, по «аулу Пушкина», и думал: не такой он маленький, этот аул, нет. И не такой простой — не такой!

Конечно же, думал, ученые книжки не даром пишут, что одной из причин слишком надолго затянувшейся Кавказской войны было в том числе и разное толкование русскими и горцами одних и тех же немаловажных понятий. Как бы теперь сказали: слишком явное несовпадение менталитета тех и других...

Но неужели с тех пор так ничего и не изменилось?

И с горних высот своих и Пушкин, и Хан Гирей смотрят на нас без всякого проблеска надежды во взгляде, а только с застарелой и безисходной печалью?

Так в истории вышло, что после стольких совместных усилий научиться лучшему друг у друга, недоброжелатели почти сумели нас убедить в бесполезности этого якобы недостижимого дела... Им почти удалось нас уверить, что общим нашим достоянием сделались исключительно порочные свойства...

Но недаром мой заскорузший в сонной глубинке, но по-аульски пронизательный друг Юнус, который наверняка не меньше моего и тоже с ноющим сердцем обо всем этом размышлял, по писательской интуиции, по чуткому прозрению вынес в заголовок романа, может быть, самое нужное для нашего жестокого времени слово: милосердие.

Которое по здешнему кодексу чести превыше храбрости.

Только оно и объединит нас нынче. И — спасет.

Только оно.

## ЦЕЛЕБНЫЙ ПОСОХ

Добросердечная работа над переводом, считай, — собственное творчество: где-то все идет как по маслу, а где-то застопорится, хоть плачь. Также приходит вдохновение и точно также посещают сомнения, которые порой кажутся губительными: все, в общем, — один к одному.

Или более того, более?

Так как тебе в это время, хочешь-не хочешь, приходится расходовать свое, годами размышлений накопленное, тебе почти тут же щедро возмещается, как говаривали в старину, воздается, да ещё как щедро!.. Кем? — кто-то спросит. — Кем?

Хочется верить — Творцом, хочется верить — Им.

И в итоге ты вдруг начинаешь понимать, что тебе — для передачи другому — отпускается гораздо больше, нежели лично тебе самому.

Вроде бы странная на первый взгляд закономерность... или как раз — нет?

То самое сильно развитое во мне «анонимное начало», о котором не раз говорил мне «казачий художник» Сережа Гавриляченко, профессор Суриковского института Сергей Александрович?

Так-нет ли, но когда однажды во время разговора о качестве перевода при каком-то, не помню, спорном моменте, я спросил Юнуса — мол ты-то понимаешь, что у самого у меня нет такого романа, как твое «Сказание о Железном Волке», ты понимаешь? — он чистосердечно улыбнулся:

— Понимаю. Конечно, нет!

Опять приходится вспоминать зимнюю Гагру, в которой мы с Юрием Павловичем Казаковым жили в Приморском корпусе Дома творчества в номерах почти напротив друг дружки... Я тогда невольно заужал Евтушенко: после рассказа Юры о том, как тот прислал ему телеграмму с просьбой отказаться от перевода романа Нурпеисова — при условии, что Евгений Александрович обеспечивает ему год безбедной жизни с единовременной выплатой вперед суммы из расчета пятисот рублей в месяц. Лишь бы Юра сидел и писал рассказы... Казаков отказался, и какое-то время — пока работал на братскую казахскую литературу — жил не то что безбедно, жил как хан со всеми вытекающими отсюда — и втекающими сюда тоже — последствиями.

В тот день, когда год или два спустя после этого разговора, по радио сообщили о присуждении

Нурпеисову за роман «Пот и кровь» Государственной — а, может быть, Ленинской, теперь уж не помню, — премии, мы опять были в Гаграх, и Юра, тут же обильно обмывший это событие, ходил по комнате с глазами, полными слез и заикался больше обычного:

— Т-ты понимаешь, с-с-старичок?.. Это — м-мой п-пот!.. Эт-то м-моя кровь!

В то время я так и думал и очень Юре сочувствовал, но теперь, когда сам — не то что на более скромных, потому что всю уже шла «перестройка», — на нищенских попросту условиях — побывал в шкуре толмача черкесского «Железного Волка», с печалью и одновременно с большой радостью нечаянно осознал, что нет, братцы, нет: это уже не наше, это теперь принадлежит национальной культуре, которая ждала твоего пота и твоей крови как ждет земля благодатного дождя — безмолвно приняла и жадно впитала.

Во втором переведенном мной романе Юнуса Чуюко — «Милосердие черных гор, или Смерть за Черной речкой», в «пушкинском» — есть одна маленькая история, которая сама по себе стала как бы отдельной, вставной, как часто мы говорим, новеллой. Герой, от лица которого ведется повествование, собственно — автор, рассказывает об аульском плотнике Кадырбече Мафоко, прозванном ребятей Кадырбечем Палкиным. В числе прочего, чем знаменитый мастер обеспечивал жителей всей округи, были ярлыги для чабанов, которые, прежде, чем попасть по месту назначения, летели, случалось, вдогон улепетывающей после очередной проказы «отаре» аульских огольцов... Но не только поэтому, как понимаете, носил свое прозвище старый плотник: оно было отзвуком школьных уроков литературы, которые вел боготворивший Пушкина тихий учитель Якуб Хуаде, тот самый, под пером Юнуса все продолжавший защищать своего любимца от «царских гонений» с таким пылом, будто они все ещё продолжались...

В детстве рассказчик учился у Палкина плотницкому мастерству, но потом, потом...

«... на третий либо четвертый год ученичества у Кадырбеча я заскучал... Нет, я вовсе не почувствовал, что тайн мастерства для меня уже не осталось, хотя подумать об этом и можно было. Соседки вскоре стали говорить маме: „Ей, Зулих, я тоже хочу попросить у тебя такую же маленькую лопаточку, какую твой Краснодеревщик сделал для Фатимы: она показала мне — ею так удобно лепешки переворачивать!“.

Как теперь молодежь говорит: оно мне надо?

Но мы тогда таких слов не знали, не пойти старшему навстречу — это казалось просто невероятным... ым, как после этого дальше жить будешь?..

Пожалуй, к тому времени бог Мезитхе, который не только леса охранял, но наверняка присматривал и за теми, кто колдует над деревьями, просто пожалел меня... Плотницкое дело перестало в руках спориться, и единственное, что у меня по-прежнему получалось — это деревянные палки с гнутыми ручками, которыми я уже успел половину аула обеспечить: ходить с такой палкой среди нашей ребятни сделалось шиком — с моим изобретением не только ходили, но в одно время даже непременно прихрамывали.

Само собой, что скоро я попал у Кадырбеча в лентяи, дальше подзатыльников дело не шло — до макушки, чтобы по головке погладить, рука у него больше не поднималась...

И все-таки он ещё терпел меня, и, когда мальчишки постарше решили разыграть его, в той игре мне пришлось исполнить одну из ролей самых неблагоприятных.

— Кадырбеч! — начал из-за плетня Анзор-Однокашник. — Ты был в лесу, а к тебе Пушкин приходил... Искал-искал. Ждал-ждал. Тросточку, говорит, хотел тебе заказать: ему сказали, что лучше тебя никто в Бжедугии ему не сделает. Велел передать тебе, ждать будет. Спросил у нас: сколько ему надо времени? Чтобы хорошая была. Лучше всех. Мы говорим: ну, месяц. Он: а не мало? .. Ну, два. Хорошо, говорит. Скажите ему, через два месяца зайду.

— Как, как его? — заинтересованно переспросил Кадырбеч.

Однокашник зевнул:

— Пушкин, Пушкин...

Мой наставник повернулся ко мне:

— Подтверди, это правда?

Ну, что мне оставалось делать, ей!..

Тогда мне казалось, что я нашел выход из положения: ничего не стал говорить. Я кивнул.

— Если он опять придет, когда я буду в лесу, — глядя все ещё на меня, громко сказал Кадырбеч, — передайте ему: через два месяца тросточка будет готова.

Жили мы тогда хоть бедно, да весело: вскоре эта проделка была чуть не начисто забыта, стертая другими фантазиями, которым долго потом весь аул не переставал удивляться.

Но однажды, месяца, и действительно, через два-три, не больше наша нанэ окликнула меня, когда мы за сараем играли в ножички. Прибежал, и она сказала как взрослому:

— Там к тебе Кадырбеч-мастер. Сидит в большой комнате.

Все ещё вгорячах от игры я и подумать не мог, зачем он пришел.

— Я все жду-жду, — начал он сразу. — А его все нет и нет...

Он сидел на стуле боком к столу, облокотясь на него правой рукой, а ладонь левой прикрывала наверхие стоявшей между разведенных колен новенькой тросточки темного цвета, который мне тогда показался вишневым...

— Жду-жду, — повторил он, и я почувствовал, как жарко запылало мое лицо, как уши словно обдало кипятком. — А его все нет и нет.

— Меня? — еле выдохнул.

Он приподнял руку на локте:

— Ей!.. Тебя я каждый день вижу. Когда мимо несешься, — и сложил на палке обе ладони. — Его!

Если бы пламя с моего лица на дом перекинулось, — мне, и правда, было бы легче. Уж как-нибудь потушили бы... тут-то что делать и о чем говорить?!

Но для Кадырбеча вопроса этого не было:

— Самшит, — сказал он. — Но я из него все выжал... полегче стал. И крепкий как железо. Как раз эту ему... руду, руду...

Может, я даже не спросил, а только подумал: какую руду?..

— В Сибири! — сказал Кадырбеч не только весело, но как бы даже и беззаботно. — У глубине, э?

Ну, что мне было делать?

И он наверняка знал это.



— Поставь! — сказал, протягивая мне тонкую, но увесистую тросточку. — В угол, да. Или за шкаф. Придет — отдашь. Денег не надо. За так, скажешь... нет!

Какое серьезное у него лицо сделалось!

Тогда я этого слова не знал, но, когда впервые встретил потом в русской книжке, тут же вспомнил мастера Кадырбеча-Палкина: благообразное стало лицо. Красивое. И очень значительное.

— Скажешь: старый черкес Кадырбеч посчитал за честь тебе сделать!

С поднятым заскорузлым пальцем над крестьянской своей пятерней стоял, словно к чему-то очень далекому прислушиваясь...

Бросил руку вниз, будто ненароком задев повлажневшие глазницы краем рукава своей замызганной „стеганки“ и как бы уже чего-то в себе стыдясь, добавил тихо:

— А то придет он, а меня дома не будет... или не будет вообще. Не только в нашем ауле... отдашь!

Чтобы пойти проводить его, как положено младшему, далеко за калитку, я сунул тростку за шкаф и тут же словно забыл о ней... иначе что я скажу нанэ?.. А вдруг меня начнет спрашивать тат?

Хорошенько рассмотрел её я только тогда, когда из дома ушли все старшие, включая брата Аскера... что то была за трость!

Круглый массивный набалдашник с прорезью прожилок на светло-коричневом дереве — скорее всего из дикой лесной груши. Колечко под ним — узкая, с тонким узором полоска черненого серебра: тогда я даже не понял, что это, и откуда у Кадырбеча оно могло взяться. А ниже него — на добрую взрослую пядь, на четверть метра по темной, искрасна коричневой палке шел черный адыгский орнамент: какой маленький и какой четкий!

Наконечника палочка не имела: видно, в крепости работы своей Кадырбеч и так был уверен.

Вскорости я поступил в педучилище, уехал в Майкоп, и о палке вспомнил только через несколько лет, когда, приехав на каникулы, узнал вдруг, что учившийся когда-то меня мастерству плотник Мафоко покинул этот мир, где так много было сделано его без конца ищущими работы руками.

— И отнесли его на носилках, которые он смастерил ещё до войны, — печально говорил тат, и в голосе у него слышалось то ли назидание мне, а то ли укор. — И обмыли на том столе, который он не так давно подновил на кладбище: ножки на нижней стороне, куда вода стекает, слегка стали подпревать... Ему: ладно, сто лет ещё простоит! А он: другие поставлю. Как знал... И столбики себе на могилу заранее приготовил. И умудрился даже памятную табличку... какой на ней полумесц получился красивый!

В большой комнате, которую у нас теперь нет-нет, да и величали на русский лад залом, никого не было, когда я решил проверить: на месте ли тросточка, которую сделал тот, кто ушел?

Тросточки не было.

Я выскочил во двор, бросился к нанэ:

— Там у нас за шкафом стояла такая палочка...

— Стояла, — неспешно согласилась нанэ. — Но я её дала Хапсироковым, когда старшему бричка переехала ногу...

В городе я прожил уже достаточно для того, чтобы научиться в чем-то себя отстаивать:

— Как можно, нанэ? Как можно чужие вещи...

Опережая меня, она подняла сморщенную ладошку:

— Я предупредила: это не наша. Эта палочка большому человеку принадлежит. Пушкину!

Все-то они, оказывается, знали!

— Потеряет или...

— Не потерял! — снова опередила она меня. — Пришел, когда перестал прихрамывать. Красивый посошок этот подмышкой. Круг сыра принес: отблагодарить. И говорит: а, знаешь, Зулих, какой это бещкогащиг?.. Ему цены нет. Не только перестал хромать — у меня язва на руке зажила!.. Бывший бригадир встретил меня, поговорили, просит теперь маленько с ним походить... позволишь, Зулих?

Кто только не ходил потом с „палкой Пушкина“ и в нашем ауле, и даже в соседних, куда тоже донеслась молва о чудодейственных свойствах „бещкогащига“ из нашего Гатлукая: что бы у тебя не болело, походишь — как рукой снимет...

Считается, что он мой, иногда, когда бываю в ауле, нанэ мне рассказывает, что ей передали чуть не с другого конца нашей Адыгеи: пусть не волнуется, все, мол, в порядке, „Пушкин-бещкогащиг“ в целостности и сохранности и многим, слава Аллаху, помог — ей, многим!

Сам я с тех пор его в глаза не видел.

Но не на него ли опираюсь я нынче, когда веду тебя, мой читатель, по страницам этой нелегкой для меня повести?..».

Но вот закончена эта переросшая в густой и плотный роман-гыбзэ эта повесть: в скорбный роман-плач.

Вот он вышел отдельной книжкой, вот в Национальной библиотеке, ещё недавно носившей имя Пушкинской, на презентацию, будь неладны новомодные эти слова, вытесняющие наши исконно русские, собрались не только приглашенные для подстраховки студенты местного университета, но и люди куда старше по возрасту, куда выше по общественному положению... Еще на подходе к библиотеке я почему-то вспомнил декана юрфака Батырбия Шекультирова, блестяще выступившего несколько лет назад на обсуждении Юнусова «Сказания о Железном Волке»: какие удивительно глубокие вещи он тогда говорил!..

И вдруг первым увидел его теперь в холле библиотеки, дружески обнялись, и тут же мне пришлось протянуть руки, чтобы также братски приветствовать ещё одного Батырбия, Берсирова, заведующего кафедрой литературы. Уже двух этих Батыров, подстать именам своим масштабно мыслящих, но не отрывающихся от родной, от черкесской почвы мудрецов, хватило бы для серьёзного разговора о новом романе моего кунака Юнуса... Но сколько ещё достойных людей не переставало появляться в переполненном зале библиотеки, невольно облегчая и без того нелегкую студенческую участь: согласно почти незыблемому пока в этих краях этикету вскакивали, уступая место достойным людям, не только охотно — чуть не наперебой, и вот уже плотная молодежная стенка выстроилась позади сплошь занятых столиков читального зала и начинает, все пополняясь, вытеснять в коридор первых счастливых... «мы все учились понемногу», и в самом деле, — не так ли?

Многих из пришедших давно знал и приблизительно представлял себе, что может сказать умница и добряк Магомет Кунижев, написавший к роману задумчивое, как он сам, предисловие, что — сидевшие и тут рядом два доктора наук из Республиканского института гуманитарных исследований: философ Руслан Мамий и Абубачир Схалыхо, филолог... Но среди старых знакомцев, черкесов, сидел один из немногих пришедших на презентацию русских — сорокалетний Кирилл Анкудинов. Один из наиболее заметных в последние годы в Адыгее и уже известных и в Москве здешних литераторов,

неординарный поэт и блестящий критик, он всем своим отрешенно-академическим видом как будто делал заявку на особенное внимание к нему, и я с интересом думал: что он, и правда, скажет?

— В романе есть на первый взгляд незатейливый рассказ о тросточке, — негромко начал Кирилл, и у меня вдруг возникло невольное ощущение, что он подступает к чему-то, может быть, главному. — Разыгранный озорниками аульский мастер сделал её для Пушкина. Но доверчивость в нем недаром жила вместе с мудростью: тросточка не только начинает выручать тех, кто почему-либо нуждается в прочной опоре — вскоре чуть не по всей Адыгее в народе распространяется слух, что она лечит от всех болезней... И начинаешь понимать: это рассказ о том, что пушкинское слово целебно. Что оно и сегодня значит для Кавказа куда больше, чем речи политиков. Они наносят раны... Пушкин врачует их. Врачует и нынче, сейчас, когда это особенно необходимо.

Мне пришлось восхититься: а ничего себе?!

С другой-то стороны: не ради ли этого, может, не осознавая все до конца, мы с Юнусом работали?

— И ещё, — все также тихо и медленно, словно сам продолжал размышлять, проговорил Кирилл. — В романе есть несколько эпизодов, когда герой, от лица которого ведется повествование, в мечтах своих пытается уберечь Пушкина от ранней смерти. Еще аульским мальчишкой, возвращаясь от школьного учителя, который боготворил Александра Сергеевича, от полноты чувств он подпрыгивает на улице, словно желая принять на себя пулю, выпущенную Дантесом, и вместо поэта падает в снег... Похожее повторяется в его фантазиях вновь и вновь: когда он давно стал взрослым, когда созрел как писатель, его все не оставляет уже привычная боль, страх потерять Пушкина... Мне кажется, тут мы имеем дело с подсознательной боязнью в результате всех нынешних катаклизмов на Кавказе лишиться всей русской культуры... остаться без матери-кормилицы...

Ну, не оракул?!

Юнус внимательно слушал: уже чуть постаревшее, но все ещё значительно-красивое, как у настоящих, у родовитых черкесов, лицо его оставалось невозмутимым...

Полез вдруг во внутренний карман пиджака, достал почтовую открытку с профилем Пушкина, положил передо мной текстом вверх, сказал полупшепотом:

— Хотел тебе сюрприз: получил позавчера ещё.

«Дорогой Юнус! — написано было бисерным почерком. — Спасибо за книги, только сейчас успел прочесть и жалею, что „Железного Волка“ не знал раньше, а с „Милосердием“ поздравляю. Тем более, что оно — главное, на что наделся Пушкин в будущем Кавказе („Тазит“).

Не знаю, как Вам, но в переводе Гария слышно эхо гор: писатель! Вообще с таким ориентиром, как Ал. Серг. мы, конечно, не пропадем.

Ваш...».

Дальше следовала вроде бы знакомая завитушка, и я поднял глаза на Юнуса, молчаливым кивком спросил: мол, кто это, кто?

— Петр Васильич, — сказал Юнус не без торжественной нотки. — Палиевский.

Что ж, соблюл этикет: отдавая должное прежде всего старшему с непререкаемым его авторитетом тихого и столь немногословного в последнее время столичного мудреца, заодно соглашался с неожиданными для нас обоих прозрениями мало кому известного пока провинциального поэта и критика Кирилла Анкудинова...

## ВОЖДЬ ПЛЯШУЩИЙ ОГОНЬ, ПОТОМОК ПУШКИНА

По телевизору смотрю только новости, причем по разным каналам — что-то перепроверить, что-то сравнить. Деваться некуда: всеобщая брехня чуть не каждого из нас давно сделала заправским аналитиком. На программу передач уже не обращаю внимания, ни к чему, но вот какое получается дело: наставишь на кнопку, бывает, походя, по какой-то якобы чисто случайной прихоти — и вдруг увидишь сюжет, как бы именно тебе предназначенный... Есть, определенно есть некий закон, по которому в нужный момент чуть не стремительно начинает стекаться так необходимая тебе информация, но происходит это обычно после произвольной вспышки душевного напряжения, которое становится своего рода заявкой, если хотите, либо — как в библиотеке, предположим, — заказом... ох, этот всеобъемлющий, но неведомый нам, таинственный Небесный Архив, который нет-нет, да и побалует нужным знанием!

Здесь, правда, было чуть иначе...

Или тоже сказались притяжение сокровенной для русского сердца фамилии, под знаком которой в последнее время непрестанно размышлял?.. Тут тебе и собственные короткие рассказы о людях, так или иначе отдавших вольную либо невольную дань уважения Александру Сергеевичу, и работа над переводом, а точнее — над усовершенствованием романа майкопского кунака Юнуса Чуяко «Милосердие Черных гор, или смерть за Черной речкой» — по сути первого черкесского романа о Пушкине.

Так-не так, надавил я эту самую кнопку на телевизоре во внеурочное для себя время и вдруг прислушался, и в изумлении замер...

Шла передача, как после понял, «Жди меня», говорили о летчике-истребителе, без вести пропавшем в конце войны, в сорок четвертом... В ту пору он был уже майор, успел получить звезду Героя Советского Союза и считался одним из самых известных наших асов, но однажды не вернулся из-за линии фронта. Кто-то из летавших с ним на задание пилотов рассказал: видел, мол, как майора подбили, как он выпрыгнул из горящей машины и почти у самой земли немецкий летчик догнал его и пулеметной очередью прошил парашют...

И вот через столько десятков лет выяснилось, что жив тогда остался майор — жив!

До конца войны пробыл в концлагере, освободили его американцы и убедили, что возвращаться на родину ему нельзя: уж кому-кому, а Герою Советского Союза Большой Джо, он же товарищ Сталин, плена не простит.

И понесло майора по свету, как перекасти-поле под ветром.

Сначала Штаты, потом — Канада. Сперва женился тут на дочери вождя одного из индейских племен, а потом...

Сколько лет стояла у меня на книжной полке эта яркая, величиною с тетрадный лист глянцевая открытка!.. В традиционном уборе из разноцветных перьев, в пестрых одеждах — индейский вождь с неизменной «трубкой мира» в ладони... На обороте рисунок, сделанный им самим от руки: голова с птичьим пером в волосах и под нею — автограф на английском: «Чиф Покинг Файр».

«Вождь Пляшущий Огонь», значит.

Взял её тогда у него для своих маленьких сыновей, но стояла у меня в кабинете, мол, пока подрастут, и я ею очень гордился и охотно принимался об этом «чифе» рассказывать, а потом,

скорее всего при очередном переезде, открытка перекочевала в одну из многочисленных папок с черновиками, письмами, вырезками из газет... Боже мой, сколько лет с тех пор прошло, сколько лет!

Воистину: неисповедимы пути Твои, Господи!

А тогда...

Очень ярко запомнилось, как мы в резервацию ехали, скорей всего потому, что водитель автобуса, совершенно лысый толстячок по прозвищу Ханни — Медок, или — Сладенький — снова разговорился, наша переводчица, у которой все «от зубов отскакивало», едва за ним попевала. Правда и то, что было о чем рассказывать: большой туристский автобус, в котором мы по Канаде ездили, стоял теперь на краю только что ушедшего куда-то под передние колеса моста, а перед носом у него по полноводному каналу торжественно катил океанский лайнер...

Это единственное место в Канаде, а может, на всей земле! — захлебывался, повернувшись сияющим лицом к салону наш добродушный коротышка — водитель. — Единственное место, где автомобиль может столкнуться с пароходом, да-да!.. Стоило ему, Ханни, сейчас зазеваться, и половина из нас ещё путешествовала по земле, а другая уже выходила бы в открытое море, да!

От резервации сохранилось ощущение осенней свежести где-нибудь в сибирском таежном сельце... как знать! Может быть, это нас ещё ждет?

Не «сибирское таежное сельцо», нет. Резервация.

А тогда...

Тогда, в шестьдесят шестом, в ноябре это была первая поездка большой молодежной группы от нашего «Спутника» в Канаду, нас принимала фирма «Глобтурс», глава её Рэй Довгополюк счел нужным лично сопровождать нас и сопровождал неотлучно, из строгого, почти неподступного сперва мистера Рэя постепенно превращаясь в гарного хлопца Романа... Роман, Роман!

Жив ли?

Нет, недаром редактор журнала «Барвинок» Богдан Чалый взял тогда с собой за рубеж добрый, в несколько килограммов пласт сала с чесночком, а секретарь киевского горкома комсомола Коля Стрела — пять литров домашней горилки: чистого, как слеза, самогона из жита... помните эту байку?

Как Никите Сергеичу предлагают на Украине стопку самогона, а он строго говорит: «Как?! Разве это у вас еще не изжито?» А ему простосердечно отвечают: «Из жита, Никита Сергеевич, — из чистого жита!»

Сделали они тогда свое дело, сделали, сало и самогон — повергли Романа в такую глубокую ностальгию, что вскоре мы стали опасаться: не разорится ли не такой уж и богатый «Глобтурс» уже на местном, на канадском самогоне — на виски?

Обедали мы как правило в протестантских ресторанах, где за столом исключалась даже рюмка спиртного, а потому карманы нашего «Рэя» очень скоро стали оттопыриваться точно также, как у какого-нибудь заправского ханыги в Москве или «у Киеву»: в каждом из них чуть не постоянно в боевой готовности отвисала пара бутылок «Длинного Джона» — не путать с «Большим Джо»! — а перед собой, на груди он удерживал высокую стопку один-в-один вставленных стаканчиков из пластмассы...

Перед обедом в любой провинции, в любом городе всякий раз мы чуть ли не торжественно шли за Романом в туалет, и в сияющей чистоте, похожей на зал парикмахерской высокого класса передней комнате разбирали «посуду», а наш затосковавший по нэньке-Украине кормилец мгновенно превращался в щедрого поильца... славяне, они — и в Африке славяне!

Тем более — в Канаде дождливой осенью...

Надо ли говорить, что дух среди нас держался чуть ли не постоянно приподнятый и ему соответствовали и слишком раскованные разговоры, и смех, а то и беспричинное ржанье.

В этом случае все же хватило деликатности начать шепотом:

— Да ты на морду-то вождя погляди!

— Морда как морда.

— Ты так думаешь?

— Чего тут думать!.. Обыкновенная бандитская рожа. Не успеешь оглянуться, как скальп с тебя снимет — одним махом!

— Да я тебе не о том!

— Мы думали, за свой скальп переживаешь...

— Да идите вы, я серьезно!

— Морда как морда... что тебя не устраивает?

— На нос погляди!

— Ну, картошкой...

— А я вам — о чем?.. Да и не только нос. Что-то такое во всем лице...

— Это в тебе уже тоска по родине говорит. Как наш Роман в каждом хохла видит, так ты теперь — москаля...

— Да не тоска это — самый настоящий национализм. Даже из индейского вождя русака готов сделать — ну, обнаглел!

— А мы все в национализме — братьев-украинцев...

— И правда: ты хоть скрывал бы от товарищей!

И все-таки я подошел к нашей переводчице, подвел её поближе к застывшему, как и полагалось, в глубоком, прямо-таки космическом раздумье вождю.

— Спроси у него, Дина, спроси, пожалуйста: этот человек, мол, считает, что у вас очень русское лицо. Ему так кажется?.. Или есть основания так думать?

Наша милая татарка Дильбар с улыбкой заговорила по-английски, и из всей её достаточно длинной речи я понял только то, что она назвала меня «мистером»: мол, мистеру кажется...

Сколько раз стыдил я себя за незнание английского! Ведь именно его изучал. И не где-нибудь — в МГУ. Не у кого-нибудь — у знаменитого преподавателя Мокина с его особой методикой. Сам отобрал нас, несколько человек, и на занятия велел приходить непременно с зеркальцем: чтобы легче было произношение осваивать. Артикуляцию.

Но на сибирской стройке, куда я после МГУ поехал «по велению сердца» или, как считали сперва дружки, «по собственной дурасти», была своя артикуляция. Особая. Доставшаяся нам в наследство от наводнявших тогда Кузбасс лагерей Большого Джо: не путать с «Длинным Джоном»!

Ничто не изменилось в неподвижном лице вождя, когда он заговорил — на нем, и правда что, лежала печать тысячелетней отрешенности от суеты мира... странное дело, странное!

Столько лет прошло, столько в мире изменилось, но я всегда помнил его глубокий, полный мужественного и печального спокойствия взгляд и очень живо, совершенно явственно вижу сейчас, когда корплю над этими строчками...

Ничего я в его ответе не разобрал, понял единственное — он дважды повторил: Пушкин. Пушкин.

— Вождь Пляшущий Огонь говорит, что в роду у него действительно были русские... Очень давно, говорит. Они были потомки Пушкина, и он об этом никогда не забывает.

С бесшабашной настырностью, отличавшей нашу «ударную комсомольскую» стройку, я бросился пожимать ему руку: ну, надо же, мол, — земля! Да какой ещё, какой — потомок Пушкина! Попридержал одной рукой за плечо, а раскрытой ладонью другой предупредил: мол, отлучусь на минуту, вы — никуда?

Вернулся в магазинчик-вигвам с дешевыми сувенирами, заплатил за открытку и помчался обратно.

Все также невозмутимо вождь сперва написал моей шариковой ручкой на обратной стороне: «Чиф Покинг Файр». Глянул на меня, еле заметно улыбнулся и пририсовал над автографом голову человечка с перьями в волосах... Или это мне теперь кажется — глянул, мол?

По телевизору продолжали рассказывать об удивительных, почти невероятных приключениях русского летчика, но видевшие его потом в резервации наши туристы называли вождя «Огненная Кочерга», и я бросился к англо-русскому словарю, лихорадочно принялся листать его: не может быть, чтобы это был другой человек... что у них там, на каждое индейское племя — по русаку?

Все-таки нашел: ну, конечно же, пожалуй, можно и так истолковать, да, но все-таки наша Дильбар перевела тогда, может быть, точнее, а главное — поэтичней.

Мы были в Канаде незадолго до открытия там всемирной выставки, через полюс летели в Монреаль самым первым пассажирским рейсом нашего Ту-114, а после там кого уже только не было: ведущая представила теперь и симпатичного, почтенных лет человека, у которого случилась служебная командировка на выставку, и обаятельную даму, туристкой ездившую в Канаду уже гораздо позднее. Оба уверяли, что говорили с «вождем» на чисто русском языке и называли его теперь по имени-отчеству... что ж нам-то он тогда не открылся?

Или оттого и промолчал, что ваш покорный слуга шел на него... да что там «шел»! Пер как танк.

Много вас таких, скажет.

Это на вашей «ударной» там, в Сибири каждый щенок, у которого на губах молоко не обсохло, обязательно норовит первому встречному тут же рассказать «всю свою жизнь с самого начала»...

А телеведущая припасла ещё одну историю о русском летчике, ставшем вождем индейцев: знаменитый танцор, мол, Махмуд Эсамбаев, любил рассказывать, как Огненная Кочерга принимал его, чеченца, в своем вигваме, и жена, коренная индианка, угощала их настоящим украинским борщом, а после втроем они долго пели русские песни...

Но ведь все это было уже потом, уже недавно, можно сказать, а тогда, тогда... Когда только начали нам развязывать языки домашняя горилка Коли Стрелы и «Длинный Джон» мистера Рэя-Романа Довгополюка...

Но почему он вспомнил тогда о Пушкине?

И написал ли я об этом? Что я вообще о нем написал?

По горячим следам тогда путевые свои заметки я так и назвал — «Канада русская», но в журнале «Сибирские огни» подстраховались, мол, слишком много — об эмигрантах, и вышли они под унылым заглавием «Канада глазами туриста». Как ни странно, я получил тогда много писем, но ни в один из сборников эти очерки потом не вошли, черновики вообще затерялись — хорошо, если в каком-нибудь из дальних углов лежит пожелтевший номерок «Сибогней»... найти попробовать?.. Поехать, если что, в зал периодики Национальной, как она — теперь, библиотеки за станцией метро «Речной вокзал»?.. И непременно разыскать цветную открытку с надписью по-английски на обороте и с нарисованной головою в перьях, ну — непременно!

В монреальском порту стоял в те дни один из самых больших наших теплоходов, «Александр Пушкин». Название это было тогда в Канаде у всех на слуху. Разбередило душу... может, — и вся разгадка?

Или ему, мальчишкой когда-то читавшему книжки про индейцев, и самому испытывавшему теперь это свое фантастическое перевоплощение в «вождя краснокожих», все помнилось родное присловье: а это, мол, за тебя кто сделает?.. Да Пушкин!

Так примерно и тут: мол, кто вы?.. Потомок Пушкина!

Или все гораздо сложнее?

Уж если пели с Эсамбаевым русские песни, то уж не только их он помнил, — наверняка!..

...Вышло так, что на следующий день, под ещё не остывшим впечатлением от телевизионной передачи, рассказывать о судьбе летчика, ставшего вождем племени ирокезов, я взялся не кому-нибудь — иеромонаху из Саввино-Сторожевского монастыря отцу Феофилу, окормлявшему семью сына Георгия, а в какой-то мере — и вашего покорного слугу, многогрешного...

Отец Феофил выслушал меня также невозмутимо, как в свое время индейский вождь — нас с переводчицей и только коротко сказал:

— Душу погубил.

— Но что ему оставалось?! — воскликнул я горячо.

— Это остается всегда для всех: не губить её.

— Но, батюшка!..

— Или ты видел православный храм в этой резервации? — все также невозмутимо взялся спрашивать меня отец Феофил. — И этот твой вождь крестил индейцев из своего племени точно также, как чад своих — Герман Аляскинский?

Поговори с ними!

Несколько лет назад отец Феофил подарил нам прелюбопытное издание с простеньким названием: «Букварь школьника». У него есть подзаголовок: «Начала познания вещей божественных и человеческих». Построенный по принципу словаря — от «А» и до «Я», состоит этот «Букварь» из шести увесистых — каждый около полутора тысяч страниц — томов.

Начав листать его, чуть ли не тут же с удивлением наткнулся на большую статью о Троцком и о троцкизме, потом уже целенаправленно нашел гораздо меньшую по объему справку о Ленине. А Сталина, как ни старался, сперва в «Букваре» не обнаружил.



Зато чуть позже, когда принялся за ежедневное, хоть понемножечку страниц, чтение, — не только упоминание о «вожде народов», но и достаточно подробные факты стал находить в статьях, которые в сознании моем до того не имели к нему ну, как бы никакого отношения. То вдруг из рассказа о московской народной любимице Матроне узнаешь, как он приехал к ней в роковом сорок первом, и она, слепая, строго воскликнула: «Появился, красный петух!» То вдруг полюбопытствуешь: «Сентябрьская встреча» — о чем это может быть? И прочитаешь: «4 сентября 1943 г. патриаршему местоблюстителю митрополиту Сергию позвонил Г. Г. Карпов — начальник отдела НКГБ, осуществляющий негласный надзор за Русской Церковью.

— Правительство, — сказал он, — имеет желание принять Вас, а также митрополитов Алексия и Николая, выслушать ваши нужды и разрешить имеющиеся у вас вопросы.

Митрополит Сергей был заблаговременно предупрежден о возможной встрече и постарался не задержаться, — в тот же вечер в Кунцеве состоялась встреча. На ней, помимо Сталина, присутствовали Молотов, Берия и Карпов. Протокол беседы, длившейся 1 ч. 55 мин., раскрывает подробности и содержание.

Сталин, как и подобает хозяину, был непринужденно любезен и доброжелателен. Он выразил благодарность Русской Православной Церкви за помощь фронту, после чего митр. Сергей осмелился высказать заветную просьбу о созыве Архиерейского Собора для избрания Священного Синода и Патриарха. Глава правительства одобрительно кивнул, но, услышав от митрополитов, что созвать Собор можно не ранее, чем через месяц, недовольно заметил:

— А нельзя ли проявить большевистские темпы? — и тут же распорядился через Карпова организовать доставку архиереев в Москву самолетами, отведя на это 3–4 дня. Тут же было принято решение о немедленном созыве епископов 8 сентября 1943 г.»

А пространная статья о «митрополите, святителе и молитвеннике за страну Российскую» Илие Ливанском? После явления ему Божией Матери сумевшему передать Сталину «определение Божие для страны и народа»?

Да это — чуть ли не гимн Иосифу Виссарионовичу! — подумал. А ты все своими шутками: «Большой Джо»...

Как-то я сказал об этом одному священнику, давнему своему доброму знакомому, пошутив при этом: а что?.. Уж не собирается ли наша Церковь товарища Сталина прославить?

— Вам это наверняка неведомо, — задумчиво ответил священник. — Вообще мало кому... Но старцы говорят, что как спаситель России скорее всего он будет не только прощен...

И договаривать не стал, смолк.

А я теперь часто размышляю об этих двух: о знаменитом на весь мир «вожде народов» и мало кому известном вожде крошечного племени ирокезов...

Как все-таки, думаю, он сам-то себя, когда приходилось, по-русски звал?

Огненная Кочерга — в этом вроде больше домашнего тепла и уюта, которого всякому перекаати-полю не хватает... ему-то, может быть, — до конца жизни не хватало, а, может, в конце — особенно...

Пляшущий Огонь?..

Разве не плясал он несколько страшных лет на конце ствола авиационного пулемета летчика-истребителя, Героя Советского Союза майора Ивана Ивановича Доценко?

Тоже спасителя русского своего Отечества...

РУКА ПУШКИНА

или

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ЭДУАРДА ОВЧАРЕНКО

Когда-то великий француз Оноре де Бальзак сказал, что гении рождаются в провинции и умирают в столице. Не потому ли и нынче всякий, кто хоть бочком притерся к миру служителей искусства, при переезде в столицу заранее начинает ощущать себя гением? Что ни говори, уже приобрел входной билет на участие в лотерее, которую сама госпожа Судьба разыгрывает... А на что остается надеяться так и оставшимся жить в тихой провинции?

...Теперь уже больше тридцати лет назад в уютный, теплый в любое время года Майкоп мы переехали из грохочущего металлом, черного от копоти и от угольной пыли холодного Новокузнецка, но долго ещё душа моя оставалась в далеких, где молодость прошла, сибирских краях: ездил, бывало, зимою на вокзал соседнего с Майкопом Белореченска, чтобы потрогать почти истаявший, но все ещё, казалось мне, припахивающий коксовым дымком нашей «Кузни» снег на сцепках вагонов идущего в Адлер поезда... В благословенной, какой знаю её уже нынче, Адыгее чувствовал тогда себя одиноко, сам того не сознавая, искал общения — потому-то и обратился однажды зимой к разглядывающему витрину продуктового магазина на Краснооктябрьской незнакомому человеку, шутливо спросил: сквозь двойное стекло, мол, пытаетесь разглядеть, какую колбасу нынче в продажу «выбросили»?

Как искренне, как беззаботно-громко он рассмеялся! Словно извиняясь потом за этот, которой можно было принять на мой счет, смех, добродушно взялся втолковывать, что он — художник, пишет как раз картину, на которой женщина задумчиво стоит у покрытого морозным узором окна, а где в этом райском уголке найдешь такое окно? Каждый вечер слушает с надеждой сводку погоды, ранним-рано выскакивает на улицу, чтобы обежать и домики с крошечными окнами на окраине, и большие витрины в центре, но вот он, вот — всего лишь маленький уголок с намеком на морозный узор...

Как-то сразу мы подружались, но память о нашей встрече у витрины «Гастронома» в центре Майкопа все не давала мне покоя — вскоре я написал маленький рассказ «Иней на стекле», который ему, Эдику, художнику Эдуарду Овчаренко, и посвятил, и который посчитал потом нужным включить в томик вышедшего уже спустя полтора десятка лет своего «Избранного».

«... так хорошо мне было постоянно возвращаться к мысли о том, — заканчивался этот рассказ, — что есть в этом крошечном городке, есть человек, который приподнимался перед витриной гастронома на цыпочки вовсе не затем, чтобы посмотреть, большая ли очередь да какую сегодня продают колбасу».

Разве это, и в самом деле, не важно было в ту, которую многие почем зря клянут теперь, пору?

Разве не важнее того стало сегодня?

Оглядываясь на непросто прожитые всеми нами, всю нашу страну годы, с чувством благодарности старому товарищу «За Верность и Веру», как раньше в России значилось на высших государственных орденах, вижу и нынче, как он, словно забытый жестоким временем часовой, стоит все на том же, который нам никак нельзя оставлять, посту: не при возведенной «демократами» в символ «общечеловеческих ценностей» колбасе — при полусказочном морозном узорочьи...

Другое дело — чего ему это стоит!

Уроженец Анастасиевской, в грозном сорок втором оказавшейся под эпицентром самых напряженных по накалу воздушных боев, мальчишкой он несколько тоскливых месяцев наблюдал, как один за другим падают наши «ястребки», сбиваемые германскими асами, с замиранием сердца замечал, как упорно увеличивается время ежедневных поединков над станицей, и вместе с такими же, как сам, голодными огольцами с восторгом увидал потом, наконец, долгожданную картину: как врезался в землю подоженный нашим пилотом «немец» с черным крестом — то было начало перелома на знаменитой «голубой линии».

О символах собственного детства задумается он куда позже, а сперва был послевоенный неустроенный быт, когда почти все мы, мальчишки того поколения, в школе на уроках и дома самодельными чернилами из бузины учились писать на пробелах меж газетными строками... А ему вздумалось рисовать.

Закончил художественное училище в Краснодаре, куда на собственные деньги после восьмого класса отвезла верившая в него учительница... святое время, как вспомнишь теперь, и правда, — святое!

Потом были три полноценных армейских года, когда, с отсидкой на «губе» отказавшись от непыльной службишки оформителя клуба с его главной заботой — красиво писать лозунги, стал техником по вооружению, готовил к полетам тяжелые бомбардировщики. После армии мечтал продолжить учебу и первый шаг для этого уже сделал — в художественной Академии в Ленинграде обратил на себя внимание мастерством рисовальщика, но ходить по инстанциям и бить в гимнастерку со значками отличника боевой и политической подготовки на груди не пожелал: опоздал нынче — приедет на следующий год.

Но приехать он так больше и не смог.

Размышляя над поворотами судьбы своего товарища уже из сегодняшнего дня, вдруг начинаешь понимать, что именно это сделало его таким, каков он сегодня есть: неуемная жажда учебы не только начисто лишила его свойственного иным, кто считает вузовский свой диплом за жар-птицу в клетке, самодовольства — раз и навсегда определила его в самую серьезную высшую школу: школу постоянного, неутомимого самообразования. Завзятый книголюб, он собрал у себя обширную, с множеством уникальных изданий библиотеку, и от доказательств того, что вся она им прочитана, другой раз приходится полушутливо отказываться: мол, сколько можно, Эдуард Никифорович, ученый разговор вести — хватит-хватит, последний ты наш энциклопедист!

Пошучиваю, но что правда, то правда: более глубокого собеседника и пронизательного критика не знаю не только в южных наших краях, но и куда посевней. Выступления его на культурных, где приходилось бывать, мероприятиях, всегда отличала самая высокая интеллектуальная планка, и в небольшом, но затаенно щедром ищущими, подчас тоскующими, сокровенно талантливыми людьми, каким давно знаю Майкоп, городе, художник Овчаренко стал, если разобраться, такую же, слава Богу, живой достопримечательностью, как знакомый мне ещё по старому университетскому общежитию на знаменитой Стромынке в Москве и чуть сгорбленную невысокой фигурой, и старым, ещё с послевоенных времен, ручным протезом философ Шапиро, предшественник нынешних молодых, а то и в самой поре, талантливых ученых-гуманитариев, выросших уже здесь — в столице Адыгеи... Как те нигде не получившие образования зато прошедшие огонь и воду и, несмотря ни на что, дожившие до очень почтенных лет черкесы на скамейках парка над Белой — природные философы и мои, с запоздалой благодарностью должен признаться, добровольные и бескорыстные учителя-«кавказоведы»...

Говоря это, размышляю, конечно же, о мирном — несмотря на некогда бушевавшие в окрестных горах исторические грозы — духе Майкопа: разноплеменного, яркого и вместе с тем как бы скрывающего необычайную свою красоту за традиционным горским достоинством и славянским величавым спокойствием. Само собой, что речь идет об идеальных чертах, о которых и призвано настоящее искусство напоминать, которых стараемся — каждый в своей области творчества —

достичь, дабы хоть малую толику сделанного оставить потомкам.

Кто из нас и в какой мере это осуществит, покажет время, но, сдаётся мне, Овчаренко в последних своих картинах, это во многом удалось, и вот почему.

Размышляя над его творчеством именно теперь, когда — исходя из роли «выдвиженца» на престижную премию — это и положено делать со всей серьёзностью, — начинаешь понимать, что судьба этого художника давно неотделима от судьбы города и судьбы Республики.

По сути Овчаренко был одним из самых первых в Майкопе профессиональных мастеров живописи, и та самая жажда учебы, которая его никогда не оставляла, вольно или невольно сделала его собирателем Союза художников Адыгеи.

Вышло так, что в гостеприимной его мастерской провел немало часов, когда жил в Майкопе, постоянно навещал её потом, когда переехал в Москву, в дни отпусков либо счастливых командировок на Юг. Кому, как не мне было видеть, как оставлял в ней очередного способного ученика из школьников, чтобы отлучиться в городской парк, посмотреть на работы оформителей либо самодельных художников — несколько из них, принятые когда-то давно в Худфонд, теперь стали гордостью Республики.

И в ком только Овчаренко не принимал участия. Помню, на свои трудовые, как говорится, на три дня поселил в гостинице только что прибывших из Москвы выпускников института имени Сурикова, а после привел и к тому, и к другому в мастерскую — то были Виктор Баркин и Геннадий Ключин. Ему я обязан дружбой с Борисом Воронкиным — какие бы кстати должности не занимал потом Борис в Союзе художников, всегда чуть шутливо, но уважительно звал Овчаренко Шефом — и обязан самыми добрыми и уважительными отношениями с Геннадием Назаренко, Мухарбием Гогунковым, Альфредом Винсом, Абдуллахом Берсировым, Теучежем Катом, многими, многими другими, чьи имена теперь на слуху, кто прочно вошел в обиход лучших мастеров Адыгеи. Это Овчаренко ещё в семьдесят шестом познакомил меня с Феликсом Петувашем, предварив знакомство значительным шепотком: «Ещё раз прошу тебя: будь внимателен к этому пареньку — потрясающе талантлив!».

С легкой руки Овчаренко журнал «Смена», где я тогда заведовал отделом литературы и искусства, впервые поместил на обложке несколько графических работ Феликса, гравюры его навсегда заняли почетное место в моей домашней коллекции, и, отвечая на удивленные вопросы гостей, с удовольствием опытного экскурсовода начинаю нынче втолковывать, что Петуваш — не только один из самых замечательных мастеров Юга России — пожалуй, лучший на сегодня график исламского мира, а знакомых кабардинцев нет-нет, да начинаю в разговорах о северо-кавказских художниках подначивать: чем белого коня дарить этому вашему живущему в Штатах мистификатору Шамякину — Карданову, вы, братцы, купили бы лучше нашему Феликсу охотничью собаку! И не так накладно для бюджета, и — куда справедливей.

Но дело известное: нет пророка в своем отечестве, нет!

Впрочем, это, как говорится, особ-статья, Феликс Петуваш, к нему, даст Бог, ещё обратимся, когда радеющие о настоящем искусстве люди, выдвинут, наконец, и его на Республиканскую премию, а пока вернемся к соискателю нынешнему.

Как человеку, добивавшемуся всего собственными руками, ему не только не чуждо чувство здорового самоуважения — он, пожалуй, самолюбив, но чьё, грехи наши, творчество самолюбием не подпитывается?

В силу непростого, но искреннего характера «перестройка» стала для Овчаренко личной трагедией: бывший председатель Адыгейского оргбюро Краснодарского Союза художников, а после — глава Союза художников Адыгеи, он пытался уберечь от передела сообща нажитое Худфондом имущество, но лишь заработал нелестную репутацию: ведет, мол, себя как собака на сене, у которого давно нет хозяина...

Размолвки с коллегами на этой почве подтолкнули к ревизии собственного творчества вообще. Как будто не было перед этим ни самобытного стиля, ни найденного им в лучших картинах «своего» — голубого с розовым — колорита. Не было успеха на зональных выставках, не было участия с высоко оцененными портретами в столичных, не было поощрительных творческих поездок за рубеж: в Болгарию и Швейцарию... Несколько долгих лет на Овчаренко было больно смотреть. Казалось, вся его неиссякаемая раньше энергия ушла на одинокое строительство причудливого домика в дачном товариществе «Авиатор»... о, это товарищество!

Невольно вспоминается оживление, царившее раньше в майкопском аэропорту, вспоминаются десятки рядком стоящих зеленых и голубовато-серых «кукурузников»-АНов, на которые глядишь через иллюминатор, когда такой же самолетик поднимает тебя над землей. Каких только не начиналось отсюда путей, куда только майкопчане тогда не улетали... А всесоюзная слава майкопского аэроклуба?!..

Но вот словно все это в одночасье разбилось, рассыпалось в прах. Глянешь с горы на раскинувшийся внизу «Авиатор» — здесь и там отставными умельцами приспособленные для душа либо для полива садика-огородика авиационные емкости, вынутые из туалетов «аннушек» умывальные бачки, разнокалиберные отсеки фюзеляжей и почему-то — торчащий из земли хвост «кукурузника»... кладбище машин почти исчезнувшей теперь с лица земли, окончательно растворившейся в нашем небе «малой авиации»?

Для меня «Авиатор» на какое-то время стал кладбищем высоких стремлений и несбывшихся надежд моего друга, детство которого прошло среди останков сбитых над станицей машин... на этот раз уничтожаем сами себя?

Однажды потом он сбросил с обширного холста покрывало, и я надолго смолк, не зная, что сказать ему... расспросить? Или, может быть, начать с шутки: мол, тонкий мастер полувоздушной «обнаженки», само собой женской, хочешь удивить нас теперь этим коричневым, этим громадным, этим голым, с бугром напряженной спины мужиком?

Каких только на этот счет догадок не строили: «Разве непонятно, что это — Сизиф? Вон гора перед ним, а под ногами — только что слетевший с вершины камень... Опять придется катить вверх.» «А что там за рыжие холмы и над ними вдали — синий свет?» «Хоть крест он не написал, но это, надо полагать, — крестная ноша... „Да брось, брось, — просто это память о том, как на строительстве дачки упирался!“ „Зря вы. И не крест он несет, а — холст. Он холст не может оторвать от земли.“ „Он собственными руками прикован к холсту — сгорбился, уже не взлетит, не воспарит...“»

Всё-таки он взлетел.

...С Юнусом Чуюко мы работали над переводом его новой вещи «Милосердие Черных гор или Смерть за черной речкой» — Юнус обозначит её потом как роман-гьбзе, роман-плач. Один из главных героев этого многослойного, как это у Чуюко всегда, многопланового романа — Поэт. Александр Пушкин. Само собой, что в воображении у всякого он — свой, особенный, но за время совместной работы образ Поэта во многом сделался для нас в каких-то черточках общим, и мы невольно переглянулись, когда Овчаренко, три года назад пригласивший нас к себе в мастерскую, поставил на станок средних размеров полотно:

«А это вам, братцы, — мой Пушкин. С Натальей Николавной... с Музой, если хотите. Ещё не закончил, показываю вам первым...».

Они касались друг дружки спинами, образуя некое двуединство: в голубоватом воздушном одеянии с глубоким вырезом романтическое создание с чудной головкой, повернутой вглубь холста, и прильнувший к ней, но глядящий в противоположную сторону Поэт. Над плечом в темном сюртуке — слегка запрокинутое лицо с профилем, нарочито, как сразу показалось, приближенным к авторским шаржам самого Пушкина: по ним так и не поймешь, где кончается насмешка над собой и начинается боль. Под скрытым в белом воротничке подбородком — выброшенные возле груди тонкие пальцы... может, они-то больше всего остального и создавали впечатление нарочитой манерности?

Но ведь Пушкин-то — само естество!

Упоенные собственным видением Поэта, не только рыцаря свободы — чуть не джигита, мы с кунаком не проявили тогда ни жалости, ни сочувствия, и больше всего досталось этой непонятно о чем вопрошающей руке: рожденный в долгих спорах и общих размышлениях «наш» с Юнусом, как бы уже «черкесский» Пушкин, одинаково твердо держал в руке и перо, и трость, и пистолет... а эта — что?!

— Не принимаете такого Пушкина... а сколько мучаюсь! — с непривычной открытостью, беззащитно проговорил мой товарищ. — Перечитал всё, что только нашлось в Майкопе... Юнус знает. Может, поищешь книжки в Москве?.. Что-то, что ещё не было известно. Ещё не издавалось, а теперь... в юбилейный год вышло много. Может быть, альбомы, проспекты выставок — поищешь? Попробуешь привезти? Выручи!

В столичных магазинах и на уличных книжных развалах ворошил новинки в нужных отделах, невольно заглядывая и в те, куда давно не заглядывал... сколько же в «белокаменной» издано нынче всякого дерьма, в котором единственно ценное — высокого качества бумага!.. К великой скорби, относится это и к публикациям о нашем Поэте. Но были и удивительно глубокие книги о нем, были!

Относил ли потом их на почту, возвращался ли с Пушкинского праздника в Михайловском, заезжал ли в Захарово, где неподалеку от восстановленного теперь дома Ганнибалов живет старый добрый знакомец Владимир Семенов, один из потомков Арины Родионовны... Вместе с Сергеем Гавриляченко, уже одним из секретарей Союза художников, открывшим «своего» Пушкина в «кавказской» батальной картине «Дело на Инжа-Су», бывал на юбилейных выставках в честь Поэта или же размышлял о нем в дружеской беседе с Сергеем Александровичем в его гостеприимной мастерской — всюду я теперь мысленно возвращался и в майкопскую мастерскую, к заботам озадаченного нами, не на шутку огорченного Эдуарда Никифоровича: что он там — сам?.. Как в трудных заботах мастера, намеренного достичь немногими пока покоренной высоты, опекает верная его Муза — Валентина Арсеньевна, столько лет терпящая не только непростой характер муженька, но в силу своего положения — она бессменный на протяжении более трех десятков лет директор художественного Салона в центре адыгейской столицы — обязанная терпеть профессиональные претензии многих и многих других, достижения свои считающих теперь непременно в твердой валюте?

К собственным замыслам о Пушкине — в «Роман-журнале XXI век» и в «Роман газете» к этому времени уже вышли первые мои рассказы на «пушкинскую» тему, — к размышлениям о прозе Юнуса, первым среди адыгских писателей сделавшего серьёзную заявку на создание образа «солнца русской поэзии», ярко осветившего когда-то седой Кавказ, неразделимо прибавились теперь и раздумья о нереализованном во всю свою силу творческом потенциале моего друга-художника, о его своеобразной манере, которой он и тут наверняка не изменит... Но ведь потому-то и общаемся мы, потому дружим, чтобы творческие заботы сделались общими... Потому, бывает, и громко спорим, и впадаем, случается, в гусарство, чтобы наутро потом строже стать и беспощадней прежде всего — к себе самому.

С какой радостью увидел я, наконец, законченную картину своего товарища!

Уже другую картину.

В этом, пожалуй, и есть суть настоящего искусства, очарование его, его волшебство: ещё не всмотревшись в тонкости, по яркому и теплому, зовущему к себе колориту, по изяществу линий, по удивительной пластике — уже не глазами, а как бы сердцем вдруг ощущаешь, что если это не классика, то приближение к ней — уверенное, мощное, настолько неподдельно-естественное, что ты вдруг невольно спрашиваешь себя: откуда это богатство в давно знакомой тебе мастерской, откуда этот якобы неожиданный дар её хозяину... или это уже его дар — всем нам?!

Теперь они разъединены: сидящая Наталья Николаевна, в каждом легком изгибе которой, в беспомощно повисшей руке, в повороте головы, ткнувшейся в ладонь другой, видишь неизбывное

страдание, и Александр Сергеевич — может, бегущий по земле, а может быть, легко летящий уже в запредельных даях, где величавое вдохновение наконец-то обретает желанный покой... «на свете счастья нет, а есть покой и воля»: это хочет повторить вслед за Поэтом изобразивший его художник?

Кажется, в картине есть все: и встреча, и расставание, и перемена судеб... Над золотистой нишей, которую можно трактовать и как авансцену, где на виду у всех проходит жизнь знаменитостей, и как неожиданно открывшееся почти интимное внутреннее пространство кареты, — уходящие друг от друга коляска Натальи Николаевны, по близорукости своей не увидавшей едущего к месту дуэли мужа, и возок Данзаса с Пушкиным, глядящим в сторону, на Неву... конечно, помните:

«Не в крепость ли ты везешь меня?..»

С тех пор, как разминулись они, пройдет четырнадцать лет, и Наталья Николаевна, давно ставшая Пушкиной-Ланской, напишет хорошо понимавшему её новому мужу из Германии: «В глубине души такая печаль... Ничто не может меня развлечь, ни путешествие, ни новые места. Я ношу в себе постоянное беспокойство...»

«В глубине души такая печаль» — так и называется картина Эдуарда Овчаренко, название это можно прочесть на ленте поверх золотистой ниши, по бокам от разминувшихся кареты и возка... Надпись на траурном венке? Реквием поэту?

Картина-плач, если хотите. К у Юнуса Чуяко — его роман.

Или — торжество жизни?.. «Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет...»

Конечно, — пророчество.

Но — только ли о себе? Только ли?!

От одной новой картины к другой неспешно ходил потом по мастерской, словно преобразившейся от свежести и яркости красок, с радостным изумлением глядел на пейзаж, который мог написать лишь человек с молодой и щедрой душой, смотрел натюрморт, которого, показалось, не могло быть у Овчаренко раньше, пытался угадать смысл жанровых картин: полуфантастических, причудливых, но полнокровных от переполнявших их земных соков... Покачивал головой, что-то восторженное взмывал, и Борис Воронкин, которого застал у Овчаренко, сказал дружелюбно и чуть насмешливо:

— Вот-вот. Также и высокие гости из Союза художников, которые перед тобой тут у Шефа побывали: откуда, мол, это чудо — в провинции? Чуть ли не во всех жанрах сразу... портрет Шипитька тоже видел?

Стоял напротив подчеркнуто реалистического, но именно потому-то глубоко выразительного портрета Анатолия Шипитько, руководителя ансамбля «Русская удаль», давно и прочно ставшего славянской составляющей не только в разноликой культуре Адыгеи с главной её черкесскою становой жилой, но все уверенней звучащего на всем многонациональном просторе России... Не зря, пожалуй, обратился Овчаренко к образу этого современного подвижника — разве сегодня, они, и в самом деле, исчезли в разливанном море чужого авангарда и псевдо-отечественной «попсы»?

Молча покачивал головой, умиротворенно радуясь успехам давнего своего товарища — и действительно самоотверженным трудом подтвердившего расхожую поговорку о «втором дыхании»: вот оно!.. Покачивал головой, а сам невольно поглядывал на главную, на «пушкинскую» картину — не отпускала.

При всей свободе и воле воображения — какая выверенность линий, какая выразительная точность всякого жеста!

— Руки Натальи Николаевны — ещё ладно, — будто сам с собою заговорил. — Беспомощность женщины, к которой многое приходит задним числом... Но его руки так изобразить! Особенно —

правая... рука творца...

— По-моему, эта рука и оторвала меня от пола и хоть немного приподняла, — в обычной своей манере ворчливо, ещё не дослушав, остановил мои размышления Эдуард.

Понимает ли сам до конца, сколь многое ему теперь удалось?

Не преувеличиваю: ведь в многолетних раздумьях о грандиозных наших планах и малых делах родился не только крошечный мой рассказик «Иней на стекле» — был потом большой рассказ «Приключения скелета в Майкопе», в котором я вволю поиздевался над Эдиком, над нами с ним, над собой, над обитателями соседних с овчаренковской мастерских... вообще-то странное дело, странное! В мастерских этих провел куда больше времени, чем где бы то в здешних краях ни было, давно сделались чуть ли не родными, а правда! Только теперь вот со всею определенностью и понял, как тут здешние художники все вместе потихоньку растили меня: и незаметно влияли, и втолковывали свое, и потихоньку, когда надо, подбадривали и подпитывали — не только в смысле питания, нет...

А что же наша «белокаменная»? Как мы ещё недавно говаривали: «столица всего передового и прогрессивного»?..

Пусть в ней каждому, кто этого заслужил, поможет Господь с претворением самых амбициозных планов!

Но главное в России происходит нынче не там, а в якобы тихой, но все больше осознающей свою ответственность за состояние духа, за нравственное здоровье страны, провинции.

В том числе, если хотите, — в адыгейском Майкопе.

## СЭМАУР

На выставку самоваров позвали за час до открытия, заторопился и в спешке не подумал, что к нашей с Юнусом работе, к его «Милосердию Черных гор...» может она иметь, ну, самое прямое, что называется, отношение.

Это уже потом припомнился мне отрывок из пушкинского «Путешествия в Арзрум», который в Майкопе мне пришлось выучить наизусть ещё и потому, что начинается он прямо-таки сакраментальным для черкесов вопросом: «Что делать с таковым народом?»

Многие тут до сих пор не могут простить его Александру Сергеевичу, хотя сразу же вслед за ним в тексте следует достаточно мирное: «Должно, однако ж, надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением.»

Юнус-то молодец: пушкинскую мою «подачу» разыграл, и в самом деле, блестяще, на всю катушку, как говорится, раскрутил. Разожженный им в самом начале «Милосердия...» и прямо-таки исходящий затем творческим жаром «сэмаур» — так наш «самовар» звучит в адыгском произношении — и согрел сердечным теплом, и мирным домашним светом озарил не одну страничку романа, любо-дорого было перечитывать их в «дострочнике», радостно, хоть и непросто, на истинный русский лад достойно перелагать, а когда натыкался на печальные подробности нынешней жизни на Кавказе — что ж, с понимающим вздохом отдавал должное не только упрямству, но и деликатности моего друга-черкеса...



Но сперва я обо всем об этом не вспомнил, а нахлынуло давнее: как три десятка лет назад, когда жил в Майкопе, не то что ходил — прямо-таки шнырил по воскресеньям между бескрайних рядов местной «толкушки», высматривал и самовары, и всякие другие старинные вещички, которых в те поры имелось тут в изобилии... Уже до революции этот небольшой городок считался не только зажиточным — среди насельников его было достаточно людей интеллигентных в самом добром смысле этого слова, еще незапачканного тогда неоднократным предательством якобы родного народа.

Тут я успел застать в живых одного из первых русских летчиков, Петрожицкого, командовавшего в Гражданскую «рев-авиацией». С печальным сердцем и сегодня посмеиваюсь, вспоминая его «рассказы из инвалидной коляски»: как в чистом поле где-нибудь вдалеке от боев слетались по-дружески потолковать да рюмку-другую выпить «белые» да «красные» однокашники первой в России летной школы, как по-братски договаривались хранить друг друга при неожиданных небесных свиданиях на встречах курсах.

Куда трудней пришлось ему потом в лагерях, но и через них он, несгибаемая старая школа, смог пронести старинную скрипку, нет-нет да звучащую ночью в бараках, объединивших, наконец, «белых» и «красных». Победенных и победителей...

Нет-нет, только начни — о Майкопе, только начни: тогда же, в Гражданскую остались тут бедовать разночинные беженцы двух столиц, а после Отечественной он превратился в «город отставников», многие из которых в конце войны «добивали врага в собственном логове» и умудрились не только вернуть обратно кое-что из награбленного немцем в России, но и прихватить заодно много всячины, раньше на родине не виданной...

Пяток старых, с медалями самоваров я увез тогда отсюда в Москву... таких, пожалуй, и не будет, думал теперь, на выставке!

Один из них особенный, варной самовар. Для приготовления еды.

Краника у него нету, зачем, зато внутри есть перегородка сверху донизу: сразу можно сообразить и первое и второе, либо два горячих блюда одновременно. Крышка состоит из двух половинок, они, само собою снимаются, а изящная ложка на длинной вертикальной ручке с загибом на манер скрипичного ключа на конце устроена таким образом, что носок её способен забраться в самый, казалось бы, недоступный уголок внутри...

Изрядная коллекция в доме у нас имелась и до того, но этот, варной, что называется, добил меня, — оставил вдруг все остальное и несколько дней, полный мучительного блаженства, корпел над многостраничным рассказом «Колесом дорога», закончил его как раз накануне отъезда в Гагру, в дом творчества, и первым его читателем, так вышло, стал Юра Казаков, светлая ему память: Юрий Павлович.

Может быть, это вообще была лучшая пора моей жизни?

Сухая, исходящая все ещё мреющим над морем воздушком поздняя осень, промозглая, с затяжными дождями зима со скучающими в парке среди пальм мокрыми павлинами, начало сырой весны с гулким боем тяжелой волны о бетонную набережную... Именно в это время, когда писательская братия предпочитала уют Каминного зала ЦДЛ в Москве, а здесь хозяевами не только большого многоэтажного корпуса, но и крошечного Приморского, в сезон достававшегося лишь писательской элите, тоже становились донецкие, тульские да сибирские шахтеры... пробующие сперва в «Гагрипше», самом престижном ресторане, любимое сталинское вино, «Киндзмараули», но уже к середине отпуска начинавшие забираться все выше и выше в гору, стучать в калитки грузинских да абхазских домов в поисках чачи покрепче да подешевле... именно в это глухое межсезонье съезжались мы с Казаковым в Гаграх.

— А почему я д-до сих пор не знал тебя? — спросил он, когда впервые прочитал несколько

рассказов.

Недавно возвратившийся на Кубань, на родину, из Сибири, я внимательнее обычного ловил перемены в речи моих земляков и потому ответил ему новомодной здесь тогда категорической фразой: это — твой вопрос!

Не то чтобы заикнулся сильнее обычного — он прямо-таки захлебнулся удивлением:

— М-м-мой, считаешь?!..

— А чей же? — спросил я с кубанским напором, соединявшемся тогда во мне с сибирской гордыней, родной сестрой провинциальной наивности.

— Т-ты меня д-даже не удивляешь... Сказать — огорчил? — спросил он тоном опечаленного учителя.  
— Почему Распутин прислал мне книжку... Лихоносов свою прислал. А ты — нет. Или считаешь...

Тут только стало до меня доходить...

И если бы окончательно дошло в конце-то концов хоть когда-нибудь. Если бы!

Посылать свои книжки «классикам» либо отдавать из рук в руки со словами пиетета в дарственной надписи «великим», к большому сожалению, я так и не научился.

Сперва мы слегка поспорили, когда Казаков прочел мой рассказ о самоварах...

Описывая в самом начале старинный медный пятак, я позволил себе сказать, что «отчищали монету, видно, без особого упорства, она так и осталась темною, и сквозь прикипевшую к чеканке ржавчину пятнами проступала глухая прозелень...»

— П-пра, имей в виду! — сказал он, возвращая рассказ. — На пятаке. Празелень!

— Ты считаешь? — переспросил в своей обычной манере.

Он усмехнулся:

— Это не я так считаю. Так считает «великий», к-как ты помнишь, и «м-могучий» русский язык.

Теперь иной раз бывает неловко за тогдашнюю дремучесть, теперь во всех, какие были с тех пор, изданиях рассказа «Колесом дорога», конечно же, стоит это, позволю себе, казаковское «пра...»

А тогда, когда я с ним, наконец-то, согласился и тут же слово поправил, Юра сказал: ну, вот, мол, и хорошо. Теперь он может с чистой совестью посоветовать: а не хотел бы я посвятить этот рассказ ему, Казакову?

Не стану пытаться описать юрину улыбку, по-детски светлую и беспомощную в те дни, когда переставал выпивать...

— П-посвяти?

— Да что ты! — воскликнул я искренне. — И правда: сочту за честь!

И до сих пор так думаю об этой на всю жизнь одарившей меня его просьбе... До сих пор.

Уж не знаю, честно говоря, что могло в нем Казакова растрогать: рассказ был о том, как ещё в Сибири, утонувшей в снегах, в затерянных в тайге деревеньках начал я собирать поддужные колокольцы и самовары, как продолжал заниматься этим уже на юге, и старый мой товарищ, директор школы, который на этот счет меня все подначивал, вдруг расщедрился и подарил мне

трехведерного великана из бронзы, не один десяток лет небось баловавшего чайком дорожный люд где-нибудь на постоялом дворе...

Тут же мы решили его опробовать, теплым и солнечным ноябрьским днем, которые бывают в кубанских предгорьях особенно хороши, большой компанией, с женами и ребятней, выехали за станицу. Водички для чайка решили набрать в известном на всю округу ближнем родничке, мальчишки переставили самовар в «газик» председателя колхоза, и тот посадил за руль двенадцатилетнего сына: ничего-ничего, мол, — парень уже не по таким горам ездил!

Укатившей с самоваром команды не было почти два часа, мы все уже чего только не передумали, а они появились уставшие, изгвазданные, все в мокром: никто им, так вышло, не объяснил, что с самовара надо снять крышку — по очереди заливали его через крошечное, с копеечную монету отверстие, откуда выходит лишек пара, когда закипит самовар: через паровичок.

Была в рассказе, конечно, окрашенная в осенние тона грусть по уходящей русской старине, которая вскорости никому не станет нужна... Наверное, было что-то ещё, до чего не хочу теперь докапываться: довольно того, что всякое воспоминание о нем вызывает радостную и благодарную память о Юре Казакове. Юрии Павловиче.

Потому-то так горячо и отозвался на неожиданное приглашение из Республиканского музея Адыгеи, ещё недавно бывшего попросту краеведческим, потому только там уже и подумал: как жаль, что нету рядом Юнуса — ну, как жаль!

Небольшими группками стояли в просторном холле музея почетные гости, разомкнутым кружком держалось начальство из Министерства культуры, перед телекамерой кто-то уже давал интервью, но встретивший у входа директор музея Альмир Абрегов, старый знакомец, подвел меня сперва к столу с окруженным фарфоровыми чашками самоваром: отведать чайку с адыгскими сладостями.

Потом начались и короткие, и длинные речи, понял, что тоже придется говорить и лихорадочно стал соображать, как бы в грязь лицом не ударить... И самовары, увезенные из Майкопа, и посвященный Казакову рассказ — все это, конечно же, хорошо, но где как бы необходимый при этом случае адыгский колорит?

В романе у Юнуса он был.

Чуть не на первых страницах рассказывал о бытовавшей тогда в его ауле игре в «сэмаур»:

«Тебе ещё два-три годика, ещё и говорить толком не научился, а тебя уже подталкивают к одной из двух стоящих друг напротив друга цепочек:

— Праныч будешь, запомни... иди-иди!

Привезенный, значит, из города русский пряник... ну, что тогда могло быть вкусней?

Каждый назывался какой-нибудь, вроде этой, вкуснятиной, каким-нибудь лакомством, и — начиналось!

— Сэмаур, сэмаур! — кричали из одной цепочки в другую. — С чем чай будешь пить?

— Праныч! — выбирал тебя вдруг очередной, и ты должен был стремительно вырваться из своей цепочки и мчаться в противоположную — к тому, кто выкликнул тебя... а-енасын!

Как крепко мы держали тогда друг друга за руки!

И как ждали друг дружку — если тебя позвали.

— Сэмаур, сэмаур, с чем чай будешь?!

Кого только среди нас не объявлялось...

Ну, смалечку ты и „такыром“ готов побыть — кусковым сахарком. И, само собой, „шхэнтэжий“ — конфеткой-„подушечкой“.

В семье у нас это потом в поговорку вошло — один из моих младших братьев, кажется, Юсуф, сказал как-то приехавшему с гостинцами из Краснодара отцу:

— Зачем ты возишь так много этих маленьких „шхэнтэжий“? Привезешь одну в следующий раз? Большую, как подушка у ныне на кровати?

Как это по-русски: губа не дура.

У черкесов попроще, но, может, значительней?

У нас: ты не дурной!

Наверное, игра в „сэмаур“ и эту цель, как говорится, преследовала: открывать мир. И разве это казалось познаний чисто кондитерских?

— Сэмаур, сэмаур, с чем ты — чай?

— С пэлькау!

С облитыми сахарным сиропом пышными хлебцами...

— Сэмаур, сэмаур!..

— С хьалу!.. С хьалу!

И пыталась разорвать сцепленные руки девочка, назвавшая себя самодельной, из жареной кукурузной муки, халвой...

— Сэмаур, сэмаур!..

— Халау, халау!

Тоже халва, но другая — купленная в городе русская, с таким аппетитным запахом каленого подсолнечника, жареных семечек...

Разве не было в беззаботных этих криках неосознанной надежды на счастливые перемены в скучной и небогатой аульской жизни?»

Но вот переменялось все... и как, как!

Тут мне придется опустить и сцену нашего с Юнусом чаепития на двенадцатом этаже, на лоджии моей московской квартиры: неожиданно для меня он ввел вдруг её в роман, и у меня не поднялась рука трогательные строки моего кунака вычеркнуть... Придется также опустить... или нет, нет?.. Иначе порву «самоварную» стежку, которой насквозь прошит весь роман.

«Бабушка Прын перед сном рассказывала мне, что мой дедушка — прославленный касапыш-мясник, что его знают не только адыги — знают казаки, что бывает он в далеких городах Закубанья, и там тоже его знают.

Порой не хватало одного самовара, приходилось нам с дедушкой второй раз разжигать огонь...

Естественно, откуда им было знать, кому самоваром они обязаны, они о тебе, о Пушкине, не подозревали, милостивый государь, и скорее всего не ведали. Им было хорошо и приятно вот так сидеть и пить чай вприкуску и обсуждать неторопливо свои дела... Где мяса побольше, где оно подешевле, где подороже. Как лучше угодить людям. Как при этом не прогадать. Самому на бобах не остаться.

Им не дано было знать о твоих миротворческих, — так модных нынче на Кавказе! — усилиях, но все ж таки подспудно у них в голове, у каждого, как тоже нынче модно, — в подсознании крутилось что-то подобием эха. Мой дедушка и его закубанские гости догадывались, что какой-то „настоящий русский“ придумал этого бронзоволицего с жаровнею в груди, ну, и что, придумал так придумал. Вот и слава ему! Они, самоварники, так и сидели за большим, покрытым черным турецким лаком столом, словно раскаленные огромные бородатые угли. А моя хлебосольная бабушка Прын в такие часы возле них вся светилась-крутилась, как новенькое веретено! Давно это было, но все равно отчетливо слышу, как хрустит колотый сахар в зубах у разомлевших от длинных разговоров и горячего чая гостей-мясников...»

Были они, надо сказать, люди необыкновенные, каждый со своею особенкой...

«Считалось, что дедушка Мос тоже иазэ — врач... Бабушка рассказывала ему о болезни кого-то из аульчан, а он спрашивал о подробностях, просил уточнить, что это за болезнь, иногда сам ходил к больному, чтобы убедиться лично, как говорится, а потом отрубал именно тот, который надо было кусок от туши „молодого, здорового и сильного быка“ и говорил бабушке:

— Отнеси и скажи, что через три дня он поднимется, ещё через три ходить начнет, а через десять дней будет бегать — никто не догонит!

И так всегда и бывало, ей!

Иногда дедушка передавал, чтобы за „лекарством“ к нему прислали мальчика или пришел бы кто из мужчин... Рассказывая об этом, бабушка чего-то недоговаривала, и только потом покойный брат, старший Аскер, погибший в аварии братик мой дорогой, объяснил мне, что речь шла о семенниках или железах самцов — козлиных, бараньих или бычьих яичках, которые творили чудеса и якобы поднимали больных чуть ли не с того самого стола, на котором на кладбище обмывали покойников...»

Но не те пошли теперь на Кавказе гуртовщики: бывшие продавцы скота предпочитают торговлю людьми... И не те пошли мясники.

«Две шеренги парней, у которых молоко на губах не обсохло, замерли одна напротив другой:

— С чем чай будешь пить, Заурчик?

— А ты с чем, Ваня, попьешь?

И пьют, пьют...

— С бомбами, с бомбами!

— С минами на растяжках!..

— С лимонками!

— А мне — радиоуправляемое взрывное устройство!

— Мне очереди из „калашникова“ хватит...

— Из крупнокалиберного...

— „Муха“ попала! Гранатомет.

И пьют, пьют... Кровью захлебываются.

Мы с тобой, кунак, всегда одинаково понимали... одинаково жалели их всех.

Печально посмеивались: знал бы бедный А.С.,[1] что подпольный заводик по переработке нефти в Чечне зовут нынче „самовар“! Но любители обжигающего напитка сидят вокруг таких самоваров не только в Черных горах — в скольких московских кабинетах! Привычка, заведенная ещё исстари: москвичи — известные чаевники-водохлебы!»

...Альмир, долго живший перед этим в Абхазии и помогавший ей, насколько знаю, в последней войне, стоял со мной рядом, и я тихонько сказал ему:

— Ты-то знаешь, само собой, что по всей земле только три русских слова не нуждаются в переводе: самовар; спутник; «калашников». У меня даже есть крошечный рассказик об этом: «Самовар, спутник Калашникова». И слава Богу, что ты в своем музее устроил выставку самоваров, а не «калашей», которых в Майкопе наверняка куда больше, чем самоваров...

И директор музея, которого давно знаю, чему-то потаенному улыбнулся...

Все речи были по-русски, но тут предупредили, что очередная выступающая плохо пока знает русский язык: в Адыгею, на родину предков вернулась из Турции только что.

Молодая, в хиджабе, симпатичная женщина, чуть смущаясь, заговорила по-черкесски, но то и дело различал я такое знакомое: сэмаур... сэмаур...

С нарочитым вниманием слегка наклонился к ней готовившийся переводить один из сотрудников музея, но все ждал, то и дело покивая — наверное, готовился пересказать потом сразу.

Как-то уже приходилось писать об этой особенности адыгской речи: мужчины говорят — и будто слышишь булатный скрежет. Недаром в моей казачьей станице, расположенной на месте бывшего аула бесленеев и граничащей с абазинами о говоре черкесов скажут и сегодня: джергочут.

Но женская речь!

И правда же: щебет птиц.

Ну, может, ещё и воркованье, тем более, что все слышалось: сэмаур... сэмаур.

— Она говорит, когда покидали родину махаджиры, пытались взять с собой не самое ценное, — начал тихонько переводить придвинувшийся ко мне Альмир. — Брали самое дорогое душе и сердцу... И брали самое необходимое. Многие унесли с собой самовар... И никогда потом не жалели об этом... на чужбине он сделался вдруг не только предметом гордости... Во многом стал определять общественное положение. Турки стали говорить: о, у этого черкеса есть самовар! — и старый мой знакомец вдруг съехал с академического тона, простосердечно и даже как бы с некоторым оттенком недоумения свойски спросил. — Ты представляешь?!

У меня у самого уже пощипывало в глазах: мать история!.. Каких только поворотов нет на бесконечных твоих дорогах!

— Если черкес приглашал кого-нибудь к себе в дом и ставил самовар, то подчеркивал этим свое уважение к гостю, — вздохнув, продолжал Альмир. — Турки переспрашивали друг дружку: как тебя угощали? Какой был чай? Из самовара?.. Ты его видел?

А меня вновь вернуло к роману моего друга, в котором перепады во времени соседствовали с

фантастическими встречами автора с реальными героями прошлого, и появление их нынче в доме писателя-черкеса или в Майкопе на улице было делом обыкновенным, чуть не рутинным...

«В ту лихую годину пеший караван из шестидесяти тысяч — а в нашей республике и ста тысяч нынче не насчитаешь! — адыгов из гордого племени абадзехов спешно, со скарбом на плечах покинул свои извечные горные ущелья. Помнишь, кунак, как он, урус-стихотворец, горячо их отговаривал?.. Бесполезно!

Посреди почти неслышного шума от быстрой ходьбы раздастся вдруг тяжелый перезвон многочисленных льонх — надочажных цепей, крючков и головок, служивших до этого покинувшим свои сакли для подвешивания котлов над огнём. Завернутые теперь в тряпье, они лежат в основном на разбитых плечах усталых женщин. Может быть, Пушкин тоже старался подсоблять махаджирам? На правом плече у него льонх — надочажные железяки, а левой рукой перехватывал у кого-то пустую колыбельку...»

Но вот, оказывается теперь, что с чувством исполненного долга, как говорится, Александр Сергеевич мог бы нести тогда и любимый свой самовар... а-енасын!

Как часто говорит в своих текстах мой друг Юнус.

Само по себе восклицание это не имеет собственной смысловой нагрузки, интонация его зависит от сути того, что перед этим было рассказано...

Так что пусть каждый сам для себя определит, как он это «а-енасын» произнесет.

Бохуапце, дорогие мои!

Пусть множится ваша отара!

Если, конечно, она у вас есть...

«ВО ГЛУБИНЕ СИБИРСКИХ РУД...»

Так вышло, что на недельку-другую книжечка эта, «Я вас любил...» опять задержалась в моей сумке...

В Звенигороде (на самом деле тут — стоящее в конце железнодорожной ветки до него село Введенское) сразу доставал её, не то что с удовольствием — прямо-таки с жадностью принимался перечитывать, а через пару остановок, в Захарове, где восстановили, наконец, дом Ганнибалов и снова открыли в нем музей Пушкина, с интересом глядел на торопливо входящих в вагон, искал глазами старого знакомого Володю Семенова, так и живущего в Захарове потомка Арины Родионовны, у которого купили мы нашу избу в Кобякове... Он уже не раз подсаживался в Захарове, дальше ехали вместе, и я теперь заранее улыбался: расскажу об этой книжке Володе, и наверняка он тоже порадуетя.

Не исключено, что в вагон могла вдруг войти всем видом своим боярским будто подчеркивающая, что достойна иной доли, но милостиво снизошла до общенародного транспорта Наталья Бондарчук, затеявшая многосерийный фильм о Пушкине и специально, рассказывали, — дабы здешним воздушком дышать каждый день — поселившаяся теперь в Захарове... А, может, вошел бы и сам Александр Сергеевич?

В дорожной крылатке поверх шубейки, в неизменном английском цилиндре и, конечно же, с тросточкой...

Тут дело не простое: пару эту — Наталью Сергеевну, продолжившую в кино отцовское, значит, режиссерское дело и одетого «под Пушкина», самую малость подгримированного молодого актера впервые увидел несколько лет назад в Иркутске, куда Валентин Григорьевич Распутин пригласил нас, десятка полтора москвичей, на ежегодный фестиваль «Сияние России». Вместе были на встрече с иркутянами в театре, потом двумя-тремя словами и с нею, и с ним перекинулись в одном из музеев — в прочном до сих пор, из вечной лиственницы, старинном особняке Волконских, надежно хранящем не только хрестоматийное знание о неудачливых «перестройщиках» 19 века — о «декабристах»... Хранит он сегодня, по-моему, самое для России главное: ставшую народной легендой историю о золотом колечке молодой княгини Марии Николаевны, мчавшейся вслед за мужем в ссылку и отдавшей его сибирскому ямщику: чтобы тот не медлил, вез её побыстрее. Вместе с этой, казалось бы, не такой уж значительной историей музей надежно хранит всеобщее наше спасительное уважение к русской женщине, которое так и не смогла нынче замарать ни заграничная грязь респектабельных борделей, ни беспросветное хамство дома... это мы, все изображающие из себя рыцарей, затолкали вас туда нынче, родные мои, это мы!.. Но только на вас, поверьте, только на вашу память, над которой посмеиваются как над очень короткой, остается надеяться и нам, и всему русской кровью с молоком торгующему нынче по миру отечеству... но разве об этом мы начинали?

Конечно же, для первого раза кажется любопытным — увидеть «живого Пушкина» в мало что замечающей уличной толпе или во внимательном благородном собрании: надо же молодому таланту вживаться в образ?.. Вот и не выходит месяцами из образа, дело такое. «Выйди» — а вдруг потом снова в него да «не войдешь»?

Года три либо четыре спустя ясным июньским днем неожиданно столкнулся с «Пушкиным» в родных его северных местах, под Псковом — в селе Петровском неподалеку от Михайловского, где с минуты на минуту должны были открыть отреставрированный дом Ганнибалов, тот самый, слегка уменьшенная копия какого была в свое время построена предками Александра Сергеевича по материнской линии в подмосковном Захарове... Открытие предполагалось торжественное, вокруг московских гостей, среди которых были и видные чиновники министерства культуры с известными актерами да литераторами, вокруг псковского областного да местного руководства народ празднично копился перед воротами усадьбы, а за ними чуть в сторонке от центрального въезда на дорожке между ухоженных клумб стоял одинокий Поэт в дорожной крылатке и в цилиндре: тоже только приехал в свои края, ещё не успел и переодеться...

Я потихоньку пробрался через боковую калитку, чтобы так и снять его, пока одного, и, когда напомнил ему о встрече в Иркутске, он явно обрадовался: может, был не в своей тарелке и воспоминание о сибирской поездке хоть слегка его да согрело...

Но к чему я обо всем этом говорю?

А к тому, что есть некий достаточно четко определившийся круг причастных, так скажем, к «Пушкинской теме» и есть давно устоявшийся ряд — или, если хотите, колонна — почти неизменных, где бы они ни состоялись, участников каких-либо мероприятий или торжеств, посвященных Пушкину... Изредка меняется лишь обрамление того и другого, благодаря чему и попал в Петровское ваш покорный слуга, — ядро же и там, и там остаётся монолитным. Вроде бы оно и понятно: можно ли «наше всё» доверить жалким любителям?.. Профессионалы же, само собой, во время этих высокоторжественных действий ещё больше проникаются так необходимым для них животворящим духом, подпитываются им, а заодно в порядке вещей слегка и подкармливаются, что ж тут...

А простенькая, в бумажной обложке книжечка, с которой я начал, издана в Сибири, в далеком Новокузнецке, «благодаря помощи и поддержке администрации г. Мыски.»



Много ли слышали вы о Мысках?

Город это между тем знаменитый, известный на юге Кузбасса как столица шорцев, кузнецких татар. Стоит он на слиянии большой Томи и речки куда поменьше, хотя и с норомом, — Усы. Во времена моей молодости, в начале шестидесятых, когда мощную Томь-Усинскую ГРЭС уже успели пустить и «передним краем», как тогда модно было говорить, сделался наш Запсиб — ударная стройка Западно-Сибирского металлургического завода — оживший возле «Томусов» рабочий поселок снова как бы впал в спячку... Записные остряки любили рассказывать простодушную байку о том, как в тридцать седьмом году делегация местных жителей из охотников да шишкарей — добытчиков кедровых орешков — поехала в Москву, к товарищу Сталину с доверчивой просьбой создать отдельную Горно-Шорскую Республику: «Внима-а-ательно выслушал товарищ Сталин Торгунакова с Шерегешевым!.. Однако, будем решать, сказал. А вы пока оставайтесь в Москве. Обоих тридцать лет нету — до сих пор там, однако, ждут решения товарища Сталина!»

Но что поделаешь: городок Мыски в это якобы свято верит, потому что живут в нем по своему особому, мысковскому времени.

Как иначе, и правда что, можно истолковать, что уже в наше «перестроечное» время здесь открыли памятник проводившему в этих местах знаменитые свои «зачистки» Аркадию Гайдару-Голикову, и на его открытие прилетал сюда сынок-соколик Тимур... ну, чем, скажите, как не глухой тоской посреди бескрайней тайги достопримечательный факт этот можно объяснить?!

Само собой, что вековечное спокойствие Мысков не мог поколебать и мой приезд сюда в качестве кандидата в Государственную Думу... ну, имел в моей биографии место, имел такой факт: в столице люди добрые, и такие пока тут есть уговорили меня «лечь на амбразуру» — прикрыть пустующее у них место в одномандатном списке. И я — хотите, как возвращенный комсомольскою стройкой авантюрист с большим стажем, хотите — как чуть ли не штатный участник всеобщей игры под известным названием «Хочу все знать», а хотите — как человек, готовый в края сибирской молодости пешком с котомкой отправиться, а не то что за счет партии-одндневки, на белоснежном авиалайнере — на «шермачка» — так вот, я так или иначе, согласился, тем более, что никаких золотых гор избирателям обещать мне было не надо. Я им так прямо и говорил: приехал, мол, повстречаться с земляками, своими глазами увидеть, как они тут живут, своими ушами услышать, что знаменитого на всю страну губернатора своего зовут они не иначе, как Туленин и в соответствии с этим чтут.

И вот в гостеприимном доме у старого друга Николая Никифоровича Конищева и милой его половины, умелицы Нины Васильевны, уже поели мы настоящих — «из трех мяс» и «с щепочкой» от деревянного корытца, в котором эти «три мяса» секли топором, — пельменей, а потом отправились в Дом культуры Томь-Усинской ГРЭС, где предстояло в роли кандидата мне выступить... Конечно, если бы в объявлении тоже пельмени «из трех мяс» пообещать, может и заявись бы хоть половина того количества народу, который сидел за щедрым столом у Николая Никифоровича, но вот насчет пельмешек там как раз ничего не говорилось, и пришли всего трое.

Две женщины средних лет набросились на меня с такой энергией, словно перед ними неожиданно возникла последняя надежда хоть что-то завалющее, уже престижа ради, «прихватизировать», и, как знать, не постигла бы меня печальная участь гигантов социалистической индустрии, если бы не было со мной рядом боевой, значит, подруги — жены, с которой мы как раз на ударном объекте, на нашем Запсибе встретились и с опережением графика поженились.

Третьим моим доброжелателем был скромно одетый, но с галстучком на белой рубашке невысокого роста мужчина, примерно ровесник, который терпеливо стоял в сторонке от споривших женщин, то с интересом поглядывая на меня, то не очень дружелюбно — на собственные часы на руке.

Наконец, он не выдержал, из внутреннего кармана плаща вынул книжицу, подошел ко мне, отдал и потянулся пожать руку.

Я что-то такое мало вразумительное промямлил — мол, кто он, откуда, что за книга? — но он только с улыбкой, мягко сказал:

— Там все написано.

Ещё раз крепко сжал мне ладонь и пошел к выходу.

Тут же снова подступили ко мне с бесконечными «почему» энергичные «мысквички» — книжечку «Я вас любил» с профилем Пушкина на мягкой обложке открыл я лишь пару часов спустя, а читать взялся спустя пару лет...

Прости меня, дорогой Геннадий Максимович!

Прости, Гена!..

«...от Геннадия Неунывахина, — написано на титульном листе после моих имени и фамилии. — Записб. 1961 — 62 годы. „Металлургстрой“ и многое другое. Есть что вспомнить. С искренним уважением — автор этой книги. 28.11.99.»

В те годы я как раз работал в «Металлургстрое», в начале шестидесятых. Уже — редактором.

Он был наверняка из тех без году неделя бетонщиков или монтажников, кто приходил к нам в редакцию с крошечными заметульками либо просто так: посидеть на диване, поболтать, послушать, что «пресса» говорит не только на страницах «органа парткома, стройкома и администрации» стройки, но и так — по-дружески чистосердечно. По-братски. Глотнуть, одним словом, свежего воздуха.

А доказательством того, что был он тогда у нас в редакции, и действительно, свежим, как раз и является его книжица.

«В литературе о жизни и творчестве великого русского поэта А. С. Пушкина, кажется, нет недостатка. Однако внимание и любовь к нему не снижаются с годами, особенно в дни приближающегося юбилея — 200-летия со дня рождения.

Книга Г. М. Неунывахина, учителя литературы по профессии и пушкиниста-исследователя по призванию, „Я вас любил...“ вносит свой штрих, дополнение в этот огромный список книг о Пушкине.

Книга может быть рекомендована в качестве дополнительного материала для учителя-словесника при изучении жизни и творчества А. С. Пушкина в школе, а также для учащихся старших классов и студентов гуманитарных вузов.

Издание 2-е, исправленное и дополненное.»

В книжечке две работы: собственно «Я вас любил...» с подзаголовком «Любовь и женщины в жизни и творчестве А. С. Пушкина». И — «Божественная лира. Мир античных образов и героев в творчестве А. С. Пушкина.» В конце помещен пространственный «Словарь античных терминов, имен и образов», встречающихся в произведениях Александра Сергеевича.

И до чего же славно написано все, до чего профессионально, умно и любовно сделано!

Уж до чего расхожая тема — о пушкинском «донжуанстве». Но говорится об этом так естественно, так просто, так деликатно и так бережно, что диву даешься: откуда это высокое умение?

Источником его могут быть лишь чистая душа и золотое сердце.

Подобно опытному мастеру-реставратору преподаватель литературы из сибирской глубинки с удивительным пониманием освобождает сиятельный для русского человека образ от той невольной

грязцы, без которой не обошлось у многих столичных исследователей, не говоря уже о знатоках анекдотов о Пушкине и любителях запанибратских «прогулок» рядом с его великой тенью...

Профессионала не так просто удивить хорошим стилем, но всякий раз, открыв книжечку Геннадия Максимовича, я прямо-таки наслаждался истинно-русским языком, радовался очень верно взятому тону и обширным познаниям, которыми сибиряк очень сжато и к месту пользовался: будто походя, но всякий раз — в точку... Наверное, он был очень хорошим учителем: повествование о том, что я, казалось бы, давно знал, читал теперь увлеченно и как мальчишка доверчиво.

Как просто, как точно, с какой внутренней поэзией в прозаической строке пишет Неунывахин об отношениях Пушкина с Анной Керн: «Любовь прошла, но заметим ради справедливости: Пушкин сделал случайно встретившейся женщине то, что сделать никому не под силу. Он подарил ей бессмертие. Подарил с легкостью, как дарят цветы... Шелуха и мелочи этой истории унесены ветром времени. Их больше не существует. Есть великая история двух сердец: продолжалась „чудное мгновенье“, а обернулась вечностью.»

А вот о Наталье Николаевне: «Мать четырех детей поэта, она давала ему то высокое и вместе с тем то простое, доброе человеческое счастье, в котором он так нуждался, нуждался именно в годы жизни с ней, в 30-ые годы, когда своей мыслью и творчеством ушел далеко вперед, а там он был одинок.»

Невольно думаешь, что написано это тоже человеком достаточно одиноким и думаешь о том, что они всегда одиноки — мудрецы...

Кем же он тогда на стройке работал? Долго ли?.. Вообще — кто он, в каких родился краях, что потом закончил, почему занялся творчеством Пушкина?

И что — выходит, еще тогда, на нашей — ну, хоть не произноси теперь этих слов! — ударной стройке уже горела в нем мало кому заметная та самая искорка, из которой потом «разгорелось пламя» уважительной любви к нашему гению и удивительно тонкого понимания его?

А мы все о нашем недавнем рабстве... далось оно нам!

Или таким-то образом и пытались его привить треклятые наши доброхоты?

Пытались всучить... себе оставьте!

А мы уж как-нибудь без него.

Не преувеличиваю, правда — простенько изданная книжичка Неунывахина так умна и сердечна, что я, посмеиваясь, иной раз говорил себе: ну, вот, а ты ещё сомневался — ехать тебе в родной Кузбасс кандидатом в «нижний парламент» или не ехать? Не поехал — и так бы не узнал, что посреди всеобщего, как и по всей по России, торжища, откровенного воровства и бесстыжего обмана не только народный «скорбный труд» жив — по прежнему, несмотря ни на что, живо и «гордое терпенье». И «дум высокое стремленье» тоже сибиряков не оставило...

Иногда размышлял: сказал ли хоть кто-нибудь Геннадию Неунывахину за его книжку о Пушкине признательные слова?.. Как знать: а вдруг у администрации Мысков, помогшей ему издать её, достало державной зрелости хотя бы исхлопотать для школьного учителя литературы юбилейную «Пушкинскую медаль»... или, как многие из бессребреников утешился он крошечной рублевой монеткой с профилем Александра Сергеича, случайно доставшейся на сдачу в каких-либо недавних «Промтоварах», ставших теперь «Триумфом» либо «Викторией»?

«Мы вглядываемся в жизнь Пушкина, стараемся понять его и научиться у него умению любить, сопереживать и бороться, отстаивая свою честь и достоинство.» Так заканчивается великолепное эссе «Я вас любил...» сибирского учителя-словесника Геннадия Максимовича Неунывахина...

И невольно думаешь, что есть смысл часы свои сверять с «мысковским» временем — есть!

«ЗДОРОВО, РЕБЯТА!..»

или

МУЖИК ИЗ ЗАХАРОВА

В Майкопе, нагруженный размышлениями о «Милосердии...» Юнуса, нет-нет, да отводил душу за чтением пушкинских стихов, их вольным духом подпитывался, а заодно, тогда ещё неосознанно, готовился к этим своим запискам...

Открыл однажды «Руслана и Людмилу» и не мог оторваться, пока не дочитал до конца. Наслаждался и родным простонародным словом и вроде полушутливой, а на самом-то деле сокровенной интонацией... Может, сокровенное наше, и в самом деле, часто говорится на полушутке?.. Оставляющей загадочный простор и для серьёзного поучения, и для грустного раздумья.

Невольно вспомнил университетские штудии о том самом мужике, который в лаптях и армяке вошел в благородное дворянское собрание и стал листать странички комментариев. Прежде всего нашел упоминание о самой резкой из критик того времени — отзыв «Жителя Бутырской слободы» и, улыбнувшись, подумал, что я ведь прямо-таки один-в-один из тех мест: со своею московской квартирой на улице Бутырской, 15.

Вернулся к чему-то насторожившему в только что прочитанных строчках... и хорошо, что вернулся, вот оно: «Для второго издания поэмы, вышедшего в 1828 г., Пушкин переработал в значительной степени отдельные её места; добавил замечательное стихотворное введение „У лукоморья дуб зеленый...“, первые строки которого представляют собой переложение одной из сказок, рассказанных поэту во время ссылки в Михайловском няней Ариной Родионовной...»

Далось им, не без ревности подумал, это Михайловское!

При всем уважении и к нему, и ко всему тому, что с ним связано — не через край ли?!

Опять вспомнил, как с Володей Семеновым, Владимиром Ивановичем, идем в Захарове по краю березовой рощи, по косогору, который спускается к речке, ставшей теперь в этом месте следующими одно за другим тихими озерцами, и он сперва показывает на полускрытые зеленью дальние домишки впереди:

— Там дворня жила, и пра-прабабушка наша тоже... Туда он из барского дома и уносился.

Маленький, значит, Пушкин. К Арине Родионовне.

Хотел было спросить, почему говорит «дворня», — в этом слове вроде бы принято ударение на первом слоге — а он будто спохватился:

— А вон то самое Лукоморье, да!..

Я сперва не понял:

— Какое? Где?

— Как это — какое? — удивился Володя. — То самое... во-он: ма-аленький такой мысок на той стороне. Теперь-то почти и не заметишь.

Пытался взглянуть в ничем не примечательный противоположный берег, поросший жидким леском:

— И ты хочешь сказать, что это — то самое Лукоморье, где «дуб зеленый»... «золотая цепь»...

— Да почему — я? — посмеивался Володя. — Это она ему говорила... дуб-то там, и в самом деле, стоял. Мальчишками ещё застали догнивающий корень — все смотреть бегали...

— А ты не придумал? — спрашивал я с сомнением. — Уж больно все вокруг непохоже! — повел рукой как бы вдаль и вверх, нарочито значительным, как у декламатора с хорошеньким стажем, голосом подчеркнул. — У-у Лу-уко-о мо-о-орья!..

— А что ей оставалось, Леонтьич? — продолжал Володя посмеиваться. — Он же был не пай-мальчик... как-то отвлечь от озорства, переключить внимание... что тут тебе неясно?.. Она рассказывала, он тут же уносился на тот берег, она — за ним... Не спеша. Дуб стоял, а кота уже не было — он же ученый: услышал, что бегут — сам скрылся и цепь спрятал. Это она ему, она... В другой раз надо потише подбираться... да не одному — с нянькой вместе... Слушаться её, одним словом.

Мне оставалось только восхититься Володиной реконструкцией столь давних событий — разводил руками:

— Ну, пушкинове-ед!..

Он рассмеялся:

— Пушкиноед, да.

— Кто это — так? — я вскинулся. — Где прочитал? Или услышал?..

— Ходил тут как-то с одним... Тоже вроде тебя: не специалист, не ученый, а все ему надо, — принялся Володя рассказывать. — Узнал от меня про этот самый сундук, который ещё мальчишкой помню, про эти бумаги в нем... Как начали к нам из Москвы приезжать. Сперва одну бумажку выманили, другую, а потом: сундук-то вам без бумаг — зачем? Какие-то деньги дали — наши и рады... как тогда жили после войны?.. Рассказал ему, а он: ну, пушкиноеды!

Об этом фамильном сундуке слышал от Володи не раз, но как-то все не собрался расспросить поподробней.

— Сундук-то ладно, — сказал теперь. — Был как бы в каждом даже не очень богатом доме... Откуда в нем бумаги? Какие?

— Помню отдельные листочки... как по листку отдавали... хотя нет, нет! Были тетрадки, мать говорила. И не одна...

— Но откуда, откуда?

— А как ты теперь узнаешь? — развел Володя руками.

— Но ты вот только что доказал, что ты — мастер исторической реконструкции... с Лукоморьем-то, с Лукоморьем?

— Подкальываешь, Леонтьич?

— Да не подкальываю, поверь. Но знать бы хотелось! Когда он сюда последний раз приезжал?

Александр Сергеич.

И Володя прямо-таки зашелся смехом:

— Да кто ж это кроме него самого знал, сколько раз и когда он сюда приезжал!

— Что это ты? Официально считается, как уехал в лицей, так до этого приезда перед женитьбой он тут не появлялся.

— Да это только считается... я тебе как-нибудь. Тут есть один мужичок — надо вас познакомить. Он тебе-е!

— С три короба?

— Ну, дыма без огня не бывает, ты ж это знаешь...

— Предположим, что в последний приезд, когда дочь Арины Родионовны «яишенкой» тут его угощала, — взял теперь я на себя нелегкую миссию «реконструкции». — Предположим, он тут мог ей что-то оставить. Не для того, чтобы спрятать — как бы символический жест: в благодарность за детство... хотел соединить прошлое с настоящим... мало ли?

— Это-то ладно. Зачем оно и ему, и ей тогда? Но тут же он ещё на бересте, Леонтьич, писал: на березе на живой ножичком — и то оставалось сколько лет! А там, в Михайловском, бумаги изводил столько, что няня только диву давалась. И расшвыривал листки, и что-то выбрасывал... а разве она не подбирала-не прятала? А вдруг да спросит потом? Вдруг да пригодится?.. По-прежнему за ним — как за мальчишкой. Ему так и не пригодилось, — может, Марье, действительно, передала — разве не понимала, какая ценность? Арина-то Родионовна еще как небось понимала! Ну, ценность не в этом смысле, что денежная...

— С родным человеком связано...

— Ну, и это конечно! Любила его — вот и подбирала. Также, как дядька его из дворни, — снова сделал Володя ударение на последнем слого. — Никита Козлов, так его?..

— Никита Тимофеевич, да...

— Он-то вроде и сам стихами баловался, как говорится, хотя какие там могли быть стихи... Сам в деревне рос, знаешь...

— В станице! — поправил я с нарочитой серьезностью: большая, мол, разница.

— Да хоть в станице. Небось такое завернут — уши завянут!.. А тут он за барчонка радовался: благородные стихи!.. Может, что-то и прабабке внушил... по-моему, Леонтьич, они друг дружке помогали с ним справиться, а заодно и крестьянский ум-разум вставить...

Прав, прав Володя Семенов: при всем уважении к Михайловскому — при высочайшем, ну, ещё бы! — надо бы признать, что народное начало пушкинских стихов заложено все-таки здесь, в Захарове, где прошли самые лучшие, золотые деньки детства Александра Сергеевича... Другое дело, что, очутившись в Михайловском, снова в обществе няни, он опять мог радостно погрузиться в полузабытый мир:

Ах! умолчу ль о мамушке моей,

О прелести таинственных ночей,

Когда в чепце, в старинном одеянье,

Она, духов молитвой уклоня,  
С усердием перекрестит меня  
И шепотом рассказывать мне станет  
О мертвецах, о подвигах Бовы...  
От ужаса не шелохнусь, бывало,  
Едва дыша, прижмусь под одеяло,  
Не чувствуя ни ног, ни головы

.....

Все в душу страх невольный поселяло.  
Я трепетал — и тихо наконец  
Томленье сна на очи упало.  
Тогда толпой с лазурной высоты  
На ложе роз крылатые мечты,  
Волшебники, волшебницы слетали,  
Обманами мой сон обворожали.  
Терялся я в порыве сладких дум;  
В глуши лесной, среди муромских пустыней  
Встречал лихих Полканов и Добрыней,  
И в вымыслах носился юный ум...

Вот: Александр Сергеевич будто целенаправленно, сам указывает на истоки народного начала.

А в Михайловском, оказавшись в обществе няни, он наверняка её переспрашивал, наверняка заставлял снова пересказать для него и то, и другое... и пятое, как говорится, десятое.

«...если бы в Московское благородное собрание как-нибудь втерся (предполагаю невозможное возможным) гость с бородою, в армяке, в лаптях и закричал бы зычным голосом: здорово, ребята! Неужели бы стали таким проказником любоваться?»

Так ведь выходит, что «гость»-то этот — из Захарова!

И тут же невольно рассмеялся: а, может, это мы с Володей Семеновым, два таких вот бесцеремонных «гостя» из Подмосковья, без предупреждения врываемся вдруг в «благородное собрание» профессиональных пушкиноведов, уважаемых не только в России академиком: «Здорово, ребята!..»... ой, нехорошо — нехорошо!

Тогда ли это пришло в голову, когда в Майкопе посмотрел на фамилию автора комментариев: Дмитрий Дмитриевич Благой...

Сейчас ли, когда слишком свободной цепи ассоциаций пытаюсь придать хотя бы относительный порядок?..

Вспомнил дом творчества в Гагре поздней осенью, когда писателей было — раз-два, и обчелся, а за столиками в основном сидели шахтеры, которые сюда «в себе принесли»: в просторном, ярко освещенном зале не завтракали-обедали-ужинали — утром, в обед и вечером, считай, закусывали... Среди простой этой публики, в основном средних лет, а то вовсе молодой, конечно же, выделялись три «божьих одуванчика»: высокий, с прямой осанкой благообразный старик в светлом костюме и в тубетейке, которая благодаря рассеянному взгляду из-под очков её владельца имела вид академической шапочки, и с ним двое таких же древних ровесников: трогательно ухаживавшие друг за дружкой — и оба за своим соседом — муж и жена.

Мы сидели за одним столиком с Казаковым, вместе приходили в столовую, шли потом, не торопясь, прогуляться, и как-то я спросил его: мол, кто эти «долгожители»?

— Нехорошо, б-брат! — пожурил он, улыбнувшись. — Т-тебе не кажется, что не знать Дмитрия Дмитрича Благого — всё равно, что не знать Пушкина?

— Вот оно! — сказал я с понятным почтением. — А эта неразлучная пара?

Как хорошо, как тихонько и ласково мог Юра смеяться, когда был трезв и был в духе! Глаза под стеклами очков повлажнели, плотоядные губы расплылись в добрейшей, хотя не без насмешки, улыбке:

— Тут речь должна идти не о паре. Скорее — неразлучная троица...

— Это его брат? Или она — его сестра?

— Б-боюсь, ты и правда, не поймёшь, старичок! — явно забавлялся Казаков. — На твоей сибирской стройке, название которой вслух лучше не произносить, такого, конечно, не было...

— То-есть?

— Любовный треугольник, старик! Крепкий, как сталь, которую т-ты там в своей Сиб-бири... на этом самом з-заводе. Крепкий и неразлучный...

Тут стало до меня доходить: и почему живут в одном люксовом номере, и почему глядевшие им вслед молодежавшие официантки, невольно качают головой и прячут то ли жалостливую, а то ли завистливую улыбку.

— Хочешь-не хочешь, — начал было я, — а возникает вопрос...

— С вопросами на этот счет — к тете Маше, которая убирает в их номере, — продолжал издеваться надо мной, провинциалом, ещё недавно — «тайгой глухою», слишком хорошо знавший себе цену Юрий Павлович. — Она тебе, как понимаешь, может н-немало любопытного...

Ещё бы!..

Несколько раз спрашивала при мне Казакова, не приедет ли вскорости его друг «Лексаныч», который



куда щедрее всех остальных платит ей за выстиранные рубахи... Однажды я спросил его: мол, что это за «Лексаныч», Юр?..

И не успел Казаков ответить, как тетя Маша с благодарной горячностью пояснила:

— Евгений-то, полностью, Лексаныч!.. Петушенко.

Невольно подумаешь, и правда что: за океаном знаменит, а дома — дома, ну, хоть разбейся!.. Все одно Россию не прошибешь.

Но мы о другом: о Благих. Вместе с «примкнувшим к ним»...

Вспомним-ка при этом «Черную шаль», написанную двадцатиоднолетним Пушкиным:

В покой отдаленный вхожу я один...

Неверную деву лобзал армянин.

Не взвидел я света; булат загремел...

Прервать поцелуя злодей не успел.

Безглавое тело я долго топтал

И молча на деву, бледнея, взирал.

Я помню моленья... текущую кровь...

Погибла гречанка, погибла любовь!

Поистине «африканские» страсти: недаром ведь ревнивец Отелло был негр.

Стих настолько трагически-«серьезный» — как бы сказали нынче, крутой, — что невольно покажется нарочито шутливым прощанием с ревностью...

Снова ирония? Опять полушутка?

Но не ревность ли в конце-то концов Александра Сергеевича и погубила?

А стоило бы дожить до шестидесяти... Не говоря о восьми десятках лет, в каком возрасте лицезрели мы тогда «в Гаграх» почтенного академика.

Но, может, с этих уже прохладных высот видать дальше?

...Всякий раз, когда электричка начинает тормозить возле захаровской платформы, вглядываюсь в толпу на перроне: нет ли среди ожидающих Володи Семенова?.. Как правило, он стоит где-то посередине, садится в пятый или шестой вагон, где чуть посвободней, чем в последних, куда набиваются опаздывающие, и со временем мне стало казаться, что это говорит и о постоянстве его, и о предусмотрительности, и ещё о каких-то признаках человека солидного. Да и весь вид его: высокий ростом, не то чтобы уже располневший — пожалуй, больше вальяжный. Голова крупная, черты белого лица ей подстать, но светлые усы — тонкой и аккуратной прямой щеточкой, о которой

он явно заботится. В голубовато-серых глазах прячется открытая, добрая усмешка... Или это я всегда их такими вижу, потому что разговоры мы ведем все больше эти — о том, что помнят о Пушкине нынешние его захаровские земляки.

Когда он входит в салон, поднимаю руку, мол, здесь я, давай сюда, а то привстаю, чтобы уж точно увидал и не пристроился у входа ко мне спиной. Если еду с попутчиком, тут же их представляю друг дружке, непременно рассказывая о володином родстве с няней Пушкина, и первоначальное удивление, а то и недоверие нового знакомого Владимира Ивановича всякий раз его забавляет и заставляет быть чуть словоохотливей...

— Порода, а!? — уважительно шепнул мне как-то под общий шум вагона наш кобяковский гость Алик, на самом деле — Алий, дитя кубанской казачки и черкеса, самоопределившийся, наконец, как православный русак, но все-таки ощущавший в себе некую раздвоенность.

— В общем-то, да, — сказал я неопределенно и тут, пожалуй, впервые задумался: а что же это ещё, и действительно, в моем друге сказывается?.. Такими и были издавна жившие под Москвой потомственные крестьяне-русаки или Володе значительности придает ещё и осознание своего родства с пушкинской няней?

В это утро он был явно в ударе — вопросов задавать мне не пришлось.

— Ты что ж думаешь, Леонтьич? — начал своим обычным чуть ироническим тоном. — Лев Николаич по деревням вокруг Ясной Поляны наоставлял детишек, как под копирку, а наш Александр Сергеич не успел? Эге, брат!.. Если учесть африканский темперамент и раннее развитие, а?.. Тут начал дружить с девушками и всю жизнь потом сюда к ним побаловаться приезжал...

— Да ладно тебе — всю жизнь!

— А ты думал?.. Знали немногие, но как только он пропал в Москве, где его искать?.. В Хлюпине!

— В Хлюпине?

— Там всегда были девушки красивые. А доехать из Москвы...

— Не скажи. В те-то времена!

— А что стоило?.. В Перхушкове была большая ямская станция. Это теперь — Перхушково, и ладно. А тогда волость по нему называлась. Мы были Перхушковской волости Звенигородского уезда... Следующая большая станция по старой Смоленской дороге — Большие Вяземы. Там и сейчас есть такое место — Ямщина. Красивое место, еще недавно большой пионерский лагерь был... Два прогона от Москвы, а? А тут с ямщиком договорился и — чуть в сторонку. Как нынче от электрички — на такси...

Я, во-первых, не верил, а, во-вторых, по привычке Володю подзадоривал: да ладно тебе — октись, мол!

— Ты слушай, пока рассказываю — слушай. Там в Хлюпине есть такие Колчины. Мы — цыгане, цыгане!.. А им: цыгане вы для тех, кто не жил тут и ничего не знает. А для местных вы — эфиопы!

— Так уж?!

— Да если б только они!.. В Захарове жил дед Вася, тоже якобы цыган... Тут цыган этих липовых!

— Как «собак нерезанных»?

— Ну, примерно.

— А, может, липовых эфиопов?

— У Цветковых и сейчас тут родня... А когда жив был Борис Васильич, тот и не думал отпираться. Нос плоский, а губищи — на километр. Работал трактористом: соляркой измажется — ну, негр, как есть — негр. Его не только за глаза, и при нем самом: Поль Робсон. Такая была кликуха.

— А, может, Александр Сергеич тут ни при чем? — пытался я охладить захаровский володин патриотический пыл. — Кто-нибудь из Ганнибалов постарался... кто-то другой, мало ли?

— Поздно ты, Леонтьич, хватился: многие теперь уже ушли, — посерьезнел Володя. — Был такой Анатолий Поваров, электрик... ну, начальник участка, не все равно. Вот он все это собирал и доказывал. Недаром дружил с Галиной Васильевной, она теперь в музее работает. И Капитолина Васильевна его уважала, она теперь тоже при музее.

— Та и что твой Анатолий Поваров?

— Он говорил: читайте, ребята, Пушкина — там все есть. Сейчас точно не помню, домой приедешь, в «Руслане и Людмиле» посмотри... Описание захаровской поляны — один к одному. И как там его девица смущает... может, даже уговорили: надо же барчуку научиться утехам, так ведь?

К этому можно по-разному относиться, но ведь нашел я потом в поэме это место, нашел... После того, как Пушкин описывает сон околдованной Черномором Людмилы, и то, как, «бесплодным пламенем томясь», страдает возле неё Руслан, следует лирическое отступление — и в самом деле, довольно прозрачное:

И верю я! Без разделенья

Унылы, грубы наслажденья:

Мы прямо счастливы вдвоем.

.....  
Я помню маленький лужок

Среди березовой дубравы,

Я помню темный вечерок,

Я помню Лиды сон лукавый...

Ах, первый поцелуй любви,

Дрожащий, легкий, торопливый,

Не разогнал, друзья мои,

Её дремоты терпеливой...

Но полно, я болтаю вздор!

К чему любви воспоминанье?

Нашел я это, раз и другой перечитал и долго потом сидел, чему-то едва осознаваемому улыбаясь...

Милые вы мои! — все думалось. — Как бережно хранят, как трогательно помнят мельчайшие подробности, из которых вырастают дорогие их сердцу легенды... А, может, и правда, нет дыма без огня? Может, — нет?!

Кто-то защищает диссертации, пишет научные исследования, основанные на бумагах из захаровского сундучка Семеновых... Не исключено, что тот или иной листок из него выпорхнет за рубеж и занесет его на какой-нибудь аукцион, где продадут его не за малые деньги... Таков, к сожалению, нынче наш мир, таков!

А им тут, за здорово живешь все раздавшим народным пушкинистам, осталось все-таки самое главное: незамутненная ничем цельная любовь к своему великому земляку.

«Читайте, ребята, Пушкина там все есть!»

Ишь: эфиопы!..

Как-то мы с Володей неожиданно встретились на перроне в Одинцове: он там работает, а я приезжал по каким-то своим делам.

После радостных восклицаний он вдруг примолк, внимательно в меня всматриваясь, спросил вдруг:

— Ты в церковь ходишь?

— Стараюсь бывать.

— И причащаешься?

— Стараюсь тоже...

— Когда последний раз причащался?

— Месяц назад. В монастыре... Может, даже меньше. Да и у нас теперь в соседнем селе, в Тимохове церковь. Во имя Серафима Саровского. Рубленая. Красотища!.. Богатые ребята построили. И батюшка сибирячок, из-под Иркутска: отец Владимир.

— От Захарова до Тимохова по прямой — всего ничего, — сказал он. — Оттуда тоже наши невест брали. Считалось, тоже хорошие девчата. Как и в Раёве. Да оттуда к нам раньше по прямой...

— Почему — раньше?

— Теперь-то не пройдешь, позарастало... А Тимохово от тебя рядом: молодец, что ты ходишь.

— Прекрасная дорога.

— В том и дело, что мы теперь — только по дорогам, а тропки...

— «Позарастали стежки-дорожки»?..

— Конечно! Грибники все истолкли, а старые «стежки-дорожки» позарастали.

— А с чего это вдруг — про церковь?

Он опять будто похвалил:

— Вид у тебя благостный.

У меня как раз сложная продолжалась полоса, я хмыкнул недоверчиво:

— Хорошо, если, и действительно, так.

— Я тебе говорю, — уверил Володя. — И строй речи у тебя все-таки особый... по нашим временам.

— Давай! — сказал я, посмеиваясь. — Давай.

— И ты никогда не материшься...

— Володя? — укорил я тоном. — Еще чего! Разве это заслуга?

А он опять за своё:

— По нашим-то временам!

— С чего это, и правда что, взялся? — спросил его. — Сам-то в храм часто ходишь?

— Не получается! — сказал он горько. — То работа, то... всякое, знаешь.

— А откуда же ты тогда — и про строй речи. И — о благости?

— С детства, наверно, помнится. Как приболеешь... да не только это. Всякого бывало по молодости... А куда? Как что случится. Конечно, к бабкам. К знахаркам. К заговорщицам... те давай молитвы шептать. У нас в роду было много.

— Стоп! — обрадовался я. — Погоди: Арина Родионовна тоже была знахарка? Тоже умела заговаривать?

Володя рассмеялся:

— Н-нет, она, по-моему, нет!

— По-твоему, или — точно?

— Ну, вроде точно. У неё другие были таланты... а почему о ней вспомнил?

А у меня в сознании вдруг как бы окончательно это оформилось: то, что уже несколько лет покоя не давало:

— Почему, спрашиваешь. А подумать?.. Не она ли мальчишку от французского всего отшептала?.. А к русскому — ну, как приворожила!

И раз, и другой Володя качнул крупной головой, словно что-то прикидывая, потом одобрительно сказал:

— Меняйся, Леонтыч, на Захарово! И тоже будешь, как был Толик Поваров...

— У вас там своих «пушкиноедов» хватает, ладно!

— Вообще-то, да, — он согласился. — А в Кобякове твоём всё меньше... а раньше кобьяковские брали наших девчат, сколько дворов, считай, было с бабами из Захарова!..

В нашем Кобякове сейчас всего-то двое малых детишек, которые тут родились и в нём прописаны: внучка Василиса, ей два с небольшим годика, и внук Ваня — ему на днях, будем живы, исполнится год.

Василиса уже «болясика» — большая, и с ней мы гуляем за ручку, а Ваня со слов сестры пока «маколя» — маленький, и на прогулку везу его в коляске.

Тяжелые грузовики с длиннющими армированными плитами, едущие на дальнюю окраину, где выросли коттеджи «новых русских», автокраны с бетономешалками, прочая ревущая техника — все это окончательно испортило единственную деревенскую улицу, вся в глубоких выбоинах, и мы выбираемся на плохенькую, но всё-таки получше, асфальтовую дорогу чуть в сторонке от Кобякова. Возле бывшей фермы с давно зияющими пустотой окнами и дверьми и на днях обвалившимися стропилами поворачиваем налево и катим под горку, но у поворота на Тимохово снова берем левей, въезжаем на небольшую горку. Отсюда дорога идет к стоящему на противоположной стороне окаймленного лесом обширного поля зданию разоренного санатория, которому она, дорога эта, появлением своим, собственно, и обязана.

А какой, какой был красавец!

Московским горкомом партии замышлялся как детский, и не осталось, кажется, ничего не сделанного для его уникальности. По великолепному проекту построенный на месте сожженной когда-то барской усадьбы он стал на опушке, как тут и был. В чащобу леса уходила от него давно заросшая, но все-таки ещё четко ограниченная вековыми липами неширокая проселочная дорога к Хлюпину, под пологим скатом за ним угадывались в кустарнике смутные очертания просторного водоема с разомкнутой горловиной взорванной в революцию плотины. Говорили, что и плотину потом потихоньку восстановят, пруд зальют снова, и откроют для ребятишек прогулочную, с экипажами на лошадах и на пони аллею...

Пока же в то время властвовала санаторием самая современная медицинская наука: каких только в нем не было предусмотрено лечебных кабинетов, игровых и оздоровительных залов. Дабы не нарушать «окруженной среды», как, посмеиваясь, говаривал в Сибири давний мой старший друг и наставник по таежной охоте дедушка Савелий Шварченко, Савелий Константинович, не только котельную — все вспомогательные, включая пищеблок и столовую, службы обосновали вдалеке от главного корпуса, на другой стороне дороги — тоже на красивой опушке.

Опасность пришла с другой стороны.

Когда все уже готово было «под ключ», когда оборудованием, в том числе дорожкой медицинской импортной техникой, были забиты практически все помещения, оставалось, как говорится, разрезать ленточку, грянула перестройка, и — началось!

Такой открытой, хоть шла все больше ночью, грабилочки, не приходилось видеть со времен Отечественной войны, когда наши уже оставили станицу, а немцы её ещё не заняли... И через год другой, также, как на молочной ферме, засквозили черной пустотой окна и двери, только красавец-корпус, сложенный из светлого, под полу-беж, кирпича, как бы чуть приподнялся да так в изумлении и замер, так нерушимо и стоит: бывало ведь и тогда, что строили на века...

Чтобы не дразнить неизвестно что стерегущих теперь собак, может быть, уже брошенных людьми и продолжающих впроголодь нести свою честную службу уже по привитому человеком инстинкту, мы с Ваней поворачиваем обратно, снова проезжаем мимо разрушенной фермы, катим дальше — мимо кооперативного «зеленого магазина», получившего название сперва по внешней окраске, но после начавшего упорно подтверждать знаменитый марксистский тезис о единстве формы и содержания,

катим мимо «альтернативной» ему частной азербайджанской палатки...

Слева теперь тянутся догнивающие домишки военного городка ракетчиков из знаменитого «третьего кольца» обороны Москвы... То мы, случилось, чуть ли не потайными тропками пробирались к их магазину, в котором тогда чего только не стояло на полках, — теперь оставшиеся там «последние могикане», пошатываясь, бредут к нашему «зеленому», и рано постаревший прапор, от пепельно-серых щек которого ещё недавно можно было прикуривать, так ярко пылал, приняв свои «боевые сто пятьдесят», в который раз начинает рассказывать, как по секретной подземной дороге добирался чуть не до центра Москвы за какие-то тридцать пять-сорок минут, и чтобы хоть раз «отменили электричку» или «расписание изменили» — ни в жисть!..

Справа за магазином начинается обширное поле, тоже окаймленное дальним лесом. Ещё недавно тут сеяли пшеницу, овес, потом пускали его под траву — будто и сейчас вижу и ходившие под ветерком живые волны хлебов, и в сцепке с викой да клевером твердо стоявшую стеной тимофеевку... Нынче который год поле зарастает дурниной, но по осени сюда непременно приезжают комбайны, аккуратно её выкашивают. Недоумевал сперва: а зачем, в таком случае, зачем?

Увидел как-то и раз, и другой стоявшие обочь дороги рядом несколько «мерседесов» и людей с видом опытных землемеров возле них, потом как-то — два-три «лендровера», владельцы которых тоже хозяйски, явно со знанием дела жестикулировали, и тут вдруг открылось: эге, брат!.. Как же ты приотстал. Под знаменитым Новокубанском, что рядом с Армавиром на родине, все продолжаешь толковать с известным ещё недавно на весь Союз хлеборобом Владимиром Яковлевичем Первицким и старым своим, ещё с сибирских времен, дружкой Володей Ромичевым об их опыте посевов на больших площадях, а тут давно уже иная технология обработки земли — иная!

Урожая приходится ждать несколько лет, зато какую можно взять потом зеленую массу!

Хрустящие бумажки вместо сочной травы...

Кому что!

Одному «зелёного змия». Другому — просто «зеленыё».

Поле недавно в очередной раз прибрали, скошенную дурнину свезли, и яркая отава уже окрасила его в яркий изумрудный цвет... Неподалеку от дороги паслась единственная теперь на все Кобяково корова — черная, с белыми пятнами «шведка», которую упорно продолжала держать ради больных детишек жительница окраинных барачков Светлана.

Остановил коляску напротив, развернул так, чтобы Ване лучше было видеть:

— Коровка!. Му-у. Видишь? Хочет дать тебе молочка. Подойдем к ней? Или поедем дальше?.. Молочка Ваня хочет?

Он смотрел на меня без улыбки, даже с какой-то скорбью в глазах.

— Что такой серьёзный? Коровка. Молочко дает. Му-у!.. Давай у неё для Вани попросим?

Ваня вдруг насупился ещё больше.

Я глянул на это привольное изумрудное поле, на котором в разных концах могло уместиться не одно многосотенное стадо, и веки у меня смежились вдруг так, что неожиданные слезы их больно кольнули...

«Валяешь тут дурака! — подумал. — Му-у!.. Коровка... Да, может, мальчишка понимает лучше тебя... ну, чувствует. Ощущает, что-то не так... совсем не так... а ты тут: му-у!.. Господи! Как им придется жить — ему, сестрице?! В каком мире?..»

Утер неожиданные слезы, развернул коляску, покатил молча.

Навстречу шла женщина с небольшим рюкзачком, поодаль за ней еще двое с вещами: видно, мимо поворота к нам только что проехал рейсовый автобус.

Поздоровался сперва по привычке, но тут же узнал: Рая, москвичка — сколько раз помогал ей тащить тяжелые сумки, когда вместе, раньше бывало, с электрички сходили в Скоротово и шли потом пешком через лес.

Она будто угадала, о чем подумал, сказала жалостно:

— Да вот, некому теперь носить... может, слышали?.. Умерла мама, завтра сорок дней как раз...

— Тетя Дуся? — откликнулся искренно. — Ай-яй, как жалко!.. Правда, ещё не слышал.

— Да она в последнее время у старшей дочки в другой деревне, мне ездить в нашу тяжело было.

— Это знал, да, бабушки говорили... это сколько же было ей?

— Да пожила она хорошо, — сказала Рая, как будто слегка гордясь мамой. — Девяносто семь было.

И я тоже невольно порадовался:

— Ай, молодец!

— Крепкая была...

— А меня, выходит, не было... в Москву, может, уезжал, — сказал снова виновато. — Обязательно бы пришел. К тете Дусе — обязательно.

— Я знаю, — сказала Рая. — Она вас тоже уважала... спрашивала всегда. Но хоронили её в Захарове, она ж захаровская была...

И до меня впервые дошло: Дуся-цыганка!

Да не из тех ли самых «липовых цыган», которые Володя Семенов пытался «продать» мне за эфиопов?!

Рая пошла себе в деревню, а мы с Ваней вдоль чуть ли не сплошной полосы, обозначенной требухой из выброшенных на ходу из «вольво» да «ауди» и разбившихся от удара о землю черных полиэтиленовых мешков со всяческими отбросами, дальше тронули по выбитому асфальту...

Неужели Дуся-цыганка, и правда, думал, из тех?..

Покачивая головой, вспомнил, как мы с ней много лет назад познакомились.

Тогда мы только что купили у Володи избу, приезжали сюда с собакой, водолазом Кветой, которую выпросил у нас Жора после гибели младшего своего братца... Квете едва исполнилось три, молодая была, игручая, и когда на улице в Кобякове пожилая женщина в нерешительности шагнула вдруг в один бок, в другой, собака бросилась к ней, облапила плечи, повалила...

Я поздно сообразил, что это должно было произойти: придавленный тяжелой бедой, ходил тогда, угнув голову.

Бить Квету я никогда не бил, но повоспитывал перед Дусей тогда достаточно, а на следующее воскресенье пошел к ней с конфетами.



— Да чё это вы? — удивилась Дуся. — И не подумаю взять. Сама виноватая! Маленькая, чтоб знать? Перед собакой на улице никогда нельзя туда-сюда: вроде как её дразнишь. Была бы какая другая собака, не стала бы менжеваться, а тут же — ну, такая большая, такая черная да красивая — никогда таких не видала!

Ньюфы в тогда Москве, и правда что, были редкостью, завзятые собачники чуть ли не всех, начиная с подаренного Косыгину кем-то из знаменитых американцев и подсевшего на ноги из-за нечастых прогулок кобеля по кличке Ред Стар — Красная Звезда, знали, значит, наперечет, по именам помнили, и длинная, украшенная древними титулами и недавними чемпионскими званиями родословная каждого отскакивала, что называется, у них от зубов...

Вот и Цыганку пленила красота нашей Кветы де Кору... остальное в длиннющей кличке доброй собаки, помогшей нам выжить в годину испытаний, придется все-таки опустить: ведь не литератору теперь достойный гонорар платят — с него деньги на издание требуют, как тут не вспомнить восклицание Александра Сергеевича, через столько-то лет подхваченное на Кавказе влюбленным в его творчество моим кунаком, черкесом Юнусом: «Какая жизнь с пера?!»

Так вот, как-то по осени Дуся пришла к нам с тремя кустами черной смородины, которой «в Кобякове ни у кого больше нет». Долго сидела около Кветы, которая, конечно же, все пыталась лизнуть ей руку, долго о «чудной» породе расспрашивала, потом сказала: если, и в самом деле, захочу чем-бы то ни было отдариться, то лучшим отдарком будет щенок от Кветы... если, и в самом деле, у собаки появятся, не забуду?

Однажды она постучала в окошко, и, выглянув, увидал: стоит рядом с ней мой друг, мой сосед по «правдинскому» нашему дому на Бутырской Слава Пастухов. Стоит и во все широкое лицо щедро улыбается, чуть ли не трясется от смеха. Что, думаю, такое, чему он так радуется? Может, кроме журналистской награды «Золотое перо» получил какую-нибудь большую правительственную?

С благодарностью, что дорогому гостю указала дорогу, проводили Дусю-Цыганку, и тут уж Слава дал себе волю:

— Из леса выхожу на околицу, все вроде, как ты объяснял, но на всякий случай начинаю, само собою, расспрашивать: где тут живет писатель Немченко?.. Все только пожимают плечами: да нету у нас в деревне такого, нету!.. Встречаю, наконец, эту женщину, она тоже: да нет у нас никакого писателя, откуда?.. Говорю: у него ещё большая такая лохматая собака, водолаз, а она: Квета?.. Ну, так бы и сказали!

А мы про «Евгень Саныча». Про «Петушенку»... Что такого-то?

И вот катил я коляску и все Цыганку припоминал: какая была? Смуглая, это правда. И, несмотря на годы, очень красивая... удивительная какая-то была её красота, правда-правда. Будто бы Дуся осталась в нашей деревеньке, в затерянном в подмосковных лесах Кобякове, от каких-то старых, может быть, сказочных времен, когда все люди были и красивы и, как она, добры...

Дуся-Цыганка!..

Вот оно, выходит, откуда всё... надо же!

И я не о возможном родстве тети Дуси, нет.

О сказках... О живущей в людях надежде.

Ваня повеселел, чему-то все улыбался, и я спросил в конце концов: мол, ты-то что понимаешь?

Понимал бы, и правда!

Самый маленький житель Кобякова — о старинном Захарове...

## ПРИСНОПОМИНАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР...

Ехали с Юнусом в его машине, привычно рассуждали о ранних холодах, которые принес «темир-казак» — жестокий северный ветер, неожиданно сменившийся средиземноморский циклон, заговорили потом о наших общих товарищах, и я обронил такую фразу: вчера, мол, у Эдика, у Овчаренко в мастерской в компании художников пришлось маленько «принять», и в самом деле маленько — «не больше кавказской нормы спирта».

— Как ты сам любишь выражаться: что-то новенькое, — миролюбиво подначил меня Юнус. — Никогда у нас не было этой «кавказской нормы»... И спирта не было: «белый конь» — это... приобретение уже последних, как тебе сказать... это...

— Русский подарок? — подсказал я как опытный, давно уже работающий с Юнусом толмач-переводчик.

— В общем-то — да, — согласился он. — Откуда ты взял «кавказскую норму»?

— Э-эй, брат! — вскрикнул я. — Что это ты — на красный?!

— Думал, успеваю, — ответил Юнус ворчливо.

На самом — то деле это я проскочил «на красный»... На кровавый цвет Кавказской войны.

Но что делать, что делать: штука вполне объяснимая.

Вместе с выходом пухлых и сырых, якобы исторических романов об адыгской трагедии, цель которых часто сводится к одному — играя на национальных чувствах, возвыситься, наряду с бесконечными, прямо-таки кричащими публикациями старых и новых источников, смысл которых тоже един — вина русских в геноциде черкесов, вышло много достойных книг, на страницах которых «покорение Кавказа» изображено если не со всей объективностью, то с ощутимой её долей.

Куда от неё денешься — тень прошлого. С новой силой вспыхнувшая отчаянная Кавказская война: историко-литературная в этот раз. Пока, слава Богу, — художественно-публицистическая.

Какой-никакой, а все же знаток Кавказа, ясно ощущающий в себе ток казачьей крови, я с интересом читал и то, и другое, и тем и другим сопереживал, сочувствовал и всякой умной книжке радовался, как дорогому подарку... нет, правда.

В Москве на книжном развале увидел прекрасно изданный том Алексея Шишова «Забывшие русские полководцы Кавказской войны»... Какие характеры! Какое богатство оставшегося до этого втуне материала!

Не говорю о величественном главном — узнал много неизвестных мне прежде и жестоких, и трогательных подробностей.

С «кавказской нормой» ладно, не самое главное, хотя и это немаловажно: всякий вечер за ужином каждый солдат получал стакан водки.

Куда любопытней и поучительней понятие «кавказский костер»: любой офицер, как бы ни озяб или

промок, имел право подходить к солдатскому костру лишь в том случае, если возле него было свободное местечко: «Примите, братцы!»

Недаром это самое «братцы» по отношению к солдатам и нижним чинам если не родилось на Кавказе, то очень прочно в русской армии тогда укоренилось.

А «кавказская дуэль»?

Офицерам, ставшим в одночасье непримиримыми врагами, не надо было стреляться: дожидались очередной вылазки либо нападения горцев и без оружия шли рядом навстречу «татарину»... Убитый либо раненый падал, оставшийся в живых из ножен выхватывал шашку либо доставал из кобуры пистолет и в наступающей цепи шагал дальше...

Но это все книжное знание, так сказать, его и в Москве, если не лениться, добыть можно...

Здесь же, на Северном Кавказе, та самая геополитика, то самое евразийство, о которых с таким значительным видом рассуждают в столице в телевизионных студиях либо на страницах газет, приходят к тебе в бытовом обличье.

В гостях у своих кунаков, бывало, при каком-нибудь слишком откровенном разговоре я пробовал попридержать хозяев: да что же это вы, черкесы, мол так-то — при мне, при заядлом русаке?!

— А что тут такого? — следовало наивное, но в общем-то справедливое. — Ты наш!

Может, это один из подсознательных, простонародных способов «вербовки»?

Говорили так, поди, говорили преданнейшему адъютанту генерала Засса, исполнявшему не только самые строгие поручения Григория Христофоровича в запутанных адыгских делах, но и самые деликатные — тоже... И он, видать, настолько к этому «наш» привык, что все в конце концов перепутал да так-таки и ушел жить к черкесам, чем шефа своего, первейшего их врага, привел в такое уныние, от которого боевой генерал не смог оправиться... вот что такое это «наш».

Наш — и всё тут!

Иной из старых знакомцев при встрече вдруг говорил мне:

— Так ты здесь давно?.. А я не знал, представляешь! Только вчера отсюда Шамильчик уехал, долго тут в горах отдыхал: надо было вас познакомить...

Но это все ладно, что там ни говори.

Главное — текст, который останется после нашей с Юнусом общей работы, после наших многочасовых споров...

Но и тут-то всё так непросто: «С кем же Пушкин? На чьей он стороне? Считает, что одним нужна воспетая им вольность, а для других и кнута хватит?.. Перед кем он тогда лукавит? Перед царем? Или — перед черкесами?»

Текст из «Милосердия», в котором вопрос, как говорится, ребром...

Уставший от этого русско-черкесского противостояния в прозе, от малой на этот раз — из-за Пушкина! — «кавказской войны», думал про себя иной раз: да ладно, ребята!.. Это мне вы тут голову заморочили, уже, и в самом деле, не пойму, казак я или давно черкес, и не сразу разберу, с кем я, но Александр Сергеевич, он-то уж — само собою с монархом!

И вот все это выстраданное годами общения с друзьями на Кавказе знание, все эти свои не очень-то веселые соображения везешь, в конце-то концов, в Москву и, что ни говори, думаешь: столица как-

никак... не только друзья-товарищи... может быть, найдется, наконец, державный люд из высших либо хотя бы средних чиновников? Выслушают, наконец. И, наконец, — поймут?

Вера в это давно во мне попригасла: после длинного моего письма на имя Казанцева, в котором я призывал заняться прежде всего восстановлением единого духовного пространства Северного Кавказа... ох, это «единство»!

Один из его помощников, в Москве прочитавший копию письма, наивно — какое тут ещё словцо подберешь! — воскликнул: да что вы, мол! Единственное, что сохранилось, мол, на Кавказе — это как раз оно, духовное-то пространство... Вот встречались на днях с Расулом Гамзатовым, и я в этом ещё раз убедился!

Мудрый Расул и не в том ещё убедит кого хочешь!

Как было при Советах.

«Сижу в президиуме, а счастья нет» — это небось чуть не главное, на шутке высказанное его откровение.

Не только Восток — «дело тонкое», нет.

В Ставрополе, когда с помощью армавирского иерея отца Сергия Токаря, старого моего друга-доброжелателя, я прорвался к Казанцеву сквозь толпу зарубежных эмиссаров, непонятно с чего появившихся на встрече «духовных лидеров Северного Кавказа» и, первым делом выяснив, что письма моего он в глаза не видал, стал напористо, хватко, коротко объяснять суть своего миротворческого проекта, Казанцев принялся не только соглашаться со мной, но как бы даже требовать от меня немедленного исполнения предложений... непререкаемым тоном стал как бы даже обвинять меня в излишней медлительности...

— Разве не нужна «Библиотека народов Кавказа»? — я спрашивал.

— Очень нужна!

— А общекавказский литературный журнал?

— Очень нужен!

— А специальные кавказские премии: «Кавказская премия Пушкина»? «Кавказская премия Лермонтова»? Толстого!

— Давно нужны! — чуть не прорычал он. — Делайте!.. Делайте!

Это я-то сам всё и должен делать? На крохотную свою пенсию.

Нерадивец этакий, а?

Но, может быть, думаешь, с тех пор хоть что-то у нас да изменилось? И найдется государственный человек, который не одному мне это «поручит»? И в башочке у которого беседа наша, пусть ненадолго, но все же застрянет.

Само собой, не стану же я стучать на друзей Басаева, на общих с ним, выходит, наших товарищей... Но неужели так-таки нельзя хоть что-нибудь втолковать нашим горе-политикам и призванным заниматься Кавказом родным чиновничкам нашим, чье высокомудрое знание подопечного им уникального края — «Кавказ — наборный пояс России», помните?! — так и замерло на отметке, освоенной их коллегами ещё в позапрошлом веке: из какого мяса шашлык вкусней и какой каким вином надо запивать...

Или нынешнего русского начальника на крайнем Юге России остается лишь пожалеть?

В былые времена у него — хоть военного, хоть гражданского — имелись «карманные», что называется, деньги на щедрые подарки несговорчивым князьям и на оплату услуг осведомителей, с которыми они, будь тот любого рода племени, без толмачей, один на один, как легендарный казачий генерал Яков Петрович Бакланов, разговаривали. Генерал нынешний, у которого в кармане — вошь на аркане, или нынешний высокий чиновник, считающий что его карман набит пока недостаточно, сами ожидают случая оказать услугу: кому угодно и чуть ли не какую угодно... Ну, не дожили?

До очередной насмешки истории над потомками, не пожелавшими беречь славу предков.

«Нижегородец не знает заката», помните?

Но мы нижегородцам помогли. Поднапряглись сообща, и — прощай слава!

В тихом, будто бы даже сонном Майкопе черкес Каплан Кесебежев, поэт, потерявший сына в Абхазии, на последние деньги, на свой страх и риск выпустил несколько номеров миротворческого журнала «Глагол Кавказа», где кого только нет под одною обложкой: абхазы, братья черкесов, воюют с грузинами, а в журнале заглавным идёт грузинский роман... Долго пребывавший чуть не в одиночестве «адыгейский диссидент» нынче понимает, как это важно: восстановить доверие между пылкими насельниками седого Кавказа, сплотить горцев вокруг России... А что же столица?

Дело вообще-то удивительное: перестук колес под вагоном уже при въезде в Москву словно усиливает в тебе желание быть понятым и укрепляет надежду...

Но вот едешь по ночной Москве уже в автомобиле, видишь это разливанное море света — лампочек над каким-нибудь захудалым казино хватило бы на освещение не только родной моей станицы, всего Отрадненского района, в котором с наступлением сумерек и до утра воцаряется тьма кромешная — видишь яркое разноцветье рекламы, большинство которой в иностранном написании, и тебе вдруг до зеленой тоски становится ясным: нет-ка, брат! Никого тебе нужного ты в жирующем этом городе не найдёшь: только и того, что с одним-двумя старыми товарищами за долгим разговором душеньку отведешь...

А за всех этих чинодралов пусть Пушкин думает! — насмешливо вздохнул я однажды и тут же вдруг поразился неожиданному открытию: батюшки-светы, да разве это, и в самом деле, не так?!

Призывавший когда-то к русскому миссионерству на Кавказе, сам он так и остался там бессменным, поистине бессмертным нашим миссионером.

Ну, конечно же: имя его — духовная скрепа, удерживающая сегодня Кавказ куда прочней чем вся 58-ая армия!

И что-то такое ещё стало разом, как бы в едином потоке, мне открываться: Захарово, Саввино-Сторожевский монастырь в расположенном неподалеку Звенигороде, где Пушкин наверняка бывал мальчиком... Как-то спросил отца Феофила, иеромонаха: что у вас среди братии известно о посещении Пушкиным вашей обители? Если не достоверно, то хотя бы в преданиях, может быть... в легендах.

— Да ведь, конечно, был он в монастыре, если о нём даже стих у него есть! — уверенно ответил отец Феофил.

Тогда это ещё не сложилось в памяти, не отстоялось в душе — я стал настойчиво спрашивать: что за стих? Где можно найти?

Чутьочку смешно, конечно, стало: из кармана рясы отец Феофил достал мобильник, взялся набирать номер:

— Это ты, отец Кирилл?.. Помнишь, говорил, наша прихожанка принесла тебе стих Пушкина о нашем монастыре?

И стало радостно: выходит, не один я об этом пекусь!

Вот он, этот короткий стих, который по вполне понятным причинам не входил в двух- или трехтомники Пушкина — нашел его потом в десятичном собрании:

На тихих берегах Москвы

Церквей венчанные крестами,

Сияют ветхие главы

Над монастырскими стенами.

Кругом простерлись по холмам

Вовек нерубленные рощи,

Издавна почивают там

Угодника святые мощи...

В комментарии к написанному в 1822 году восьмистишию сказано: «Вероятно, начало эпического произведения, замысел которого остается неизвестным.»

Зато какая привязка к местности, какое чуть не адресное указание на Саввино-Сторожевский монастырь: без упоминания названия его.

Эти стихи в трудные минуты бормотал я потом в Майкопе, перед иконкой преподобного Саввы просил его поддержки и высокого заступничества и, признаться, переживал, когда в церквах на Юге не только не находил хоть больших, хоть малых икон своего звенигородского покровителя — часто не находил у пожилых прихожан даже памяти о нем... как, в самом деле, как?!

Святой Савва был сподвижником преподобного Сергия Радонежского, духовником монашеской братии Троице Сергиевой лавры, из игуменов её ушел под Звенигород, на гору Сторожу, под которой теперь воссоздали его пещерку... Трудями и заботами святого созданный монастырь считается вторым по духовному значению: Савва Сторожевский — покровитель законных государей и государственности русской...

Вот и сложить всё: как не обращаться к нему нынче-то, во времена новой великой смуты?

Да и потом, потом: разве не в звенигородских местах широко гуляла прежняя, со Лжедмитрием и Мариною Мнишек, польская разлюли-малина?

Из «Истории» Николая Михайловича Карамзина: «Лжедмитрий действовал как и прежде: ветрено и безрассудно; то желал снискать любовь Россиян, то умышленно оскорблял их. Современники рассказывают следующее происшествие: „Он велел сделать зимою ледяную крепость близ Вяземы, верстах в тридцати от Москвы, и поехал туда со своими телохранителями, с конною дружиною ляхов, с боярами и лучшим воинским дворянством. Россиянам надлежало защищать город, а немцам взять его приступом; тем и другим вместо оружия дали снежные комы. Начался бой, и Самозванец, предводительствуя немцами, первый ворвался в крепость; торжествовал победу, говорил: „Так

возьму Азов" — и хотел нового приступа. Но многие из Россиян обливались кровью: ибо немцы во время схватки, бросая в них снегом, бросали и камнями. Сия худая шутка, оставленная даром без наказания и даже без выговора, столь озлобила Россиян, что Лжедмитрий, опасаясь действительной сечи между ними, телохранителями и ляхами поспешил развести их и возвратился в Москву."

Не напоминает ли это кое-что из политического цирка, до боли знакомого по временам нынешним?

В Больших Вяземах, ещё хранивших следы забот прежнего хозяина, Бориса Годунова, по пути из Речи Посполитой в Москву останавливалась „гордая полячка“, так печально потом закончившая... Но дело-то и её, и муженьково живет!

Не поляки ли разожгли смуту нынешнюю?

Когда чуть не постоянно слышу в метро вошедшую в моду у нищих скрипачей пронзительную „Тоску по родине“, с горькой усмешкой думаю: вот вам, ребятки, — вот!

Нам: „Полонез Бжезинского“...

Польский отыгрыш — за века и века.

А что такое „бжеза“, учитывая, что „эр“ у смертельных наших „друзей“ как бы отсутствует? Береза!

Бжезинский, выходит, — Березовский!

Далее, как в пригородных электричках объявляют, — везде.

По всему миру — в нашем случае...

Глотаем!..

Но если уж в свое время „Польска не сгинела“, глядишь, и у нас — ещё не вечер?!

Тем более впереди такой большой праздник: шестьдесят лет победы над Германией.

Глядишь, да и опять вспомнят поляки: как „войско польско Берлин брало, русска добже помогала...“ Может, все-таки вспомнят?

Тут бы самое место процитировать кое-что из стихотворения „Клеветникам России“, да нет-нет, „кое-что“ нельзя, весь стих целиком так и просится... перечитаете?

И пойдём дальше.

Из Майкопа я приехал в конце января, приехал с повышенным давлением и тяжестью в душе: может, в наших долгих спорах с Юнусом чего-то я не смог доказать ему... или бесполезное это дело — доказывать? Разница менталитетов, ставшая — кроме всего-то прочего — одной из причин столь долгой затяжки в Кавказской войне, она ведь не исчезла со временем, вовсе нет... А переменчивый, как погода в горах, черкесский характер? А неприятие чужого первенства? А гордыня?

Как-то возникла у нас с Юнусом проблема, решить которую мог только адыгеец, и я взялся предлагать ему:

— Давай, съездим Мухарбию?

— Ты что, не знаешь, что он — последний подлец? — осудил меня мой кунак.

— Ну, если так — давай, обратимся к Руслану!

— Руслан ещё больший подлец!

Как переводчик, я стал было возражать: как можно быть „ещё большим“, если предыдущий — уже „последний“?

Замечание мое на этот раз принято не было, стали размышлять дальше, но чье бы имя я не называл — ну, прямо-таки по „Словарю имен собственных“, лично поджаренному мне его составительницей, профессором Розой Юсуфовной Намитоковой — ни один из кандидатов на роль будущего нашего благодетеля так и не прошел.

Пришлось в конце концов горячо воскликнуть:

— Да есть в этом городе хоть один человек порядочный?!

— Есть! — решительно сказал Юнус. — Двое!

Я почти не поверил:

— Кто это?

— Я и ты, — твердо сказал Юнус.

Все-таки он был первым...

Но это все — на уровне весьма подвижного нашего восприятия.

Другое дело — достоверное знание, которое должно только сблизжать. Не раз и не два приходило на ум, что друга своего, черкеса упрямого, полюбил ещё горячее, да и он, не сомневаюсь, вовсе не стал ко мне хуже относиться.

Возникло кроме прочего объединяющее, хочешь-не хочешь, ощущение, что мы с ним занимались плечом к плечу очень трудной, не всегда благодарной работой, которую за нас больше никто, может быть, и не смог бы сделать... Может, не захотел — дело десятое. Главное: до сих пор не сделал.

Медленно, как после болезни, я отходил и вдруг однажды, повеселев, попросил у сына мобильник и набрал номер отца Феофила:

— Скажите, батюшка, нельзя ли в вашем монастыре отслужить панихиду по Пушкину?

— А с чего это вдруг, объясни, Гурий?

— Завтра очередная годовщина со дня смерти — самое время помянуть... Тем более, под сенью святого Саввы, покровителя русской государственности... Разве Александр Сергеевич не был державником? Да один из самых великих... „Россия, встань и возвышайся!“ — помните, батюшка?

— Отец Феокист должен быть у себя, — потеплевшим голосом сказал монах. — Сейчас схожу к нему. Ты правильно пойми: не только известить настоятеля — возьмем у него благословение. Перезвони-ка через час!

А через несколько минут в рабочий мой кабинет вошел сын:

— Только что звонил батюшка, просил отвезти тебя завтра в монастырь: в одиннадцать — панихида по Пушкину...

Разве не тот случай, когда панихиде можно обрадоваться?

Стал размышлять, что сам-то я должен бы подготовить синодик имен ближайшей родни Александра



Сергеевича... да только ли родни? Как заодно не помянуть „дядьку“ Никиту Тимофеевича Козлова, пробывшего рядом с Пушкиным чуть ли не все дни его жизни... на руках несшего его, раненного, от кареты Геккерена в квартиру на Мойке... проплакавшего чуть ли не всю дорогу до Святогорского монастыря, куда вместе с Тургеневым для погребения вез тело Пушкина...

А можно ли Арину Родионовну не помянуть... как там?.. Приезжай, батюшка, — звала из Михайловского, — всех лошадей на дороге выставлю... как там?

Стал вдруг искать книжечку Виктора Гончарова „Ай да Пушкин!“, в которой было об этой няниной весточке... Удивительная вышла тогда у Вити книжечка! Только он, кубанский земляк мой и старший друг сердечный, светлая ему память, Виктор Михайлович, с неумной его фантазией живший постоянно в мире поэзии мог такое сообразить: написать стихи к рисункам Пушкина, сделанных на полях его рукописей... да какие стихи!

Бывало, звонишь ему, а из трубки — приглушенно так, но удивительно твердо: „Дух Гончарова!“ И вот жив дух его, жив, коли постоянно вспоминаю... но не поминал ведь, все некогда...

...и тут выплыло: как с отцом Ярославом Шиповым пришли в Патриархию, сидим в кабинете у Владыки Арсения, епископа Истринского, и он — „правая рука“ Патриарха, Святейшего — посматривает с ласковой хитрецей то на одного, то на другого:

— Будем надеяться, мысль дельная... что же... ищите пока неоткрытую церковь. Есть несколько даже в самом центре Москвы — ищите. А мы тут пока ещё раз все взвесим и решим уже окончательно...

Сколько старых храмов с заржавленными замками на кованых либо тяжелых деревянных дверях с батюшкой, старым другом-писателем, тогда обошли!.. У стен некоторых стояли успевшие потемнеть от непогоды леса, и сквозь давно немые стекла заглядывали то в приделы, а то в примыкающие к церкви помещения старой постройки:

— Ух, ты! — радовался я. — Вон сколько места: и посидеть за разговором, как служба кончится, и чаю попить...

— Да нам много и не надо, — тихим голосом рассудительно говорил отец Ярослав. — Лишь бы дело пошло: а там видно будет... а в том, что дело это не то что нужное — необходимое, сомневаться, я думаю, не приходится...

— Да что ты! — горячо откликнулся я. — Что ты. Ну, хорошо, что мне, предположим, есть кому позвонить и прямым текстом о чем-то пока неясном расспросить... мы же — дикие люди!

— Не только порядок службы или толкование молитв, — включался батюшка. — Как у нас было-то? У „властителей дум“. Родился — не крестился, без покаяния помер... Хоть внуков будут приводить окрестить. Хоть самого потом отпоют. А часто мы своих друзей поминаем?

Мы тогда с батюшкой прямо-таки горели этой идеей: создать отдельный приход, в котором потихоньку воцерковлялся бы наш брат-литератор, ещё недавно не помышлявший об этом вообще либо раздумывающий, как правило, в горьком одиночестве... Сам-то я пришел в храм после гибели семилетнего сына Мити. Когда много лет спустя в казачьем землячестве в Москве меня „кликнули“ московским атаманом, я был уже горячо убежден, что самая первоочередная цель того самого „возрождения“, в которое почти все мы тогда наивно верили — воцерковление старших и воспитание в православии детишек наших и внуков... Стали приезжать из-за рубежа потомки казачьих эмигрантов, и, глядя на них, постоянно убеждался в своей правоте: все они, поголовно все выжили в дальних чужих краях благодаря сокровенной, истовой вере...

Но у кого — иной, нежели у меня, опыт? Кто все стесняется перекреститься, кто не знает, как свечку в церкви в память горячо веровавших своих предков поставить?..

Так как будущему настоятелю „писательской“ церкви, самому отцу Ярославу лишний раз было

неудобно появляться у Владыки Арсения — надоедать ему взялся я.

И то: это ведь не какая-нибудь тебе провинциальная епархия, где личной встречи с епископом будешь добиваться и один, и два месяца... А в Чистый переулок пришел с книжечкой либо с журналом, высидел в очереди не такие уж бесконечные два или три часа и — пожалуйста. По нашим временам — вообще удивительное дело. Но это так!

В последний раз, правда, Владыка, у которого я к тому времени, был „в печенках“, выглянув из кабинета и увидав меня, стал отмахиваться на самый мирской манер, что называется. Какое там — „Гурий“!

— Некогда, Гарик! — громко воскликнул. — Некогда!

И ведь прав был наверняка!

Мы-то по своей горячей неопытности чего только, неопиты, не напридумываем!

А мудрый Владыка наверняка рассудил в конце-то концов: церковь, святое-то это место, — последнее, из-за чего эта оглашенная публика, писатели, меж собой пока не подралась или хотя бы не поскандалила... Чего только не делили и друг у дружки не отымали литературные братья-разбойнички... эх!

Но в составлении синодика я теперь был свободен... „Пушкинские горы“! — вдруг пришло. Поэма давно покойного Александра Ивановича Смердова... Добрейший был и деликатнейший человек, приезжал к нам сразу после своего соборства от „Литературки“ в Китае, уже корреспондентом по Сибири — в пятьдесят девятом на нашем Запсибе ещё и конь не валялся, но как ласково и достойно обо всех нас, терпеливо ждущих большого дела, он написал, сколько раз потом в Новокузнецк возвращался, как над нами над всеми шефствовал, когда стал главным редактором „Сибирских огней“, сколько лично мне добра сделал... тоже раб Божий Александр. Поэма была без всякой политизации, без Ленина-Сталина, без Хрущева, без Брежнева: о том, как солдат носил в вещмешке томик Пушкина, как читал стихи своим товарищам перед боем за Святогорский монастырь, как похоронили его потом неподалеку от пушкинской могилы...

„Скорей туда! Своей рукою вынуть

Из-под могилы вражескую мину,

Сорвав пилотку, преклонить колена

Перед святыней русскою нетленной...“

Это после уже, годков семь-восемь назад в Краснодаре на одном из казачьих сборов меня познакомили с пожилым, совсем сухоньким, но молодцом державшимся, при полном параде, что называется, дедком из Псебая, и я спросил его:

— Говорят, вы разминировали могилу Александра Сергеевича в Святогорском монастыре?

Вокруг нас толпились люди в ярко-голубых и алых бешметах под парадными, с газырями на цепочках, черкесками, в высоких горских папах или в лихо разломленных на макушке низеньких „кубанках“ с красным верхом: по случаю праздника „причеченились“, как издавна выражаются в родной моей станице, и совсем молодые, и чуть постарше них, и — куда, куда старше... Собеседник был далеко не в новом, как говорится, цивильном платье, но что-то именно в нем, не в пример многим из остальных, выдавало давнюю солдатскую косточку.

Он и ответил на воинский лад, но не нарочито, а по старой привычке:

— Так точно. В один момент!

Я невольно улыбнулся:

— Прямо-таки — в один?

— Да я ж её, когда отступали, и минировал! — теперь уже с полунасмешливой лихостью доложил мой земляк. — Приказ есть приказ!.. Говорили, что немцы обязательно вывезут прах, а мы не успели...

Что тут теперь и от кого узнаешь: недаром говорится, что первой на войне погибает правда.

Сколько я потом собирался съездить к нему в Псебай: у них там рядом, „в Мостах“, в станице Мостовской собиралось и до сих, наверное, собирается литературное общество „Зеленая лампа“, хотя сам казак-ветеран, передавали мне, в последнее время сильно прибалывал... И сколько раз потом, размышляя о нашем коротком разговоре, который перебился тогда регламентом торжества — отмечали, по-моему, годовщину одной из многочисленных наших побед „над турком“ — думал и с запоздалым страхом, чуть не с ужасом, и — с благодарностью: отвел Господь кубанское казачество от подневольного позора, отвел!

А ну, случись взрыв?!

„Видел я берега Кубани и сторожевые станицы, любовался нашими казаками...“

„От благодарных кубанцев“, да.

Какими глазами, как в наших краях говорят, смотрели бы мы на эту надпись на постаменте памятника Александру Сергеевичу, который стоит теперь в Краснодаре перед библиотекой его имени?

— Сам понимаешь, что я не специалист, но тут глубоко копать и не надо, лежит на поверхности, — разговорился однажды глава кубанского землячества в Москве Николай Яковлевич Голубь, ревностный почитатель поэзии Пушкина. — Какой у него один из самых первых стихов? „Казак“!.. Денис его звать, „хват Денис“ — может, помнишь?.. Ну, это ясно: к казацкой славе война с французом добавила партизанской славы: понятно, что это в честь Дениса Давыдова. А дальше?.. В четырнадцатом году ему всего пятнадцать, а он — может, помнишь? „...бутылки, рюмки разобьём за здоровье Платова, в казачью шапку пунш нальём...“ Как тебе? А в „Послании к Юдину“, которое ты, как квасной патриот Захарова, любишь цитировать?.. Где он в мечтах-то посреди воинского стана — рядом с „седым усатым казаком“. Ну, так же ведь?

— Так, — пришлось согласиться. — Всё так... и что?

— Да то, что казаки у него — как первая любовь! — с уверенностью наставника сказал Голубь. — И через всю поэзию... до конца. Просто никто из видных исследователей, из академиков, об этом по-моему не писал. Казачья тема, что там ни говори, была сперва под запретом, а после к ней многие относились с явным предубеждением, и по большому счету один только Шолохов и восстал... нарушил этот обет молчания... ну, не так?

И я потом не однажды размышлял: а ведь прав, пожалуй, чего только не повидавший на своем веку, но по-прежнему как мальчишка влюбленный в пушкинскую поэзию кубанский казак Голубь — ведь прав!

Взялся было надоедать ему, потихоньку при встречах ныть: коли всё, Николай Яковлевич, так, — может стоило бы Кубанскому землячеству договориться с музеем Поэта в Голицыно о совместном проекте: „Кубанская дорога Пушкина“, предположим.

Стоит Александру Сергеевичу памятник в Краснодаре?.. (В Екатеринодаре, прошу простить, ай!.. А то ведь Виктор Иванович Лихонос, который денно и ночью борется за возвращение городу первоначального названия, запишет и меня в свои недруги, в то время когда я-то как раз и хочу, чтобы его усилия по возвращению городу старого имени были оценены по достоинству. Что, если город бы нам так теперь и назвать: ЕкатеринеЛихоносовадар?)

А вспомним о той самой, „пушкинской“ памятной стеле, поставленной ещё одним сибиряком, Владимиром Михайловичем Ромичевым, перед въездом в Прочный Окоп, бывшую кавказскую ставку „русских орлов“.

Прямо-таки вешкой между этими двумя благодарными знаками давно стал как бы „придорожный“ бюст Пушкина недалеко от города Усть-Лабинска, в станице Воронежской...

Что, если бы кубанские пушкиноведы вместе со своими коллегами из Голицына хотя бы по этим трем уже существующим приметам определили весь путь от Новочеркаска, откуда они в своей „Отрадной“ выехали», и хотя бы до границы Ставропольского края... а, может быть, ставрополи, кто знает, это доброе дело продолжили бы? Чтобы и этим в том числе хоть как то смыть известное темное пятно, которое с темени известного горе-деятели невольно соскользнуло потом на весь благодатный край...

А что, если бы этот мирный, объединительный путь продолжили бы потом исследователи и в Кабарде, и в Дагестане, и непременно в Осетии, а там, глядишь и южные соседи за хребтом, еще недавние наши друзья-захребетники, тоже бы вдруг откликнулись: Пушкин, что там ни говори, и в Грузии — Пушкин.

Дальше-то — кто как захочет, а на родной Кубани можно бы в мае, когда проезжал по нашим местам Александр Сергеевич, проводить бы на этом отрезке что-нибудь вроде конной эстафеты для казачат, которые по своим городам да станицам продолжают заниматься не только лошадами, но ещё — историей отчей земли на уроках недавно введенного в школьную программу «кубановедения»... да что казачата! Глядишь, даже раздобревший на государственных харчах батька-атаман, «казачий» генерал Громов, свернул бы, наконец, с давно накатанного им, вернее налётанного пути за океан — за этими самыми войсковыми реликвиями, без которых дальше жить нам ну, прямо-таки «не можно» — и проехался бы с ребятишками по родной земельке, обратил бы внимание на те духовные ценности, которые валяются под ногами, как говорится, — лежат путь-дорожкой пушкинской посреди нашей все ещё зеленой пока малой родины, под высоким кубанским синь-небом...

Слушал Николай Яковлевич Голубь все эти мои досужие рассуждения, слушал: где надо, охотно кивал и даже поддакивал, а в том месте, где я, ну, чуть ли не божился лично договориться о совместных действиях со своими «музейными» соседями по Подмосковию — в Голицыне да в Захарове — решительно поднимал палец, произносил вразяжечку «во-о-от!», и это было очень похоже на приказание генерала Казанцева: «Делай!»

Но ведь не только у крупных государственных чиновников на Кавказе — хлопот полон рот.

«Полон клюв» и у Голубя.

Как живется нынче в Москве старой-то, заслуженной кубанской «школе»? И бывшему председателю Госплана СССР умнице и мудрецу Байбакову, и мужественному генералу Варенникову, бывшему армавирицу, и бывшему кореновцу Разумовскому, какими только политическими ветрами не переломанному...

А тут ведь на очереди после одинокого волка из отрадненского Предгорья с тоскливым его воем, доносящимся уже из-под Звенигорода, — и ласковые лисаньки из степных кубанских станиц, и драчливый камышовый кот из Приазовских лиманов... кого слушать-то? Кому больше верить?

И остаётся многоопытному Николаю Яковлевичу, которого тоже не щадили жестокие бури теперь уже прошлого века довольствоваться ненавязчивым сбором информации, какую охотно несут ему земляки

помоложе, да неторопливым размышлением над ней. А что прикажете?..

Все это, уже не раз передуманное, торопливо проносилось в сознании, когда сидел перед компьютером, набирая печальный список дорогих мне имен, следующий сразу за синодиком ближайшего окружения Пушкина... Сколько уже ушло, сколько!.. И только теперь стал вдруг осознавать, что в размышлении о них, как бы в безмолвной беседе с ними, провожу теперь времени куда больше, чем в общении с теми, кто жив, что с ушедшими мне куда интересней, вот ведь какое дело!..

Вспомнил задушевного друга Сашу Плитченко, тоже одного из подшефных Александра Ивановича Смердова, младшего его новосибирского соратника, на чьи письма, все больше в стихах, так часто и тут и там натыкаюсь в своих архивах... никак не удосужусь собрать воедино: как мы богаты и, выходит, как небрежительны!.. Вспомнил общего с Сашей товарища — Геннадия Заволокина, обнявшего меня после речи о нём на концерте в Новокузнецке в последний его приезд: Геннадий-то Дмитрич — не поэт!?

Но тут же пришло: что это, братец мой, все больше — о кубанцах да новосибирцах? А где же твоя творческая-то родина — соседний с Новосибирском Кузбасс? И пошло одно за другим: страдалец Саня Волошин, незабвенный Никитич наш, три дня после получения Сталинской премии за «Землю Кузнецкую» добравшийся от столичной гостиницы «Москва» до Казанского вокзала. В каждом мало мальски приметном кабаке по дороге щедро поил и кормил простой московский люд — мы ли не сибиряки?!.. Но настучали на Александра Никитича: на фронте при вступлении в партию скрыл, такой-сякой, что он не кто-нибудь — «поповский сынок». И запил Александр Никитич вглухую: уже в одиночестве.

А Женька-Буравель? Поэт Буравлев Евгений Сергеевич, бывший штрафник и сиделец после войны, неизвестно чем больше в Кузбассе прославившийся: что создал и возглавил писательскую организацию или что на таёжной тропе завалил ножом вышедшего навстречу матерого медведя?.. А мирный, всегда ласково-печальный Виталий Михайлович Рехлов, вечно сидевший у раскрытого на шумную кемеровскую улицу окна инвалид с безжизненными ногами: первый написал достойную книжку об открывателе кузнецких богатств Михайле Волкове... А Геннадий Модестович Молостнов, гусар и ерник — ещё в шестидесятом написал мне на своей книге: «Гаря! Уважаю в тебе непокорность.» Ну, как ему теперь должное не воздать, полковнику внешней разведки, всю войну проведшему в Штатах, аналитику и, выходит, — провидцу... Правда, в тот раз полковник тут же и «скиксовал», не удержавшись следом добавить: «Пиши, как я пишу.» Грехи наши!.. Ну, как же на это можно надеяться — при вычисленном ещё тогда непокорстве?!

По старшинству лет пошли потом родные братья Банниковы: живший в Кемерово младший, почти бессменный директор книжного издательства, в добрые дни — отец родной и кормилец, в худые — «хромой бес» Виталий, и столичный житель Николай Васильевич Банников, блестящий переводчик, выпустивший знаменитые, знаковые по тому времени книги Ирвинга Стоуна: «Моряк в седле» — о Джеке Лондоне и «Жажда жизни» — о Ван Гоге.

И радостно и печально было думать, что высокоинтеллектуальное его творчество подпитывалось в том числе и нашей сибирской черемшой — «колбой», в просторечии старых кузнецан — «килобздой», которую я сумками привозил ему в Москву от братика Вити...

А прекрасный кемеровский поэт Игорь Киселев, стихи которого сделали бы честь любому столичному витии?.. А Толя Соболев, с которым нас в один день приняли в Союз писателей ещё в 64-ом?.. Я-то по сравнению с ним был щенок: раб Божий Анатолий успел захватить войну, был водолазом, и написал потом сдержанные и правдивые книги: «Безумству храбрых», «Награде не подлежит...» Недаром он дружил потом и с Виктором Петровичем Астафьевым, и с Василем Быковым... А Гена Емельянов, наш вроде бы беспутный, как многие считают, Геннаша, общий учитель наш, который и меня жучил в многотиражке на Запсибе, и переписал за Толю первые его военные «опыты»... Как хорошо-то, подумал теперь, что уже в конце жизни мы с Анатолием Ябровым, великолепным, по большому счету, который у нас никто, в общем-то не ведет, прозаиком и с поэтессой Любой Никоновой, которая тоже даст форы не только сибирякам, чуть ли не затащили Геннадия

Арсентьевича в нашу Спасо-Преображенскую церковь в Старо-Кузнецке и чуть не силком окрестили... Скольким он, и правда что, совершенно бескорыстно и самоотверженно помогал!.. Зачтется?

Снова обратил тот самый «мысленный взор» на родную Кубань и записал в поминальник двух смертельных врагов бывших: Владимира Алексеевича Монастырева, твердого мужичка, служившего во время войны в «дивизионке» у казачков-пластунов... Боксера с бульдожьей челюстью: «Говоришь, Поженян?.. А ты спроси у Василь Михалыча Сухаревича, как я у него на диване Григора твоего чуть ли не одною рукой укладывал — ты спроси!»

...и Толю Знаменского, Анатолия Дмитриевича: во время войны отбывал десятку свою в «Ухтпечлаге», работал, ещё ни о чем не ведая, в бригаде у сына командарма Миронова, о котором он напишет потом снабженный множеством ссылок на документы — так боялся, не пропустит цензура! — кровоточащий роман «Красные дни»... Толя, Толя!.. Может, оттуда у тебя, из лагерей, излишняя почтительность и перед фронтовиком-окопником Астафьевым, нет-нет, да баловавшим тебя коротким письмишком, и перед артиллерийским офицером Бондаревым...

В «переделкинской» столовой, извинившись, ты подсел к Трифонову за столик, разложил фотографии и за пять минут, ещё не остывшему от романа «Старик», рассказал Юрию Валентиновичу о нем самом столько, что одному ему копать бы и копать, думать и думать...

Спасибо тебе, как и Монастыреву, за все!..

С Маркосянцем Сергеем, бывшим разведчиком, написавшим роман «Не пыли, пехота!» (так с издевкой кричали «верхами» обгоняющие «пехтуру» по грязи по непролазной казачки), тихой осенью разговорились однажды, идучи по главной улице, по Красной, и он вдруг покаялся:

— Не дай, Бог, не дай: так с дружками набрался её, проклятой, что очнулся где-то уже на окраине: на спине лежу под колючей проволокой. А дальше — уже на автомате: руками разорвал, пополз по бетону... Хорошо, часового не было — и без ножа уговорил бы. Очнулся уже в кабине истребителя... военный аэродром, представляешь? Оттуда меня охрана и вытащила... письмо в крайком и так далее... можешь представить?

Они-то пострадались: воевали... А мы?

Профессор Литературного института Борис Леонов, старый шутник, вместе с которым паримся в Астраханских банях, среди других баек опубликовал якобы мой рассказ о Павле Мелехине, из которого я узнал достаточно много нового... Не удержавшись, — со всеми нами бывает! — «Борлеон» в одно собрал многое, несправедливое, к сожалению, в том числе, что о несчастном Паше в Москве рассказывают. Что правда — я знал его больше некоторых других, и не потому что он «часто приезжал ко мне в Кузнецк, где я работал»... Приехал с письмом закадычного дружка и однокашника моего Олега Дмитриева, подвизавшегося тогда в отделе поэзии журнала «Юность», и прожил на стройке никак не меньше трех лет. Работником он был дельным, но и выпивал с не меньшей, чем статьи писал, страстью. И коли самому пришлось бы о Паше рассказывать, вспомнил бы: Ваня Ежиков, тоже «литсотрудник» и друг Мелехина (как можно бы справедливо сказать — «по этому делу») каждое утро появлялся в нашей редакции «Металлургстрой» с фингалом под глазом. «Ты что, Ваня, регулярно его подновляешь?» — спросил его однажды. «Да почти так! — согласился простодушный Иван. — Каждый вечер на себе несу Пашку из буфета, укладываю в постель, но напоследок он всякий раз вскидывает ногу и бьёт меня ботинком!»

Само собой, что однажды мне это надоело, и я сказал Ёжикову:

— Ваня!.. Хочешь, я приказ по редакции напишу?.. Ещё раз ударит — врежь ему так, чтобы наутро бланш не у тебя был — у него!

И Ваня сделал страдальческое лицо:

— Не могу, шеф: тала-а-ант!

Но ведь правда!

Они учились в Литературном в одно время с Николаем Рубцовым, и на пирушках со чтением стихов, на поэтических турнирах в «общаге» выбирали «королем» не тихого Рубцова — выбирали напористого Мелехина.

Нет-нет, да всплывет в памяти то одна его строка, то другая... Вот «молний белая игла май на июнь перешивает»... А вот: «Видишь: руки знаком равенства я тяну к тебе свои...» А четверостишия, которые нет-нет, да цитирую к случаю: «Я с татаркой живу...» (ох, у неё-то в буфете, у Розы и засиживались Павлик с Иваном)... так вот: «Я с татаркой живу. На двоих все у нас — ликование и лихо. Я не мщу ей за предков моих, за татаро-монгольское иго.» Попробуйте о наших отношениях с татарами сказать мудрее и проще!

Вспоминаешь частенько хлесткое пашино: «Покороче! Нечего размазывать. Сделай милость, милый, — не тяни. Русь смела за титулы Романовых: были слишком длинными они!»

Вспоминаешь и горько думаешь: как бездарно мы эти «длинноты» укоротили!

Не это ли нас с тех пор и гнетет?..

Или точно также угнетало всех и всегда, у всякого века были свои несправедливости — вспомним самого Александра Сергеевича — но в том-то и суть: кто и как мог над ними, над этими длиннотами, возвыситься — ради служения Великому Отечеству.

С печалью думаешь, правда, что легкокрылый бог вина Бахус в результате всякого рода исторических и бытовых превращений стал нынче в России тяжелоногим богом сорокаградусной: Бухасом... Скольких он увел, скольких!

Из моего синодика — также...

А как читал Пушкина тесть поэта Серёжи Дрофенко, Дмитрий Николаевич Журавлев, Народный артист!

У себя дома, бывало, — тоже.

И слышу его до сих пор, и — вижу.

Не то что повзрослев — начавши стареть, хоть я по себе этого — спаси, Господи! — ни разу ещё не ощутил, разве что в госпитале, куда строго-настрога запретил приходить жене, после гибели Мити не переносившей вида больницы, услышал вдруг о себе жалостное: «бесхозный дедушка» — так вот, начавши по причине продолжительности времени кое-что понимать, теперь я уверен, что Дмитрий Николаевич потому и был так сокровенен в декламации Пушкина, что перед этим в него вдумался: словно в тайну проник. Начиная в одиночестве сперва негромко читать что-либо «пушкинское» где-нибудь в осеннем саду, когда из села, из Кобякова, съехали дачники с детьми, стало тихо, я вдруг ловлю в своем голосе интонации Журавлева... но, может, так и должно быть? Как уникален Пушкин, так уникальна однажды постигнувшая хоть что-то от его тайны интонация... какие могут быть различия?

Придется снова поминать, будем живы, и Александра Сергеевича, и тех, кто шел в моем списке вслед за ним, непременно внесу в него Дмитрия Николаевича, светлая ему память... Может, и правда, нужен всё-таки этот церковный приход, о котором ещё недавно так заботился отец Ярослав — Слава Шипов? Может, сумеем мы всё-таки, народные-то заступники, преодолеть «рознь мира сего» — перед возможностью жизни вечной, как и пред адским пламенем мы все равны.

...А тогда мы с сыном Георгием приехали в монастырь, проводил меня в Рождество-Богородицкую — как в родной моей станице, спаси, Господи! — церковь, нашел уже ожидавшего отца Андроника,

сказал торопливо:

— Извини, бать, дела: приеду за тобой через час или полтора...

Панихиду отец Андроник проводил в притворе, в левой части, перед кануном, где дотлевали всего три-четыре поминальные свечи: день был будний. Зажег несколько своих, батюшка начал, и тут же вокруг стали собираться добрые люди.

— По ком панихида? — тихонько спросил меня высокий и симпатичный молодой человек с косичкой, перехваченной ленточкой на затылке, как узнал потом, — путешествующий по святым местам батюшка из сибирской глубинки.

— По Пушкину, — ответил тихонько.

— Как хорошо — сподобился! — сказал он искренним, счастливым голосом и примолк, истово крестясь.

Со светлым ликом и горящими глазами простоял до конца — невольно я все думал: уже одного его хватило бы, все сразу уразумевшего и по чину все радостно совершавшего.

Но подходили ещё люди, постепенно подходили.

— Кого поминают?

— Пушкина.

— А кто он был?

— Как — кто?.. Поэт наш. Александр.

— Так бы и говорили...

— Так и сказал!

С подобающей панихиде печальной однотонностью отец Андроник для начала читал в моем синодике имена вместе с фамилиями, и мне теперь — как бы уже со стороны — странно было слышать их вместе... Александр Пушкин... Александр Смердов... Александр Кухно... Олег Павловский... Олег Дмитриев... Сергей Дрофенко... Николай Тряпкин... Василий Росляков... Юрий-Георгий Казаков... Георгий Семенов... Владислав Егоров... Филипп Сафонов... это Эрик-то, окрестившийся Эрнст. Борис Ракицкий, великолепный график из Питера, как сам говорить любил, кузнечанин родом... Борис, Борис! Приехал к нему однажды в Питер, пошли в баньку вместе с девяностолетним тогда художником Валентином Ивановичем Курдовым, мэтром, классиком, и я попробовал поддержать его, когда после парилочки он стал на ступеньку железной лестнички к бассейну с ледяной водой... Валентин Иваныч вырвал руку, упрямо шагнул сам, а Боря попридержал меня внизу:

— Что ты!.. Это — Курдов! Отмечали его девяностолетие, начальство ждет за столом, а старика нет и нет. Где?.. А в это день была выставка собак, и его псина получила золотую медаль — остался там на банкете...

А?!..

Так что Петуваш Феликс, наш Пету, дай ему Бог здоровья еще на долгие годы, — ну, прямо-таки продолжатель, прямо-таки апологет этого пренебрежения Курдова по отношению к «кишлачным делам».

...Но причем тут вдруг — Станислав Поздеев?.. Самый верный мой, самый преданный друг сибирской молодости. Причем — Феодор Некрасов, Некрасов Федя, главный врач санэпидстанции в нашей



станции, в Отрадной, однокашник — мы все кто куда разъехались, а он столько лет выслушивал жалобы наших оставленных в одиночестве матерей и помогал им, как мог...

Может быть, даже неприлично поминать их заодно с Пушкиным?

Или, высоко ценивший верную дружбу, сам испытавший столько предательства, он бы понял, он бы простил... да почему бы?

Понимает наверняка.

Там.

Прощает.

А, может быть, — этому больше всего-то и радуется?

— ... яко Ты еси воскресение и живот и покой усопшего раба Твоего приснопоминаемого Александра, — на задушевной ноте, почти на полу-плаче, тянул отец Андроник, — и всех zde ныне поминаемых православных христиан...

Не отдавая себе отчета, всё пытался всмотреться в лицо батюшки: что же это в нем как будто сибирское... бурят? Или кавказское... ногаец? Ногай, как раньше.

— Воистину суета всяческая, — растягивал монах, — жития же сень и соня, ибо всуе мятется всяк земнородный, яко же рече писание: егда мир приобретаем, тогда во гроб вселимся, еже вкупе царие и нищие...

Цари и нищие, так, так... но если бы это было понятно царям при жизни!

Истово молился батюшка из сибирской провинции.

С ясно обозначенным на лице пониманием всей важности момента осенял себя крестом этот, который спрашивал сперва: а кто это — Пушкин? Кем был?

Справа за плечом у себя увидел буднично перекрестившегося сына, Георгия: читает «Часы», читает «Апостол» в церкви Успения рядом с монастырем, у отца Иеронима: что для меня — высокотожественная минута для него — как бы рутина...

Только-только окончилась панихида, деловито взял меня за локоть:

— Отвезу, па?.. Понимаешь: опаздываю.

— Конечно, — сказал я, — спасибо, что ты...

Автобуса не дождешься, а пятнадцать километров в холод топтать пешком...

— Слушай! — остановил его, когда, поблагодарив батюшку, мы уже спешили за ворота, к машине. — Отец Андроник, он — кто?

— В смысле? — на мой манер спросил сын.

— Я все смотрел: то ли ногаец...

— Калмык, — коротко ответил Георгий, хорошо знавший монастырскую братию.

— Калмы-ык? — удивился я.

— «Друг степей», па, — сказал он все также буднично. — Разве должно было быть иначе?

## ЖУК ПОДМОСКОВНЫЙ

Спешил к электричке, которая отходит от Скоротова в шесть пятьдесят...

Побегать по Москве предстояло достаточно, надел легкие полуспортивные туфли и на единственной в наших Кобяках улице старательно обходил острые камешки, но когда свернул на тропу через поле, понял, что, пожалуй, попался: сквозь мелкие дырочки от носка до подъёма тут же просочилась холоднющая роса — пока до станции дойду, в обувке будет хлюпать, джинсы до колен вымокнут... но что делать?

Еще не так давно для меня оставалось загадкой: почему это приличным людям всегда удается появиться в каком-нибудь благородном собрании в сверкающих башмаках, а мне, — ну, никогда! Ухаживать за обувью не только умею — люблю. Крем, щетки, касторовое какое-нибудь или норковое масло, бархатные тряпицы — все это у меня чуть не в идеальном порядке.

Начистишь — сам залюбуешься.

Но стоит спуститься в метро, как в покачнувшемся вагоне почти тут же кто-нибудь да наступит тебе на ногу — ну, будто для этого его специально наняли!

Как удастся избежать этой участи счастливицам, которым эта проблема судя по всему незнакома?

И только потом я понял: да ведь «приличные люди» в метро не шастают — к парадным подъездам подкатывают в персональных либо личных автомобилях...

Так и тут: разве приличный человек в электричке ездит, разве на станцию через лес побежит?

Уж в крайнем случае кто-то да отвезет его.

Но эти сутки сын дежурит в больнице... и даже когда не дежурит, стараюсь поменьше его по мелочам нагружать: при всех сложностях нашей нынешней жизни ему только этого, как говорится, и не хватает...

Та-ак: носки уже насквозь, джинсы внизу из светло-голубых превратились в темно-синие, ещё бы — травища в этом году на поле выдула!

Теперь тут никто не косит, коровы её не топчут — перевели коров, а удобрений в земле еще на добрый десяток лет: совхоз недаром считался передовым.

Красотища, конечно, кругом — красотища...

В начале июня, шестого, в день рождения Пушкина шел через поле, чтобы две остановки проехать до Захарова, где Александр Сергеевич каждое лето живал мальчишкой: от благословенных шести и до двенадцати лет. Стояла самая пора цветения одуванчиков, поле было под утренним солнцем — сплошная яркая желтизна, окаймленная по краям сочной зеленью леса...

Потом поле почти разом побелело, и через неделю-полторы на станции я долго обирал со штанов крошечные мокрые зонтики... что делать, в самом деле, что делать?

Цитировать своего кунака-черкеса? Который в последнем своем романе, как раз о Пушкине, на разные лады с горечью повторял слова, некогда сказанные Александром Сергеевичем: «Какая жизнь с пера?..»

Вот и приходится московскую квартиру сдавать: детям старых знакомых, почти за смешную сумму. Но как иначе выжить не модному, не обогретому лучами славы... не привыкшему — вот что, может самое главное! — заглядывать в рот людям влиятельным: и тогда, и нынче — всегда.

Ничава! — как говорил один из старых моих сибирских друзей. — Ничава!

Тем более, красота такая вокруг... да и не только в ней дело: а правда, правда!

Захарово, о котором неожиданно припоминаешь ещё на тропинке к станции и непременно потом, когда всего-то через одну остановку от нашего Скоротова электричка притыкается к платформе, за которой, скрытое леском, лежит знаменитое «селенье» — Захарово сперва только добавило любви к чудным звенигородским местам, но постепенно стало как бы первопричиной этой любви: одухотворившей её, освятившей высоким смыслом...

Вот только бы ноги уж слишком сильно не промочить... хватит того, что в электричке продуло, шею теперь, как волк, не могу повернуть...

Поле кончилось, бросился через лес, и уже на путях, на рельсах осматриваясь, увидел, что бока моих джинсов покрыты густым налетом пыльцы... а черная сумка, сумка на боку! Вся теперь серая.

Тимофеевка — так и хочется добавить из школьного учебника, луговая — стояла чуть не по грудь, на быстром ходу стремительно разрезал её, нависшую с двух сторон, а она в ответ меня охлестывала... В самой поре опыления, видать, — в самой поре...

Взялся отряхивать штаны, сбивать матовый налет... и тут вспомнил!

В печальном рассказе «Отец», который написал в семьдесят шестом году, сразу после его смерти, есть строчки о том, как он насмешничал над моими усами, когда впервые увидел их: «Усы-усы, чебоксары захотелось вам в гусары?..»

Приехавший тогда из Сибири, из Новокузнецка, «города угля и стали», из своей давно уже ставшей родною черной от копоти Кузни, я принялся обходить двор отчего дома, наш сад-огород: это был своего рода ритуал. Нюхал цветы, их много росло у мамы, считалась одной из самых известных в станице «цветошниц»... К иным наклонялся, едва не становясь на колени, другие, стоя в полный рост, пригибал — разноцветки, хорошо помню, вымахали в тот год прямо богатырские. И вот когда я все это мамино цветочное царство обнюхал-перецеловал, обнаружил вдруг на усах чуть ли не слой пыльцы... как шмель, подумал. Как жук! Прodelал их сладкую работу... Это сколько, любопытно, в тот день всяких цветиков-цветочков, всяких травок-муравок я опылил?

И вот теперь пыльца по бокам, на животе, на ногах... ну, да — на лапах.

Опять как жук.

Только в другом краю.

Отчий дом, с порога которого в хорошую погоду видать ранним утром розовую макушку Эльбруса, черкесской горы Ошхомахо, остался, так вышло, у других людей, тоже его теперь сдают квартирантам, даже не знаю, кто там нынче живет... Все чаще говорю себе: единственное на земле родное нынче для тебя место — изба в Кобякове, купленная у Володи Семенова.

Сам когда-то в любимом романе «Вороной...» предрекал: «Уехал казак на чужбину далеко, ему не вернуться в родительский дом!..»

Сбылось.

Теперь ты — жук подмосковный...

Жук.

Мы ведь, и в самом деле, Жуки — по прадеду с маминой стороны.

Тоже об этом уже писал. Когда в 59-ом — как давно! — сказал дома, что по собственной просьбе получил распределение в Сибирь, Татьяна Алексеевна, прабабушка, обрадовалась:

— И хорошо. Найдешь, наконец, там наших. Жуков. Я была двенадцатая, я — последняя, а восемь старших, когда заселяли Сибирь, туда тронули. И ни слуху от них, ни духу... А ты теперь их поищешь.

Я чуть ли не возмутился:

— Как я их, бабушка, искать буду? Сибирь-то — большая!

Сказала коротко:

— Захочешь — найдешь.

Но, видно, я так и не захотел.

Лишь годы и годы спустя, когда в Октябрьской, «самой демократической» на ту пору в столице районной администрации — Илью Заславского с его костылями, может, помните? — я, мифический атаман Московского землячества казаков, тоже факир на час, пытался зарегистрировать редакционную коллегия «Казачьей энциклопедии», мне помог некто Жуков, один из замов Заславского, который тогда и рассказал мне, что под Томском есть железнодорожный поселок, населенный почти сплошь Жуковыми... Это-то — железнодорожный поселок — больше всего меня и уверило, что там скопилась далекая родня... Ну, скифы мы, скифы. В переводе с былых наречий — скитальцы.

Мысль об этом я потом подарил — а вернее, за мизерную цену продал — знаменитому оружейному конструктору Калашникову, когда помогал ему сочинять его книгу «От чужого порога до Спасских ворот»... Его родители во времена столыпинских реформ тоже уехали в Сибирь из нашей Отрадной... может быть, с Жуковыми в одном составе — с молотилками и лошадьми — туда ехали? А в Новониколаевске — теперешнем Новосибирске — уже на своих подводах кто куда тронули... Его родители — на Алтай, а наши Жуки — под Томск...

А я, значит, приземлился в Подмоскови.

Тоже во времена реформ.

Уже — горбачевских.

Уже ельцинских...

Держись, Жук!

...Почему-то вдруг вспомнил Женю Дробязина, блестящего графика, мастера-оформителя из художественной редакции издательства «Советский писатель», в котором я тогда заведовал редакцией русской прозы... Как-то вышло, мы с ним подружились, иногда, чтобы поболтать, стали задерживаться, и как-то я сказал:

— Есть в тебе какая-то тайна, Женьк. Как бы загадка, извини... христоматийная для издательства

несговорчивость. С одной стороны. И чуть не детская доброта — с другой...

Усмехнувшись, он вдруг сказал:

— Народовольцы мы. По предкам. Ну, и охотятся до сих пор. Органы. Не поверишь: охранка как будто передала им нас... Она — ещё за нашими дедами, энкавэдэ потом — за родителями, кагэбэ за нами. Ну, да терпим. Забегаются. Если уж те забегались, эти — подавно...

Человек он, и правда что, был необычный.

Как-то узнали, что несколько лет, во время отпусков, в одном из причерноморских городов строил своими руками яхту, обогнал, когда вышел на ней, пограничные катера, якобы хотел уйти за границу, и выпутаться из этой истории помог ему какой-то очень серьёзный чин, которому он потом задешево эту яхту продал.

— Какая к херам заграница? — переспросил Женька, когда я попытался обо всем этом хоть что-то узнать. — У нас есть родина — разве не так? Как в том анекдоте про двух глистов, про папу и сына, помнишь?.. Просто хотел показать им: они — никто.

Это после разговоров с ним я стал вдруг складывать: и что фамилия мамы — Лизогуб. И что, не исключено, они тоже из народовольцев, из тех самых Лизогубов, один из которых, как говорится в короткой энциклопедической справке, казнен был, кажется, в одесской тюрьме.

Родня? Нет?

Как мало о себе знаем!

В местной газете в Майкопе как-то появилась дельная статья литературоведа Фатимет Хуако, о которой я до того не слышал. Вскоре после публикации статьи встретил на улице давнего доброго знакомого Заура Хуако, доктора филологии, вместе с которым учились когда-то на факультете журналистики МГУ. Спрашиваю: Фатимет — родня твоя? Или вы — только однофамильцы?

Он улыбнулся мудро и чуть насмешливо:

«У адыгов однофамильцев нет, ты забыл?»

Также, как у многих остальных горских народов, да.

Это мы, славяне, все ошутимей теряющие племенное родство, давно уже позабыли о фамильном.

Только вот это, из старых книжек, и остается к себе в поисках предков прикладывать: «натуры глубокие», «художественного склада», с «тяжелым своевольным и вздорным характером.»

Или потому-то как раз путь этот и естествен: от запорожцев — к народовольцам, эх!

Вроде бы: ты-то тут причем? Откуда это в тебе?!..

Так живем, что старому знакомцу из черкесов вскоре можешь твердо сказать:

«У русских только однофамильцы, родни давно нет!»

Но сердце-то болит.

Тем более — в такую пору, когда тебе вдруг... да что там — тебе!.. Народу, волю которого так самонадеянно хотели тогда народовольцы выразить, нет теперь хода ни туда, ни сюда, и только малая тропка среди тимофеевки луговой и осталась?

Сам теперь больше, пожалуй, монархист. Задним числом, как это у нашего брата ведется, страдаешь и печалишься оттого, что вроде всяк на особицу, но в общем-то, коли хорошенько подумать, всем миром, попросту говоря — скопом, сдали мы свой царственный дом другим державам... жадной своре других держав, искусно направляемых исчезавшей тогда Британией, нынешней Англией, где родственники нашей практически исчезнувшей правящей династии по-прежнему живут — в ус не дуют!

А у тебя только что и осталась эта твоя тропа через лес...

Но, может, все же забегаются?

Те, кто окучивает нынче весь мир.

Всех нас — вкуче с теми самыми органами, строго надзиравшими за нами прежде и продолжающими это теперь.

Збегаются.

Даже на этой короткой тропе...

Я, ПОЧТОВАЯ ЛОШАДЬ...

Это Александр Сергеевич так сказал: «Переводчики — почтовые лошади просвещения.» И я себя часто, очень часто явственно ощущаю такой лошадью: особенно когда спешу на электричку через поле и через лес с тяжелой сумкой, в которой лежат пять-шесть тоненьких книжек адыгейского кунака и два комплекта собственного четырехтомника... ну, чтобы доказать, кому вдруг придется это доказывать, что переводчик — не последний русский прозаик, нет, вот почитайте, мол, убедитесь!

В сумке ещё и складной зонт, футляр с очками и ручкой, толстый блокнот и шоколадка «Альпенголд», самая нынче дешевая: «завтрак пилота», как мы привыкли называть это с новокузнецким водителем Сашей, с которым как-то пришлось долго колесить по всему югу Кузбасса. «Завтрак пилота», да.

На самом деле — обед.

Вообще-то для меня таскать, бывает, целыми днями, такую тяжесть — все равно что самому себе выписывать направление в хирургическое отделение какой-нибудь близлежащей больнички, скорее всего, само собою, — звенигородской, где начинал практиковать Антон Павлович Чехов... Уж он бы меня, конечно, понял: два десятка лет назад ушили грыжу в правом паху, и после того я снова долгонько пахал, как конь, но вот недавно после жестокой операции аденомы, сколько надлежало, не поберегся, — как оно это при нашей жизни — беречься целых полгода? — и слева тоже появился тугой шишак с половину гусиного яйца: известное дело, что это такое, уже проходили...

Но как быть, если пушкинский праздник уже на носу, а я так и не могу добиться приглашения для Юнуса: не успеет приехать на него мой кунак, никак не успеет!

Тут удивительная случилась заковыка: чего-чего, а её я не ожидал.

Один из секретарей Союза писателей России, Николай Переяслов не только прочитал «Милосердие Черных гор» — уже успел опубликовать на него коротенькую, но доброжелательную и дельную

рецензюшку, и когда я спросил его, сможет ли Союз направить в Адыгею ни к чему его не обязывающее письмо — мол, приглашаем Юнуса Чуюко, автора романа о Пушкине, на Пушкинский праздник, но оплатить расходы не сможем — он тут же, как теперь принято говорить, «врубился»:

— Все правильно: на дорогу там как-нибудь ему наскребут, а тут он будет жить у тебя... прокормишь друга?

— Обижаешь, начальник! — сказал я известное.

И Переяслов, прощаясь, руку протянул:

— Готовь письмо!

Ну что, если мы так бедно нынче живем, а голь на выдумки, дело понятное, хитра, ну, что делать?!

В том, что моему другу необходимо приехать в Захарово, я не сомневался нисколько, и дело даже не в той самой «миссии», о которой когда-то, утешая меня, говорил Петр Васильевич Палиевский, и которая для меня, хочешь-не хочешь, все продолжалась.

Пушкинское Захарово расположено недалеко от города Одинцово, а кто Одинцово почти семь веков назад основал?

Андрей Иванович Одинец, потомок касожского князя Редеди, того самого, который в Тьмутаракани — в Тамани нынешней — дабы не губить воинов, предложил Мстиславу Удалому решить дело единоборством. «Да еще одолееши ты, — как повествует об этом летопись, — то возьмишь именье мое и жену мое и дети мое и землю мою, аще ли я одолею, то возьму твое все.»

Князь Мстислав одолел Редедю, условия договора были соблюдены, более того — сына Редеди Романа он женил на своей дочери, откуда пошел потом не один знатный на Руси боярский род. Основатель подмосковного Одинцова — выходец из такого рода, славного ратными делами: сын его Александр был боярином Дмитрия Донского.

И что в итоге выходит? Не только Мстислав забрал тогда у Редеди «именье» и «землю» — так или иначе, Редедя тоже прихватил немножко земли, да где, где!

Но не все так просто в этой давней истории поединка Мстислава Удалого с Редедей...

Помнится, когда около сорока лет назад из Сибири, из своего пыльного и дымного Новокузнецка, мы переехали в чистенький уютный Майкоп, один из местных писателей, «тот, чье имя не называем», прямо-таки доставал меня, как бы теперь сказали, этой историей.

— А ты знаешь, что Мстислав тогда оказался подлецом? — говорил он мне не раз и не два, глядя на меня так пристально, как будто я состоял тогда у князя в сообщниках. — Они договорились бороться честно, но когда Ридад стал побеждать, ваш Мстислав выхватил нож... Он его предательски убил, ты понимаешь?

После Московского университета с его интернациональным студенческим братством я распределился в Сибирь и долго жил интересами «ударной комсомольской стройки», создающей «третью металлургическую базу на Востоке страны». Здесь тоже кого только не было и среди «добровольцев», и среди «вербованных», и среди «химиков» — досрочно освобожденных «за хорошее поведение» заключенных. Отдавая вполне понятную дань уважения местным насельникам, шорцам-телеутам — кузнецким татарам — о ком только, кроме них, я не писал в крошечной своей газетенке «Металлургстрой», а среди героев первых моих романов были и грузин Гиви Чумашвили, и армянин Жора Айрапетян: некий дорогой мне кавказский знак. Прежде всего меня, как и всех нас тогда, обижало холодное невнимание Москвы к нуждам гигантской стройки, именно это мы считали предательством, и понимание этого нас лишь объединяло. Потому-то из солидарности с коренными сибиряками мы старались тоже «осибирячиться», ну, прямо-таки «очалдониться», и я, надо сказать,

не был теперь готов к высоконаучному спору в Майкопе о деталях единоборства русского и черкесского поединщиков... Только и того, что помнилась летописная строчка: «и зарезал Редедю пред полками касожскими».

Но если, думал, начнем теперь все припоминать? Дело прошлое!

Но, видать, смотря для кого...

— А ты знаешь, что ваш Мстислав, — в очередной раз наставлял на меня палец настырный защитник национального достоинства черкесов, — когда они вышли бороться с Ридадом...

Очень меня это, признаться, смущало: я, только что вернувшийся как бы домой — сколько там от моей станицы до Майкопа? — начинал ощущать некий комплекс исторической вины перед черкесами, пытался рыться в книгах, обратиться к источникам, так сказать, но какие тут, в Майкопе, тогда были источники: кроме известного и за пределами Адыгеи йодо-бромистого...

Сам с собой пробовал рассуждать: ну, если условия поединка у всех на виду были нарушены, разве бы согласились касоги мирно перейти к Мстиславу? Да никогда!

Уж что-что, а это о черкесах я уже хорошо понимал.

А как этого может не понимать о своем народе набирающий известности адыгейский писатель?

Но он все продолжал донимать меня, тогда непонятливого, пока однажды не сказал прямо: «В прошлом веке вы нас крепко пожгли и порезали, а теперь должны также крепко на нас поработать...»

И я переехал сперва в Краснодар, а потом в Москву.

Много лет спустя блестяще пишущий на русском доктор философии Айтеч Хагуров, насколько изящный, настолько же и глубокий прозаик, в журнале «Кубань» опубликует статью, в которой почти дословно скажет о своем земляке, несгибаемом упрямец, чуть ли не то же самое: «Трудно представить, зная горячую кровь черкес-касогов, чтобы они просто так наблюдали такой поединок и безропотно подчинились его результату. Автор этой версии, выгораживая Рэдэда, кладет черное пятно на касожское войско.»

Куда ясней!

Не исключая, что тут самое время рассказать о той внутренней, сокровенной работе, которая постоянно шла во мне, начиная с того дня, когда «тот, чьё имя не называем», впервые предъявил мне давний, «тмутараканский» счет и которая, ни на минуту, сдаётся, не прекращаясь, идет во мне до сих пор...

В Новокузнецке я был заядлым хоккейным болельщиком: «Металлург» (случалось, чуть не на равных, а то и ко всеобщей радости — лучше) играл тогда в высшей, «золотой» лиге, и это была чуть ли не единственная отдушина в нашем пролетарском «городе угля и стали».

В Майкопе, где я, конечно, тосковал по Сибири и по нашему сибирскому братству, однажды увидел объявление о всесоюзных соревнованиях по самбо, которые проводило известное тогда спортивное общество «Урожай»... Но разве не щедрой была землячка в отрогах Кузнецкого Ала-Тау, на юге Кузбасса? Не только на уголь и на кедровые орехи да черемшу, «медвежий лук»: каких рожала богатырей! С одним из них, олимпийским чемпионом по вольной борьбе, шахтёрским любимцем, Володей Манеевым был не только близко знаком — мы дружили... хотя нашелся ли бы тогда в нашей Кузне человек, который с ним не дружил? Этот чисто русский вариант дружбы, скрепляемой непременно ею, проклятой, и погубил Володю: как печально мне было потом, живущему в Москве и прилетевшему в Сибирь по другим делам, присутствовать на поминальном городском торжестве в память Манеева и, сочувствуя, обнимать его девяностолетнего, ещё кряжистого отца!



Но это было позднее, а тогда я забрел в Майкопе в спортзал нынешнего университета, который был еще педагогическим институтом и в городском полушутливом просторечии звался «Адыг-педыг»... научил он потом и самбо, и дзю-до не только большой Союз — научил весь «большой дунэй»: так черкесы обозначают весь мир. Научил!

Сперва я, само собой, взялся горячо болеть за сибиряков: до сих пор помню это тоскливое ощущение одиночества, преданно... да что там — самоотверженно, чуть ли не жертвенно, идущего против остальной, успехами своих возбужденной толпы... И до сих пор помню этих ребят (тогда ребят, разумеется, многих из которых теперь уже нет) — нашего, из Кузни, татарина Басирова Романа, богатырей-русаков Валю Глухова из Новосибирска и Эдика Агафонова из Красноярска. Там теперь проводится турнир его памяти, а я ещё давным-давно назвал его именем главного героя одной из своих любимых повестей, «Скрытая работа»: всё, что мог, как говорится. Что — мог.

Как это у нашего брата, у писателя, водится, постепенно я перезнакомился с самыми отчаянными из местных болельщиков, начал посещать тренировки и потихоньку входить в ближайшее окружение местных борцов, большинство из которых были черкесами... Адыгейцем, из причерноморских шапсугов, был и тренер их, знаменитый Якуб Коблев, названный потом «Тренером 20-го века». Это случилось уже в начале следующего за ним, 21-го, а мой очерк о нём появился в центральном журнале «Смена» ещё в 1976 году. Конечно же, отношения между нами установились и добрые, и — почти доверительные...

Но Якуб-то не знает этого, как до сих пор не знает никто: как невольно поддерживал он меня своим мало кому заметным рыцарством, когда я так страдал в Майкопе от мастера литературной борьбы под ковром.

По-моему, в 1973-ем в Тегеране состоялись первые международные соревнования по самбо, а всесоюзные сборы перед ними проходили в Майкопе. Кто только тогда сюда не приехал! Легендарный «Папа Шульц», один из признанных, ещё при живом Харлампиеве, его продолжателей; не менее знаменитый Ципурский; из тех, кто помоложе — Давид Рудман, живущий теперь в Штатах, но прилетевший в Москву посмотреть схватки на Кубок Президента по самбо 2007-го года.

— Помню вас в Майкопе семьдесят третьего! — сказал ему, пожимая руку во Дворце спорта в Лужниках, куда пригласил меня Арамбий Хапай, один из бывшей коблевской гвардии.

— Хорошо, что хоть кто-то помнит, — отозвался он вроде бы шутливо, но с печальной улыбкой. — Спасибо!

На тех, «перед Тегераном», сборах я не пропустил, считай, ни одной тренировки, в пединститутский зал ходил как на работу. Любимую!..

Конечно же, наши должны были привезти из Ирана если не все «золото», то большую его часть — определенно, и каких только наставлений не получали борцы от тренеров.

— Наверняка там будет много патлатых, и это хорошо для нас, — говорил один тоном приказа. — Вместе с воротником у «патлачей» покрепче прихватывай волосы!

— У меня будет список травм противника, — объявлял другой. — Каждый перед схваткой должен с ним познакомиться. Правая нога — жми ему на правую ногу. Левая рука — доламывай ему левую... всё ясно?

Якуб говорил своим:

— Обо всем об этом даже не вспоминайте — выкиньте это из головы. Настоящий борец, тем более — настоящий адыг, никогда до этого не опустится!

Уже испытавший на себе подлость «кишлачных» приемов «того, чье имя не называем», как

искренне, как трогательно я был Якубу благодарен!

Пожалуй, это он тогда заронил во мне семечко тех размышлений, которые, годами неслышно развиваясь во мне, нарастали, бывало, до такой степени, что мне временами хотелось бросить всё остальное и тут же усесться за рассказ, за повесть... или об этом должен был написать непременно черкес?

Написать о том, что общепризнанные успехи адыгейских самбистов и громкая их, всемирная слава — всё это как раз и есть исторический отголосок того самого, скрытого в тени прошлых времен поединка между касожским богатырем Редедей и русским князем Мстиславом... Осознанно ли воспринимаемый отголосок? Или на уровне подсознания? Но, без сомнения, — благодатный. И полной мерой свыше дается не тому, кто больше всего остального озабочен лишь собственной персоной. Тем, кто — славой отчей земли...

Тут мне впору — на манер адыгского плача — горько пожалеть о непростой судьбе этой земли и разобщенности её коренных насельников, которая черной лентой в судьбу эту вплетена... Не стану в подтверждение этого приводить обидные для всякого черкеса слова почитаемого в этих краях просветителя Адиль Гирея Кешева об «адыгском племени». Лучше обратимся к известной русской поговорке о том, что «два медведя в одной берлоге не живут».

А ведь сколько среди черкесов своего рода «медведей»: людей неординарных, не на одну колодку — всяк на свою особицу — сработанных. И каждый должен быть первым: ну, прямо-таки — пренебрежительно!

Когда в Адыгею приехал Владимир Путин, знаток боевых искусств и строгий ценитель, сам опытный самбист — ну, в доску свой в этом смысле, — то рядом с ним телевизионная хроника снимала уже не первоучителя Якуба Коблева, нынешнего ректора Института дзю-до, а давно оттеснившего его от «госпожи Удачи» Арамбия Хапая, трехкратного чемпиона мира по самбо, тоже успевшего к этому времени воспитать целую плеяду великолепных борцов и самого яркого из них — одиннадцатикратного чемпиона мира Мурата Хасанова, тяжеловеса. Давно уже бессменного капитана сборной России.

И ценю, и люблю обоих: и Якуба, и Арамбия. И с обоими открыто дружу.

Полтора десятка лет назад мне довелось составить своего рода «кодекс чести» для элитного «Клуба делового и дружеского общения». Впоследствии Клуб распался, о чем я потом с горечью написал в рассказе «Национальная элита», где этот кодекс приведен полностью. Так вот, один из параграфов кодекса гласит: «Никто не мешает тебе поддерживать хорошие отношения с теми, кто враждует между собой, и вести себя при этом вполне порядочно. Если я предназначен служить орудием обмана, сказал Монтень, пусть это будет, по крайней мере, без моего ведома».

Ах, если бы это золотое правило соблюдалось не только в маленькой Адыгее — во всей большой России, где сбиваться в стаи и насмерть загрызть чужаков стало общепринятой нормой!

Как всякий поймёт, это совсем не о спорте.

О нашей жизни вообще.

Но не потому ли мы с такой жадностью глядим на поединки в спортивном зале, что поединщики как раз и хранят для нас с вами святые некогда, хоть и жестокие во все времена, законы полузабытого нынче рыцарства?

Об этом уже писал. Как увидались с Арамбием однажды в Майкопе, когда я давно уже обосновался в Москве, и он спросил привычное в таких случаях: мол, где остановился?.. Извини, отвечаю, но что делать: тут ведь живет мать жены... «И ты?! — отшатнулся от меня Арамбий. — Живёшь у тещи?!»

Зять у черкесов — самый малоуважаемый среди остальной родни человек. Зять, живущий в доме у

тёщи — вообще позор.

— Всё, пошли! — решительно взял меня чуть повыше локтя Арамбий, как младший, сразу пристраиваясь слева. — Тут у меня рядом машина, поедem сейчас — заберешь свои вещи. Будешь жить у меня в кунацкой...

— А жена? — спросил.

— Это как ты решишь. Захочешь, бери с собой. Нет — будет приезжать к тебе. Или ты — к ней...

— Когда тёща уйдет на рынок?

Еле уговорил в тот раз Арамбия простить мне нарушение адыгского этикета, но вскорости то же самое повторилось: судьба как будто нарочно сводила нас тут же, как только я приезжал в Майкоп.

А о кунацкой Арамбия в городе уже ходили легенды: несколько дней, пока страсти не улягутся, не отдавал милиции замешанного в драке излишне горячего молодого турка.

Шло тяжкое время перемен, и руками турков как раз англичане в очередной раз старались раскатать «кавказскую лодку». Чего только тогда не говорили об Арамбии!

— Что вы о нем слышали? — строго спрашивал у меня в столице Аскер Евтых. — Говорят, националист номер один.

И я посмеивался:

— В нашем большом ауле, в Москве, говорят, что я антисемит номер один. В Интернете есть файл: «Экстремизм. Ксенофобия. Национализм». Как бывший московский атаман, как раз и стою под первым номером!

— Вас-то я хорошо знаю! — решительно защищал меня Аскер.

— А я, Аскер Кадырбечевич, хорошо знаю Арамбия.

Может быть, так устроен, и это во мне, и в самом деле, — казачье, от предков?

Но почему-то меня вовсе не раздражает, что на заднем стекле хапаевского «жигулька» — всего-то «жигулька», в отличие от неперемных «лендроверов» да «шестисотых» многих адыгейских нуворишей, — всего-то! — изображена цветная карта Северного Кавказа от Черномории до Каспия и над ней красуется надпись крупными буквами: «ЗЕМЛЯ АДЫГОВ.»

Иногда Арамбий звонит мне на мобильник:

— Ты в Майкопе? Вот хорошо. Еду через твой район в Бесленей. Ты майкопский зять, а я — бесленеевский. Но я на денек: надо же иногда навещать родню! А проехать напрямик почти невозможно. Мало того, что дороги нет, по хуторам такой разор, что глаза бы не смотрели. Опять думаю: зачем тогда они отобрали у нас эту землю, если не могут её с толком использовать... а какая, Гарий, это красивая земля! Ну, ты ведь свою родину знаешь. Давно тут был?.. Давай так: я вернусь со своими маленькими, сядем в мою машину, снова поедem в твою Отрадную, зайдем в администрацию и так прямо и спросим: зачем отобрали у черкесов землю, если она теперь — в таком бедственном состоянии?

— Кто из нас романтик, Арамбий? — говорил я ему чуть ли не с осуждением. — Или я со своим сибирским клеймом или ты тут — с адыгской тамгой? Ты думаешь, я у них в Отрадной об этом не спрашивал?!

Да и в одной ли Отрадной стоило бы ещё раз спросить? Только ли о «земле адыгов»?

А о русской земле кто спросит? Обо всей российской?

Или найдется потом все-таки смельчак, тоже нарисует на заднем стекле мелкую-мелкую карту некогда большой родины: когда она уже, не приведи Господь, станет к радости врагов Московским княжеством?

На Хапае, как многие в Адыгее считают, лежит вина за то, что памятник святому Николаю Чудотворцу стоит теперь не у «парадного» въезда в Майкоп со стороны Белореченска, а на выезде из города, по дороге в станицу Тульскую: как бы на задворках. Это Арамбий вывел не столь многочисленную толпу «экстремистов», которые не позволили поставить его на ранее намеченном месте.

Но Арамбий ли тут виноват?

Или больше все-таки — наш многоуважаемый Владыка Пантелеймон, не так давно прибывший в Адыгею из Калининграда и к тому времени, о каком говорим, не сумевший, мягко говоря, сориентироваться, куда и для чего, прошу простить, он попал. Ведь одно дело — прокатиться с богатыми, с именитыми членами столичного общества во имя Николая Чудотворца в Италию, в город Бари, где находятся мощи святого, и договориться потом в Москве, что одну из многих, предназначенных для всей Матушки-России, копий поставят в Адыгее, и совсем другое, справедливо оказалось, — заранее договориться об этом с ревнителями мусульманства в Майкопе.

Но ведь дело известное: Господь поругаем не бывает.

Что ж, что стоит теперь народный любимец, старинный защитник и попечитель простого люда спиною к чиновной Патриархии. Слева от него — церковь Георгия Победоносца. Справа — дорога в горы, к Свято-Михайло-Афонской — во имя Архистратига Михаила, предводителя небесного воинства — общежительной пустыни. А прямо перед ним — воинство земное: стрельбище 131-ой Майкопской бригады, испившей в Чечне такую горькую чашу, но не уронившей достоинства.

С обращенным на Кавказ ликом, с вытянутыми в стороны ладонями Чудотворец теперь явственно знаменует и торжество, и трагедию того, что теперь называют «кавказским крестом России», и верующих ему будто осеняет помаванием рук в конце молитвы, которая заканчивается словами: «сила и слава».

Неприменно сила, которую подрастеряла Родина в этих местах.

Только после неё тут — слава.

А в просторной кунацкой Арамбия с маленькими, из сухой болотной травы, половичками и ткаными ковриками на полу, с высокими циновками и большими коврами на стенах мы сидели возле открытого, с традиционной высокой вытяжкой, очага после неторопливой трапезы за столиком-трехножкой анэ... Уютно потрескивали поленья, тихие блики поигрывали на лицах собеседников, уходили вглубь полутемного помещения, в котором над одной широкой низкой тахтой висел на ковре знаменитый кавказский «эреджиб» штучной работы, а над другой — не менее известный американский «винчестер»... Прошлое рядом с настоящим?

В котором столько ещё недавно решал да и никак ещё до конца не может кой-где решить безжалостный «калашников»...

Кроме меня в гостях у Арамбия был его старый друг, земляк-аульчанин Чизир Гусарук, начальник дорожной службы Адыгеи, и я, медленно поводя головой в сторону хозяина, гостеприимного нашего бысыма, с нарочитым упорством спрашивал:

— Откуда у него это беспрекословное адыгство, у Арамбия? Ты-то Чизир, как старый товарищ, друг детства, можешь мне это объяснить?

И Гусарук развел руками — тоже нарочито беспомощно:

— В том-то и дело, что не могу. Отец его, Юсуф, не мог объяснить!.. Известный комбайнер был, слава о нем не только по нашему Течезскому району — по всей Адыгее. Когда мальчишкой Арамбий помогал мне, говорит, на комбайне, бывало, скажу ему: что ты все об адыгстве! Смотри лучше, чтобы хлеб на земле не остался. А он: смотрю, тат, внимательно смотрю — это как раз и есть адыгство! Братья в этом смысле куда, говорит, спокойней, а он это — с молоком матери...

Нам, давно оторвавшимся от корней, остается только Арамбию завидовать?

Приезжал за мной Арамбий вместе с маленьким внуком, которого звать Ридад, а на память о нашем сидении у его очага подарил богато изданный сборник: «Адыги (черкесы) — чемпионы Европы, Мира, Олимпийских игр». Над заголовком на обложке — под двенадцатью звездами летящий над Ошхомахо, над Эльбрусом нарт Сосруко с факелом в руке, а открывает книгу длинная колонка пушкинских стихов: «Но европейца все вниманье народ сей чудный привлекал. Меж горцев пленник наблюдал их веру, нравы, воспитанье, любил их жизни простоту, гостеприимство, жажду брани, движений вольных быстроту, и легкость ног, и силу длани...»

На обороте цветной рисунок: на фоне символических гор, меж замершими рядами воинов богатырь Редедя с мужественным лицом — Ридад — поднял над собой испуганного князя Мстислава, вот-вот ударит его оземь...

Как теперь принято на нашем «тиви»: «но коммент»? Без комментариев.

Или вспомним, что чуть ли не вся мировая история прямо-таки наполнена разночтениями: такова наша жизнь.

Так и хочется сказать: жизнь народов.

Нам ли, страстным любителям приукрашать свое прошлое, это да не понять?

Очерк об Арамбии Хапае назван: «Рыцарь ковра».

Вот на это и остаётся уповать. На современное рыцарство в нынешнем его виде: дай Бог, чтобы оно не было жестче и кровавей рыцарства прошлого!

...Но что меня теперь грело в этой во всей истории — что в Одинцове помнят и чтут отца-основателя города, а ведь от него еле заметная ниточка тянется и к Пушкину: такая тонкая, что разглядеть её можно только неравнодушному сердцу человека особого, поэтического склада, обладающему и высоким воображением, и ясностью мысли...

Может, если попросту, — родной душе?

Знал ли Александр Сергеевич историю Одинцова также дотошно, как прекрасно знал многие окрестные селения, не знал ли, — так или иначе он вырос на русской земле, одухотворенной и этим: и нашей прапамятью о касогах, и прапамятью их самих... Может, кроме прочего отсюда его неосознанный интерес к черкесам? Он был!

Это мы теперь ничего не знаем о предках своих: первые насельники Одинцова наверняка помнили, кто они и откуда.

Деревья безмолвны и, мы считаем, беспамятны, но не эти ли остатки столь поредевших дубрав, которыми и нынче так в Одинцове гордятся, когда-то прислушивались к разговорам и считывали мысли стародавних насельников?..

Это может показаться фантазией, литературным, чистой водицы, вымыслом, но ведь и речь-то идет не о ком-либо — о нашем заглавном литераторе: Пушкине.

Неужели не понял бы?

Что последние величественные деревья в Дубраве, недалеко от Захарова, в Одинцове так похожи на те, которые уже в единственных экземплярах остались там и тут на Кубани и в Закубании, на те одиночные богатырские дубы, которые коренные, от первых поселенцев, русские не без доли невольного восхищения называют «черкесами», а самые давние тут жители, черкесы как будто в ответ называют их «казаками»...

Разве не радостно Александру Сергеевичу было бы это знать, как не любопытно ли и то, что роман черкеса о нем перевел не кто-нибудь — кубанский казак?

Для кого-то все это, может быть, пустые слова, но сам я глубоко убежден, что существует некая незримая копилка мирного духа, в которой ничто не пропадет, ничто не останется незамеченным, и как это важно — несмотря ни на что, потихоньку пополнять и пополнять её нынче, когда всеми силами пытаются лишить нас и мира, и духа — и в России вообще, и на Кавказе теперь — особенно.

Да разве кунаку моему не придаст вдохновения, ни прибавит уверенности в своевременности и нужности его романа о Пушкине, если побродит тут по этим местам? И чисто русским — а где же, как не тут — русский дух, где, как ни тут — «Русью пахнет»? — но, выходит, в какой-то мере заодно и — черкесским местам?

Для меня после долгих размышлений это стало как дважды два, потому-то и хотелось вытащить его из Майкопа на праздник в Захарово.

Но, может, мне-то оно и понятно оттого, что долго обо всем об этом раздумывал, а кому-то видится совсем в ином свете... в каком же, хотелось бы знать, в каком?

Письмо подготовил на имя главы правительства Хазрета Хуаде, так с Переясловым договорились. Обращаться к президенту Адыгеи Хазрету Совмену в такой ситуации было бы, прямо скажем, неделикатно: бывший сибирский золотопромышленник, он входит в полусотню самых богатых людей России, и мог бы расценить это как намек на личное финансовое участие в поездке Юнуса.

Опустим тут рассуждение о том, какие нынче стали эти полусотни и сотни: само собой, что трудно казаку за эти ласкающие слух отголосками былой славы названия не зацепиться... Сколько раньше-то, любопытно, было в России полусотен, готовых грудью — за родное Отечество? Теперь, хоть и особенная, конечно, но все же полусотня — одна, одна, и Хазрет Совмен, не только поймавший в Сибири фарт, но и лиха хвативший в ней поверх головы, в полусотне этой — как белая ворона: не в пример ему никто из остальных особенно не спешит поделиться с нищими и убогими... Зачем обременять его теперь ещё одной, зряшной по сравнению с другими, заботой?

В Союзе писателей, когда показал Переяслову заготовку письма к премьер-министру Адыгеи, он только руками развел:

— Ну, слушай, тут и поправить нечего!

Пришлось без той самой «ложной скромности» согласиться:

— Старая школа!

Уж каких только писем, кому только, от кого только не пришлось, и действительно, на своем веку сочинить.

— Печатаю на бланке и иду к Ганичеву подписывать, — сказал Переяслов. — Посиди пока, полистай

журналы.

И тут вдруг я перехватил женский взгляд... согласитесь, что наш брат, принадлежащий якобы к сильному полу, все-таки не может смотреть с таким глубоко затаенным коварством, какое нет-нет, да мелькнет во взгляде у представительницы противоположного, якобы слабого пола...

О, эти невольно посылаемые нам глазами знаки, которые так умел разгадывать Александр Сергеевич, веривший и в магнетизм, и во многое другое, что ещё недавно мы так категорически отрицали!

Но осознал я это только потом, когда чиновная дама с нарочито деловым видом вышла из кабинета...

Почти тут же вернулся явно огорченный Переяслов:

— Представляешь, что произошло?.. Скорее всего, кто-то из наших, кто перед этим слышал наш разговор, успел позвонить в Майкоп, и оттуда уже был грозный звонок Ганичеву: вроде чуть ли не с матерком — на крике во всяком случае... Что в Адыгее только один человек мог бы приехать на Пушкинский юбилей, но ему сейчас не до того, а что касается этого Чуюко...

— Знакомо до боли, — сказал я, тут же узнав бескомпромиссный стиль, каким со мною в Майкопе не раз говорил о Мстиславе с Редедей «тот, чье имя не называем». — Такой-то звонил?

— Само собой, — со вздохом согласился Переяслов. И подошел к полупустой урне у стола. — Ты видел: я сделал все, что мог...

Разорвал напечатанное уже на бланке Союза писателей России письмо и мелкие клочки бросил в урну.

— Но ты-то, слава Богу, все понимаешь?

— Конечно! — сказал он горько. — Но тут я бессилён.

Дело вообще-то чрезвычайно любопытное.

Но прежде, прежде... Помните ироническую формулировку недавних лет? Мол, «в старое доброе время, при проклятом царском режиме»...

Не пора ли нам завести теперь новенькое? «В старое доброе время, при проклятом застое...»

Так вот, те кто достаточно хорошо был знаком с жизнью писательских организаций Средней Азии или Северного Кавказа «в доброе старое время при проклятом застое» определенно знают, что в большинстве случаев они имели характер восточных деспотий со всеми вытекающими, как говорится, последствиями, в том числе прелестями лизоблюдства, соглядатайства, доносительства и многими другими, какие только изобретет южным солнцем и жаром из-под шашлыков воспаленный ум деспота.

Казалось бы, в наше время смуты и неопределенности именно та часть литературных чиновников, которые называют себя патриотами, должна была бы эти деспотии разрушить в первую очередь, а не нет, нет... Более того! По образу и подобию деспотий стали строиться и столичные писательские сообщества, и руководящий центр — в первую голову. Думаю вот: чем это объяснить? Или многовековой восточный опыт оказался куда надежней и плодотворней не столь богатой истории комсомольской школы, которую прошли многие из нынешних литературных вождей?.. Или они восприняли его на основе неистребимого духовного родства с их былою славной организацией и на неё близкой похожести?

И не надо тут предъявлять встречный иск: чья бы, мол, корова мычала, но твоя, с «ударной комсомольской», молчала... Нет-ка, ребята, как раз — нет.

Как тогда вы продавали нас, мантуливших в сибирской глубинке, — об этом почти все мои книги — так точно теперь наивную до сих пор и простосердечную литературную провинцию отдали на откуп приплачивающим вам за то деловарам, выжигам, маркитантам, и это — лишь часть правды, всего только верхушка того самого айсберга, который из литературного, художественного давно превратился в чисто коммерческий...

Извини, Александр Сергеевич, — я на адыгейский манер, как кунак мой в своем романе, на «ты», — извини за это печальное отступление, милый АСи, но не должен же я давать в обиду своего простодушного, не прошедшего Крым и Рим кунака — в том и дело, что в наших южных местах узкой дорожкой этой — из Крыма в Рим — ходит непременно один, ходит деспот, и только ему одному, непременно ему, никак не желающему понимать, что прижизненная слава губит посмертную, поют потом столь многих сводящие с ума, убереги нас от них, Господь, медные трубы!..

И вот я, толмач-переводчик, почтовая лошадь просвещения, так бесстыдно в наше время униженного, опущенного, как они теперь говорят, спешу через лес со своею тяжелой торбой... с походным выюком?

Своими текстами, если в них верим, пророчим себе будущее... не это ли со мною случилось, когда написал яростный роман «Вороной с походным выюком» — вот он теперь, мой выюк!

Пушкинская усадьба в Захарове тоже была осыпана ярко-желтыми одуванами.

Стояли в самом соку уже ударившие в первый цвет отмытые дождями чернотвольные липы вокруг новенького дома Ганнибалов, а слева, не спуске к превратившейся в тихие озера реке, замерло белоногое березовое царство — все, все тут сияло под солнцем, словно тоже готовилось к дорогому празднику...

Захаровская «пушкинская Татьяна» — Татьяна Петровна, директор музея, шла навстречу мне, стоявшему у ворот усадьбы, по аллее, ведущей от мостика через речку...

Слегка припоздавшая на службу, которую в её положении можно смело назвать служеньем не только оттого, что дело касалось особо почитаемого здесь Александра Сергеевича, — ещё и потому, что на те крохи, которые музеем доставались, содержать его почти в идеальном порядке без самоотвержения было бы просто невозможно... Так вот, она теперь поспешала, слегка раскраснелась, и в праздничном платье так была хороша, что у меня вдруг возникло некое ревнивое чувство превосходства перед соседним Хлюпиным, куда по уверениям моего друга Володи Паялы тайком приезжал Пушкин из Москвы: чего ему там было делать-то, если в Захарове такие красавицы?..

Кому-то покажется, что всё пошучиваю, но это надо, пожалуй, видеть, каким особенным светом были озарены в те дни лица музейных служителей «Дома Ганнибалов»!

Конечно же, были ещё иные, более прозаические причины, по которым Татьяна Петровна задержалась, принаряживаясь, и я их, конечно, тут же и угадал.

— Ждете комиссии?

— Мучают, — откликнулась она, приглашая вслед за собой уже по комнатам внутри дома. — Но терпим, терпим: нет-нет, да хоть чем-нибудь да помогут...

Собралась уже ступить на узкую боковую лестничку в торце, но во мне заговорил старый морской волк:

— Извините, Татьяна Петровна, должен подняться первым: раньше корабельных офицеров, позволивших пропустить даму на трап, списывали на берег...



— Не будем вас подставлять, — охотно включилась она в игру. — Подождете у двери, она пока на замке.

Конечно, обожду.

С чувством исполненного долга: недаром во время недавнего морского похода в Грецию наших десантных кораблей с миротворцами для Косово, я, давно седой, с пробоинами на шкуре, романтик, сподобился, наконец, запоздавшего больше чем на полвека посвящения в юнги!

— Вы мне что-то обещали, — напомнила Татьяна Петровна, когда уж вслед за нею вошел в крошечный её уютный кабинетик на самом верху дома, в мансарде.

— Принес! — уверил я её чуть ли не торопливо. — Как же, принес.

Конечно же, очаровательной даме, ей было неведомо, что к чувству добросердечия и благодарности за гостеприимство в столь дорогом для меня доме, о чем написал ей в дарственной надписи, примешивается ещё и долгожданное ощущение, что с каждой выложенной из неё книжкой сумка моя делается все легче... неужели ударить копытом хочется уже лишь от этой радости?!

Татьяна Петровна собралась было чайком попотчевать, но я отказался: до того ли ей?

Рассказал ей о несостоявшемся приглашении Союза писателей, и она, уже прочитавшая роман моего друга, прониклась явным сочувствием:

— Разве что нам его пригласить... Вернее, не нам, мы-то всего лишь филиал — основной музей в Вяземах, в Голицыне. Попробуем позвонить Александру Михайловичу, директору... не знакомы с ним?

Сняла трубку, но директора на месте не оказалось.

— Сказали, на территории. Езжайте-ка срочно к нему...

— А он не может в это время уехать?

— Нет-нет, — сказала она уверенно. — Если на территории — это надолго!

В рейсовом «Икарусе» до Голицына меня вдруг тоже охватила предпраздничная «пушкинская» лихорадка... люди готовятся! А что сам? По давней привычке планировать, хоть твердо знаешь, что сбыться планам не суждено, все равно будут непредсказуемой нашей жизнью переиначены, хотел успеть с циклом этих рассказов, которые так сперва мысленно и назвал: «Я, почтовая лошадь...» Ведь осознал, что он складывается, цикл, когда переводил Юнусово «Милосердие...» А что нам оставил в своих записных книжках Александр Сергеевич? «Переводчики — почтовые лошади просвещения...» Вот и определился я в этот конский ряд: для казака дело — как бы вполне понятное.

Но что касается заглавия, потом вдруг пришло: чего якать-то? Собираешься о Пушкине, а в заглавии «я» — причем тут?!

Нехорошо!

Из конского-то ряда высовываться.

В те дни вдруг однажды и пришло: конечно же, «Вольный горец»! К тому времени это я знал, как «Отче наш». Гоголевское: «В Испании он испанец, с греком — грек, на Кавказе — вольный горец в полном смысле этого слова...»

Опять же, и Николая Васильевича помяну таким образом: может быть, потомок тех самых «Нимченков», из рода которых был гоголевский слуга Яков... сам объявивший себя «слугой покорным», что это я — исключительно об Александре Сергеевиче, о друге моего досточтимого

благодетеля, а о нем самом — нет и нет? Давно пора!

А то и Володя Семенов, прямо-таки живущий своим родством с Ариною Родионовной, уважать меня перестанет.

За непочтительность. За неверность.

И прав будет: уж кого нам и почитать, как не их, когда столько недавно сказанных слов стремительно обесценилось, а произнесенное ими почти два века назад как было золотом, так и осталось...

Вот и закончить бы поскорей, да как при этой бродячей, на три дома, жизни закончишь?.. Главку «Приснопоминаемый Александр» писал в Подмоскovie, хорошо вдруг пошла, а письма из Мостовского остались в Майкопе. Пришлось звонить Эдуарду Овчаренко, просить, чтобы он сходил там в наш — тещин, на самом деле — дом (о нем особый рассказ, об этом тещином доме, может, потом вернусь к нему?..), порылся в коробках с моим архивом, который пытаюсь до следующего приезда всякий раз «консервировать»... Пока он собрался, пока нашел там, я уже укатил в Сибирь, потом они надолго пропало среди бумаг, и вот только на днях ну, словно сами по себе, вновь объявились.

Как оно там, в одном из писем: «Насколько понимаю, вы хотели видеть Петра Андреевича Кузнецова, кто из оставшихся немногих саперов 12-ой ордена Кутузова инженерно-саперной бригады разминировал заповедник села Михайловское и непосредственно могилу А. С. Пушкина в Святогорском монастыре. Что может быть возвышеннее этих мгновений, связанных с ветераном войны и труда, участником двух войн — с Германией и Японией? Петр Андреевич с Верой Даниловной — супругой, ветераном учительства, уж более не могут как прежде активничать. У первого два инсульта, у второй — онкологическое заболевание. И все же, несмотря на невзгоды, они помогают мне в руководимой мною „Зеленой лампе“, которая провела уже 14 заседаний в память об Александре Сергеевиче.

Как было бы хорошо, если бы Вы осветили все, что связано духовно-поэтически с гением русскости, славянства, казачества, дружбы народов — А. С. Пушкиным на Кубани.»

А подпись-то под письмом! «Заместитель атамана по культуре Мостовской районной казачьей общины, режиссер Центральной клубной системы Семенов Михаил Владимирович.»

Еще один, выходит, Семенов. Кубанский. Из наших Мостов.

Мне бы не только «осветить» — все собирался съездить к нему в станицу Мостовскую, чтобы кроме прочего уточнить насчет этого минирования-разминирования: тогда-то, в Краснодаре мельком поговорили, и все, но в ту пору, в 98-ом, у меня и мысли не было об этих моих, связанных с Пушкиным, рассказах!..

Первое письмо отпечатано на совершенно забитой портативной машинке, второе, очень длинное — от руки: «Есть мысли о встрече с Кубанским университетом. Хотелось бы совершить поездку в Пятигорск в честь 170-летия написания „Путешествия в Арзрум“. Только бы не помешали обстоятельства. Обидно, что Москва теряет управление Кавказом. Лишь разумная взаимосвязь народов внутри регионов может спасти положение.»

И приписка на поле сбоку, во всю высоту листа: «Не успел отправить письмо, как провел еще ряд заседаний „Зеленой лампы“. Сейчас решили высаживать памятные деревья в ауле Ходзь.»

Ну, труженик!

И раз, и другой перечитал эти письма, и такое острое возникло чувство горькой вины перед своим земляком из Мостовской!

Сколько длинных и, как мне казалось, убедительных посланий, которые месяцами обдумывал, написал я с тех пор адресатам, от которых, как я полагал, во многом зависела обстановка на Северном Кавказе. Генералу Казанцеву, который руководил тогда Южным федеральным округом, отправил целый трактат о воссоздании здесь единого духовного пространства, без чего наше дело заранее можно считать проигранным... Не получив ответа, решил вместе с благословлявшим меня на это письмо настоятелем Троицкой церкви в Армавире отцом Сергием, ректором созданного им тут Православного социального института, отправиться в Ставрополь, где генерал собирался провести встречу духовных лидеров Северного Кавказа... печальное ощущение осталось от этой встречи, печальное!

Владыко Ставропольский и Бакинский Гедеон, кубанский казак, после долгого служения в Сибири вернувшийся в родные края, уже был серьезно болен, свойственная ему энергия в тот раз словно покинула его, остальные владыки и муфтии держались, пожалуй, излишне деликатно, зато прямо-таки разгулялись «адвентисты седьмого дня», «христиане-баптисты», «евангелисты-пятидесятники», лютеране... кого только и откуда там не было!

Когда слово дали американцу, «представителю церкви Иисуса Христа святых последних дней по Южному региону», генерал с простодушным удивлением воскликнул:

— Я даже не знал, что у нас на Кавказе столько религий!

Не будем и дальше знать — станет ещё больше. «Религий», да.

Уже не только мормоны — скоро, глядишь, и сатанисты заведут в «Южном регионе» свое представительство, только его здесь пока и нет.

И взял я грех на душу: написал обо всем об этом письмо самому Святейшему, Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию Второму. Извиняясь за дерзость, сетовал, что в наши места один за другим приезжают «назначенцы» не только не знающие здешних особенностей, но и не желающие их узнать, потому что Северный Кавказ для них — всего лишь «пункт пересадки» перед очередным переводом в иные края, где сегодня куда спокойней...

«Готов принять наказание за ропот, Ваше Святейшество...

Но что делать: мы на Кавказе вновь ощущаем себя как в стародавнем походе.

Нас можно понять: мы — потомки первых в позапрошлом веке кубанских казаков-первопоселенцев, многие из которых со славой сложили тут свои лихие головушки, и нынче мы острее других видим, большее многих остальных чувствуем, как лишается постепенно Россия своего „наборного пояса“ — Кавказа. Уже потеряно Закавказье, но разве не трещит по швам — даже там, где на поверхности вроде бы тишь да гладь — Кавказ Северный?»

Сколько времени я провел потом в приемной у владыки Арсения, чтобы это письмо Святейшему передать, сколько потом ждал ответа... до сих пор жду!

Но так и не нашлось у меня одного-двух часов, чтобы написать в соседнюю станицу Михаилу Владимировичу: все думал как-нибудь заскочить в Мостовскую по дороге в свою родную Отрадную, свалиться, как снег на голову... вышло, что сам себя обманывал?

То-то и печально, что мы, русаки, не так горячо стремимся к национальному единству, а, если и стремимся, — все больше на словах, не на деле...

Не помню уж теперь, чья это сказка: о том, как злая волшебница обратила в гусенка младшего братца, летал со стайей, а старшая сестрица все вязала и вязала для него шерстяную рубаху, надев которую он снова бы сделался мальчиком... И вот опять он должен был улететь, а у рубахи еще не было одного рукава, сестрица накинула на него так, и он превратился в человека, но вместо одной руки у него осталось крылышко.

И вот многое из той сказки давно позабыто, но сестринская тревога не только запомнилась — как будто с каждым днем становится все острее: не успеваешь, не успеваешь — поторопись!

Не допишешь, не доделаешь, не поможешь, и Россия так и останется без одной руки, без твоей малой родины, без Кавказа...

Но разве не о том же и он думает, сажая «пушкинские» деревья в ауле Ходзь?

Надо, надо поспешить с «Вольным горцем»!

Но как поспешишь, если повторяется история с водою в колодце: чем больше черпаешь, тем щедрей подземные ключи её отдают...

Обещал — о «тещином доме»?

По адыгским обычаям мужчине нельзя жить даже в одном доме с тещей, а не то чтобы — у неё в доме... Позор!

Но больше ли иного позора, с которым мы мирились «при советах» или миримся нынче, «при демократии»?

И я махнул рукой на эту условность: разве это единственное, что отделяет меня от стопроцентных джигитов?

Или так — да не так, как говорится?

— Ты все там же? — не без оттенка укора в голосе спрашивал меня, когда встречались в городе, Арамбий.

И я нарочно вздыхал:

— Ты уж прости: где же мне ещё быть?

Однажды он вдруг позвонил среди ночи, радостно сообщил:

— Ты знаешь, что я придумал?.. Я стал общим нашим друзьям говорить, что ты выкупил дом у тёщи, и теперь не ты у неё живешь — теперь она у тебя живет, а?!

— Здорово! — сказал я спросонья.

— Конечно, здорово! — охотно согласился Арамбий. — Знаешь, как тебя сразу зауважали!

— Спасибо тебе, спасибо... только, знаешь, что? Как говорил один мой друг: пусть это будет наша маленькая тайна...

— Какая тайна? — удивился Арамбий. — Я, наоборот, всем рассказываю.

— Всем — это другое дело, спасибо. Но ей пока не будем говорить, ладно?

...Но — к Пушкину! К Александру Сергеевичу. К нему!

Только что пришлось побывать в офисе у давнего доброго знакомца, у генерала Кима Македоновича Цаголова, который был не разлей-вода с моим задушевым другом, светлая ему память, цирковым наездником Ирбеком Кантемировым, Юрой. Великим Джигитом, о котором уже столько лет тоже вот: пишу и пишу...

Обнялись теперь с Кимом, присели на диване за чайным, похожим на трехногий черкесский анэ, столиком, и я, прекрасно понимавший, что сперва должен отдать должное кавказскому этикету, не торопясь, расспросить хозяина о здоровье, делах, о наших общих товарищах — все это знавший, тем не менее не утерпел, раньше положенной минуты стал оглядываться на висевшие по стенам написанные генералом картины...

Думаю, он мне это нарушение правил охотно простил, мы встали, и я повел себя как своевольный посетитель в музее: что бросилось в глаза, к тому и пошел.

Первой была ярка большая картина, на которой изображен был Георгий Победоносец: раньше у генерала её не видел... Но кому, как не ему, сам Господь Бог велел запечатлеть покровителя его родины, Осетии?! Около десятка лет назад, когда только промелькнуло первое сообщение о явлении святого Георгия в одном из сел, генерал вылетел туда как по тревоге, все многочисленные свидетельства проверял с дотошностью профессионального разведчика с большим опытом — также, как в Афганистане или потом в горячих, будь они прокляты, точках уже в России.

Некая из многочисленных в ту пору газет-однодневок, которые, казалось, существовать будут вечно, опубликовала потом нашу с Цаголовым беседу об окончательных выводах генерала — это не миф, не вымысел горячих голов, это было — и я теперь вглядывался в Георгия Победоносца на картине, в этот вроде бы традиционный образ, явно дополненный полуфантастическими чертами «портрета по описанию», которыми столичного аналитика снабдили доверчивые жители кавказской горной глубинки.

На второй, к которой я подошел, большой картине был Пушкин...

Был во весь рост, но окружившие его, как будто нависшие над ним горы, делали его, и без того не великана, ещё меньше.

— Так видите, Ким Македоныч? — полушутливо, но все-таки как бы иронически обратился к генералу с известной фразой.

Попала в цель: вскинул плечи, слегка отдернул словно выбритую, как у мюридов, крупную голову, прокуренные усы встопорщились, глаза сделались пронзительными.

— А что тут не так? — начал несговорчиво. — Что — не так?!

«Кавказ подо мною!..» Мальчишка ещё был и сказал, как мальчишка! Что он, поднялся на Казбек? На Эльбрус? А если в переносном смысле: кто ты таков, чтобы он был под тобой, Кавказ?.. Что ты в нем понимаешь?! Нашелся Ермолов! Не он под нами — мы под ним. Под Кавказом. Все!..

— Поставил на место?

— Если хочешь, да! — и тут же сбавил тон. — А что? Стоит на дороге среди гор... Как все мы, когда приезжаем на Кавказ...

А я вдруг спросил:

— С мемуарами идет дело?

— Какие мемуары! — воскликнул он горько. — Закопался в текущих делах...

Сам сперва не понял, почему об этом спросил его, только потом уже, когда мысленно не раз и не два возвратился к нашему разговору — а с таким редким нынче, и достаточно откровенным, как генерал, собеседником без этого не обойтись, — я вдруг понял, я понял!

Накануне один из старых друзей презентовал мне двухтомный свой, в соавторстве, труд под названием «Одинокый царь в Кремле», о Ельцине, и так вышло, что, еще не начав читать, а только,

как всегда по привычке, перед этим перелистывая, первым делом я наткнулся на горькую и прямую, как шпага, недлинную докладную записку на имя Горбачева — от Цаголова из Цхинвали, где тогда шла война... Теперь скорбной этой, столько предсказавшей, запиской можно гордиться, но как за неё тогда не оторвали голову!

Или кровавая школа Афганистана чего-то да стоит, и правда-матка генерала родом ещё и оттуда?

Оттуда мы ушли.

Но не можем же мы уйти с Кавказа, он — наша родина!

Пусть простит меня генерал, доктор философии и глубокий психолог — не даром же не только сидел в Кабуле, но с караванами моджахедов исходил не одну провинцию — так вот, пусть он меня простит и поймет: это запоздалое неприятие пушкинского стиха — оно уже от нынешних наших поражений, от просчетов не знающих Кавказа наших высших должностных лиц... А кто виноват?

Да Пушкин, как всегда.

Виноват Пушкин.

Слава Богу, что рассказал тут о портрете Александра Сергеевича, написанном знающим наизусть чуть не половину его стихов боевым русским генералом Цаголовым, осетином — не придется теперь отдельный рассказ писать, но сколько всего так и просится в этот цикл, так и просится, и часто чуть не с тоской мне думается, что ему не будет конца...

Разве не достоин отдельной главы «кубанский соловей» Василий Петрович Дамаев, певший в начале прошлого века в оперном театре Зимина в Москве, в том числе партию Самозванца в «Борисе Годунове», ездивший на гастроли в Париж и Лондон вместе с Шаляпиным? Саблю, с которой он выходил когда-то на сцену, я вез потом в музей родной с ним нашей Отрадной, в Краснодаре дежурный милиционер отказался пускать с ней в самолетик, позвал начальство, и полковник, которому я рассказал, что эта за сабля, взял под козырек и не опускал руки от виска, пока не провел меня по салону и усадил на место: оказалось, коренной кубанец, казак...

А знаменитый «летающий есаул» Вячеслав Михайлович Ткачев, один из первых русских пилотов, друг Петра Нестерова, известного всему миру «мертвой петлей»? Поставившего ему первый в России памятник, самого Ткачева до скончания века безжалостно затягивала «мертвая петля» русской трагедии: высшие боевые награды Великобритании и Франции за воздушные бои в Великой войне, так русские офицеры называли «первую мировую» — «германскую»; командование авиацией «белых» у Врангеля; жизнь эмигранта в Югославии и добровольное возвращение на родину, в сибирскую ссылку; работа за гроши переплетчиком и одиночество полуподвальной квартирки в Краснодаре, куда приходили письма жены из дома инвалидов в Париже...

Но вот в родной станице Ткачева, в Келермесской, где в школе недавно открыли музей его имени, мальчик с указкой поводит ладошкой над внушительным фолиантом со старинной фотографией на обложке: крепкий молодой усач в кожаной куртке с «царским» погоном на плече, в военной фуражке — рядом с пропеллером самолета... «крепаками» были не только они, пропеллеры тогда тоже делали из крепчайшего кубанского дуба! Над фото имя автора книги: В. М. Ткачев. Под ним — название: «Крылья России».

— Вячеслав Михайлович Ткачев сделал в русской авиации то же самое, — чуть стесняясь, говорит мальчик заученное, — что Александр Сергеевич Пушкин в русской поэзии...

Сперва это кажется неожиданным. Лишь сперва...

Эх, как бездумно и как доверчиво к злему чужому наущению сама себе она и раз, и другой подрезала крылья, Россия!

Что было, то было.

Но то-то, может быть, и спасительно, что поэзия Пушкина, проза его, само имя так глубоко вросли не только в нашу культуру — в нашу повседневную жизнь, что попробуй-ка нарочно обойтись без них, и уже ведь — не обойдешься!

Как знать: может, стоило бы создать особого рода музей, где были бы собраны свидетельства того, о чем говорю — сколько бы их и по все России, и по всему миру нашлось! В том числе и пушкинские портреты, сделанные старыми моими товарищами, профессиональными художниками, и любительский, что там ни говори — у него иная профессия! — цаголовский портрет, и снимок индейского вождя Огненной Кочерги, который, наконец, разыщу я в своих разбросанных на три дома в разных концах архивах — да сколько, сколько всего, о чем мы даже не догадываемся, могло бы туда войти!

В Голицыне попросил водителя остановиться у поворота к станции, по обочине Можайки, Можайского шоссе пошел дальше, где за неширокой, покрытой сочной зеленью ложбиной с налитыми частыми дождями всклень блюдцами понизу, на высоком холме проглядывали сквозь купы деревьев белые стены дворцовых корпусов и за ними едва видимые купола церкви Преображения.

Прошел через мостик, по хорошо набитой тропинке поднялся на холм и вышел к ближнему, двухэтажному зданию, возле угла которого двигался туда и сюда маленький красный тракторишко и орудовали лопатами возле него двое рабочих.

По старому, приобретенному на сибирской стройке непременно правилу поздоровался, сказал традиционное «Бог в помощь» и пошел к крыльцу: может быть, директор уже вернулся к себе.

Нет, сказала обаятельная, средних лет секретарша, еще на территории. Вызвалась меня проводить, и как только вышли на ступеньки, кивнула на угол, от которого в очередной раз отходил крошечным отвалом утюживший землю тракторишко:

— Александр Михалыч там пока!

Я, и в самом деле, не понял:

— Который с лопатой, что ли?

— Нет, — сказала она. — Он с ломом.

Вон, оказывается, как это деликатно у них называется! Находиться на территории. Не то что у нас было: Вкалывать. Упираться. Мантулить.

— Не успеваем! — угадала движение нехитрой моей мысли секретарша. И крикнула с крыльца:

— К вам, Александр Михалыч!

— Можете минуты две... ну, пять минут обождать? — попросил директор, когда я ему представился.

— Конечно!

— А то бросать на половине...

Вновь принялся ломом подвигать в рядок тяжелые бетонные плитки под самой стеной здания, и мне захотелось поставить сумку, взять другой, стоявший вприслонку лом... нельзя, брат, нельзя тебе!

— Вообще-то я человек артельный, и с удовольствием помог бы, — сказал с некоторой долей вины.

И этот наш, голицынский, Гейченко — не богатырского росточка, совсем ещё молодой — охотно откликнулся:

— Что вы, что вы... Хорошо что пришли, нам пора и передохнуть... только ещё пять минут!

Нагнулся над очередной плитой, и на фланелевой рубаше в крупную клетку я увидел темный клин пота между лопатками.

Не знаю, как для кого, но для меня это всегда было лучшей рекомендацией...

— Может, вы сперва осмотрите дворец? — предложил он. — А мы пока...

Но тут же переменял и этот план:

— Нет. Давайте отдохнем. Десять минуток нам для беседы хватит?.. А потом мы опять, а вы дворец и посмотрите...

Очень мне это нравилось: не белоручка.

Вспомнился двухлетней давности разговор с заместителем министра культуры Дементьевой на пушкинском празднике — в селе Петровское, неподалеку от Михайловского, где тогда открывали отреставрированный родовой дом Ганнибалов: в Захарове как раз и стоит как бы уменьшенная его копия.

Так вышло, что не раз виделась с Дементьевой и в Сибири, и в Москве, поэтому заговорил с ней, как со старой знакомой: мол, не стыдно нам с вами, москвичам?.. Радует обновленному виду мемориального комплекса на псковской земле, а тому, что у нас под боком, в сорока километрах от белокаменной — чуть ли не ноль внимания. Но где оно начиналось, где зарождалось в Пушкине то великое, чем так гордимся — не в наших ли подмосковных местах?

Видите ли, ответила Наталья Дмитриевна, здесь так стараются свои музеи поддерживать, что просто грех им не помочь, а нашим с вами землякам в этом смысле пока далеко до здешних радетелей!

Может быть.

Но тоже ведь как стараются!

Даст Бог, придет время, придет опыт — это выразится иначе, но пока совсем ещё молодой, зато здешний, тоже — здешний, Александр Михайлович Рязанов самоотверженно делает то, что, скорее всего, больше иного — за несколько дней-то до праздника — необходимо.

Понял он меня сразу, как только показал ему черкесский роман о Пушкине. И тут же сказал:

— Ну, не в моих это полномочиях поймите: письмо на имя премьер-министра. Да и мое начальство в районном департаменте культуры скорее всего задумалось бы, тем более там как раз — перемены... Может, это в компетенции губернатора Громова — слать такие письма?

— Да он-то как раз обрадовался бы такому письму! — уверил я Александра Михайловича. — Когда-то он в Майкопе служил. В той самой бригаде, которая потом почти вся погибла в Грозном, был командиром полка: перед Афганистаном. В день поминовения погибших в горячих точках непременно шлет в Майкоп телеграммы — это точно, Адыгею он помнит. И она его не забыла...

— Может тогда — к нему? — с надеждой спросил директор.

Мне представилось здание бывшего областного совета на Старой площади, приемная многолетнего его председателя Василия Ивановича Конотопа, в которой не раз приходилось сиживать с моими



прошениями насчет избы в Кобякове — бумагами каких только влиятельных людей ни поддержанными. Несмотря на явное сочувствие Василия Ивановича так тогда ничего и не вышло, хоть был я в ту пору — надежда русской прозы и крупный литературный чиновник. А кто меня нынче-то пустит в эту приемную?

Обширная стоянка возле шестого подъезда, где сидит теперь губернатор Московской области, всегда существовала, нынче она забита «джипами» и «мерседесами», но коновязи для почтовых дилижансов с лошадами, как и тогда, тут так и не предусмотрено...

— А я все, что могу, как говорится! — дружелюбно говорил молодой директор, разминая затекшие от тяжелого лома пальцы. — Подпишите вам с товарищем приглашения... как его?

Я чуть ли не по слогам повторил, но на всякий случай он развернул «Милосердие Черных гор...», стал подглядывать.

Перестал писать и протянул мне развернутый пригласительный билет на светлокоричневой глянцева бумаге. «Уважаемый Юнус Гарунович Чуюко!» — от руки было вписано в белый прогал между титулами музея сверху и программой праздника внизу.

Соблюл молодой директор адыге хабзэ, черкесский этикет: первым написал приглашение дальнему гостю... Но, может, он везде один и тот же, этикет: лишь бы люди были хорошие?

Взялся надписывать пригласительный мне, не то что ближнему гостю — ближайшему, можно сказать, из Кобякова, а я пока рассматривал то лицевую сторону сложенного вдвое Юнусова билета, а то — обратную...

Рассматривал и потихоньку посмеивался.

На лицевой стороне изображен был взятый со старинной гравюры примерно тот самый вид музейного комплекса в Вяземах, что открывался мне, когда шел сюда по Можайке: и двухэтажное здание, в котором сейчас находимся, и чуть правей красавец-дворец, и хорошо видная церковь Преображения с высокой колокольней и приземистыми службами. Ниже была сама Можайка, на которую въезжала сбоку одноконка с возницей и седоком, боком примостившемся на облучке, а перпендикулярно одноконке, по прямой полукрытый возок, тоже с двумя людьми, ткнулся в овал юношеского портрета Александра Сергеевича: кудри, высокий лоб, взгляд задумчивых глаз, рука под щекой...

Между двумя повозками на дороге с обеих сторон — то ли деревянные, с тремя стойками ограждения, а то ли все-таки коновязки... может быть, это и есть подъезд к той самой Ямщине, о которой толковал Володя Семенов?

Конечно, настоящий исследователь непременно узнал бы и что это за гравюра, и чьей работы этот известный юношеский портрет да что он собой закрыл: и в самом деле, Ямщину?

Но мы с вами, как вы уже поняли, исследуем несколько иное, и находится оно не только в окрестностях Голицына да Одинцова, но по всей матушке-Росии, и не только в прошлом времени, но в беспокойном сегодняшнем, которое определяет день завтрашний...

На оборотной стороне билета — адреса Вязем и Захарова с короткою справкой, как туда и сюда добраться уже теперь: какой электричкой, каким от станции автобусом, какую потом маршруткой. Но посерединке вверху, как значок Пушкинской эпохи, как один из символов её — закрытая карета со скачущими двумя лошадьми, натянутые вожжи, которые держит сидящий с поднятым кнутом кучер... Частный рыдван? Или почтовый дилижанс?

— Если нам не удастся в этом году его встретить, будем надеяться на следующий год, — пытался утешить меня Александр Михайлович, протягивая мне второй пригласительный. — В следующем году у нас юбилей: двести лет, как Мария Алексеевна Ганнибал приобрела усадьбу в Захарове. Большой

для нас праздник — готовьтесь тоже! Кстати, о Пушкине вы только переводите? Сами не пишете?

Пришлось вздохнуть:

— Есть грех.

— Какой же это грех? — тоном осудил Александр Михайлович. — Благодать!.. А что пишете? Что-нибудь историческое?

— Да нет. Они-то всё больше выдумщики, кто — об истории. А я угрюмый реалист.

— Это в каком же смысле?

— О наших захаровских местах пишу...

— Так вам тогда цены нет!

Не помню, взял меня тогда Александр Михайлович за локоть, или только мне кажется, но ощущение такое, что до сих пор держит и горячо говорит:

— Правда-правда! Тогда напишите, что музей наш старается на ноги стать, и очень помогает нам в этом деле наш глава района — поверьте, мало кто в области так музейщикам помогает, как нам — Александр Георгич! И других заставляет помогать. Не только материально. Когда человек душой чувствует... может, правда, о них напишете?

— Ну, вот, — сказал я нарочно тоскливо. — Теперь уже — о них...

— Это я просто вспомнил, вспомнил! — отчего-то повеселел Рязанцев. — Заезжали сюда недавно вдвоем. Глава и его заместитель по культуре Павел Николаевич Колесников. Наше начальство. О делах поговорили, расспросили о нуждах, и Гладышев напомнил: хотели, мол, посмотреть детские рисунки... Вы бы знали, сколько их к нам сюда — на Пушкинский конкурс! У нас уж их хранить негде. Повел я их в комнату, где по стенам — последние. Что недавно прислали. Тут пришлось срочно отлучиться, извинился, а когда вернулся, поверите — два таких серьёзных начальника, сами — как дети! Друг дружку чуть ли не за рукав тащут: поглядите-ка на этот рисунок!.. А ты на другой взгляни!.. Гладышев говорит: пусть не будут стихи писать, но пушкинский-то росток в душе останется! А Колесников: как знать, Александр Георгич, как знать! Для кого-то, может с этого и начнется пушкиноведение. Оно ведь у каждого своё. На всю жизнь. И так они оба об этом — горячо... вот и написали бы, если реалист, говорите! К нашему празднику.

Ну, вот! — думал, поправляя на плече сумку по дороге на станцию. — Пошел по шерсть, а вернулся стриженный: теперь и об этом им ещё, действительно, напиши!

Чем я и занимаюсь уже несколько лет: только не знал, что к празднику...

Авось дождемся.

Праздника.

Лишь бы овес совсем уж не вздорожал!

«ЗНАКОВАЯ ФИГУРА»

Спать ложусь с курами, встаю с петухами. Зимой чуть позже — в пять.

Охотно поднимаешься, когда накануне оставил работу на половине строки, и хорошо знаешь, как эту строку продолжить.

Но если вчера запнулся и — ни с места?.. Если начинаешь новую главку, и как её начать, еще не пришло?

Тогда будильник прозвенит, а ты лишь крепче смежишь веки: ещё чуть-чуть продлить сон, ещё чуть... Но на самом деле уже не спишь, а только прикидываешься. Чтобы из ночной чащи, где оно только что свободно разгуливало, выманить подсознание на свет Божий и хоть одним глазком увидеть: что оно такого драгоценного в «третью смену»-то наработало, что никак не хочет тебе отдать?

Своего рода охота, а что делать?

Скорее даже рыбалка. На зорьке в далеком детстве, когда взрослые тебя поднять подняли, а разбудить не разбудили, и на бережку, закинув удочку, опять прикорнешь, но в полусонном сознании призываешь безмолвно: видишь — подремываю? Ну, и закуси пока червячком — клюй, клюй!

Но стоит рыбе тебе поверить, как вот она — уже трепещет в траве на берегу... счастливое время!

И вот перед тем, как эту главку начать, я уже не раз и не два таким вот образом беседовал по утрам со своей золотою рыбкой, в который раз вполглаза просматривая, что было тогда на Пушкинском празднике в Захарово.

А было много чего и умного, и веселого, радостного для русской души, и я предутренними этими просмотрами так увлекся, что однажды вдруг поймал себя: ах, ты, бездельник! Да ты ведь просто тешишь себя полусказочными картинками, а работать — не хочешь!

Утро тогда выдалось как на заказ, пора стояла прекрасная, и ещё по дороге с электрички через жидкий лесок хорошо видать было, как все преобразилось окрест: там и тут люди в народных костюмах возле автобусов, на которых приехали, шатры, палатки, близкая и далекая музыка, воздушные шары и игрушки...

Может быть, потому-то и появился у нас полусон о рыбалке в далеком детстве, что сам я тогда первым делом на эти игрушки клюнул: завернул как бы мимоходом и засмотрелся на метровую рыбку яркого серебра с голубым отливом — выше остальных игрушек плавно покачивалась. Точно, думаю: куплю-ка я такую потом Василисе — вот будет восторга!

Уже возвращался на дорогу ко входу в парк, как вдруг на сувенирном развале под одним из тентов увидел ковбойскую шляпу из искусственной соломки с надписью на боку: «Мальборо»... только её тут и не хватало!

Потянулся, взял, принялся вертеть в руках, но на ней ничего не значилось, и я с невольной строгостью в голосе спросил:

— Кто, скажите, их делает?

— А я почем знаю! — последовал вполне адекватный, как говорится, ответ. — Хозяин привез, я торгую, а кто их там!..

Спросить, кто хозяин да нет ли его поблизости?..

И так мне вдруг захотелось найти его.

Милый мой! — сказать как можно деликатней. — Да знаешь ли, что Александр Сергеевич Америку не любил, мягко говоря...

Ах, «хозяин», «хозяин»!..

С другой-то стороны: вся страна завалена подобным товаром.

На соседнем с твоим домом на Бутырской — уже забыл?

Чуть не во весь шестнадцатизэтажный торец висел красочный плакат с этим самым «ковбоем Мальборо», во всей его красе: на лошади и с лассо в руках.

Мы уже успели к нему привыкнуть, как тут приехал ко мне из Брюсселя кубанский землячок, наш «бельгийский казак» Мишель Антон Идвановф — Миша Жданов, на языке родных осин, как говорится, — бывший каскадер и лошажник. С черной повязкой на лице, битый-перебитый, ломанный-переломанный, ушедший поэтому «на пенсион», вышагивал с тросточкой рядом и вдруг остановился, как вкопанный, задрал голову. Еще всмотрелся и, будто не поверив себе, протер единственный глаз, спросил удивленно:

— Почему он тут?

— Ну, Миша! — пришлось развести руками. — Тайна сия великая есть. Одно тебе могу сказать: не я его тут повесил...

Он попробовал улыбнуться:

— Я понимаю, не ты... Но, может быть, тут не знают, что он получил рак легких, потому что на этих съемках много курил. Подал в суд на кампанию, которая сигареты делает и выиграл процесс... а что там внизу написано?

— Минздрав предупреждает, — взялся я читать чуть ли не торжественным тоном. — Курение опасно для вашего здоровья!

— А кто такой этот «Минздрав»? — деловито переспросил он.

— Это наше Министерство здравоохранения.

— Но если они знали, почему так поздно его предупредили? — в голосе у него слышалось такое искреннее недоумение. — Может, тогда бы он так рано не умер... успел бы ещё воспользоваться деньгами от табачной кампании!

Выходит, что с «хозяина» этой лавочки взять, если хозяева столицы... эх!..

Но не обидно ли будет, если все сейчас напялят на себя эти дурацкие шляпы... вон уже один идёт, да высоченный какой, ну, прямо тебе баскетболист, что с него взять, если так... или, может, это он шляпы рекламирует?

Тогда дело хуже.

В глубине аллеи уже послышалось как бы знакомое пение... казаки поют!

Вот это бы Александру Сергеевичу было по сердцу.

Как непременно поправили бы нынешние казачки: любо!

Подошел, остановился напротив... донскую поют, да как здорово! Невольно припомнился ни с какими

другими несравнимый для меня мужской ансамбль старых моих друзей... неужто похоже?

Опять вслушался, радуясь и природным голосам, и мастерству певцов, а когда закончили песню, обратился к одной из женщин, явно руководительнице, уже самой интонацией как бы отдавая ей должное:

— Вас как звать-то?

— Антонина, — ответила голосом, как бы ещё продолжавшим жить в песне.

— А фамилия, Антонина?..

— Емельянова.

— А вы, Тоня, слышали о таком ансамбле — «Казачий круг»?

— С Володей Скунцевым учились на одном курсе! — сказала она, как бы слегка гордясь. И тут же перехватила инициативу. — Вы слышали, что ему на днях было пятьдесят?

— Ну, как же, как же!

— А на вечере его были? — и повела рукой на своих. — Мы-то вот — все!

Ну, как было не воспользоваться тем, что она неволью подставилась? Казачку да не прихвастнуть!

— А кто на вечере первое-то слово о Володе говорил?

И она всплеснула руками:

— Ой!.. А я все гляжу: знакомый дядечка! Где, думаю, я его...

— Чего ж знакомый? Родня, можно сказать! Если признаете... А то вон как поете хорошо — ещё загордитесь!

— Родня, родня! — говорила она, раскрасневшись. — Ну, конечно, родня! А то другие нации вон как умеют родниться, а мы всё как чужие... откуда вы?

И я опять будто прихвастнул, произнося ударение на последнем слог:

— Кубанец!

— Саша! — обернулась она к баянисту. И повела головой на середину хора, призывая запевалу. — Володя!.. А ну, давайте кубанскую... какую мы?

Стоявший посреди улыбающихся девчат, явно довольных нашей с Антониной беседой, ну, прямо-таки былинный добрый молодец в расписной рубахе откликнулся:

— «И шли тучи...»?

— «И шли тучи...»! — подтвердила Антонина. И уже, приподняв руки, обернулась ко мне:

— Для вас!

Пели они, видать, вообще хорошо, а тут ещё в духе: у меня прямо-таки затылок ознобило от всего, что выплыло из глубоких глубин и к сердцу прихлынуло... Недаром ведь считается, что народная песня соединяет с ушедшими предками: во время пения они нас подпитывают своей силой и волей, а мы тут же в общую-то духовную копилку добавляем своё, чтобы там не убавлялось... никогда бы не

убавилось, эх!

Ну, спасибо, Александр Сергеич, спасибо! — благодарил я растроганно. — Где бы и когда ещё можно встретиться с незнакомыми людьми и так вот сразу родство почувствовать... ну, потому-то здесь это всё и происходит!.. Где русский дух... где «Русью пахнет...» Надо родниться, надо!

Нынче, как говорится, — край надо!

К хору «Сударушка» из знаменитого Тучкова под Рузой ещё вернемся, а пока мне надо было окинуть глазом все остальное, сделать, как говорится, общий проход: куда деваться, если добровольно приписался к здешним народным «пушкинистам», а чуть не детское любопытство, слава Богу, тебя ещё не оставило!

У простецкого штакетника, которым огорожен «дом Ганнибаллов» уже вытянулась длинная очередь, но внутрь пока не пускали.

— А в чем дело? — спросил уже знакомых охранников.

— Глава беседует с журналистами, видите, сегодня их много...

Сразу несколько видеокамер были направлены на плотного, в рубашке без пиджака русоволосого главу администрации Одинцовского района Гладышева, и из кармашка сумки я тоже вдруг достал свою «мыльницу»... а мало ли? Вон как пригодилась, когда отец Ярослав на первом венце освящал начало строительства — у меня теперь чуть не уникальные фотографии!

Главу я видел впервые, хоть приходилось писать о нем в одном из первых рассказов — «В урочный час, в нужном месте,... Там он тогда подгонял не по своей вине запоздавших строителей: надо, мол, успеть закончить „Дом Ганнибалов“ до начала юбилейных торжеств. Долг чести!

Тогда они все-таки успели, а за пять лет, прошедших с тех пор, и Захарово, и Вяземы прямо-таки преобразились: заметно всякому, кто тут бывает.

Накануне Татьяна Петровна рассказывала, что в нынешний праздник глава собирается вручить Захарову старинные каминные часы Пушкинской поры:

— Когда сказали ему, какие они дорогушие, невольно схватился за голову, а потом протянул ладонь пожать руку Александру Михайловичу: понимаю, что надо. Но давайте-ка будем обрабатывать эти деньги: все вместе!

Пожалуй, в который раз теперь подумалось, в Министерстве культуры зря держат за неумех и лентяев тех, от кого на местном уровне зависит судьба Захарова и Вязем! Может, и правда, пора бы им подсобить?

К радости „народных пушкиноведов“.

Может быть, и для меня это тоже — долг чести?

Или я не живу в Кобяково, рядом с Захаровым, в той самой избе, которая имеет к нему ну, прямо-таки прямое отношение?.. Разве — нет?

Гладышев что-то отвечал то одному, то другому интервьюеру, из-за ограды было не слышать, что, и я переходил пока с места на место, пытаюсь найти удобный ракурс для съемки: голь на выдумки хитра, и через забор снимем — вдруг тоже потом да пригодится?

Уже не однажды слышать приходилось, что глава Одинцовского района тоже южанин, из Краснодарского края, но откуда именно, расспросить кого-либо знающего так до сих пор и не удосужился. Может быть, тоже — зря?

Узнал бы — глядишь, и в Пушкинский венок от кубанских казаков прибавилась бы ещё одна сердечная строчка. Тем более, что вон как Рязанцев-то, почти с придыханием: мол, напишите, коли, и правда что, — реалист! Таких заботников, как он, по всей Московской области, уверяю, не так много и наберется!

Все эти размышления настроили меня на благостный, весьма лирический лад, и, когда журналисты с телевидения да радио оставили, наконец, Гладышева в покое, я — также всё из-за штaketника — чуть ли не свойски окликнул:

— Александр Григорьевич!.. А можно попасть к вам на прием писателю из Отрадной?

Гладышев подошел, на ходу вынимая из нагрудного кармашка рубахи визитную карточку:

— Позвоните, договоримся. Все телефоны реальные...

И поднял руку: до встречи, мол!

Я все ещё невольно вглядывался в номера телефонов на карточке, когда молодая женщина рядом сказала уважительно:

— Ой, а вы давно у нас живете?.. Мы тоже только с электрички — решили сегодня всей семьей... А что вы пишете?

Пытливо глядел на меня стоявший рядом с ней муж, державший за руки двух симпатичных бутузов.

— Где это у вас, извините? — пришлось спросить.

— В Отрадном! — ответила она. И кивнула на мужа. — Петр говорит: сколько тут от нас до Захарова остановок? Грех на такой праздник не поехать!

И тут до меня дошло: Отрадное — железнодорожная станция. Рабочий поселок перед Одинцово по дороге к Москве! Скорей всего, что и глава района решил: на прием к нему просится здешний человек, свой...

Название родной своей станицы произносил, как вполне понятный всякому кубанцу пароль, а Отрадных-то этих по всей нашей матушке-Руси — пруд, как говорится, пруди, жаль, что жить их насельникам нынче не так уж, пожалуй, и отратно: по своей-то станице знаю точно.

Когда-то давно отец мой, когда ездил в Москву утверждаться на не такую уж и высокую даже по меркам района номенклатурную должность, тогда с этим было строго, познакомился с мало кому теперь известным писателем Михаилом Николаевичем Платошкиным. До сих пор помню его тонкую книжечку в синей обложке с неброским названием: „Начальник цеха“. Именно из-за неё потом нашими леваками Платошкин был навечно занесен в ряды „лакировщиков действительности“... Но, может быть, неисправимым лакировщиком он оставался и в быту?

После того, как побывал в нашем Предгорье с ответным визитом, прислал он отцу письмо, в котором благодарил за то, что своими глазами мог убедиться: в станице Спокойной люди, в самом деле, живут спокойно, в Бесскорбной — и правда что, бесскорбно, в Бесстрашной — без всяких страхов, в Удобной им удобно жить, в Привольной — привольно, а в самой нашей Отрадной — отратно...

Было это чуть ли не сразу после войны: может быть, наши требования оставались тогда достаточно низкими?.. Это теперь!

Где завоевывал-то Арамбий Хапай чемпионские свои звания?

Ясно, не в Бесленее!

Куда и раньше ездил, и ездит теперь уже как тренер со своими подопечными? Одиннадцать раз за чемпионским званием — только с тяжеловесом Муратом Хасановым, с „добрым Муриком“, как назвал его, когда передавал ему со мной из Старого Оскола привет, Федор Емельяненко, дважды чемпион мира по боям без правил.

Не в Бесленей возит своих ребят за чемпионскими званиями Арамбий, не на сборах в ауле ведущие борцы России встречаются... Вот и посмотрелся „националист“ Хапай на Австралию, на Америку — Северную и Южную — на Европу... ишь, декабрист нашелся!

Хорошо ещё, что до Сенатской площади в Питере не добрался: ограничился пяточком перед въездом в родной Майкоп!

— А на какой вы улице в Отрадной нашей живете? — продолжали меня расспрашивать подмосковные отрадненцы.

Рассказать им всё?

Или долго рассказывать: о „географии“ собственного творчества“, которая похожа на черкесский столик-трехножку анэ, как написала майкопская журналистка Валерия Ломешина: Северный Кавказ — Москва — Западная Сибирь.

Ну, поговорил я с главой Одинцовского района, ну, — поговорил!..

Что ж: не будешь думать, что станица твоя — пуп земли...

Или так и остаётся им до сих пор среди всей этой трехногой „географии творчества“... куда денешься? И правда ведь: пуповина!

Но хорошо ещё, что фамилию свою не назвал, а то бы совсем его с толку сбил, главу: по Белорусской дороге, в зоне его ответственности, есть ещё и Немчиновка!

В „Дом Ганнибаллов“ уже пускали, но заходить не стал — был вчера. По липовой аллее пошел вниз, к мостику, но уже перед ним свернул налево, к бронзовой скульптуре Пушкина-мальчика, сидящего в своем Захарове возле тихой реки. Цветы уже лежали не только у подножия памятника, но и где только можно на нем самом: недаром, нет, „с смиренным заступом в руках“ „зарю поспешал“ сюда Александр Сергеевич, как в „Послании к Юдину“, „тюльпан и розу поливать“ — вон как все взошло, вон как прямо-таки на нем самом и цветет!

В полдень тут должен начаться поэтический турнир с участием всех желающих, но уже сейчас на скамеечке сидели двое: пожилой толстяк с носовым платком в руке и что-то быстро писавший в тетрадке на коленях подросток явно поэтической внешности. А между ними лежала американская шляпа...

На памятник быстро положила букетик наученная молодой парой маленькая девочка с пышным голубым бантом, тут же бросилась обратно к родителям, цветы упали, и оторвавшийся в этот момент от творчества, чтобы „поднять очи горе“ молодой пиит увидал это и быстренько подошел положить их обратно.

Я не удержался.

— Молодец, — сказал мягко. — Ты вот стихи пишешь, хорошо... А ты знаешь, что в одном из самых первых своих поэтических опытов, которые теперь принято печатать в полных изданиях, Александр Сергеич писал: „не арап, не турок я. За учтивога китайца, грубого американца почитать меня нельзя...“ А? — и повел подбородком на шляпу на скамейке. — Понимаешь? Он не любил Америку!

— Я говорил ему, зачем ты её, — вырвалось у мальчика. — Это дедушка!



— Ну, извини, брат! — сказал я ему. И повернулся к деду мальчика. — И вы уж меня извините...

— Да кто её теперь любит! — сказал он чуть не возмущенно. — Думал, напечат ещё, вон какое солнце... А ничего другого, как не смотрел...

Сперва отодвинул шляпу, а потом, мотнув головой, взял и положил с другой стороны от себя: как бы убрал от внука подальше...

Ну, правильно! — думал я, переходя через мостик. — Правильно, что убрал. Чего ей рядом с мальчиком делать!

Но чувство недовольства собой подтачивало: ну, что ты всюду суешься! Испортил настроение людям... День, и правда что, жаркий... вообще — июнь! Не черные же цилиндры, какие любил Александр Сергеевич, тут продавать... но с другой-то стороны: а что, что? Может быть, кто-то и купил бы, и положил бы дома на вешалку... на книжную полку, может. Как память. Но причём тут этот несчастный ковбой, пострадавший от компании „Мальборо“?!

На просторном деревянном помосте с легкою раковиной над ним уже стояли высокие гости, ведущая объявила, что даёт слово „благочинному церквей Одинцовского района архимандриту Нестору“, и я зашел к обширной и довольно плотной празднично одетой толпе, стал, чтобы лучше было слышать, обходить её сбоку...

— Для Руси и для русских, для русского государства Александр Сергеевич Пушкин — знаковая фигура, — проникновенно и медленно начал архимандрит, и в голосе его зазвучала торжественность, вернувшая благодатную уверенность не только в значительности праздника, которая не должна быть нарушена чужим разлагающим влиянием, но и в святости этих мест вообще... ну, разве это не так, думал, — разве не так?

Недаром в юношеском отрывке из „Бовы“: „О, Никола!.. Савва мученик!“ Косвенное доказательство посещения Саввино-Сторожевского монастыря и прямое — пережитого когда-то детского трепета перед покровителем здешних мест... пусть будет и „Монах“ вначале, и чего только не будет потом, и все же, все же... „Бесить попов не наше ремесло“ сказано вроде мельком, но и с определенностью — уже тогда. Но какая вера там, где о ней вроде бы — ни слова... „преданья старины глубокой“!.. А что такое предание?.. Как там у Григория Паламы, одного из первоучителей и толкователей знания о Божественной энергии: „традиционализм — передача предания от первоисточника к поколению.“

Сгусток Божественной энергии — вот что такое предание. Тоже способ общения с ушедшими предками. Как и в старинной песне!

Невольно стал продвигаться поближе к стоявшим в ожидании своей очереди живописным группками самодеятельных артистов.

— Откуда будем? — спрашивал полушутливо.

— Ансамбль „Зоряночка“... Из Назарьева.

Переходил к другим:

— А ваш хор как звать-величать?

— „Калина“...

— Откуда здесь?

— Дворец „Мечта“. Одинцово...

И вдруг:

— Что ж вы своих-то не узнаете?..

Русская красавица в роскошном кокошнике... где же виделись, где?

— Да ведь Валя, Валя я... ну?

— Валентина Петровна! Вот грех-то...

— Да что вы: может, и правда разбогатею?

Уж не то что разбогатеть — хоть бы зарплату в Звенигороде, в музыкальной школе ей, умнице и добрячке, прибавили!

Нашего внука Глебку учит на баяне играть.

— Значит, и ершовские тут? — спрашиваю.

— А как же! — степенно отвечает женщина чуть постарше, но в таком же наряде. — Хор „Русская народная песня“. Из Ершова!

— На репетицию тогда и спешила! — чуть ли не виновато припоминает Валентина Петровна, которая однажды во время разговора с нами в „музыкалке“, всплеснула вдруг руками, поглядев на часы, и опрометью кинулась к раздевалке. Хорошо, что не замешкался подать ей пальто — и правда бы, без него убежала. — К нам только один вечерний автобус, вы представляете?

Чего ж не представлять: сами так живем — в Кобяково.

— А захаровский хор тут есть? — спрашиваю Валентину Петровну.

— А как же! — и окликает стоявших неподалеку красавиц уже в ином „оперении“. — Галя, подойдешь? И ты, Валя...

— Так вы все тут друг дружку знаете?

— Да на праздник же иногда вот так съедемся... Как не запомнить, если такие голоса Бог даёт!

Припомнилось вдруг знаменитое Михайловское, его удивительные концерты из русской классики с участием артистической столичной элиты... а здесь так.

Пока — так?

А, может быть, только так тут и надо: детство Пушкина и детство самой Руси.

— А мы из „Герцена“! — звонко сказали рядом, и будто что чужеродное резануло ухо.

— Откуда-откуда? — переспросил я невольно.

— Поселок четвертого главного управления Кремлевской больницы, — прямо-таки отрапортовала совсем молоденькая девчонка. — Санаторий имени Герцена...

— А хоть песни-то поете народные?

— Еще как поем! — уверила она. — Подождёте — услышите...

Да-а, невольно подумалось. Может только Александр Иванович, звавший в своем „Колоколе“ Русь к

топору на денежки Ротшильда, и рад был бы тут ковбойским шляпам... вон ещё один идет мимо, вон!.. Или уже и Герцен бы теперь тяжело вздохнул?!

Пошел на „Пушкинскую поляну“ с народными играми посредине, с поединками ребятишек на резиновых мечях, с шумным перетягиванием каната, с бегом в мешках под общий хохот... Веселье было такое искреннее, лица такие открытые и чистые, что все это, и в самом деле, напоминало добрую сказку... стреканет сейчас по краю поляны и шмыгнет в кусты заяц, выпущенный из мешка неунывающим Работником, а за ним пронесется запыхавшийся бес в шляпе „Мальборо“... давай подальше от нас, лукавый друг Джордж, подальше!

Работники в фартуках и с широкой тесемкой на лбу, чтобы пот глазам не мешал, сидели кто за гончарным кругом, кто за деревянной резьбой или кузнечным ремеслом, а вокруг них толпились не только ребятишки, но и молодёжь, и люди постарше... славно!

По краю обширной поляны стояли также столы с выставкой искусных ручных поделок, изготовленных учениками окрестных школ, и среди них вдруг — неожиданный развал далеких от совершенства, почти беспомощных сувениров, которые делают дети-инвалиды — с табличкой, что деньги пойдут на их нужды...

Купите нас! — прямо-таки кричали трогательные фигурки. — Ну, помогите!..

Тут честная бедность сама себя не стеснялась.

Как жаль, подумалось, что многие оставляли малые свои карманные деньги у входа, где стояли коммерческие ларьки и палатки...

Как хорошо, что места на самой Пушкинской поляне им не нашлось!

Для своего друга черкеса купил на „инвалидном“ развальчике ярко раскрашенную в небесный цвет глиняную фигурку снегурочки: пусть в будущем году приведет его с юга на юбилейный праздник в северное наше Захарово!

Напишу ему, что это за фигурка, кем сделана: он поймет.

Недаром его роман называется „Милосредие Черных гор...“, если совсем коротко — „Милосердие...“

Которого всем нам нынче так не хватает.

Успел приметить, что лица и молодых, и постарше них участников праздника озарены сегодня как бы особенным светом, и скоро получил очень серьезное подтверждение этому, если хотите — строго научное...

Прямо-таки пошел на сияющий добром взгляд высокого ростом, худощавого человека приятной наружности, шедшего по поляне в окружении длиннющих подростков чуть ли не с такими же восторженными глазами: кто такие, любопытно? Откуда сюда приехали?

Оказалось, Виктор Максимович Чаругин, профессор астрофизики из Московского педагогического государственного университета, привез своих питомцев из-под Звенигорода, где они, пока школьники, жили своим летним „астрономическим“ лагерем на базе обсерватории Академии наук в Луцино.

— Гляжу, необычные ребята, — сказал я.

Профессор понимающе и, как показалось мне, чуть печально улыбнулся:

— Поверьте: просто нормальные.

Но разве по нынешним-то временам этого мало?

Тут же стайкой от нас унеслись, стайка быстро распалась надвое, и тут же начала перекрикиваться друг с дружкой по разные стороны и без того уже многолюдного „каната“...

Кто из нас юношескую любовь к морю не делил с астрономией?

Пылкая эта любовь заставила меня уже в очень приличном возрасте, давно за сорок, отправиться из Москвы почти в родные места — под Архыз за станицей Зеленчукской, где на „двухтысячнике“, на горе Пастухова, стоит гордость отечественной науки, БТА — „большой телескоп азимутальный“...

Посмеиваясь, рассказал об этом профессору, и он зажегся:

— В таком случае имейте в виду: во вторник мы будем иметь возможность наблюдать прохождение Венеры по диску Солнца... Это открытие нашего Михайлы Васильевича, да, он сделал его в 1761-ом году. Императрица Екатерина почла потом своим долгом наблюдать его, есть старинная картина с этим сюжетом...

— Спасибо, спасибо, — говорил я растроганно. — Очень любопытно...

— Может, в таком случае, как-нибудь откроете журнал „Физика“, там есть раздел: „Астрономические вечера профессора Чаругина“...

Прощаясь, вместо современного краткого „спасибо“ я искренне сказал ему: спаси, Господи, Виктор Максимович! Спаси, Господи, профессор!

За свет в глазах.

За этих ребятишек с отблеском такого же света...

Хорошо, что подошел к нему!

Чего только нынче о нас не говорят, и мы не говорим друг о друге... Но не пройдем ли мы так однажды мимо того самого человека, которого Николай Васильевич ожидал в России через двести лет после Пушкина?

Помните?

„Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет.“

Время пришло!

Может быть, кто-то пытается от нас это скрыть?

Или мы сами его пока не узнали?..

Когда шел обратно, турнир поэтов был, кажется, в самом разгаре. Тонким голосом стихи читала розовая от смущения худенькая девочка с толстой косой через плечо. Обеими руками придерживала её на груди, согласно ритму слегка покидывала, а напротив ей в такт решительно мотала головой счастливая мама. Снисходительно поглядывали на обеих стоявшие отдельной кучкой неподалеку пожилые мужчины с профессионально задранными кверху подбородками и значительностью на лицах, судя по всему — здешние мэтры, настолько знакомые с Захаровым, что не стали даже привязывать своих поэтических лошадок к липам либо березам, а просто отпустили их попасться. Стоит свистнуть, и к каждому Пегас его послушно вынесется...

Сложив руки на груди, поглядывал по сторонам Михаил Сергеевич Гладилин, благообразный, с

ухоженной бородкой, молодой научный сотрудник Захаровского музея. Остановился рядом, и он сказал:

— Поэты из Санкт-Петербурга впервые приехали, жду...

— Лиха беда — начало, — как бы поддержал я общие надежды на будущее здешнего праздника.

Глянул на скамейку и с краю увидел одиноко лежавшую на ней американскую шляпу: неужели та самая?!

Видно, Михаил Сергеевич перехватил мой взгляд, но будто бы сам себе проговорил:

— Думал, забыли, потом гляжу — никто за ней не возвращается. Скорее всего, её просто бросили...

И я поднял палец:

— Вот!.. Как там у Александра Сергеевича насчет американской демократии?

Не мог, признаться, предположить, что любимый конек Гладилина тоже мирно пасется неподалеку.

— Что вы имеете в виду? — спросил с интересом. — Если черновик письма к Чаадаеву, там вот. О государе Николае Павловиче. „Первый воздвиг плотину, очень слабую ещё, против наводнения демократией, худшей чем в Америке“... вы об этом?

И я почувствовал некоторую, скажем, скудость или, если хотите, ограниченность народного пушкиноведения: в своем лице.

— Признаться, я другое...

— Если о мемуарах Анненковой, Вера Ивановна сообщает, что во время общего разговора у великой княгини Елены Павловны, Александр Сергеевич... это дословно. Якобы сказал: „Мне мешает восхищаться этой страной, которой теперь принято очаровываться, то, что там слишком забывают, что человек жив не единым хлебом.“ Как понимаете, это больше цитация Веры Ивановны, но суть, суть... Или вы о том, что американская демократия — мертвечина?

— Как раз об этом: имел в виду свидетельство Гоголя...

— Это лучше по первоисточнику, — и Гладилин развел руками. — В точности повторить Николая Васильевича!..

„В точности“ я потом тут же нашел дома в Кобякове и приник к тесту глазами с чувством того самого „глубокого удовлетворения“, помните?

Приходит оно и сейчас к нам — бывает!

Размышления Пушкина о самодержавии и роли монарха со слов Гоголя: „Зачем нужно, — говорил он, — чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполнением закона недалеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, который может явиться людям только в одной полномочной власти. Государство без полномочного монарха — автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит. Государство без полномочного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди них одного такого, который бы движеньем палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт. А кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте,

какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская скрипка не смеет слишком разгуляться на счет других: блюдет он общий строй, всего оживитель, верховодец верховного согласия!" Как метко выразался Пушкин! Как понимал он значение великих истин!»

Почему кроме прочего люблю этот достаточно длинный отрывок перечитывать — в нем мерещится отблеск одной давно занимающей меня мистической тайны...

В двадцатых годах девятнадцатого века в Санкт-Петербурге появился молодой чиновник Иван Тимофеевич Калашников, родом иркутянин, которому суждено было стать первым сибирским романистом. Ранние его книги — «Дочь купца Жолобова» и «Камчадалка» — вызвали в литературных кругах реакцию неоднозначную. «Неистовый Виссарион» Белинский не оставлял от его сочинений камня на камне.

Но вот письмо Пушкина, датированное апрелем 1833 года: «Искренно благодарю Вас за письмо, коего Вы меня удостоили. Удовольствие читателей, коих уважаем, есть лучшая из всех наград.

Вы спрашиваете моего мнения о „Камчадалке“. Откровенность под моим пером может показаться Вам простою учтивостию. Я хочу лучше повторить Вам мнение Крылова, великого знатока и беспристрастного ценителя истинного таланта. Прочитав „Дочь Жолобова“, он мне сказал: ни одного из русских романов я не читывал с большим удовольствием. „Камчадалка“ верно не ниже Вашего первого произведения. Сколько я мог заметить, часть публики, которая судит о книгах не по объявлениям газет, а по собственному впечатлению, полюбила Вас и с полным радушием приняла обе Ваши пьесы...»

Пожалуй, можно понять, как старался наш сибиряк, недавний провинциал, быть на уровне духовных запросов того времени, тем более, что сам он был человек не только благонравный — глубоко религиозный...

И какой роман он вскоре напишет?

В 1841 году Иван Тимофеевич Калашников издаст роман «Автомат».

«Одна идея бессмертия держит порядок общественного устройства, с которым сопряжено не только развитие умственных сил человека, но и само существование его» — так рассуждает наш сибиряк устами одного из героев романа.

А вот какой сон снится главному герою, мятущемуся и гонимому Евгению:

«В руках его была мертвая человеческая голова. Разбирая её нервы, профессор доказывал материальность душевных явлений, скотоподобность человека...

— Итак, — говорил профессор, — нет более сомнения, что человек есть автомат. Великие учителя Германии наконец открыли глаза слепому человечеству. Отныне обязанностью человека должно быть наслаждение, целью его действий земное блаженство, его собственное „я“. Прочь добродетель, любовь к ближним, великодушие. Нам нечего думать о других: жизнь нам дана для нас. Поспешим ею воспользоваться вполне.

— Злодей! — вскричал с гневом Евгений. — Это ли ты называешь философию? В том ли состоит премудрость, чтобы отвергать все то, что возвышает человека над материальным миром и приближает его к Богу?

— Друг мой, — отвечал профессор с ужасным равнодушием. — Ты горячишься, потому что ещё я не показал тебе истину лицом к лицу. Подойди ближе. Укажи мне на любого из этой толпы, и ты увидишь своими глазами справедливость моих слов. — После того профессор подозвал одного из слушателей, снял с него волосы, и, нагнувши его к Евгению, сказал ему:

— Смотри!

Евгений с ужасом видел, что голова слушателя была алебастровая. Он решился постучать в неё рукою. Звук подтвердил виденное глазами. Профессор молча опять надел волосы на голову слушателя и с адским самохвальством сказал трепещущему Евгению:

— Вот плоды исследований девятнадцатого века!

— Боже милосердый, ужели так созданы все люди?

— Все! — с торжественным видом подтвердил философ. — Все и ты сам. — Он поднес к Евгению зеркало, и Евгений увидел с трепетом, что и его голова была также алебастровая. — Благодарю, что я открыл тебе глаза!»

Дело вообще-то любопытнейшее.

«Мы стоим посреди неизмеримых бездн пространства и времени, — рассуждал сам автор. — Там и тут проникают только одне догадки.»

Вот — догадывайтесь!

Есть ли связь между «Автоматом» Ивана Тимофеевича Калашникова, появившимся в 1841 году в Санкт-Петербурге и его стальным собратом «АК-47» Калашникова Михаила Тимофеевича, век спустя заявившем о себе сперва на полигонах Советского Союза, а после — по всему миру?..

Но прозрения насчёт алебастровых голов, открытых немецким профессором, и «мертвечины» отвергнутой Пушкиным американской демократии не только очевидны, но даже как бы и взаимно связаны!

Да простит мне читатель эти размышления, не исключая, так и не вызревшие ни под скупым солнышком подмосковного Кобякова, ни под щедрым жаром на Юге... Но разве не над чем тут поразмышлять?

А тогда я шел по главной аллее и снова услышал уже знакомые голоса ансамбля «Сударушка» ...да что же это, поют без отдыха?

Снова пели кубанскую, «Полно вам, снежочки на талой земле лежать», но в таком быстром темпе, что ясно было: под неё уже пляшут.

Плясали донские казаки. Фуражки с синим околышем, брюки с лампасами такого же цвета в хромовых сапогах, гимнастерки с крестами на груди — что же это за казак, да без орденов?.. Но заворачивали такие коленца, что за одно только это наградить и впрямь можно: ах, молодцы!

Старался баянист Александр Гурин, руководительница хора Тоня Емельянова и запевала Владимир Шатских, продолжая песню, притопывали возле цепочки своих, а центр аллеи и противоположная сторона заняты были азартно пляшущими вместе с казаками молодыми женщинами... остановились, наконец, дух перевести, уф!

Я тут же — со своим любопытством: мол, кто такие? Откуда?..

Помалкивали, поглядывая на старшего, и тот оправился не торопясь, приосанился и, конечно же, тронул шашку на боку и разгладил усы:

— Подъесаул Николаевцев Борис Александрович. Руководитель донского ансамбля «Сувенир» — Кубинка!

— Вон как! — сказал я уже не без некоторой зависти: донцы, выходит, по полной форме на

Пушкинском празднике отметились, а наших кубанских черкесок не видать. — А я гляжу, «Сударушку» поддерживаете...

Подъесаул повел подбородком на тучковский хор:

— Эту «Сударушку» нечего поддерживать — она сама кого хошь поддержит. А мы вот этих московских «сударушек» — вроде в пляс пошли и вдруг заробели... вы что, девчата?

Протягивал руки, оборачивался, и только тут я увидел, что молодые женщины, только что лихо плясавшие с донцами, как бы возвращаются в привычное для них состояние тихих городских мышек...

— Мы не московские, — негромко сказала одна.

— А откуда?

Опершись на подружку, сняла с ноги лакированную туфлю и шатнула туда-сюда сломанный каблучок.

— Из Риги, вот...

— Из Ри-иги? — протянул есаул. — Но русские, видать?

— Русские, — поспешила сказать другая.

Эта, с туфлей в руках, согласилась, но заодно будто и поправила.

— Русские. Но...

— Какие могут быть «но», если — русские? — с грозой в голосе сказал есаул, но ясно было, что гроза эта благодатная, как бы гроза-защитница.

— А я латышка, — объявила самая, пожалуй, из них, молоденькая и самая бойкая на вид.

Какие-то они были одинаковые: почти все беленькие и бледные — румянец, все ещё игравший на лицах, белизну эту как будто подчеркивал.

— Была? — уточнить решил есаул. — Или стала?

— И была, и стала, но — не хочу, — сказала она решительно.

— Доболтаешься, — миролюбиво одернула её эта, с туфлей в руке. И объяснила есаулу. — За наши права латышское дитё борется!

И так уж это у неё прозвучало по-русски, по-деревенски простецки: дитё.

С есаулом и с его ансамблем медленно продвигались через разлившуюся по площади за оградой, кишевшую ватажками и потерявшимися одиночками толпу: официальные торжества закончились, своё начинали брать ларьки с крепкими напитками...

Звонко выплеснулась лихая частушка:

Не ругайте вы меня, а ругайте мамку —

Она меня родила, такую атаманку!



Кто — то из «Сувенира» определил:

— Ершовские загуляли!

Другой откликнулся ему в тон:

— Это у них там в сорок первом казаки — с клинками на танки! Они такие, ершовские...

Знают они друг дружку — знают!

Я слегка наклонился, попробовал взглянуться в шашку на боку Бориса Александровича, и он понял, приподнял ножны:

— Без нужды не вынимай — без славы не вкладывай, так да?.. Хвастать не буду, но она у меня одна тысяча восемьсот девяносто первого года. Земляки подарили...

— Не отрываетесь от родины?

— Ансамбль так и зовем: донской! Нельзя нынче отрываться!

Согласиться пришлось:

— Никак нельзя!

— Вон эти, рижанки, — вздохнул Борис Александрович. — Правда, они не сами, их оторвали от нас насильно... Пошли в пляс, и тут же смутились, стали...

— Молодцы, что поддержали их!

— Да как не поддержать?

— Между прочим, ваши ребята опять разлетались? — спросил. — Выхожу на крыльцо, а они — ну, прямо над головой...

— «Стрижи»-то наши, стрижи? — не только повеселел есаул — как бы даже слегка загордился. — Говорят, завезли к нам горючку, да... хорошо завезли! Зарплату ребятам поприбавили: опять мы — летающие казаки!

— Слава Богу! — сказал как бы обычное, но Николаевцев так истово перекрестился, с такой суровой верой стали осенять себя крестным знаменем его соратники, что я тоже хоть запоздало, но твердо понёс ко лбу щепоть...

— Даст нам Бог, да-аст! — уверенно проговорил есаул.

Купил Василисе метровую, цвета серебра с голубым отливом, рыбину — наполненная гелием, высоко покачивалась на длинном шнурке. Поглядывал на неё, раздумывая, как легче с ней в электричке, как потом пойду через лес...

Рыба, рыба — символ раннего христианства.

Вспомнил крестившего внуку в монастыре с особой торжественностью иеромонаха, отца Феофила, вспомнил семитомный его, подаренный нам «Букварь» с надписью: «В народе говорят: терпи казак,

атаманом будешь. Терпите и вы, атаманы — христианами станете! Терпите и молитесь.»

Как хорошо, что был нынче не в дороге, не на Кубани или в Сибири — был тут...

Не приехал черкес-кунак — ну, да все ещё, будем надеяться, впереди.

Накануне разговорился с его учительницей «русского языка и литературы», можно считать, с Еленой Петровной Шибинской, которая работала когда-то в педагогическом училище, куда приехал Юнус поступать из своего Гатлукая... Давно кандидат филологии, профессор, преподает теперь в Адыгейском университете, а все не спускает глаз со своего ученика и питомца: первая читает его и первая, если вдруг что не так, поправляет. Первая о нем пишет. Да с какой любовью и пониманием!

Моя учительница так и живет в станице, видется с Юлей Филипповной приходится редко, и частицу уважительной и благодарной любви к ней как бы перенес на Елену Петровну, с которой приходится часто разговаривать, обсуждать общие с ней теперь литературные дела.

Как-то, рассуждая о «Вольном горце», сказал ей: если бы лет пятнадцать-двадцать назад кто-нибудь сказал мне, что стану писать о Пушкине — и правда бы, не поверил. Не тот у меня для этого «послужной список»: сибирская стройка с «р-рабочими», с пролетарскими романами, южная кубанская проза, московское житьё, в котором отводил душу то с казаками-фольклористами, то с осетинскими джигитами, цирковыми наездниками... Нет-нет, да — «отхожий промысел» где-либо в Череповце, в Ижевске, в Старом Осколе. Что ещё добавить? Что я — толмач-переводчик с черкесского?.. И вдруг, вдруг!

— Да ведь знаете, как бывает, — с какою-то сокровенной ноткой ответила Елена Петровна. — Живет себе человек живет. О Боге вроде не думает. А потом вдруг однажды вроде бы ни с того, ни с сего в церковь идет и крестится: созрел. Считайте это своим литературным крещением!

Как хорошо-то сказала, Господи!

Может быть, и поздновато, да что ж теперь: так случилось.

В церкви окрестили давненько, а вот Пушкиным «окрестился» только что!

И эти люди, пришедшие сегодня на Пушкинский праздник, приехавшие кто издалека, а кто не очень — может быть, они тоже, сами того не ведая, нынче окрещены как бы заново?

А то ведь перед этим — все о Кавказе, о пушкинском миссионерстве там...

Самой России, Руси нынешней так давно уже надо торжественно и самозабвенно заново окунуться в Пушкинскую купель!

Хотел было шагнуть к тому ларьку, где продавались, будь они неладны, эти ковбойские шляпы, поинтересоваться, бойко ли шла торговля, а потом вдруг остановился: ещё чего!..

Посмотрел на Василискину рыбину, которая покачивалась себе, как маленький дирижабль: ей все там небось видать сверху...

Но и так, самому, сколько в море голов не вглядывался, ничего похожего не увиделось... что ж тут!

Так и должно было.

Сам здешний дух заставил снять чужую шляпу.

Перед своим Гением.

## РУССКИЙ МАЛЬЧИК

1

Рассказал о нем Миша Плахутин, когда в его машине возвращались в Москву из-под Звенигорода...

Лет пятнадцать спустя, уже после того, как вместе съели побольше соли, я вдруг подумал: а не о себе ли он тогда мне рассказывал?

Уж больно похожи необыкновенные приключения Русского Мальчика на его, Мишины, а что у Миши всегда такой тихонький, такой благостный, такой доброжелательный вид, это ещё ничего не значит, мало ли. Во-первых, старая школа, воробей стреляный, а во-вторых, — когда его вижу-то?.. Когда на неделю-другую прилетает из своей Касабланки и в первые дни чуть ли не всему подряд на родной-то земельке радуется и от этого прямо-таки лучится.

Но зачем бы ему в таком случае разыгрывать тогда это представление с заездом к матери старого его друга?

Не знаю, почему, но это я помню почти по минутам — как ехали по Можайке, как перед Немчиновкой в деликатной своей манере он извинился и попросил: не буду я против, если на несколько минут заедем к одной старушке?

Остановил «жигуленок» возле древнего, с обшарпанными стенами двухэтажного дома, взял заранее приготовленную бумажную сумочку с какой-то малой поклажей, скрылся за углом...

После я выговаривал ему: почему о Русском Мальчике он рассказал мне после того, как вернулся, и мы поехали дальше?

Разговорился бы перед этим, и я бы наверняка пошел с ним взглянуть на старенькую маму Русского Мальчика и на этот её чудесный крошечный огородик, в котором сколько и чего только не растет.

А так — они появились из-за угла: широкий в плечах, приземистый Миша и прямая, высокая, совершенно седая, но с моложавым, как мне показалось, лицом и внимательными глазами очень пожилая женщина в традиционной, поверх домашнего халата, стеганой безрукавке, в шерстяных, несмотря на летнюю жару, высоких носках и в теплых, с опушкой, домашних тапочках.

Миша что-то сказал ей, обнял, прощаясь, а она перекрестила его, и все осеняла потом неспешно щепоткой, пока он шел к машине, и потом уже, когда «жигуленок» тронулся, — вслед.

— Ты знаешь, что в этих местах была дача Паулюса? — спросил Миша тут же, как мы отъехали.

— Того самого? — уточнил я без особого интереса.

— Да, фельдмаршала.

— Знал, что под Москвой, а где — нет, не знал.

— Надо было показать тебе, уже проехали.

Я поддерживал разговор:

— Видно с дороги?

— С дороги не видать, в глубине. Да и кругом все изменилось... просто вспомнил, что сперва эта дача, а потом уже Витин дом.

— Витя — это кто?

— Русский мальчик, — сказал Миша и плечи у него слегка приподнялись. — Никогда тебе не рассказывал? К его матери мы сейчас заезжали.

— К бабушке тогда? Если мальчик...

— Нет, Мальчик — это у него прозвище. Со школьных времен. Как бы сказали теперь: кликуха. Полностью — Русский Мальчик.

— Н-ну, если кликуха — да полностью!

Миша обернулся только на миг, и обаятельная его, дружелюбнейшая улыбка как будто добавила сердечности голосу:

— Тут случай особый. Вообще-то я давно тебе собирался...

— Ну, так в чем дело?

— Столько раз собирался рассказать, поверь!

— А так и зажал, видишь.

— Представь себе: сорок седьмой год. Голодуха, если помнишь...

— Ещё бы!

— Если на Кубани у нас чуть не пухли, представляешь, что было тут?.. Ну, может, это сорок восьмой год, потому что он ходил тогда в пятый. Русский Мальчик... Или это в шестом? В учебнике по истории. Что наши предки, славяне, могли часами лежать в болоте и дышать через камышинку...

Признаться, тоже запомнил, поэтому поддержал Мишу тоном:

— Главное, что могли.

— У них отец не пришел с войны, а кроме него ещё младшие сестрица и братец... Мать и на работе целыми днями, и в Москву по выходным стирать ездит, а попробуй-ка троих прокорми. А рядом эта дача, где Паулюс живет. Как сыр в масле, ты же понимаешь...

— Ясное дело.

— Вот бабы соберутся вместе поплакать, и давай: наши сложили головы, где-то в чужой земле лежат, дети голодные-холодные, а его тут как на курорте кормят... за что? За то, что наших детей без отцов оставил? Что все кругом разорил?.. А собирались все больше у них в доме, Витька этих разговоров, как понимаю, во! — наслушался. Ну, и решил посчитаться за отца. С фельдмаршалом...

— Ни больше, ни меньше, — сказал я сочувственно, но как бы и не без некоторой насмешки: нашелся, мол, пострел!

— В том-то и дело! — оживился Миша. — В том и дело. Причем один, представляешь?.. До этого они все подползали с мальчишками к забору с колючей проволокой, смотрели издали, как Паулюс купается в озерке, как загорает, как чай на берегу пьет... Возле него денщик — немец, прислуживает, а два наших часовых поодаль ходят: навстречу друг дружке. Забор в одном месте спускался в камыши на краю озерка, и Витька сперва выломал подгнившую доску, выбрал из-под неё ил... подготовился, одним словом. Потом разделся на берегу до трусов, надел на себя тряпошную сумку... ходил с такой в первый класс?

— Не только в первый...

— Ну, вот. А он положил в неё несколько камней...

— Отчаянный парень! — сказал я уже совершенно искренно.

— Он такой и остался! — откликнулся Миша. — Я вас как-нибудь познакомлю.

— А где он сейчас?

— Дай сперва досказать: положил несколько камней... Пролез в дырку, в зарослях отлежался, а потом приспособил эту самую камышину: одной рукой её во рту держит, а второй цепляется за траву, попу переставляет, боком себя подтаскивает...

— Тоже, слушай, достойно учебника по истории!

— Самое интересное, что ему это почти удалось!

— Почти?

— Запутался в лямке, горло передавила: боезапас-то в сумку положил — будь здоров! Камышину не удержал, выпала, стал захлёбываться, тут-то часовой его и заметил. Бросился, вытащил на берег уже совсем близко от Паулюса, а что Витьке — Витьке только того и надо: руку — в сумку, выхватил камень, запулил...

— И попал?

— Да ведь сколько готовился! Немцы так небось к войне не готовились — попал в кость пониже колена, самое, знаешь, болезненное место... Часовой его схватил, руки за спину, замахнулся, а Паулюс как заорет. Уже на русском: отставить! Не смей!.. Тут подбежал второй часовой, не знает, что делать, а фельдмаршал показывает своему денщику на камышину — плавает рядом с берегом. Денщик бросился, в чем был, достал, подал Паулюсу. Тот сперва долго её рассматривал, потом сказал что-то денщику, тот возле Витьки остался, а Паулюс вошел в дом и вернулся уже в фельдмаршальской форме, ты представляешь?.. Отпустите, говорит, мальчика: я буду с ним говорить. И вот Витька стоит перед ним, не знает, что делать. Побежать — догонят, вон их сколько... А Паулюс взял под козырек и громко говорит: русский мальчик! Я знаю, твой отец был настоящий солдат. И ему было за что сражаться. Ты — тоже настоящий воин, русский мальчик. Ты меня победил... И я прошу у тебя мира. И прощения прошу. Не у них у всех! — показал куда-то рукой. У тебя!.. Витька рассказывал потом: говорит, а у самого — по щекам...

— Да, уж если у меня теперь, — виновато сказал я Мише, доставая платок.

Он снова обернулся на миг, в глазах его тоже сверкнули блески:

— А ты думал, война тогда в сорок пятом в Берлине закончилась?.. Нет, брат: вот тут потом — через несколько лет. Под Москвой. Недалеко от Немчиновки. И закончил её, считай, наш земляк: кубанский казачок.

— Он с Кубани?

— Отец у него с Кубани. Мама сибирячка.

— Что ж ты мне никогда не рассказывал? — упрекнул я Мишу.

— Это она ему всегда: вылитый отец!

— Почему молчал-то?

— Ну, как-то не пришлось. Бывает, там затоскуешь. В командировке... Начнешь друзей вспоминать. Думал иногда: надо их познакомить. Тебя с ним. А как?.. Ты дома не сидишь. Он где-то по всему свету мотается, мать вот даже не знает, где сейчас. Скорее всего, говорит, на своей даче, в Арабских Эмиратах...

— У него там дача?

— Представь себе. На берегу океана. Шейх ему подарил.

— Шейх? Дачу? Ну, Миша: чем дальше в лес, как говорится...

— Это как бы отдельная история. Это уже потом. Давай сперва про Паулюса доскажу...

— Миша! — сказал я решительно. — Кто из нас сочинитель?.. Я или ты? Отбиваешь хлеб. Как раньше говорили блатные, чужую горбушку хаваешь!

— Ну, видишь, как оно получается? — тон у Миши переменился. — Кто-то, и в самом деле, сидит в своем кабинете в Москве или на даче под Москвой и всё из пальца высасывает...

— Это ты про меня?

— Да нет, ты как раз легкий на ногу.

— Спасибо, уважил.

— Я о наших книжных развалах: когда сюда собираюсь, мужики, с которыми на кране работаю, просят: Лексеич! Привези чего-нибудь почитать. Для души. А я на Арбате начну листать книжки — ну, такое дерьмо... эх, думаю! Собрался бы кто-нибудь о наших ребятах за рубежом, которые там то одному утрут нос, то другому по нему щёлкнут... О тех же наших хоккеистах.

— В мой огород, все-таки?

— Да почему — в твой? На всех хватило бы камешков. На весь ваш писательский шалман. Ну, Костя Цзю или там братья Кличко — это у всех на слуху. А сколько наших ребят, о которых никто не знает, тем же американцам вставляют перо в задницу... Или я не прав?

Пришлось искренне вздохнуть:

— Что там дальше — с Паулюсом?

— Стали они Витькину сумку консервами загружать, а она возьми да порвись, все на траву...

Не знаю, почему, но я уронил голову на грудь.

Он бросил-таки быстрый взгляд:

— Чего ты? Все правильно. Недаром греческих мальчиков в школе учили плакать...

— Спартанцев, да, — сказал я глухо.

— Были кроме Спарты, зачем... Где-то читал, что некоторые центурионы отказывались брать к себе легионера, если он не умел заплакать...

— Видишь, хоть туда бы да взяли...

— Кстати: два года он пробыл в иностранном легионе.

— Кто? — спросил я уже оторопело.

— О ком мы говорим? Русский Мальчик!

— Сумка у него порвалась, и все вывалилось на траву, — решил я вернуть его к пленному фельдмаршалу.

— Да! — согласился Миша. — Все вывалилось. Тогда Паулюс велел найти вещевой мешок, они нашли, набили продуктами... ну, что по тем временам? Какая-нибудь колбаска, сгущенка, шоколад... Он говорит, разбирали с матерью, нашли даже три лимона. Нагрузили они его будь здоров. Часовой за калитку вывел: никому ни слова! — просит. Ты уже большой, всё понимаешь. Иначе нам, брат, капут! Что тебя проморгали.

— Вот это как раз момент, и правда, сомнительный, — начал я.

— А ему всегда везло, — опередил меня Миша. — Во Французской Гвиане, когда мы с ним в кабаке познакомились, его товарищ, африканец, так и сказал: это — месье Удача.

И я горестно вздохнул:

— Хоть немного бы её — другим русским мальчикам!

— Так вот, почему он им стал, — продолжил Миша. — Мать тоже умоляла его никому не рассказывать, мало ли что, еще посадят, но он отобрал у неё часть своих трофеев, принес в школу. Весь класс на уроке жевал, и учительница истории сначала всех подняла, весь класс, потом велела сесть и начала следствие... Её любили, и классные ябеды тут же при всех доложили ей про Паулюса, и как он Витьке сказал: русский мальчик!.. Она все поняла и сказала: настоящий Русский Мальчик он не только потому, что заставил немецкого маршала признать свое поражение. Ещё важнее, что он с вами со всеми поделился своими трофеями... пусть всегда таким остается!

— Этот бы завет, да...

— А, ты знаешь, он таким и остался! — воскликнул Миша, останавливая свой «жигуленок» возле метро.

Хотел было попросить его довезти до следующей станции, но вспомнил, что он спешит.

— Доскажешь потом! — решил, пожимая руку.

Не удержался и братски по плечу пристукнул: спасибо, мол!

Он поманил ладошкой: наклонись.

Наклонился, и тоже получил по плечу.

Познакомились мы с Мишей, когда я резал березовые ветки для банных веников и оказался на его разгороженном участке...

На заболоченной просеке под высоковольтной линией пасся уже много лет: всегда молодой подросток будто и существовал как раз для этого — сочный, низенький и не жаль губить, разгуляться тут ему все равно не дадут.

Потом вдруг весь этот протяженный кочкарник, где когда-то была прямая дорога в пушкинское Захарово, отдали Комитету по внешним экономическим связям: для дачников. Попервоначалу те взялись лихо, и наши, кобяковские, лишь удивлялись: как жить-то будут «под электричеством»? Потом вдруг кто-то прознал, что линия эта запасная, напряжения никогда в ней не было, но тут-то как раз пропало и напряжение во всей нашей системе, имею в виду уже — вовсе не электрическую...

Достаточно бурное строительство враз попритихло, а там, где успели поставить сруб, только и всего, стало и совсем сиротливо: затянутые полиэтиленом окна смотрелись как бельмо на глазу.

Рядом с дачами я вообще предпочитал не появляться с секатором, нашел себе другое местечко неподалеку, но в тот раз маленько «кружанул» и оказался на приватном, значит, участке.

На пороге раскрытой двери отдыхал голый по пояс хозяин бельмастой избы, и я пошел к нему со своей уже немалой вязаночкой.

— Прошу простить, что посягаю на частную собственность, — начал говорить ещё на подходе. — Пока забора нет, через ваше поместье хотел к дороге пройти... Разрешите?

— Посидите сперва, — предложил хозяин, с грустным пониманием улыбнувшись. — У вас, вижу, банька?

— Н-не то чтобы, — сказал я неопределенно, потому что сооружение, которое в ту пору имелось в нашем дворе в Кобяково, по большому счету вряд ли могло называться таким дорогим душе, высоким именем. — Но вроде того...

Он дружелюбно улыбнулся:

— Все равно — счастливчик, — и повел головой на свой сдавленный с двух сторон соседними участками, но по торцам разгороженный двор. — У меня пока — вон...

— Лиха беда — начало! — сказал я привычное.

Ну, и — слово за слово...

Ещё у него за чайком на табуретках посреди двора выяснили, что земляки: он родом из Армавира, а сколько от него до моей Отрадной? Всего-то семьдесят километров.

В Армавире была ближайшая от нас железнодорожная станция, более того — две: Армавир-первый и Армавир-второй. Для меня, как для многих, он стал «портовым» городом, из которого уходил в первые свои дальние плавания и куда потом возвращался... да что там говорить: Армавир!..

Расположенный в горловине Кавказа, он прославился ещё в Гражданскую, а во время второй Отечественной и сразу после неё снискал себе такую громкую славу, что на равных сватался к знаменитой своими уркаганами Одессе. В наших краях так и говорили: Одесса — мама, Армавир —



папа. Потом прошел слух, что на армавирских обиделись ростовские урки: чего, мол, о себе возомнили! Была большая драка с ножиками, и папой сделался Ростов, а Армавир остался у них сынком: у Одессы-мамы с Ростовом-папой. Так и говорили: Армавир, мол, — сынок, но страшный неслух, давно обошел родителей, и я до сих пор помню пришитый мамой к трусам и заколотый булавкой кармашек с деньгами на житьё в Москве и на обратную, если не поступлю, дорогу домой — кабы не эта, самая надежная в мире, наша народная «барсетка» разве бы, и правда, я поступил?

Как всякий здоровый духом армавирец — а почти все они по натуре хватчики, — Миша мечтал о доме в нашем отрядненском Предгорье и даже назвал станицу, о которой мечтал: Надежная... места там, это точно, места-а!..

Я тут же сказал, что тратиться на жилье в Надежке ему не придется, полтора десятка лет назад за него это сделал я: купил там ещё крепенькую хатенку, обложил кирпичом, пристроил деревянную веранду с видом на старый сад, полого спускавшийся к знаменитому Малому Тегиню, на противоположный его берег, за которым сперва начинались зеленые лысые холмы, а дальше синели покрытые почти непроходимыми лесами Черные горы... Зажил я там!

До первой поездки в Москву на какое-то литературное мероприятие, которое, конечно же, не стоило того, что у меня в Надежке, пока меня не было, приватизировали.

Ладно, унесли все дрова и утащили из дома чугунную плиту со всеми конфорками, что, впрочем, вполне логично: зачем писателю дрова, если у него теперь нету печки? Хоть пишет без конца об «азиятах», не станет же топить её как в старину черкесы — очаг?

Но больше всего меня озадачило отсутствие стоявшего в укромном уголке в начале сада сверкавшего белизной «скворечника», в подарок привезенного сюда из Отрадной старым дружкой Федей Некрасовым, главным врачом районной санэпидстанции, который так мне сочувствовал, когда мама умерла, и я остался без дома, так помогал на новом месте, в соседней станице устроиться...

Как и куда перетаскивали ночью это громоздкое чудо деревянного зодчества? На бричке увезли? Илихватило и тачки?

За чаем на табуретках поведал я обо всем этом Мише. Спрашиваю его: если старое название казачьей станицы относится теперь все больше к тому, что ежели что там упрут, то схвают надежней некуда, если не побрезговали моими вещичками, сделанными на отрядненском промкомбинате или в «Межколхозстрое», зачем тебе карловаться в твоём Марокко?

Если собираешься потом поселиться в Надежке, где все равно у тебя всё украдут?

— Не наступай на больную мозоль! — сказал он горестно.

Некогда устойчивое положение представителя престижного Комитета за рубежом для Миши закончилось полным крахом, одно время его даже не выпускали из какой-то африканской страны, держали как заложника — до тех пор, пока Советский Союз не выполнит обязательств по какому-то там поганенькому контракту... чего захотели!

Все заработанные деньги у него отобрали, еле ноги унес из мало цивилизованной каталажки, с оказией перебрался в соседнюю страну и начал отсюда, как я понял, уже самостоятельный, можно сказать, даже суверенный, как нынче модно, дрейф по Африке в качестве независимого консультанта, эксперта, многопрофильного специалиста и все в таком роде, пока не достиг, наконец, и действительно, высокого положения, очень высокого: его рабочее место, которое он оставил на время отпуска, находилось в приподнятой над платформой кабине плавучего крана в порту Касабланка, где команды французского инженера он перетолмачивал по громкой связи на русский — для работяг из obsługi.

Этот Мишин кран!..

Как-то он позвонил с него по нашему номеру на Бутырской: хорошо, что я оказался дома.

— Это Касабланка, — я слышу. — Плахутин!

Я обрадовался!

— А чего у тебя такой голос, Плахутин? — спрашиваю. — Никак там на жаре простудился?

— Нет, — отвечает. — Это я охрип. Кран вторые сутки в ремонте, связь тоже барахлит, ребятам ору в «матюгальник». Напоминает, говорят, родину... по-моему, это они и подпортили связь: затосковали!

— А откуда ребята? — интересуюсь.

— Из города-героя Новороссийска... слышал о таком?

— Ну, как же! — смеюсь. — Краем уха... а кран?

— А кран, по-моему, из Сухуми... Их всего два таких было на Черном море, берега укрепляли — вот один и перегнали сюда: им теперь там не до того.

— Ты не только ребятам передавай привет, — говорю ему. — Крану — тоже. Пожалуй, это он тут возле Гагры болтался, особенно после шторма: как в море ни глянешь, торчит... а база у него и была в сухумском порту!

— Вообще-то уникальный кран: и подъемник, и землечерпалка, что хочешь...

— Привет ему, привет!

Ну, что умного скажешь, когда посреди сумрачных и дождливых осенних дней в Москве так вот неожиданно — Касабланка!

Может, дело какое? — спросил его. — Может, какое ответственное поручение?

Да нет, — отвечает. — Просто вот стоим на ремонте и выдалась минута...

Затосковал тоже?

Положил я трубку и долго сидел, уставившись в сумеречное окно...

Тешил себя: представлял, как в Доме творчества в Гаграх, в Приморском корпусе, в такую же примерно погоду, сидим на балконе в плетеных креслах, из высоких фаянсовых кружек пьем крепенький чаёк, а в берег тяжело шлепает волна, и неподалеку на беспокойной воде торчит этот плавучий кран, он тогда был там как неотделимая часть местного морского пейзажа... Пьем крепенький чаёк, и лобастый Юра Казаков, посверкивая из-под очков умиротворенными глазами и слегка опустив нижнюю губу, говорит, слегка заикаясь:

— Т-твоему поколению не п-повезло, старичок!.. Вроде какая разница — несколько лет... Но я успел купить дачу в поселке академиков в Абрамцево. Всего-то за одиннадцать тысяч. А что теперь можешь ты? Так и будешь всю жизнь по этим д-домам, прости меня, т-творчества...

Ах, если бы, дорогой Юрий Павлович, светлая тебе память на земле и царствие небесное — выше...  
Ах, если бы!

А Юра сочувственно советует, несмотря ни на что, держаться, почаще доставать из тяжелого солдатского ранца тот самый маршалский жезл и драить его, не жалея сил, драить — он должен всегда блестеть!

— И главное при этом — не п-похмеляться, старичок! — говорит на горькой полушутке. — Это собственный опыт. Мы с Евтушенкой Женей жили в соседнем люксе. С вечера надирались в «Гагрипше» так, что я нес его на себе. Я его укладывал, а не он меня. Но утром... утром! Приоткрываю один глазок, нащупываю рядом бутылку, а он, слышу, в ванной на лицо плещет. Снова приоткрываю глаз: вижу, как мучается с гантелями... на это страшно смотреть, но он делает зарядку. Приподнимаю голову — а Женька уже за столом, уже стучит на машинке... Вот с кого надо брать пример, старичок!

Только ли, дорогой Юра, в этом?

Но поздно, поздно!

В плетеных креслах за таким же, из лозы, столиком из больших, с почерневшими краями, фаянсовых кружек пьем с Казаковым крепкий чай, а в кабине на кране уже сидит Миша Плахутин, уже слушает, что скажет инженер-француз и переводит потом по громкой связи ребятам из города-героя, ну, прямо-таки чуть не со знаменитой Малой Земли, эх!

И Костя Гердов, здешний Котэ, талантливый и безалаберный Кот почти в такой же будке, вознесенной над домом матери, уже сидит над рукописью с ироническим названием «Опыт жизни со свалки»... нашелся Мишель Монтень!

3

Встречаемся с Мишей редко, хорошо, если раз в два года, но на стене в моем крошечном кабинетике в Кобяково висит терракотовая тарелочка с видом Касабланки: гляну, и как будто поговорю с ним. Хоть коротенько, а все же.

— Ты что, сдал квартиру? — спросил он, появившись у нас в деревне вместе с Таней на новеньком, с марокканскими номерами «ситроене», на котором через всю Европу проехал. — А я звоню тебе с крана, но там другие жильцы... Люди-то хоть надежные?

Снова мы посидели у меня под яблоней, которая сама понимающе скинула нам несколько налитых своих плодов, чтобы заесть пахучий марокканский коньяк...

— Ну, на всю деревню! — сказала моя жена, поставив рюмку.

— Как бы сказали, Миша, в твоей любимой Надёжке: большой духман! — поддержал я.

— Уж на этих-то пятистах метрах до нашей избы поди не будет «гаишника», мать? — спросил Миша у своей счастливой Тани: на этот раз оставалась дома и, встретив Мишу, так теперь и светилась.

— А что ты о своем друге рассказывал? — напомнила ему Таня.

— Ну, тут же не Штаты, слава Богу! — тоном осудил Миша. И тоже как будто вспомнил. — А ведь, и правда: ты меня все спрашиваешь о Викторе... О Русском Мальчике. Это у них там был случай...

Так вот, пора, давно пора и о нём, но как мне сложить воедино все эти истории, столь необычные, как и та первая, которую тогда рассказал мне Миша: с камышинкой и с фельдмаршалом Паулюсом?

Чуть ли не в тот же год, как сын погибшего на войне, он попал в Суворовское училище и был там не

только одним из лучших учеников — стал чемпионом Москвы по шпаге среди мальчишек и кандидатом в мастера по вольной борьбе у юношей. Мать не могла нарадоваться, но в выпускном классе он вступился за несправедливо, как он считал, отчисленного из училища дружка, пошла тяжба с начальниками, от меньшего — все выше и выше, пока какой-то из генералов не сказал ему: давай, мол, так, парень. Или он, или ты. Сам выбирай. Но кто-то из вас должен уйти.

Даете слово? — спросил Русский Мальчик. Даю, — сказал большой чин. И он поблагодарил его, и в тот же день написал рапорт об отчислении по состоянию здоровья.

Его отчислили, ему удалось сдать экзамены за десятый экстерном и, чтобы утешить бедующую с младшими мать, он поступил в Московский горный институт, после учебы в котором деньги тогда гребли совковой лопатой...

Как называли его тогда: Московский «игорный».

Что правда, то правда, там были лучшие преферансисты, потому что даже второкурсники возвращались с практики из Кузбасса или из Донецка с большими деньгами: на шахте таких не заработаешь. Но к картам он не притронулся, Русский Мальчик. Пошел на курсы шоферов и стал автогонщиком, выигрывал гонки на мотоцикле — Миша видел, что у матери в Немчиновке до сих пор стоят какие-то его кубки...

Вообще-то я думаю, это мама Русского Мальчика рассказывала ему так подробно о том, что хорошо знала, что было ещё у неё на виду: дружил, мол, с такою же безотцовщиной, с испанцами, — их тогда, и правда, было много в «игорном», детишками вывезенных из Испании и выросших в России детей «республиканцев» — и только к ней, когда большою компанией приезжали в Немчиновку, обращались они на русском, и её Мальчик тоже, а между собой все говорили на их языке, на испанском, и она только удивлялась, как он у её сына «от зубов отскакивает»..

Как это случается, когда, бывало, заедешь вдруг к матери старого товарища: пригорюнится, и — давай вспоминать...

Так, пожалуй, и тут. Когда заезжал Плахутин. Как, мол, только не подрабатывал: на Сахалине ходил с геологами, в Архангельске пропадал в море с рыбаками, мыл золото на Колыме, весной на месячишко отлучался с занятий — на Алтае собирать для японцев черемшу да папоротник-орляк, а осенью задерживался в тайге — бить кедровый орех, шишковать... это она поди Мише доложила, что на целине, когда студентами ездили, работал не кем-либо — трактористом, что в стройотряде был сперва бригадиром у своих, а потом стал командовать чуть ли не всеми, которые были тогда в Москве, отрядами, комсомольцы его заманивали после учебы в большие начальники, дали талон на новенький «москвич», у него тогда появился чуть не у первого, но он не захотел в Москве оставаться, уехал в Караганду, полез в шахту...

Это материну «полез» так и проскочило потом у Миши в наших с ним разговорах...

Но если бы только туда и «полез» Русский Мальчик!

В Караганде он пошел в аэроклуб, начал летать, да не куда-нибудь — на базу аквалангистов на каком-то тихом секретном озере... В Москве добился, чтобы в Университете на биофак его приняли заочно, начал писать какую-то работу, которая была, как понимаю, «на стыке наук», ещё студентом защитил кандидатскую и сделал открытие, позволившее потом стать доктором.

Между этими событиями был у него, как понимаю, не очень простой период: к его открытию присоседились несколько академиков, в списке соавторов он оказался последним, и японцы, которые раньше других раскусили, до чего он додумался, одного за другим начали выдёргивать в командировку первого из череды авторов, потом — когда первый промолчал, как партизан на допросе, — второго и третьего, потратили на это почти два года, пока не догадались, наконец, пропустив ещё несколько фамилий, вызвать обозначенного последним.

Потом они якобы говорили Мальчику, что для них это было тоже своего рода открытие: только так они впредь и поступали — вызывали сразу же аутсайдера и почти никогда не ошибались.

Потом он слетал в Японию ещё дважды, и после третьей, выходя из командировки вернулся оттуда с черным поясом каратиста.

Несколько лет он прожил в Москве, пытался перетащить к себе мать, но она заявила, что от огородика, спасавшего их всех от голода, она — никуда, да и внукам будет где потом спрятаться от городского шума и толкотни — тогда он полгода просидел на вечерних курсах при Тимирязевке и по весне перелопатил её огородишко: особым образом посадил пять картофелин, которые дали потом столько же мешков великолепной картохи, три куста смородины, с каждого обрывали по два-три ведра отборной ягоды, и три рожавшие в разное время яблони, засыпавшие плодами чуть ли не всю Немчиновку...

Миша посмеивался, когда рассказывал, что на этот ставший вскоре легендой огородик приходили взглянуть даже ученые из знаменитого института зерновых культур, который как раз и расположен в Немчиновке, но я поверил в это охотно, потому что к этому времени уже хорошо знал, что такое настоящий горняк: ещё со времен Бергколлегии императора Петра Первого они всегда были на все руки, и даже ещё в начале совсем недавнего от нас прошлого века в Московском «игорном» учили принимать роды.

Не знаю, зачем Русский Мальчик ходил вокруг света на океанографическом судне, не знаю, зачем торчал в Антарктиде и на Северном полюсе, а потом вдруг прошел с экспедицией по шелковому пути... И совсем плохо представляю, где это все с ним и с его другом, арабским шейхом, происходило в Африке, мое знание о ней сильно ограничено ещё с тех пор, когда в крошечном возрасте мне с большим чувством — с выражением, как говорили тогда, — прочитали известное: «Не ходите, дети, в Африку гулять!..»

Вот и не ходил я, о чем теперь очень сожалею, потому что была у меня такая возможность, была — эх, как звал меня в Алжир Лёша Ягушкин, такая же, как и Русский Мальчик, безотцовщина, когда работал директором теплоэлектростанции, строящейся тогда на берегу моря в Жижели, как звали наши горновы, которые работали тоже в Марокко, в Анабе. А Ваня Алексеев, новокузнецкий землячок, тоже из тех, кто сам себя, эх, без помощи погибшего отца, сделал: приезжай, пока я в Конго — увидишь настоящую Африку... Старый, тоже ещё со времён «ударной комсомольской» дружок Шевченко Коля звал в Нигерию, где уже во время «перестройки», будь она неладна, жил он — кум королю... Но мне всё некогда было, всё некогда. Всё на потом откладывал, но оно-то, это наше русское «потом» для многих из нас так и не состоялось...

Была, как понимаю, международная экспедиция, на которую кроме «штатников»-америкосов, англичан и французов скинулись арабские страны, а Русского Мальчика пригласили уже как ведущего спеца по неким только им там понятным ученым тонкостям. Ими же занимался и молодой шейх из Арабских Эмиратов, на почве чего они и сошлись: скорешевались.

Когда из-за каких-то административных неувязок одна западная фирма отозвала пилота, возившего их на гидросамолете, он «полез» и туда, Русский Мальчик. Сел в кабину, посадил рядом шейха, и со всею амуницией для глубоководного погружения они вылетели, как собирались, на несколько часов, но для шейха это время растянулось на три месяца, а для Русского Мальчика — на два года...

Подробностей, по-моему, не знает и Миша, а, может быть, друг его попросил не очень распространяться на эту тему. Так или иначе, их с шейхом захватили какие-то шустрые африканские ребята на быстрых лодках, бросили в кутузку и стали ждать богатого выкупа... Но шейх, видать, тоже был неслабый паренек: когда Русский Мальчик предложил ему месячишко-другой потерпеть одному, потому что вдвоем было не уйти, он согласился без лишних разговоров.

Вот тут и начинается история с иностранным легионом.

Русский Мальчик добрался до него в соседней стране, его отвели к полковнику, и они начали

мучительное объяснение на ломаном английском, но когда этот шеф головорезов выругался в сердцах по-испански, Мальчик начал декламировать ему Лорку, и тот, ошарашенный, сперва долго слушал, потом разлил по фужерам виски, и они начали трехдневный, не всегда научный, симпозиум по испанскому языку, в результате которого было решено: в свободное от работы время и на сэкономленные средства от тюрьмы, где дожидается шейх, полковник со своими парнями не оставит камня на камне, потом его вывезут в ближайший международный аэропорт и отправят к папе-шейху и маме-шейхине, но за это Русский Мальчик два года прослужит в легионе: случается иной раз, душа просит — надо же полковнику с кем-то поговорить на языке его предков-басков!

Они ударили по рукам, и все так и было: Русскому Мальчику, хоть было ему в то время за пятьдесят, пришлось, что называется, тряхнуть стариной. Полузабытая, с царапиной в душе суворовская выучка на скупой африканской почве щедро вдруг проросла — через два года он имел генеральское звание и в какой-то полумифической, но чрезвычайно богатой золотом и алмазами африканской стране командовал вооруженными — не надо думать, что одними лишь копьями — силами.

Конечно, его подпирал дружеским плечом испанский полковник, не раз уже предлагавший ему сменить страну на более обширную и с гораздо большим запасом полезных ископаемых, и Русский Мальчик, в котором вновь пробудился старинный дух сибирского рудознатца Михайлы Волкова, пережил мучительное искушение, но все ж таки решил: пора и честь знать...

Испанскому полковнику пришлось выучить и это присловье — вдобавок к тем двум, которые он произносил уже без акцента: «пуля дура — штык молодец» и «договор дороже денег».

На прощанье весь разноплеменный лагерь головорезов хором спел очень подходившую к их беспокойному житью песню «Полно вам, снежочки, на талой земле лежать». Этой песне мама Русского Мальчика научила еще в детстве: рассказывала, что это была любимая песня его отца.

Для меня и раньше было приблизительно ясно, откуда в Русском Мальчике эта закваска, но после того, как узнал о прощальной песне, окончательно убедился, что отец его ну, конечно же, был кубанский казак.

Но, может, некоторое отношение к казакам имела и его мама, коренная чалдонка?

Судя по тому, как после самой долгой отлучки сына, она набросилась на него, только что командовавшего вооруженными силами не последней, по африканским масштабам, страны со старым брючным ремнем, характер и у неё будь здоров. Он попросил её обождать и начал покорно снимать штаны, после чего она всплеснула ладонями и набросилась уже на его жену: почему она терпит своего непутевого муженька, почему не бросит?

Бросила бы, ответила та. Если бы не пятеро ребятишек.

И Мальчик, рассказывал Миша, обнял её и сказал: ну, зачем ему три жены в Эмиратах, если единственная у него в России — такая терпеливая умница? От жен придется ему, как не жаль, отказаться, а виллу на берегу Атлантического океана он, так и быть, примет в дар, иначе шейх на него обидится, и прав будет: лучшие из обычаев предков надо свято блюсти и нынче.

К этому времени они успели выяснить, что мама шейха — черкешенка из рода известных кабардинских махаджиров, по родителям, выходит, они земляки, и тут они стали вообще — не разлей вода.

Известное на Кавказе дело: вместе тесно, а порознь скучно.

Но начали мы эту главку с того, что совсем недавно приключилось с Русским Мальчиком в Штатах.

Собственно, началось не с него — с невезучего земляка, бедолаги, с гениального, как он Мишу уверял, неумехи и недотепы, который ничего толком не знал, кроме этой хитромудрой, на семи стыках, науки, ради которой, как на семи ветрах, жили они в отдельном городке для специалистов из

России.

От этой своей неприспособленности, сдобренной изрядною долей ностальгии, гениальный землячок попивал и регулярно на чем-нибудь ну, совершенно азбучном, попадался, и вся его очень приличная по контракту зарплата уходила на штрафы.

Вести с ним воспитательные беседы давно уже было поздно, и Русский Мальчик предпочел по душам побеседовать с барменами из близлежащих заведений: не могут ли они, прежде чем плеснуть его земляку, ему напомнить, что по здешним законам он должен сперва поставить машину возле дома?..

Однажды эта жалкая личность, этот гениальный простак по дороге в городок остановился чтобы купить пачку сигарет, но бармен протянул ему рюмку.

— Я должен сперва поставить машину, — сказал наш Иванушка-дурачок.

— Сколько тут осталось? — дружелюбно спросил его бармен. — Не больше ста ярдов. Неужели мистер не дотянет?

Иванушка ещё занюхивал несчастные пятьдесят граммов виски, кукурузного этого дерьма, а бармен уже звонил знакомому копу: встречай, Джон!

Иванушку схватили почти тут же, как сел в машину и припаяли ему, поскольку штраф был не первый, по полной программе. Чего иначе было стараться: с каждого сообщения в полицию шел процент позвонившему, с каждого задержания — полисмену.

При всей недотепистости наш Иванушка понял, что его обложили, и засобиравшись домой, но Русский Мальчик, когда узнал об этом, бросился в бар и кинул на стойку столдолларовую бумажку.

— Плачу тебе за то, чтобы ты хорошенько усвоил, — сказал американцу. — Ни в одном последнем русском «змеятнике» ни одна последняя падла так бы, как ты, не поступила.

— Что такое «змеятник»? — спросил бармен.

И Русский Мальчик пальцем поманил: наклонись.

Ещё ближе пододвинул к нему купюру с портретом отца-основателя самой продвинутой в мире демократии и масонским тругольничком с глазом посредине и дарил в челюсть — прямым...

Повторялась старая его, «суворовская» история. В записке, обосновывающей расторжение своего очень дорогостоящего контракта, он написал: как вольный гражданин свободной России, твердо избравшей теперь путь демократии, он не может себе позволить оставаться в стране с тоталитарным режимом, поощряющим доноительство и научающем соотечественников стучать друг на друга. В его положении руководителя исследований это тем более неприемлемо, что русский ученый, на знания которого в общей работе он опирался, всеобщим фискальством окружающих доведен до отчаяния и тоже, насколько ему известно, собирается разорвать контракт.

Иванушке он запретил возникать, приказал терпеливо ждать повышения, и все оставшиеся до отъезда дни вдалбливал ему свои наработки, которые тот воспринимал не только с радостными восклицаниями — каждую тут же торопился развить.

— Но главное, что ты должен запомнить, — сказал ему на прощание Русский Мальчик. — Объезжай стороной этот поганый бар, а при виде копа вспоминай меня и выражай на морде презрение вдвое больше того, которого он, и в самом деле, заслуживает!

Самое интересное, что Иванушка, сменивший его на посту руководителя международной исследовательской группы, до сих пор живет в Штатах...

Но почему я подумал, что Русский Мальчик — сам Миша Плахутин?

Да потому что был он такой же, как тот безотцовщиной, чем только уже в раннем детстве не промышлявшей, чтобы хоть чуть помочь матери, чтобы спасти от голода младших, а после, когда уже чуть подрост, — одеть их, обуть, выучить... Начинал он тоже с суворовского, но его-то отчислили, и в самом деле, из-за здоровья — свалил туберкулез. Уже помиравшего, его забрал в дальнюю станицу друг погибшего отца, безногий инвалид, откормил собачатиной, долго потом обучал рыбацкому да охотницкому делу и на прощанье подарил берданку, такую древнюю, что никто не принимал его с ней в кампанию: уж если разорвет, говорили, — пусть покалечит тебя одного...

Может, потому-то её в конце концов и не разорвало, что вместе с берданкой он вручил Мише алюминиевый нательный крестик на старом, совсем засмыканном шнурке — он сказал, что не снимал его всю войну.

И в этих своих походах за дудаками, в наших краях их было много после войны, за перепелкой, за болотной птицей, за зайцами он так окреп, что в армии его зачислили в десантники, в какую-то особую часть, в которую во время Карибского кризиса отозвали потом с рыбацкого траулера. Их посадили на сухогруз с оружием, который американцы потихоньку отправили на дно, и с десятком таких же бедолаг он две недели болтался в океане на единственном, оставшемся из пяти, резиновом плотике.

Может, именно в это время он возмечтал о другой, о красивой жизни, и дважды потом его проваливали на экзаменах в МГИМО, поступил с третьего захода, но почти тут же ушел в академический отпуск: жизнь как будто нарочно испытывала его — ещё задолго до того, как она взялась потом за нас всех...

Или не только Русский Мальчик так начинал, не только Миша — их были тысячи... да что там! Были миллионы этих полусирот, в лучшем случае уходивших в «суворовцы» или в «нахимовцы». В те времена удачей было устроиться в городе в школу «фабрично-заводского обучения» — ФЗО, везеньем — поступить в «ремеслуху». И счастьем было дотянуть до десятого, чтобы пойти потом в самое престижное по тем временам военное училище: летное...

Может быть, наше поколение вообще — поколение навсегда улетевших из дома?

Сколько потом погибли в корейской войне, сколько разбились на Севере, на утлом сейнеришке пошли на дно кормить рыбу на Дальнем Востоке, сгнули на лесоповале в Сибири, убились на золотых приисках или ударных стройках... Редкое возвращение домой насовсем или хотя бы в отпуск стало уделом самых удачливых... Слишком далеко зазвали нас красные горнисты гражданской войны и политруки Отечественной, слишком прочно утвердили в нашем сознании это жестокое слово: надо.

Может, на самом-то деле было надо, чтобы на нашей тёплой и зеленой родине, пока нас не было, поселились другие? И нам, время от времени возвращающимся, уже негде было бы приземлиться?

Может, Русский Мальчик, приручивший диких гусей, понимает это лучше многих других и хочет таким вот образом оставить по всем нам память?

Потому что иной не будет — скоро, скоро её сотрут. Тоже — навсегда.



Но сперва ещё несколько слов о нас...

5

Мой отец вернулся с войны, и чем больше с тех пор проходит времени, тем лучше я понимаю, что для меня самого, для младшего брата и сестрицы, которая родилась уже в победный год, это было самое настоящее счастье...

Отца давно уже нет, умер от старых ран, но я все чаще возвращаюсь к той далекой минуте жестокой зимы сорок третьего, когда мы с братцем сидели рядом на давно остывшей печке, а в комнату вошел обросший солдат в низко надвинутой, с опущенными клапанами, ушанке и в черных очках и, постукивая по земи, по глиняному полу тросточкой, глухо проговорил:

— Есть тут кто-нибудь?

Как он нашел лежавший у порога под камнем ключ? Мама с бабушкой, не дай Бог, пожар, оставляли его для соседей.

Старший, я набрался храбрости:

— А вы кто, дядечка?

— Валерик тоже тут? — он спросил. — Я — ваш папка!..

Шагнул к печке, и Валера, который ещё мало что понимал, потому что шел ему только третий год, закричал так, что крик этот как будто до сих пор у меня в ушах.

Через пару лет зрение у отца поправилось, снял темные очки и под вешалкой в углу поставил палку. В собесе ему выдали светло-коричневую канадскую шубу: брезентовый плащ с большими накладными карманами и теплой даже на вид, из великолепной белой цигейки, подстежкой — её потом постелили в танечкину кровать...

Несколько лет он был районным прокурором, и, как инвалид, добился увольнения, когда стали пачками сажать за кражу кукурузного початка или пары картофелин. По малолетству я мало что знал тогда о службе отца, и слава Богу: из всей нашей дружелюбной родовой больше всех остальных отличался тягой к общению. «Душа нараспашку», «не можешь держать язык за зубами» — по станичным меркам это были самые деликатные из тех определений, которыми нет-нет, да награждали меня родители после очередной «утечки информации» о строгой службе отца.

Потом я написал об этом в рассказе «Отец» — как на его похоронах мужчины чуть старше меня рассказывали: «Милицанер к нему приведет, а он: ну-ка выйди, дай нам поговорить. Заявление порвет и — в корзинку. Снимает с себя широкий ремень: видишь?.. Буду — по столу, а ты ори как резаный. Плохо будешь орать — придется по заднице».

И только когда его не стало, открылся мне ещё один его маленький секрет...

Тогда-то я удивлялся: зачем он так?

Идет навстречу заморыш от горшка три вершка — сопли по колено. Скажет отцу положенное в станице: «Драстути, дядечка!»

А он так громко и с расстановкой ему отвечает:

— Здравствуй, здравствуй, парень красный!

Да так важно! Да так торжественно!

Некоторые из таких соплестьонов, пока он на работу шел, успевали и дважды, и трижды забежать ему навстречу, чтобы только это услышать: парень красный!

Чудики! — мне казалось.

И чего им отец потворствует?

Отца уже давно не было в живых, когда однажды в Шереметьево, в аэропорту, после проведенной вместе недели, мы прощались с улетающим к себе в Швейцарию казаком-эмигрантом Петром Величко, и он, немногим старший, но куда больше знавший о старых кубанских правилах, крепко обнял меня, отстранился и, посмотрев орлом, твердо сказал:

— Грею тебя боевым взглядом, Гурка!

Глянул на меня так, будто, правда что, — щит вручил.

И тут вместе с неожиданно кольнувшими уголки глаз слезами обо всем навсегда нами утерянном, до меня вдруг дошло и это: он тогда, холодных-голодных, грел их сердечным голосом, отец, — доброжелательной интонацией, которой они до этого ни от кого и нигде не слышали... Да и многие ли из них слышали уже после?

В станицу приехал новый прокурор, из Армавира, после года опалы отец стал сперва председателем «Артели инвалидов „Социализм“», и по рельсам районной номенклатуры долго катил потом из одной конторы в другую. Мы не только не бедствовали — помогали всей остальной родне. Кому-то отец доставал сено для коровы, за кого-то в собесе хлопотал или писал «в край», кого-то устраивал на работу. Мать занималась одним и тем же: накладывала в тарелку горку горячих пирожков или начерпывала в кастрюльку борща, и с кошелкой, в которой стояла «передача» мы с братом неслись в разные концы станицы — в разные, если по нашему, «кутки». «На май», «на седьмое», а то, бывало, и в обычное воскресенье, дома у нас накрывали стол на всю родню... Господи, как у нас было тогда тепло — когда отец пришел с войны, а дядя Жора, младший брат мамы, вернулся из Магадана, и оба они ещё держались: попивали, но в глухую не пили.

Мама росла сиротой и поэтому не только отдаривалась от помогавших ей с меньшим братом в голодные годы — она как будто старалась отблагодарить судьбу и за возвращение отца, и за то, что может теперь пригреть и свою бабушку, и тётю, оставшуюся без мужа, Василия Карповича, — могилу его я все-таки разыскал потом в Польше, — нашу «крестненькую», которой, перед тем, как придем к ней рождествовать либо «посевать», давала деньжат для нас на подарки.

Если кто-нибудь из школьных дружков приходил ко мне «заниматься», — вместе делать уроки — она усаживала обедать, а когда мне кричали с улицы и я собирался, не успев доесть, выскочить со двора с ломтем хлеба, она непременно останавливала:

— Ну, куда, куда?.. Или оставь кусок, или обязательно поделись!

То же самое исповедовал отец, стольким в станице помогавший: недаром его, младшего лейтенанта, ребята чуть помоложе годами величали Комбатом.

Когда я пошел в десятый, и в школе стали поговаривать, что «тяну на золото», он туда зачастил было, и однажды я ему сказал что-то примерно такое: мол, понимаю, па, ты обо мне печешься, но давай-ка с тобой договоримся... Я сделаю все, чтобы медаль, и в самом деле, была, но ты,

пожалуйста, не вмешивайся в это: когда я домой пришел, когда спать лег, какую читаю книжку. И не ходи, пожалуйста, в школу!

— Не забывай, что в школе ты учишься не один, — сказал он не только твердо, но как бы с некоторым оттенком презрения ко мне, обутому-одетому и сытому «маменькиному сынку» — много лет потом, став постарше, вспоминал я этот его осуждающий меня уничижительный тон. — Меня избрали председателем родительского комитета, и я отвечаю за детей погибших фронтовиков. А о тебе, если так хочешь, я вообще никого не буду спрашивать, даю тебе слово.

Дома он почти перестал со мной разговаривать, и его непонятная тогда обида на меня не прошла и потом, когда медаль я, и в самом деле, получил и дома стали решать, как мне быть дальше. Он соглашался дать денег только до Краснодара — поступать в медицинский, или, в крайнем случае, до Ростова — в железнодорожный институт. Но тут как раз выпал тысячный выигрыш на облигацию, подписанную его рукой: «мамина.»

И мать отказалась купить себе долгожданное золотое кольцо, сходила в сберкасса и пришила мне на трусы карман — эту самую надежную в мире нашу народную «барсетку».

В Университете в Москве я смотрел на ровесников, оставшихся в войну без отцов, как бы уже иными глазами, тоже старался подрабатывать, и через два года, когда с философского факультета перешел на «журналистику» почти тут же получил «индейскую» кличку Потный Мокасин: за то, что с утра до вечера мотался по редакциям, разносил свои крошечные цидулки — «подхалтуривал».

Именно в это время появились в Москве первые фельетоны о детях богатых родителей, о «стилягах» и «плесени» — «золотой молодежи».

Была она и на нашем факультете, была на курсе...

Зато каких бессребреников встретил я потом на своей ударной стройке в Сибири, куда, и действительно, приехал добровольцем — ну, как тут иначе, как проще скажешь... Какие голодранцы, какая голь перекатная стала к нам потом прибывать: эшелонами. И какие то были парни! Какие девочки.

Вот уж где было поприще для характеров, в обычае которых были малозаметная сызмала, но развившаяся здесь во всю ширь артельная спайка, бескорыстное братство, заступничество за младших, за обойдённых судьбой, за обиженных!

Тогда я этого не сознавал, но, может быть, как завет поколению, как сокровенный, на который нельзя не откликнуться, пароль, всё продолжал звучать в душе этот послевоенный крик полуголодных сверстников: «Сорокуха!..»

Это для скорости.

А так: «Оставь сороковку!», «Дай сорок!»

Не половину куска, который принес в школу или с которым появился на улице, — меньшую его часть. Как бы сорок процентов, хоть о процентах мы тогда не имели понятия.

А ведь было ещё на улице и тут же торопливо сказанное получившему «сорокушку»: «Сорок от сорокухи!» «На пол-кусаки!»

И совсем уже жалкое: «Хуть крыточку!»

Может, все это ещё продолжало звучать в душе — мой первый роман — «Здравствуй, Галочкин!» — был о детдомовце, о конфликтующем с комсомольскими «маяками» правдолюбе из «несоюзной молодежи», приехавшем на большую сибирскую стройку якобы «за длинным рублем».

А он за правдой туда ехал, тот мой первый герой.

Как большинство из нас.

С нами так вышло, что мы, привыкшие по-братски помогать своим сверстникам, по-отцовски — тем, кто моложе, поздно вспомнили о своем родительском долге и упустили потом собственных детей — ради названных.

Может быть, то же постепенно произошло с теми из наших старших, кто жил после войны ещё долго, о многом успел забыть, стал к себе слишком снисходителен и любвеобилен уже ко внукам — также, как и мы, минувя детей своих?..

Мальчики, мальчики!..

Теперь-то многих из вас уже нет. На торжественных, круглым датам посвященных вечерах — без них пока не обходятся новые хозяева громадного металлургического комбината, который мы всем скопом отгрохали — путают ваши имена, перевирают фамилии, и звонкие голоса ведущих, пытающихся говорить ну, прямо-таки о преемственности трудовой славы, звучат настолько фальшиво, что настоящие-то доброделатели, рачители и радетели — а сколько, сколько их было! — мучительно ворочаются в гробах своих.

Мы росли под звуки пионерского горна, а молодость многих отгорела потом у доменного горна... Тогда мы мало задумывались, что есть другие слова: горний — духовный — мир. Есть горняя — небеса, куда отлетают души праведников.

Сколько из вас, мальчики, хоть не носили на шее крестика, сердцем были чисты и жили высокими помыслами!.. И каково вам из благостной, со всем примиряющей горней видеть состарившихся подружек юности, которые в любимом нашем поселке, теперь полуразвалившемся, с несвежими полиэтиленовыми пакетами в руках обходят грязные свалки: в один — что можно доесть, в другой — что ещё можно доносить...

В силу общительного характера, природного любопытства и стародавней казачьей способности прирастать корнями к дальним краям я дольше многих других оставался у ярого огня, который беспощадно сжигает всех, кто вблизи, но чуть ли не родственным теплом согревает стоящих поодаль простодушных зевак... И временами мне становилось совестно перед теми, у кого нет этой возможности: из жестокого плена сегодняшних обстоятельств хоть ненадолго вернуться на волю нашего прошлого.

Пытался оправдывать себя тем, что это как бы неременное условие профессии: за всяким действием наблюдать от начала и до поры, пока хватит сил... Недаром о тебе ещё с давних пор: мол, летописец. Так неужели сопутствующие этому некоторые преимущества напрочь исключены?

Но ждала меня расплата за них, ждала...

На празднование 45-летия «первого колышка» в Новокузнецк, давно ставший родным, в нашу Кузню, приехал на месяц раньше: хорошенько подпитаться весенней народной кормилицей — черемшой.

Медвежьим чесночком. Диким луком, который ещё с древнеримских времен известен как «алум викториалис» — «лук победителей».

В Кузне предпочитают название проще: колба. Здесь бытует стишок-наставление: «Ешь колбу при каждом блюде — пусть шарахаются люди!»

И целый месяц я жил этим — ну, совершенно в духе общечеловеческих ценностей — заветом, в обед и вечером съедая по объемистому пучку сочных, в самой поре, длинных стеблей — амбре от каждого дыха после этого можно смело приравнивать к хорошенькой дозе применяемого ОМОНОм спецсредства «черемуха»... Но настоящий кузнечанин от аромата колбы, выражаясь языком нынешних тинейджеров, тащится... или тут больше подходит: торчит?

Те, кто давно знаком с целебными свойствами черемши, наверняка останутся, конечно же, на этом последнем определении, и я вот, размышляя сейчас над всем этим, даже подумал, что отсюда скорее всего родилось и её латинское название: ведь у настоящего победителя все должно быть торчком.

Как же мог я без крутого запаха нашей колбы оставить своих московских дружков — либо чалдонов, по тем или иным причинам прервавших свой стаж, либо и вовсе, вроде меня самого, несостоявшихся?

Майская черемша продаётся в Кузне на каждом углу, но я целыми днями искал особенную, и однажды мне пришлось вести долгий ученый спор с двумя элитными бомжами и очаровательной «синеглазкой», их боевой подругой с подбитым лицом: надо или нет на колбе срезать листья, оставляя только стволы? Чаша весов клонилась то в одну, то в другую сторону, но в конце концов я ушел от них с ношей, похожей на объемистую вязанку кукурузенья: эти трое были поставщиками новосибирского Академгородка и каждый день отправляли в Золотую долину по десятку коробок для лучших умов Отечества — это мне просто повезло, что в этот раз у них случился остаток.

Скоро я чуть не наперечет знал ведущих колбовщиков: кузнецких татар из Мундыбаша и русских передовиков несуществующих нынче многочисленных производств, каждый день совершающих печальный свой трафик за дарами природы в тайгу и обратно...

Тоже с многочисленными коробками ехал потом утречком в аэропорт и вручал их смущенным таким доверием юным созданиям, а то почему-то им же, доверием этим, недовольным крутым бизнесменам или большим начальникам, от которых от самих предательски попахивало продуктом, какой они сперва категорически отказывались сопроводить в Белокаменную.

Как человек, не раз это переживший, должен сказать, что забота об этих не для всякого носа приятных передачах значительно обостряет чувство сибирского братства... Или необычайный душевный подъем испытывал ещё и потому, что к этому времени уже начал писать «Русского мальчика», и, задетая началом, струна теперь продолжала во мне звучать всюду, и, бывало, — не по тому ли самому закону вредности? — особенно напряженно и тоненько звенела как раз тогда, когда по разным причинам не мог сесть за продолжение рукописи...

В поездках мне обычно не очень-то хорошо работалось, но думалось особенно плодотворно, и детали рассказа выплывали теперь из небытия, в котором уже жаждали своего часа, и прямо-таки слышались иногда обрывки будущих — на самом деле, конечно же, бывших когда-то давно, а то и очень, очень давно — разговоров.

Так бывает, когда с головой уходишь в работу: герой твой сперва начинает посещать тебя в кабинете, потихоньку сидит себе в уголке и смотрит, а потом выходит вместе с тобой прогуляться, а то отправляется в магазин за пачкой чая или в киоск за газетами...

Но не мог же Русский Мальчик отправиться за мною в Новокузнецк?

Во-первых, как у человека вполне реального, у него свои пути-дороги, о которых в лучшем случае могу только потом узнать от Миши или от него самого, если Миша, наконец, нас познакомит... У него

свои дела и заботы, о которых я, конечно же, не имею представления. И — свои думы.

Но откуда же это все чаще возникающее во мне ощущение, что он — рядом?

7

Пожалуй, он тоже из тех самых мальчиков, о которых нынче беседуем...

Та же самая безотцовщина, которая людей порядочных делает потом заботливыми о младших до неожиданной, до русской слезы...

Познакомились мы, когда он, будучи замполитом в областном управлении внутренних дел, написал мне в Москву письмо с просьбой разрешить им поставить инсценировку романа «Пашка, моя милиция»... что ты тут будешь делать?!

К этому времени по личному распоряжению председателя союзного Комитета по кинематографии Барабаша, самолично прочитавшего сценарий будущего двухсерийного фильма, «Пашку» сняли с производства на киностудии в Одессе, а он там, понимаешь, в зачуханной своей Щегловке, в этой Кемеровой, поставит пьесу!

Дал телеграмму, что согласен, и тут же забыл: для меня начались тогда грустные времена, не до того. Но уверенность в том, что острый по тем временам роман сибирской глубинке не по зубам, так во мне и жила. И тут как раз, в последний приезд в Кузбасс неожиданно встретил человека куда моложе, который так и представился: мол, «парень с гитарой» из инсценировки вашего «Пашки», песни сам тогда для неё сочинил — они у вас есть? И подарил кассету.

Как водится, я начал «отматывать» и разыскал в нашей Кузне бывшего замполита: пожать руку. И тут мне вдруг стало приоткрываться... как это назвать? Добровольное шефство? Гражданская миссия?

Он не был профессиональным «ментом»: его, учителя истории, «партия послала на передний край».

О, терминология тех времен!..

Её уже, считай, нет, партии. Сам он давно на пенсии и занят другим делом. Но школа, школа... Какая? Чья?!

— Им сейчас в милиции трудно, как никогда, — взялся мне объяснять. — Пожалуй, ещё и не было таких ножниц между словом и делом. Если бы они все это — только на своей шкуре... А — на своей душе? Когда карманника он должен за пятак — за решетку, а кто из общей казны миллионы взял, тот пусть гуляет и дальше... Как им сегодня жить-то? Как поступать?

И взялся мне рассказывать о созданной им тогда впервые в России ипотечной системе покупки жилья в рассрочку: специально для тех, кто воевал в Чечне либо в других горячих точках. Чтобы не пропивали заработанное своим здоровьем и собственной кровью.

— А ты нас бросил, — сказал вдруг без всякого осуждения, как-то уж очень безразлично сказал.

Но лучше бы осудил.

Я стал что-то такое бормотать: мол, нет, нет, когда-то чуть ли не первый написал правду о

новокузнецких омовцев, которых за несколько сотен чеченских долларов смертельным огнем накрыли владивостокские морпехи...

— А у Добижи давно был? — спросил он. — Мы с ним как-то тебя вспоминали... Он после гибели ребят никак не отойдет.

Немногословный, улыбчивый Сергей Добижа, работавший когда-то воспитателем профтехучилища в нашем поселке Заводском, как раз и командовал тогда сводным отрядом из Кузбасса — чудом остался жив.

Во мне только начало виновато проклевываться чувство полузабытого товарищества, которое связывало когда-то со многими из новокузнецкой «ментовки», а он вдруг как о деле решенном сказал:

— Полковника Полуэктова ты не знаешь, но он-то тебя — давно. Начальник высшей школы милиции, с некоторых пор она у нас на правах юридического института. Хочет устроить конференцию по твоим книжкам... или как там? Одним словом, встречу... Как им в объявлении написать?

— А пусть так и пишут, — поддразнил его. — Одним словом, встреча.

— Все шутишь, а вот побываешь у них — увидишь, как он из своих ребят старается настоящих людей сделать.

— И ему это удастся?.. По нашим-то временам?

— А вот потому он и зовет тебя, Полуэктов...

У самого у него тихая, почти ласковая фамилия — Саушкин, такие мне всегда нравились, в книжках наделял ими людей добрых и безответных, страдальцев беспомощных, но откуда в нем эта непреклонность, эта собранность... мало знал его? Это само собой. Но чутье, куда его денешь, не то чтобы подсказывало — говорило прямым текстом: этот Саушкин — из тех, кто в минуты всеобщей растерянности становится только хладнокровней, только уверенней в себе...

Ради других.

Это было заметно в нем, вот в чем дело!

Почти сразу с ним стали на «ты», но будто по молчаливому уговору имя-отчество уважительно сохранили друг дружке полностью.

Как-то на полушутке спросил его: скажи-ка, Александр Павлович!.. Это, мол, что: темная наша якобы не только от заводской копоти Кузня выковала в тебе этот стерженек? Откуда он — в тихом-то преподавателе истории?

— А ты считаешь, история ничему не учит? — печально спросил он. — Особенно наша — русская?

Потом состоялась, наконец, эта «одним словом, встреча», давно у меня таких не было, а, может, не было до этого никогда, и даже много, много слов, боюсь, не смогут выразить, что я во время неё почувствовал и от чего до сих пор не могу избавиться. Это ведь возникшая тогда в зале атмосфера пылкой искренности, взаимного понимания печальных истин и ваша жажда чистоты, мальчишки, заставляют меня и сейчас говорить мало кому теперь нужную и, по нашим временам не только небезопасную — гибельную правду...

Перед теми, кто на такие встречи приходил, никогда не таился; на неподдельный интерес всегда отвечал полной самоотдачей; о том, что пишу, обо всех, кого знаю, в чем убедился и что исповедую, отвечал со всею возможной откровенностью... Но так, видать, настодоела всем государственная фальшь и всеобщее наше придуривание, что естественные для здоровой души свойства сделались

чуть ли не дефицитными — на доброе, на чистосердечное слово будущие суровые «стражи порядка» потянулись доверчиво, как молодые подсолнушки к проглянувшему сквозь хмарь лучику... да милые вы мои!

Как тут было не расстараться!

О чем я им только не рассказывал: и как начиналась стройка да почему я «Пашку» написал; какие талантливые поэты, ставшие потом известными не только Москве — всей стране, работали тогда в нашей — не выговоришь натошак! — газетенке «Металлургстрой» и какую свободу мы в ней себе позволяли; как с молодыми литераторами, сам тогда молодой, гостил в Вешенской у Шолохова и как в награду за рассказ «Хоккей в сибирском городе» в одной группе с тренерами и судьями ездил в Мюнхен на чемпионат мира; как снимали по моей повести в родной моей станице кино, и как помогал писать книжку воспоминаний конструктору автомата Калашникову; как на десантном корабле «Азов» сопровождал в Грецию, в Салоники наших миротворцев и помогал севастопольскому батюшке, отцу Георгию крестить на борту матросиков — был у него пономарем; как, не зная языка, а только перечитав горы книг по истории Кавказской войны, перелистав горы документов, по душам поговорив с неиспорченными, несмотря ни на что, аульскими «старшими», достойно перевел известный теперь черкесский роман... да что там — перевёл, считай, сочинил заново; почему вообще подолгу живу на Северном Кавказе, который называли когда-то «тёплая Сибирь»: разве навсегда исчезли такие понятия, как служение, как — миссия?.. Зачем совсем недавно участвовала в выборах в Государственную Думу кандидатом по одномандатному, но, прямо сказать, многобандитному округу — в соседнем шахтерском Прокопьевске. В Прокопее... чего только, и правда, не может приключиться с излишне любознательным и скорым на решения человеком за шесть с половиной десятков-то лет!

С полушутливой дотошностью будущих следователей кое-кто из них взялся проверять слухи и рассказы о нашей старой новокузнецкой компании, и тут я тоже был совершенно открыт, повторив свою придумку: мол, ничего не поделаешь! Кузбасс — моя историческая родина, да. Здесь столько историй обо мне рассказывают, что сам уже не пойму, где быть, а где сильно поприбавили: давайте-ка разбираться вместе.

В кармане у меня и без того уже лежала пачка записок, но как они меня потом окружили!

— Я осетин и много слышал о наших джигитах, о Кантемировых, но так, как вы о них рассказали! — растроганно протягивал руку симпатичный молодой усач. — Спасибо вам: так, и правда, можно только о близких людях, — спасибо!

— Примите в подарок эту фляжку с крепким напитком, — настаивал явный русак. — Поймите правильно: в свое время только потому пошел в училище, что перед этим прочитал вашего «Пашку»!

— Рассказывали, как вам друг-еврей шашку подарил, — улыбался скуластый крепыш и протягивал искусно сделанный перочинный нож. — От татарина... мелочь есть у вас? Отдать за подарок.

Я был в осаде... Стоявший чуть поодаль полковник Полуэктов поглядывал на меня весело и значительно, как победитель, который решил не только даровать мне жизнь, но дать немалый чин в своем войске... Рядом стоял его штаб, трое симпатичных молодых женщин, трое кандидатов наук: истории, психологии, литературы — это они, как я уже понял, разрабатывали тактику и стратегию нашей встречи.

(Кроме них в зале были ещё и женщины-преподаватели, и служащие этой школы: перед одной из них должен повиниться...

Вспомнила мою старую-престарую «таёжную» сказку «Зима на носу»: у них, мол, дома она настолько истрепана уже несколькими поколениями детишек, что читать почти невозможно, приходится пересказывать по памяти... Почему таких добрых книжек теперь не издают?

Конечно же, я растрогался, конечно, пообещал: вернусь в Москву и вышлю ей один из двух экземпляров, которые приберегаю для внуков.



Так и не выслал.

Не потому, что — трепло.

Чтобы хоть как-то сегодня перебиться, две комнаты мы сдаем, а третья настолько загромождена снесенной сюда мебелишкой, купленной когда-то еще в Новокузнецке, заставлена картонными коробками с вещами и с посудой, завалена книгами, что найти здесь что-либо практически невозможно... Сколько раз, заскочив на часок домой, я все оглядывался, все прикидывал: где эта книжечка с шутовым названием, которое для стольких из нас оказалось таким горько-пророческим? .. Ведь весеннего тепла на нашей родине пока не видать!

Простите мне, милые землячки, простите, что жалким рассказом о себе роняю мужской престиж, который и без того нынче невысок... Но это — исключительно из уважения к вам и только для вас. Как нынче модно у этих-то: эксклюзив.)

Потом Полуэктов — вот кто, показалось мне, настоящий полковник! — подвел ко мне чуть смущенного человека средних лет, показалось — знакомого:

— К вам тут — «лесные братья»...

Не сразу, но понял, наконец: здесь же, параллельно с высшей школой милиции, находится «среднее» училище — для солдатиков внутренних войск, для лагерной охраны, за которой давно уже и закрепились эта полушутливая и, конечно, чуть высокомерная кличка...

Их не предупредили, что будет встреча с писателем, остались без внимания, а кому не ясно, как им в глухой-то тайге приходится? Нельзя ли завтра «мероприятие» повторить?

Скольких, скольких из них знал я по старым поездкам в отроги Кузнецкого Ала-Тау, в Горную Шорию, скольких помнил по совместной охоте... Разве не ясно, как они там, чем они там по своим-то медвежьим углам живут?

Как же «лесным-то братьям» откажешь?

И на завтра они явились в зал в полном составе. И вновь пришли многие из тех, кто был вчера...

Опять были такие доверчивые глаза, сочувственные улыбки, всё понимающие лица... одно из них, в глубине зала вдруг показалось таким знакомым: совершенно седой человек с молодым, смеющимся взглядом. Русский Мальчик?!.. Таким он в моем представлении был давно уже... Но откуда тут? Среди «лесных-то братьев»?

Как они, и правда, внимательно слушали!

Обманывать вообще — грех, но этих-то, так распахнувших душу, этих — тем более!

Эх, кабы всегда оставались такими!

Конечно, опять я, что называется, выложился...

Привыкший дело иметь всё больше с бумагой, на которую, бывает, и капнет слеза — может быть, чего-то я не учел, чего-то в себе не предусмотрел?

Бывало, в долгих писательских поездках, когда отказывался выпивать за общим столом, почти потрясенные этим фактом хозяева спрашивали: мол, а как же отблагодарить за труд? Чем уважить?

И я без всяких говорил: если не сложно — хорошей парилочкой!

В каких только удивительных русских баньках в полном одиночестве не побывал я: с широкими полками из лиственницы, такими ладными и чистыми, что хотелось на них остаться жить; с бадейками из осины; с только что вынутыми из стожков пахучего сена, где они пластами хранились, березовыми вениками с вложенным внутрь зверобоем и тысячелистником либо полынью; со спелой соломой на прохладном полу предбанничка и логунком кваса с ковшиком наплаву — в углу...

Одно время все эти баньки я прямо-таки коллекционировал в памяти и все собирался об этой коллекции написать: начиналась бы она с Канска — крепенького таёжного городка на севере Красноярского края... Или все-таки со старинного села Кузедеева под Новокузнецком, со столицы реликтового «Острова черной липы»?..

Может быть, и в этот раз надо было заранее баньку попросить?

Потому что завтра должен был состояться праздник, ради которого в Новокузнецк я приехал, а душа моя и без того раскачивалась уже в таких звонких высях!

Комбинат наш только что пережил очередной передел собственности, люди потихоньку привыкали к новым хозяевам — компании «Евразхолдинг»... Привыкали по-разному.

Мне сперва показалось необычным, что многолетний помощник всех «генералов» — генеральных директоров комбината — Александр Сергеич, строгий и четкий блюститель их делового расписания и потому совершенно безжалостный даже к дружеским просьбам таких, как я, празднующихся, в этот раз прямо-таки зазывал меня в давно знакомый кабинет:

— Зайдите к Александру Никитичу, зайдите, пока он свободен!

Александру Никитовичу слегка за сорок, но вот уже добрый десяток лет по должности был замом главного инженера по производству, а по призванию — самым надежным, почти бессменным смотрителем «часового механизма», если представить комбинат как большие часы, бессменным ещё и в том смысле, что на заводе торчал с самого раннего утра до поздней ночи, а то, бывало, и остаток суток прихватывал: не было работы надежней его и самоотверженней, не было лучшей подпорки для всех, которые сменились за это время, «генералов».

И вот он сам — «генерал». Или не рад?

Какое-то смущение появилось в острых чертах лица, голова ушла в плечи, длинные руки перебирают скрепки на столе и будто подрагивают.

— Ты бы написал о нем, — сказал мне Рафик Айзатулов, Рафик Сабирович, предыдущий генеральный, после тяжелого инсульта сидевший теперь в маленьком кабинетике неподалеку по коридору: консультантом. — Командовать не привык, ему тяжело сейчас, Сашке, — поддержи.

— Попробую, — пообещал я.

— Запиши себе, запиши! — настойчиво сказал Рафик.

— Что записать-то?

— Ну, чтобы не забыл мою просьбу.

Я удивился:

— Да ты что, Раф?

— Извини! — сказал, как будто что вспомнив. — Это я теперь все записываю — стал забывать!

Давно ли сидели с ним рядом в концертном зале «Россия» в Москве, и торжественный, одетый с

иглочки, с бабочкою под кадыком — человек года! — Рафик не выпускал из рук только что полученную статуэтку — знак премии «Русский национальный Олимп», а я потихоньку клянчил:

— Дай человеку подержать!.. Отдам — сука буду!

Но даже это не могло тогда лишит старого моего друга ощущения значительности происходящего: происходило-то не лично с ним — со всем комбинатом!

Когда-то я придумал ему отчество, подхваченное потом общими дружками-пересмешниками: Рафик Западно-Сабирович. В честь нашего Запсиба, для которого он столько сделал.

И вот оно: это Запсиб сбил его с ног, Стального Рафа, которому, казалось, не будет сносу, знаменитого на всю Россию сталеплавильщика... Теперь — консультант. Вредное у нас, у литераторов, производство — вредное! В сознании промелькнуло горькое: insultant?

В кабинет к новому Генеральному лисьим шагом вошла пресс-секретарь, очаровашка средних лет в «боевой раскраске» — слоем мази на некогда смазливом лице. На комбинате её недолюбливали: может быть, за то, что об окончании красноярского института культуры говорит с излишним апломбом?

— У губернатора на днях день рождения, — напомнила новому генеральному. — Вам придется ехать: речь я готовлю...

— Речь? — простодушно пугается Александр Никитович.

— А как же! — тоном наставницы объясняет пресс-секретарь. — Все будут говорить. Но нужен подарок: по-моему, я присмотрела. Бронзовый Дон-Кихот... наш губернатор ведь настоящий Дон-Кихот, это все знают. Подпишите здесь...

— Тысяча долларов? — снова пугается Александр Никитович.

— За Дон-Кихота?! — взлетают бровки.

— Для! — поправляю я. — Для Дон-Кихота...

Неискушенный в двусмысленностях генеральный, не дипломат, что поделаешь, — чистый технарь, переспрашивает:

— Для?

— М-можно и так сказать, — стреляет в меня глазками пресс-секретарь: в гостиничном номере я потом долго буду доставать из-под рубахи на груди стрелы, совсем непохожие на те, которыми пользуется баловник Амур, всеобщий любимец.

В дороге мне не очень работается — когда ещё смогу написать о генеральном? Для начала взялся подбадривать его устно, всё больше дружеским тоном, интонацией, которая часто важнее слов: что это ты, мол, Саня?.. Ты же сюда не рвался? Все знают: нет. Ну, а коли занесло, куда деваться-то? Соответствуй!

Он подошел к шкафу с книгами да альбомами, отодвинул стекло, из ряда одинаковых книг вытащил одну:

— Посмотрите в гостинице, может быть, пригодится. Это наш новый шеф...

— Хозяин? — уточнил я.

— Хозяин, да. С ним я знаком не очень близко, а вот приедет на днях его пресс-служба, я вас

познакомлю. Глава её ваш земляк с Северного Кавказа, абхазец Отари...

— Если абхаз — это не земляк! — перебил я значительно. — Это брат. Я ведь приписной черкес, они меня давно: Гарун, Гирей... Два романа все-таки перевел, да какие, какие! А они ведь народы-братья: адыги и абхазцы. Во время конфликта с Грузией адыги им крепко помогли. Первый роман как раз об этом, он и называется — «Сказание о Железном Волке». Который разрушает Кавказ...

— Значит, вы и там — о железе?

— А как без него? Есть достаточно много статей, где говорится о кавказском влиянии на мое творчество, но кто б написал, что «Железный Волк» сработан на нашем комбинате... Запсиб — это на всю жизнь!

Все шутим! — размышлял я потом в гостинице, отрываясь от книжки, которую дал новый генеральный. «Корпорация без секретов», так она называлась. О «Евразхолдинге».

Ожидал, грешным делом, что автор начнет с того, как первый рубль заработал: ну, интересно же! Поделись, брат, опытом, поделись. Мне-то, предположим, он уже не поможет, закопался в свои рукописи, как хомяк в землю, столько понаделал ходов, что обратно из этого лабиринта — уже никуда. Все! Но ребятам помоложе, глядишь, да и пригодится. Разве это не важно — научить их делу. Вон как черкесы: в черных руках всегда — белая копеечка. А мы-то, выходит, проспали свой комбинат. Прозевали. Профукали. Прокакали. Почему?

Когда все это началось, я Рафа подначивал: видишь, мол, карты ложатся как? Сперва ты у нас — Рафик Западно-Сабирович. А теперь оно так может обернуться, что комбинат станет Западно-Сабирским. А?!.. Поднатужься! Разве татарва твоя, которую ты на теплые места попристроил, в обоих конверторных цехах жарится, не скинет тебе свои акции? Или русаки не отдадут? Ты ж у нас народный любимец, Раф, — поднапрягись!

Напрягался он всегда, в эту пору, когда надо было спасать комбинат — особенно, да вот чем дело-то кончилось...

А как же этим московским ребятам-то удалось такой гигант прикарманить — это ведь уметь надо!

Ну, и коли корпорация, видишь ли, без секретов, сейчас мы всю правду-матку и узнаем, сейчас... нет-ка!

Главное, что вынес из этой книжки, — всем на комбинате придется адаптироваться к новым условиям хозяйствования... странное дело вообще-то, странное! У младшего моего друга Олега Харламова, у старшего горнового, за последние несколько лет было четырнадцать переломов костей: так высох у своей печки, что помогал своей Любаше на стол собирать, двумя пятернями нес тарелку горячего супа и мизинец на миг отставил, дверь попридержать, а мизинец — хрясь, и сломался!.. Это у настоящего-то, который только спит без пики да без лопаты доменного «медведя»!

К чему ему ещё «адаптироваться» — уже ко всему привык!

А если сам ты мог ещё недавно с церковной крысой поспорить, кто бедней, а нынче у тебя — десяток миллиардов, вот тут-то, братец, не только об адаптации — о реабилитации психологической не мешает подумать: чтобы нервишки не подвели, крыша бы не поехала...

Разве нет?

Закрыв книгу, стал вглядываться в цветной портрет на обложке: пухленький господинчик в очках держит перед собой сомкнутые пятерни, и над сплетенными сверху указательными торчит приподнятый кончик большого пальца: ну, кукиш и кукиш!

Или та самая магическая «мудра», тайный знак, предназначенный только для посвященных?

Через день-два в кабинете у генерального взял с полки экземпляр «Корпорации без секретов», показал на портрет с кукишем: это куда же, говорю, любопытно, смотрели его наверняка высокооплачиваемые пиарщики, когда всем нам эту хозяйскую дулю показывали?! Такой, говорю, пиардёр, нам не нужен!

Александр Никитович, не бледневший от сообщений, что прорвало центральный водовод или что горячий металл полцеа залил, тут еле слышно прошептал:

— Давайте никому не будем рассказывать...

— Ну, так и мне ведь никто не говорил! — пришлось проворчать.

Ну, словно по заранее кем-то написанному и Высшими инстанциями утвержденному сценарию снова вошла наша красноярская очаровашка:

— Как там губернатору наш подарок, Александр Никитович? — победно спросила у генерального.

— Было человек триста, но он оказался чуть не самым скромным из всех! — живо откликнулся Александр Никитович.

И она прямо-таки выкрикнула:

— А я вам что говорила?

Наш сухарь-производственник, знавший на комбинате в лицо каждый винтик, осторожно спросил:

— Что — Дон-Кихот?

Руки у него, опять со скрепкой, и в самом деле, слегка подрагивали...

А нет ли в том и нашей вины?

Что некогда бескомпромиссного и бесстрашного Амана так вот и разоружили — всем миром.

И кто из нас нынче так или иначе не развращен? Да и мне ли, столько доброго о Тулееве перед тем написавшему, бросать теперь в него камни?

Или это разные вещи? Бросить камень — одно, а правду сказать — другое?

У нас теперь чуть не у всех один ответчик: Кремль. Наша хата — по-прежнему с краю.

В машине Высшей школы милиции, в белой «волжанке», меня «вернули, откуда взяли» — подвезли до заводоуправления, где мы должны были встретиться с Александром Никитовичем, чтобы вместе ехать потом на встречу со «старичками», с ветеранами стройки и комбината: надо мне выполнять просьбу старого друга Рафика, надо!

На месте не было не только генерального, уже не застал и его помощника, и, что-то новенькое, —

даже кого-либо из девчат-секретарш... Пожимая плечами пошел по коридору, ткнулся к новоиспеченному, эх, Сабирович, прости — «инсультанту».

— Что, Раф, «все ушли на фронт», один ты у нас дезертир? — спросил, присаживаясь напротив.

Он опустил трубку и сложил руки на столе. Слегка наклонился и долго вглядывался в меня: будто хотел сообщить что-то важное, и решал теперь — стоит ли?

Удивительное дело: голубоглазый красавец в молодости — тот самый «голубоглазый блондин» — почти таким же он остался и в свои шестьдесят пять: черты лица стали и благородней, и значительней... Железный Татарский Мальчик?

Или все, все мы — Русские Мальчики, как было в войну, которую выиграли наши отцы? Как раз потому и выиграли, что тогда мы были — все вместе.

Раф, Раф! Старый дружище...

Ещё недавно один из «старичков», только что выдавший нас вместе, сказал о нем: мол, наш Сабирович вошел в настоящий мужской возраст — «серебро в голове, золото в кармане и сталь в штанах.»

Но зачем оно теперь ему, все это? Вытащившему в своё время из долгов, — спасшему, считай комбинат.

Он горько улыбнулся: будто подслушал, о чем я думал.

Но твердо сказал вдруг совершенно иное:

— Если бы «все ушли на фронт», этого бардака у нас давно бы не было!

Положил ладонь ему на руки:

— Это, пожалуй, я запишу себе, Раф!

— Запиши, — посоветовал он. — Запиши... знаешь, что никого из руководства комбината не будет на вашем «старческом» вечере?.. Только что прилетел новый хозяин выкуп подписывать...

— Выкуп?

— Темнота, чему вас учили... Основной пакет выкупает. Привез нового генерального. С Урала. Губернатор должен вот-вот подъехать: скрепить высокой печатью. Наши все уже там.

— А ты... — начал было я.

— Хрена ли мне там! — сказал он горько. — Что они — о качестве стали?.. «Раф сделал свое дело...»

Ну, так это он горько сказал!

Опять я бросил ладонь ему на руки и даже голову наклонил...

— Ладно! — сказал он, помолчав. — Дать тебе машину? А то опоздаешь.

— Ты не поедешь?

— Вернется за мной — по междугородке жду звонка. Подъеду чуть позже, — и в глазах у него тоже появился предательский блеск. — Если не забуду... понимаешь, какое дело.

Новенькое? О «настоящем» мужском-то возрасте?

«Серебро в голове, золото в кармане, сталь в штанах и слеза в глазу», да...

— Запиши себе! — сказал я уже с порога. — Вечер ветеранов.

И он покорно, как с предписанием врача, согласился:

— Сейчас запишу, да.

Не записал-таки?

Или записал да забыл потом глянуть в бумажку?

Почему-то мне казалось это важным: чтобы непременно был Рафик.

Место в зале мне заняла Маша Поздеева, вдова когда-то самого задушевного друга... Славка-Славка!

Неужели, прежде чем со всеми нами это проделать, они с тебя начали: совсем иным тогда способом...

Уроженец Севера, из-под Архангельска, отслуживший в Германии танкист, «отличник» всех, какие только были тогда, «подготовок», он и тут, на голом, считай, месте, стал обживать основательно и надолго, к этому же приучал всех вокруг еще в управлении механизации, где начал бульдозеристом, и везде потом, где бы ни был, и — всегда...

После того как закончил техникум, как слесарил, довольно скоро выбился в начальники цеха водоснабжения: вроде бы не громкого, но одного из самых важных на металлургических комбинате, самого, пожалуй, тяжелого...

Но кроме питьевой, кроме технической, они там скоро стали заниматься ещё двумя видами воды: живою и мертвой. Ведь сказкой это считают лишь те, кто давно оторвался от народных корней, а то и вовсе их не имел: Славка был — человек-корень.

И дома у его слесарей выростали лимоны необыкновенного размера и веса, — перед общим чаепитием в цехе их потом взвешивали и отмечали на табличке с фамилиями на стене — и среди зимы зрели помидоры с кулак, а картошку «профессорскую», за которой он сам ездил в Академгородок, они стали сажать потом с осени — на буграх, с южной стороны: только шесть-восемь выращенных по «профессорской» системе картох входили в ведро — урожай собирали сразу в мешки... опять Русский Мальчик?

Проживший пятьдесят с небольшим...

Он был блестящий изобретатель, и довели его, дотоптали, доели обвинительными речами на собраниях, заседаниях, активах, где только нет, — о частнособственнических, видите ли, инстинктах. Еще бы: чуть ли не первый из комбинатских на премии от «рацух» — рационализаторских, значит, предложений — купил «ниву», первый взялся своими руками строить дачу, первый...

Я тогда валял дурочку в Москве, атаманил в Московском казачьем землячестве — слава Богу, что Борис Кустов, бывший в ту пору генеральным, через своих передал: что, мол, он забыл там, что настоящие-то атаманы — в Сибири? Тут что ни бригадир, что ни «бугор», то — атаман, а что говорить о начальниках цехов или о прорабах — не московских, не липовых «перестроечных», а по-прежнему, как были, — железных?

И я приехал и отработал на Запсибе пять лет, в самую трудную свою, спасибо вам, братцы, пору! Но

начал с того, что первым делом постарался Кустову доказать: что тут у нас натворили со Славой Поздеевым, который один, выходит, шел той дорожкой, на которую теперь ринулись все?..

И Кустов приобрел для Поздеева американский прибор, определять в крови сахар, передал для него кучу лекарств, а гроб нести приехали потом два его первых заместителя... как поздно, ребята, ну — как всё поздно!..

...и вот они теперь там сидели, и новый хозяин наставлял их, как жить, и губернатор, наш Дон-Кихот, бывший наш простачок, любимец нищих старух с кэпээрэфовскими билетами и бесстрашный переговорщик с террористами, которые, ну, как нарочно, где только ему не встречались, готовился благословить «выкуп»... или всё уже подписали?

Иногда, чтобы оглядеть громадный зал, я вставал и беззастенчиво вертел головой: что ж тут такого — все свои. Кто-то вдруг вскидывал руку или начинал махать обеими, и я вытягивал ладонь, вижу, мол! Рукою указывал на выход и снова семафорил пятерней: мол, в перерыве обнимемся...

— Павлик с тобой хочет, — сказала Маша и повела головой вглубь зала. — Машет тебе: отзовись!

Павлик Луценко, тот самый — «Пашка, моя милиция...»

Прилюдно арестовавший когда-то в поселке начальника стройки Нухмана, тоже легенду, за то, что на «ноябрьские» у всех на глазах, подвыпивший, вlepил в ухо вербованному: высокой справедливости ради в городе начальнику впаяли трое суток, больше нельзя было, стройка — ударная!

Вскинулся, нашел Павлика глазами, снова стал жестами — как говаривали на рапортах чуть не все наши отцы-строители с ударением на последнем слогe — на пальцах стал объяснять: мол, увидимся! И он снисходительно покивал, руками развел и тоже приподнял пятерню: не беспокойся, куда, мол, ты — от милиции?

— И Нухман здесь? — спросил у Марии.

— Абрам Михалыч? — уважительно переспросила. — Подходили с девочками с ним поздороваться... Сейчас покажу, где сидит...

Сама она из первых на стройке сибирячек, всем классом приехавших сюда из пригородной Байдаевки, разумеется — за романтикой, тогда за нею приезжали многие: к сосланному сюда за непокорство и своеволие Нухману.

— Как он?

— Ты знаешь, как огурчик! — сказала с радостным удивлением, но как бы и с застарелой болью: Слава, Станислав Андреич её, спиртного на дух не переносил, ни с кем не выпивал, и это тоже было негласной его виной. Сколько пришлось ей пережить, когда он, с неумемным его характером, ослеп, когда с трудом передвигался по комнатам.

А Нухман в свои девяносто без рюмки не садится за стол!

Когда получил свой трехдневный «срок» и под присмотром уже городской милиции на трамвайных путях лед окалывал, новостроечные наши, поселковые ухари ездили туда его подзуживать: мол, получается у тебя, начальник, — умеешь!

— В том-то и дело, что я и этому давно научился! — проговорил он, не отрываясь от лома. — А вас-то и сюда поставить нельзя: не будет толку!

Великие люди были — эти, настоящие-то наши прорабы!

А, может, потому-то и не дали снять тогда двухсерийный фильм по «Пашке, моей милиции», что



другие прорабы, из разрушителей-передельщиков, были уже на подходе?

Пять лет назад, на празднике сорокалетия «первого колышка», попросил его: внесите, мол, Абрам Михайлович, ясность. Какой из братьев Юдиных вбил его, в конце-то концов, — Виктор или Иван?

— Если честно, не помню, — признался он простодушно. — Наверно, выпивши был...

Завязанный-перезавязанный всеми, какие только могут быть у нашего брата, у пьющего писателя, узлами, нарочно виновато сказал ему:

— Давайте хоть чокнемся!

Палец, когда стал ему наливать, к бутылке он приложил не под горлышком, а, старая школа, сверху: вдруг недолюю?

— Ну, хватит, — удовлетворенно сказал потом. — А то я сегодня тут — чуть уже не со всеми... помнят меня, ты знаешь!

— Девчата передали ему, обернулся, — проговорила Маша. — Поздоровайся!

И солнышком блеснула в передних рядах облетевшая, как одуванчик, головка нашего первого начальника: обернулся, взгляделся, улыбнулся. И покачал ладонью как из правительственной машины значительно: морозоустойчивый наш бесценный реликт.

Сколько всем им, сидящим в зале, мог бы нынче сказать, но по откровенной просьбе главы нашего района, опытного царедворца, буду помалкивать. Слова мне не дадут: могу нарушить торжество неожиданной речью или еще какой-нибудь своевольной выходкой, как нарушал, бывало, собрания в то время, когда он был секретарем парткома на стройке...

Одни и те же герои?

Из них, из них-то.

Да нет, вот они и нам воздают должное... Двое молоденьких ведущих, он и она, перехватывают речь друг у дружки: когда-то, мол, вы пришли на пустырь... своими горячими сердцами отогревали мерзлую сибирскую землю... не бросали в беде... подставляли плечо уставшим... задымили трубы, выросли заводские корпуса... стали настоящими мастерами... эстафету трудовой славы сегодня подхватили молодые... спасибо за ваш труд, за ваши щедрые сердца... за то, что всё отдали...

...этому господинчику в очечках и с кукишем?.. Который теперь призывает всех адаптироваться. Он — сидящих в этом зале и всех, кто в Кузне живет... Кто-то другой из них — в Норильске призывает... в Красноярске... в Москве и в Питере будем адаптироваться. Сокращаться и упрощаться, а что? Уж как-то да ко всему приспособимся: да здравствует наш адаптированный народ! Да здравствует единая адаптированная Россия... или уже — можно и с маленькой буквы? Россию-то. Адаптированную?

Ну, как это свое смятение объяснить?..

Закричать?

Ведь крикнул же, когда среди первых добровольцев-москвичей назвали несуществовавшего никогда Ветчинова, ведь крикнул же:

— Серёжа Вечтомов!

Его здесь нет, вообще неизвестно никому, где он, бетонщик, мечтавший стать дипломатом, — стал? Где работает? Где живет? Жив ли?

Но давайте назовем его своим именем.

Выходит, если дело касается всего-то одного человека, и то душа хочет правды, а если касается — нас всех?!

Закричать?

— Ну, сколько можно лапшу нам на уши вешать, тем более тут, — душа не принимает больше брехни, ну, — хватит!

Рубаху на груди расстегнул, повел туда-сюда головой, полуобернулся на пригорюнившийся зал, и увидел вдруг Саушкина... что он-то тут делает? И кто это рядом с ним — седой человек с крупными чертами лица и молодыми глазами?

И тут меня вдруг достало: что я им там наговорил!

И ребятам из Высшей школы, и этим-то: «лесным братьям»...

Давал урок искренности, открытости, звал к справедливости и к добру... какая справедливость? Какое добро?

Как они станут то и другое защищать? Кто им даст это сделать?

Обречены на вечный душевный разлад, и это я их тоже неразумными своими, несдержанными речами к нему подталкивал!

...На сцене одетые «под первопроходцев» девчата и парни запели под гитару знакомое: «Нас с тобой засыпали снега, продувала жестокая вьюга. Здесь мы поняли, как дорога помощь друга, хорошего друга. Было первым из нас нелегко. Мы к палаткам привыкли нескоро. Но теперь мы ушли далеко: за плечами оставили город. Говорят, что нам не повезло, что живем далеко мы от дома, только знаем: метелям назло загудит наша первая домна. Мы подругам в суровые дни согревали дыханием руки, чтобы к звездам ушли корабли, чтоб вели их упрямые внуки. Чтобы там, завершив перелет, на планетах чужих рассказали, что они привели звездолет из горячей запсибовской стали!»

Неужели, и правда, это я сочинил когда-то эти слова?!

В шестидесятом стихов уже не писал, один за другим печатались очерки, пошли первые рассказы в Москве, но я решил потряхнуть стариной, стих составил и подписал под ним ещё и фамилию дружка, ростовчанина Роберта Кесслера, Роба, он всех нас забавлял заумным верлибром, вслед за Валюшей своей подался потом в биологи, тоже доктор теперь, писать не бросил, но «выдурился», как бы сказали в моей станице — какой великолепный стал теперь поэт, мастер классического стиха, но кому она теперь — классика? А я тогда, как старший, хоть всего-то на пару лет, очень хотел, чтобы и ему, бродяге безпризорному, казаку по матери, немцу по отцу, остался на память этот наш новостроечный стих, искренний по тем временам... или она ещё тогда началась, государственная фальшь, а теперь достигла своего пика, мы за все только начинаем расплачиваться, а за душой, кроме нищих внуков, и в самом деле, упрямых — ничего! Но то ли ещё будет?!

— Господа ветераны! — раздавался со сцены звонкий голос. — Дорогие наши первостроители!.. Официальная часть нашей программы окончена. Желающие могут перейти через дорогу, в ресторан «Сибирь», где вас обслужат вне очереди...

— Вне очереди? — нервно выкрикнули из зала. — Или?.. Или?!

— Вы правильно поняли, господа: только — вне очереди...

Возникла скромная тишина, и посреди неё громко разнеслось насмешливое:

— А ты, земля, уже и губы раскатал? Готовь ваучеры!

Кто-то взял меня за локоть, потянул от Маши в сторонку:

— Приказано сопроводить...

Маша сказала понимающе:

— Ну, увидимся!..

Я попробовал сопротивляться:

— Куда это?

— К своим, к своим...

— А кто там?

— Наши все... машина тут за углом...

В уютном, сверкавшем чистотой банкетном зале буквой «П» стояли щедро сервированные столы, за ними рассаживались вроде бы давно знакомые люди...

С одним, с другим поздоровался, о чем-то переспросил, тут же понял: организовали те из наших «старичков», у кого теперь свое производство, кто в люди выбился... ну, средний класс, да.

А кинули, выходит, всех тех, кто остался «за чертой бедности»...

Предатель! — говорил я себе. — Какая же ты мелкая подлюка!.. Ребята будут искать тебя в «Сибири», станут друг друга переспрашивать: мол где Старик?.. Или многие оскорбятся и туда не пойдут?.. Другие — и в самом деле, не смогут по бедности. Растекутся на группки, побазарят, окончательно скучкуются, скинутся, пойдут сперва в магазин, отправятся потом пить по квартирам... с кем-нибудь из них и пошел бы, тем более, что там, и правда, осталось столько своих, с кем не только поговорить — не успел поздороваться...

Тут, что ли, заорать?

Нарушить добропорядочные речи...

Народный заступник... эх, ты!

Такая смута была на душе.

Пить я и тут не стал, как не пил за чистосердечным, за полным полузабытого офицерского благородства столом в Высшей школе — уже после встречи с «лесными братьями»...

Но, может быть, помаленьку стоило?

Чтобы спустить на тормозах этот захвативший душу раздрай и хоть слегка уменьшить чувство личной вины за всё, за всё, за всё, что со всеми нами случилось...

Раненько утром со старым товарищем, фотокорреспондентом Толей Кузьяриным, выскочили, как договаривались, в Кемерово, где нас ждала другая машина: ехать в Мартайгу. В Мариинскую тайгу. В знаменитую Чебулу.

Ночью пронесся ураган, наша «волга» мчалась то сквозь обрывки дождя, то сквозь ярое солнце, и сердце у меня стучало под горлом: предатель!.. Предатель!

Провожать нас до Кемерово поехал сын старых друзей Засухиных, почти родственник Алешка, добрая душа, не так давно отошедший от автомобильной аварии бывший сталевар, которого я так и не смог устроить на комбинат и только теперь понял, почему... Слово Александра Никитича, временного генерального, уже ничего не стоило — один я этого не знал, все ждали нового хозяина и новых решений... Ждали очередных перемен.

Но главные перемены со всеми нами уже произошли: чуть ли не в каждом.

Или уже — во всех?

По принятой в Кузбассе — а, может, по всей Сибири — традиции белая «волга» директора Чебулинского лесхоза Дерябина стояла на придорожной полянке, а сам он ждал на обочине шоссе, по обеим сторонам которого вздымалась черная, ели да пихты, глухая тайга...

— Скажи, Александрович! — начал я растроганно, когда обнялись. — Дорастут ли кедёрки, которые ты мне дал, до этих великанов?.. Который уже год сидят под Москвой — ну, хоть бы до пояса вытянулись, ну, — как застряли!

— А так — веселые, крепкие, не желтеют? — спросил он с интонацией доктора.

— Да тугие, зеленые, — вроде бы все в порядке, а вот...

— Тоскуют по родине! — сказал Толя, который уже ходил со своим «кодаком» вокруг, выискивал «точку» для съемки. — Ты оглянись, оглянись-ка — посмотри: какая она у них — родина!

День был тихий и солнечный, небо высокое и голубое, с белыми барашками облаков, которые будто нарочно отступили к горизонту, чтобы подчеркнуть ширь полого уходящей вниз яркозеленой поймы с проблесками петлявшей между плоскими сопками еле видной от нас реки.

Промытый весенними дождями Кузбасс всегда хорош в эту пору, когда неистребимый дух разогретой земли, с прущими из неё дикими травами, даже в городах на короткое время забивает неживую вонцу металлургии, химии, угольной пыли. Здесь же, на вольной волюшке, дух этот как будто справлял свое торжество... Потягивало мокрой прелью, подсыхавшим прошлогодним листом, разогретой к полудню хвоей, но все это было лишь необходимой приправой к тугому и теплому запаху дикого чеснока, черемши: Владимир Александрович, не раз отправлявший её для меня в Москву, специально небось выбрал местечко неподалеку от колбища.

И тут раздался виноватый и томный кукушечий стон, глухо сливавший воедино слабую надежду и безысходную тоску... непременный — как цыганская скрипка в уютном, под старину, ресторанчике — аккомпанемент таких вот таежных встреч: на покрывающей багажник «волги» чистой тряпице, как на скатерти-самобранке, чего только нет, и вяленый лещ, и соленые помидорчики, и грибочки, хотя в такой обстановке хватило бы и одного, неизменного всюду «тройственного союза» — буханки хлеба, куска сала и пучка черемши...

На правах хозяина Владимир Александрович разлил по тонким стаканам «на два пальца»:

— Со встречей?

— Пока не забыл, Александрович! — остановил я. — Ещё прошлый раз хотел расспросить. Почему это место — Чебула?

— А-а, — протянул он. — Сейчас... вообще-то не Чебула. Раньше она была — «Чи». Рассказывают, когда казаки-первопроходцы вышли к речке, — и повел к пойме рукой. — Вон поблескивает водичка!.. Вышли, и она им так понравилась, что загуляли с устатку, да так загуляли, что утром проснулись: нету речки! Ну, нету — как не было. Один другому и говорит: дак, а чибула она? Чи не було?..

— К своим попал! — сказал я невесело, но как бы с былою лихостью.

— В каком, Леонтьевич, смысле?

— Давай-ка сперва, Александрович, — за встречу!

Солнце пекло, надрывалась кукушка, дух черемши уже был сильно разбавлен ею, проклятой, а я в который раз принимался объяснять, почему я к своим попал: в казацкое прошлое. К первопроходцам.

Ну, как же, как же — только туда нам теперь и можно уйти, это всегда будет наше, все остальное отняли... да под какие опять слова!

А тут все верно: Кузбасс на казацких косточках стоит.

Раскулаченные да расказаченные терские, донские, кубанские за колючкой да вне её в двадцатые да тридцатые годы били шахты, поднимали металлургию, которая раздолбала потом знаменитый немецкий Рур... А сразу после войны сюда-то как раз — «на смену павшим, в борьбе уставшим» — и привезли выданных иезуитами-англичанами Сталину в австрийском Лиенце тридцать тысяч казачков, воевавших на стороне немца: в юргинских лагерях помирали, в кемеровских, беловских, киселевских, прокопьевских, кузнецких...

А на смену лагерям пришли ударные стройки с казачьей вольницей: бывало, идешь по поселку, и чуть не из каждого окна — тут хлопцы коней, слышать, распрягают, здесь доверчивую черноокую Галю «забрали с собой», а там, слышишь, с нашим атаманом не приходится тужить... где они, где нынешние наши атаманы, с которым народ, и правда, не тужил бы? Сколько ж ему, бедному, тужить-то можно, ну — сколько?!

Эх, как знали первопроходцы, что для своих стараются, богатые и красивые для жизни места выбирали, да только была она, жизнь, было всё это, и действительно, или не было этого ничего?..

Да и вообще: что было-то, Александрович, на самом деле? Что было-то?

Или ничего и не было, так...

«Була» ли, плесни-ка ещё, Александрович, моя ударная стройка, наша стройка, было ли наше крепкое товарищество, наше братство, наши надежды и наша вера, — не та, знаешь, официальная, которая первая потом нас и сдала... А вот эта: от первопроходцев, которые когда-то тут загуляли, от казачьих косточек на Тыргане да в Сибирге и косточек от сибирских дивизий под Москвой, мой семилетний мальчик, наш Митя на Востряковском, так вышло, кладбище похоронен рядом с братскими могилами, кто в московских госпиталях умер от ран... сколько лет они ещё помирали! Может, Александрович, до сих пор помираем?

Все?

После смертельной раны в той великой войне.

Только не хотим себе в это признаваться.

А остаются лишь мародеры, Александрович, их время пришло, остальным надо адаптироваться — хочешь, Александрович адаптироваться?..

Даже вот кедёрки твои не хотят под Москвой у меня адаптироваться, под Звенигородом, ну, не хотят, и все, но нам-то с тобой, умные люди настоятельно советуют: придется!.. Или все же не станем?!

Давай вот тут прямо и решим, чтобы казаки эти слышали... над нами. Та-ам, наверху. Которые первые в этих краях... в Кузбассе нашем, а, может, первые в России задумались: что было, а чего нет.

Главный, скажу тебе, Александрович, нынче вопрос!

10

Потом я стыдился, переживал, как мальчишка, мучался и винился, что загулял тогда: старый дурак!

Но этот сибирский, родом из Чебулы, вопрос, так и саднит в душе, так и держится непрестанно в сознании: что было, а чего как бы вовсе и не было? В нашей жизни. В истории нашей.

Поди теперь разберись!

Два десятка лет назад, когда мы часто общались, я получил письмо от питерского литературоведа, доктора философии Юрия Андреевича Андреева, от Юры — тогда ещё начинающего, а нынче одного из самых знаменитых, не из шарлатанов, целителей, может, встречали хотя бы его «Трёх китов здоровья»?

«Помни всегда, — писал Юра, — что на наше с тобой (вставшее сразу после войны) поколение легла провиденциальная задача.

Ибо те, кто шли перед нами, при всех своих достоинствах, были либо ударены культом, либо развращены номенклатурными благами. Те, кто идут за нами, увы, в значительной степени растлены потребительством, 18-ью годами брежневской беспринципности.

За нами же — и высокая вера, и умение работать. Наше поколение — соль земли. Не забывай никогда: ты — соль поколения.»

К письмам отношусь с непростительной беззаботностью, но это почему-то хранил и держал на виду. К нему теперь можно относиться по-разному, но разве Андреев не угадал, что мы, выражаясь хоккейным термином, «попали в коробочку» между двух поколений. Да какую жесткую, какую безжалостную... милый Юра!

Ты, как философ и врач, наверняка размышлял и над последствиями травмы, и над возможностью выздоровления... Или это и — всё?

Мы тоже сделали свое дело. Тоже можем, как друг мой, Стальной Раф, уходить.

Ну, не спеша... Чтобы не было давки на кладбищах.

Но мы пока живы!..

И что нам делать с нашей памятью, которая хранит и тягостное отступление Красной Армии, и молчаливо-горькую оккупацию, и радостное возвращение наших... Да что там! Ту самую, «окопную правду», до которой до сих пор так тяжело скребутся якобы классики, мы слышали в очередях за хлебом, когда считались меж собой безногие да безрукие... Все тогда в них болело, каждая мелкая подробность значила многое, всякий день на передовой имел свой тяжкий, почти неподъемный вес... А как мы ждали почтальона, как наши матери пытались последним его угостить, будто это зависело от него: послать на смерть? Не послать?.. Как страшно кричали у ворот получившие извещение женщины, и потихоньку им начинали подскуливать наши сверстники и подвывать голодные псы, не только жившие тогда на самообеспечении — нет-нет, да приносившие домой перехваченный на кухне у немцев кусок — для нас, для детишек.

А как мы тогда играли в войну?

Это для наших внуков игра потом стала называться «войнушкой», но тогда!..

Когда однажды на стройке разговорились за чаркой, у кого какие остались после немцев трофеи, кто с чем потом ходил «на войну», Дима Синютин, ставший потом редактором нашей газетенки, долго и благодушно слушал наши рассказы, а после вздохнул:

— Гранаты... мины... порох из снарядов — всё это, мальчики, не то! Мое село стоит рядом с Прохоровским полем, туда мы и ходили потом играть... А как? Подбитых танков полно, орудий недоломанных тоже. Двигаться не может, а башня вращается, и боезапас внутри будь здоров — убирать некому, все это стояло возле нас несколько лет... Поделится на «наших» и на «немцев», в машины заберемся и давай друг дружку — тот из пулемета бьет, а этот по нему из орудия лупит. Когда снаряд из танка в село залетит, старухи разгонять бегут. Матери наши — в поле...

Может, другие этого вовсе не ощущают, и только мое поколение, четыре года, в самом отзывчивом возрасте, жившее письмами с фронта, похоронками, слухами, рассказами вернувшихся с войны раненых, разрывающими душу песнями слепых гармонистов со светившимися от голодухи насквозь мальчиками-поводырями, сводками Совинформбюро, которые не обходились без горьких комментариев, жестокими, сколько ребят подорвалось, играми — может быть, все это и сделало наше поколение наиболее восприимчивым к неправде, ко всякой, даже малой брехне? Ну, хватит, хочется кричать, хватит — давно через край!..

Или не чувствуете, что якобы старорусский двуглавый орёл давно стал для нас символом двоедушия и двурушничества?

Ну, где вы все были, когда в центре Москвы распродавали зарубежным туристам кровью добытые ордена наших отцов, когда те десятками скупали серые солдатские ушанки со звездочкой и генеральские папахи из каракуля... да и только ли, только ли это?

После сибирской стройки, где прошло больше десятка лет, после Кубани, на которую вернулись из-за детей, мы перебрались — из-за них же, в Москву, и в мае, в день Победы я непременно ходил к большому театру, где собирались бывшие фронтовики, ездил к Парку культуры либо потом — на Востряковское кладбище.

Возвращался однажды в полупустом троллейбусе из центра и на Новослободской, возле метро, в салон взобрался на костылях одноногий инвалид с орденами на пиджаке... Троллейбус дернулся, я вскочил поддержать вошедшего и помочь ему сесть.

— Не надо! — сказал он с неожиданной болью, продолжая стоять на задней площадке. — Вообще за нами меньше ухаживайте... Герои погибли первыми! Теперь их не осталось, героев...

Он был почти ровесник, но я сказал ему искренно:

— Спасибо, отец! За правду.

Это всегда жило во мне, несмотря ни на что: настоящие герои давно погибли.

Но разве за этим не следует совершенно закономерное: за что?

Считалось, «за Родину, за Сталина».

После взялись поговаривать: мол, «за Родину заставили.»

Но Родина в неприкосновенности оставалась и здесь.

Так за неё, хочется спросить, — чтобы жила, богатела, расцветала и разноплеменные, сообща защитившие дети её, были счастливы?..

Или — за вымученную государственную ласку по большим праздникам, для тех, кто остался жив: чтобы хоть слегка прикрыть очевидный для всех национальный позор?

11

В Касабланке у Миши появился русский сменщик, зиму он прожил в заваленном снегами дачном поселке под «высоковольткой» возле нашего Кобякова, и однажды ранней весной сказал мне:

— Внимательно следи за березой. Как только лист станет с копеечную монетку, у нас с тобой будет дело.

— Что-то новенькое, — ответил. — На веники режу всегда после Троицы...

— Голодной куме — блины на уме... или как там? — переспросил он с мягкой своей улыбкой.

— Кто про что, а вшивый — про баню! — взял я на себя «прямой текст».

— Да нет же, — разулыбался он. — Баня ни при чем. Тут, знаешь, в чем дело?.. Гуси всегда прилетают из теплых стран в эту пору, когда березовый лист только-только начнет распускаться... говорю, с копеечную монетку...

— Гуси-то причем?

— Русский Мальчик, где бы ни был, появится их встречать...

— На севере?

— Зачем — на севере? Дома!

— Прямо домой к нему прилетят?

— Те, что у него живут — прямо домой...



— Да как, ты объясни, дикие гуси могут жить дома? Осенью улетают, а зимой возвращаются?.. Так, что ли?

— Представь себе!

— Вот это уже «двадцать два», — сказал я ему. — Как в картах. Как в «очко» — перебор!

— Так, а что мы вообще-то знаем о гусях? Что «Рим спасли» — это и всё?

— Не надо! — сказал я твердо. — Тут как раз кое-что... Не говорил тебе, что как-то ранней весной ездил под Нижний Новгород гусиные бои смотреть? Там есть такой городишко — Павлово.

— Говорил, — согласился Миша. — Он там несколько раз был.

— Кто? — удивился я.

— Русский Мальчик! Про Павлово он и говорил.

— Миша! — тоном пришлось его упрекнуть. — Я-то — о себе!

— Выходит, и ты там был?

— Ну, конечно! Ездил туда со старыми гусятниками...

— Тут недалеко от Подольска живет один фермер... то ли Золотников, то ли...

— Золотухин! — поправил я.

— Вот с ним он и ездил, Мальчик...

— Да ты что?!

— И правда что, мир тесен! — рассмеялся Миша. — Выходит, могли ехать в одной машине...

— В тот раз — нет. Когда я с ним ездил. У Золотухина «газель». В кабине трое. С нами был молодой гусятник из Курска, приехал со своими птицами с вечера. Вместе ночевали у Золотухина, чтобы утречком в дорогу — пораньше...

И так мне живо все это представилось!

И ярко пылавшая русская печь с полукруглым челом на первом этаже рубленного золотухинского дома — чело такое широкое, что подбрасывая метровые поленья, пожалуйста, а под высоким кирпичным сводом можно потом на корточках и веничком побаловаться — такой свод высокий... И долгое наше сиденье с вечера напротив озарявшей лица громадной печи, за просторным столом с толстой, из липы, столешницей, и удивительные рассказы хозяина о голубях и гусях, и раннее, с морозным туманцем и хрустким ледком, утро, когда выехали в Нижний...

— Что в кузове? — с нарочитой строгостью спросит потом молоденький лейтенант-гаишник, когда нас остановят уже под Владимиром.

И Золотухин охотно откликнется:

— Бойцовые гуси!

— Что-что?!

Все вылезем из кабины, высокий, жилистый Золотухин, закинет наверх брезент, и лейтенант сунется

к большим, похожим на сундуки, плетеным из лозы корзинам, которыми доверху заставлен кузов «газели». Гуси в них переминались, потопывали, тихонько и мирно гундели, гукали, от них доносило слабым птичьим теплом.

— И что — будут драться? — недоверчиво спросил лейтенант.

— Ещё как будут! — пообещал Золотухин.

И молоденький «гаишник» совсем по-мальчишески вздохнул:

— Хэх ты, ну прямо, хоть бросай тут все и давай с вами: поглядеть!

— А за чем остановка? — невозмутимо поддержал Золотухин. — Я на твоём месте так бы и сделал!

Переночевали на окраине Нижнего у местных «гусятников», тоже встали чуть свет, а через два-три часа были в Павлово, в старинном городе мастеровых, который и сейчас славится перочинными ножиками всякого вида, хитрыми замками, голосистыми канарейками и удивительными лимонами, у которых тоже свой секрет: чтобы вырастить настоящий павловский лимон, надо знать «слово».

До недавнего времени тут были также петушиные бои, посмотреть на них, сделать ставки да попробовать выиграть сюда съезжалось якобы пол-России, но после нескольких крупных драк, восторженными зрителями в которых были уже петухи, бои запретили, зато гусиные остались — это дело благородное, чистое, безденежное... Потом, правда, знающие гусятники поговаривали, что и тут был играющий люд, как без него — ставили и местные, и приезжие, но все это шито-крыто, потихоньку, потому что за боями наблюдали дамы из отдела культуры, которые вдруг решили взять бои под своё крыло, — старых гусятников прямо-таки трясло при виде этих расфуфыренных дам — и единственный милиционер следил за птичьими схватками то с одного, то с другого места: потихоньку обходил сзади обширный круг, незаметно поглядывал...

Дерутся гусаки, но каждый «гусятник» привез со своим в корзинке кто двух, а кто трех гусынь: чтоб было из-за кого биться и было кому дерущегося подбадривать... весна, что ты!

Солнышко греет уже во всю, как бы не растопило снежок на расчищенной, на вытопанной обширной площадке на окраине города... Рядом с нею полно машин: и легковых, на которых приехали просто поглазеть на гусиный бой, и иномарок с одной корзинкой в просторном багажнике, и «газелей» да крытых грузовых с выставленными возле них на землю плетеными сундучками — откуда только, судя по номерам, люди не приехали. Есть даже заграничный номер — эх, из Минска... Но есть и несколько санных возков — из окрестных поселков на лошадаках приползли соседи-завистники, которые и Павлово-то называют не иначе, как «Падлово». Самые знающие, самые опасные конкуренты со злою до драки птицей: и хозяйева, и будто бы даже гусаки тоже весь год живут одной мыслью — на боях «наказать падловцев».

Но ты сперва попробуй, попробуй!..

Вынимают из корзинок, бережно несут на руках и самих бойцов, и «группу поддержки». Гусаков опускают рядом друг с дружкой, и за каждым на утопанный, с черными пролысынами мерзлой земли, снег чуть поодаль ставят гусынь.

Если птица на боях не впервые, не только знатоку — и настоящему любителю чуть ли не все о ней известно: от каких родителей, какого нрава, когда и кого одолела, чего боится, а чего нет, и чего от неё можно ожидать... Сами гусаки знают о себе меньше, до многих сразу, видать, и не доходит, почему здесь оказался, да не один, а с подружками, которые сперва деловито оглядываются, мирно погукивают, а потом начинают беспокоиться — бывает, раньше уверенного в себе, в самой поре, бойца...

Вспоминает ли гусак, что было в прошлый раз, просыпается ли в нем подпитанный весенним током крови, подогретый первым солнышком древний инстинкт? И вдруг не понравится, что противник,

который ещё и не противник, а так, случайно оказавшийся рядом незнакомый самец, дернул вдруг шеей и опасно повел клювом — так или иначе, птицы начинают друг дружку пощипывать, грудью налетать, бить крыльями, но все это лишь зачин — сам поединок начнется, когда обе ухватят клювами, словно клещами, одна другую за крыло поближе к корпусу, свяжутся в единое целое и станут то медленно кружить, то взад-вперед подергиваться, бить противника одним крылом и снова потом с ним сплетаться, и так и пять, и десять минут, и полчаса, а мощные и равносильные птицы, бывает, и по часу, по два, по три — недаром же в этом болельщицком «всеобуче» то там, то здесь слышится один и тот же рассказ: мол, как раньше-то в России? В седую старину. Богатые владельцы настоящих бойцов их выпускали, а сами уходили в ближайший трактир, попивали там себе чаек, и не только, разговоры о гусях разговаривали да заключали пари — большие дела решали, а потом либо половой, трактирный слуга, значит, специально ждавший на бою, прибежал, либо человек из собственной дворни: пора и вам быть, Иннокентий Силыч!.. Данила Самсоныч, наш взялся!

И хозяева чемпионов, не торопясь, промакивали салфетками усы, оглаживали бороды, медленно и важно выходили, значит, к финалу, поединка.

Где ты, старая эта Русь?..

Или даже птица стала теперь слабей, или после долгого перерыва еще не возродилось истинное мастерство старых гусятников, но схватки были, конечно же, куда покороче. Какой, случалось, напрочь отказывался драться, как бы его не понуждал хозяин и сами гусыни, казалось, не подталкивали. И это не худший вариант, просто молодой, не натерпелся, у такого ещё все впереди, время пройдет — станет бросаться первым. А другого тут же снимали за запрещенный удар клювом в птичий затылок, и тогда слышались комментарии иного рода: это, мол, с ним уже не впервой, все, надо вечером к хозяину в гости идти — не миновать лапчатому кастрюли...

На все это можно глядеть часами, лишь бы вытерпел, потому что только у гуся ноги не зябнут, но ещё любопытней, чем за бойцами, следить за их хозяевами... особенный народ, конечно, — особенный! Кого здесь только нет: и вальяжный директор московского завода, к черному «джипу» которого то и дело спешат погреться приехавшие сюда из ближних сёл на лошадках гусятники. Какими напитками, с какими наклейками они там греются — видать даже издали; и группка фермеров из разных краев, которые так и льнут к высокому и жилистому Золотухину; и трое тихих нижегородских ученых-физиков, которые с заученным терпением ожидают исхода схватки, как результатов очередного опыта; и двое молодых офицеров в зимних лягушачьих ватниках и в утепленных сапогах, но уже в фуражках с высокими, как у диктаторов банановых республик, тульями — эти-то где умудряются гусей держать, если и самим поди негде жить?

Но главные действующие лица — сами павловцы да их оппоненты, которые не совсем так их обзывают — иногда и на крике.

В старых козушках и подшитых валенках, в заплатанных телогрейках и сиротских треухах, кто кривенький, шея чуть не длинней плеча, а кто косенький, но столько азарта в лицах, столько то озабоченности, а то непреклонности, что можно подумать: после гусаков своих начнут биться сами — оттого-то и вид такой, что случалось это уже не однажды...

Сами павловские были и чуть лучше одеты, и чуть сдержаннее, хотя куда там!

Когда окончились бои, несколько машин, наша «газелька» в том числе, стали пробираться на одну из окраин, где жил дедок, чей гусак в очередной раз перетер крылья соперникам... Ехали по крепенькому и чистому деревянному городишку и таким же был домик, где с пирожками ожидала нас округленькая, в отличие от своего худющего супруга, хозяйка... какая, и правда, кругом была чистота, как все блестело!.. Пошел в нужник на заднем дворе и долго стоял в дверях: не разуться ли?.. Все было застелено половичками из ряда, все обшито разноцветными лоскутами, на оклеенных веселыми обоями стенках висели тряпошные карманы и карманчики...

Чемпиона с двумя подругами, не очень крупного, но тугого даже на вид темно-серого гусака, так и оставшегося после нескольких хорошеньких трепок прямо-таки литым, ну перышко к перышку, уже

перенесли в крошечный загон, примыкавший к окошку в полуподвале дома, где была кухня: чтобы хозяин, когда завтракал-обедал или когда распивал чай, видел бы своих подопечных...

Теперь мы сидели за снесенными из всех комнат и впритык составленными столами — ну, прямо, как в горнице у Золотухина, а гуси сверху тянули шеи, по привычке заглядывали через окно: мол, как там хозяин?.. Чем это он и с кем занимается?

Занимались, известное дело, чем, но разговоры при этом, разговоры! И правда, жизнь моя была бы бедней, не случись этой поездки на гусиные бои с Золотухиным.

— Ну, что? — тонким, хриловатым голосишком начал вставший с рюмкой в руке хозяин. — Уйди с нас беда, как с гуся вода!.. За это давайте!

Довольно загудели, начали привставать чтобы чокнуться.

И вдруг заговорили все сразу и обо всем, заговорили громко, напористо, и только худенький, как мальчик, хозяин деликатно помалкивал, поглядывая на всех чистыми, как у ребенка, мудрыми и тихими голубыми глазами...

Странное дело: не помню сейчас, с бородой он был или чисто выбрит? Но очень хорошо помню этот удивительный, словно из глубины народной, внимательный взгляд...

Был он на кого-то из прежних моих добрых знакомцев сильно похож, но я никак не мог понять: на кого?.. На самодеятельного художника Ивана Селиванова из сибирского Прокопьевска, якобы примитивиста, которого московские умники заставили-таки поступить учиться в какой-то заочной академии, в которой и остались потом у московских «учителей» на руках почти все его бесценные картины?.. На конструктора Калашникова, внешне такого же мальчика, но уже сильно избалованного победами на олимпиадах и конкурсах, слишком хорошего знающего себе цену и в мальчика больше играющего, нежели оставшимся таким... а правда, правда!

Сколько с Калашниковым общался, сколько рядом работал, а все не мог постичь какую-то его тайну, которую прячет не только от всего мира — даже от себя, и то прячет. Годами выработанная при советской власти привычка «закрытого» творца оружия?.. Закрывали его, закрывали — взял, и сам, наконец, закрылся наглухо. Весь в орденах на генеральском кителе и в глянце журнальных обложек.

А живая жизнь вот она: эти съезжавшиеся в Павлово кривые да косенькие хитрованы в своей рванинке... тоже празднуют небось там сейчас, половина чемпионов — у них!

— Минские первые уезжать собираются, — пронесся вдруг за столом говорок. — Им-то дальше всех...

И вновь поднялся с рюмкой никуда не уходивший, но словно все это время отсутствовавший хозяин.

— Минским на дорожку... чтобы помнили, — и проговорил вдруг с какой-то вроде бы застарелой болью. — Славян теперь хотят уничтожить, это всем уже видать... Да не получится, нет!

С чего это он тогда вдруг?

Прощался с ним — обещал вернуться, да разве жизнь складывается, как ты хочешь?..

...Все это, передуманное не однажды, пронеслось во мне в один миг.

— Если был там, если с Золотухиным дружит, — сказал я Плахутину. — Твой Русский Мальчик. Значит, наверняка тебе рассказывал, как наши гуси раньше в Париж ходили пешочком... Или в Берлин. Рассказывал?

— Об этом что-то не помню, — признался Миша. — Зачем — в Париж?

— Дело-то грустное, — взялся я. — На закуску. Печенку свою несли. Мясо. Перо и пух. Но главное — как, как?.. Купцы договаривались, и погонщики сбивали стаи по несколько тысяч птиц... Грешили смолу, каждого гуся макали в неё лапами и выпускали на песок: прошелся, и — готова обувка. Для дальней дороги. Хоть какой трудной. Всех обули, и в путь... За ними едут несколько повозок с кормом, с буторишком, со съестными припасами для погонщиков, и так — и месяц, и два, и три. До Берлина. До Парижа, может быть, пять, не знаю... Куда им было спешить?

И правда что: в наш сегодняшний день спешить? В наш безжалостный, хитрованский мир?

Уж где теперь настоящее «падлово» — так в нем как раз, в нём. В сегодняшнем мире.

И гонят уже не гусей. И — не тысячами.

Счет давно на миллионы пошел...

— У него-то как вышло? Привез с охоты подранка, — стал мне Миша рассказывать. — Ну, выходил, подкормил, а осенью тот вдруг забегал по двору, заметался из угла в угол, закричал, да так жалостно и громко, что Мальчик все понял. Схватил его, поднялся на второй этаж своей дачки, вылез на крышу и швырнул его вверх... И тот понесся напрямик: наверное, наше ухо не слышит, а он слышал, что где-то вверху кричат сородичи — в теплые страны летят... Мальчик говорит, не только рукой вслед ему помахал — как бы и душой попрощался, когда вдруг весной — на тебе! На соседнем участке с криком шлепаются два гуся, орут так, что чуть не вся округа сбежалась... А они ходят вдоль забора, а соседа, хозяина, дома нет. Перелез он через забор, и одного сразу перекинул, понял, что это вернулся свой, а гусыня, говорит, так кричала, но ничего — поймал и её. Прожили у него лето, гусят вывели...

— Как это — прожили? — засомневался я. — Ты попробуй-ка, домашних заведи, и то не обойдешься без какого-никакого болотца... а полетать?

— А это вот как раз его ноу-хау, говоря современным языком, — улыбнулся Миша. — Он сделал для них из досточек дорожку вокруг дома, ну, — такой серпантин наверх, чтобы с крыши могли взлетать. А потом ещё и надстройку в виду башни... поедем — увидишь.

— Поедем, наконец?

— Позвонил своим, чтобы мне передали: пусть ждет. Он мне нужен, мол... будем ждать?

— Да уж заждались! — сказал я Мише насмешливо.

Какой там березовый лист с копеечку, какие дикие гуси — конечно же, я обо всем забыл, потому что в Кузне раньше обычного начался вдруг сезон черемши... тут все бросай!

Уж если твои друзья нашли там время съездить за ней в тайгу или сходить на базар возле вокзала, или... дело не в этом, конечно же, хотя иной раз так хочется спросить: мол, откуда колба?.. Из каких мест?.. Не кузедеевская ли? Не с Терсей?.. Есть там, за Осиновым Плесом, вниз по Томи, три горных речки, три сестренки: Верхняя Терсь, Средняя Терсь и Нижняя... эх, не знаешь, какая и красивей!

А вдруг из Горной Шории колба? Из Мысков?.. Где, несмотря ни на что, попрежнему все живут по своему, мысковскому времени.

Кого толстокожего всем этим не проймешь, но для меня чуть ли не каждый стебелек — как весточка из сибирской молодости: этот, с красноватым оттенком, грелся под солнышком, на полянке, а то и на южном склоне... Эти, подлинней и потолще, совсем белые и с крупным сочным листом, росли на болоте или где-нибудь от него поблизости... Подержал в руках, повздыхал и будто в тех местах побывал: а говорят, телепортация невозможна — да вот же она, вот! Стоит только подольше на черемшу поглазеть да запахом её подышать...

Но саму её приходится передавать самолетом.

Звонок среди ночи, и сразу: пиши! Рейс такой-то... Такого-то числа. Аэропорт Домодедово... записал?

Денек волнений, бросок в Домодедово, и вот уже ранним утром достаешь её дома из безразмерного сумаря, на расстеленных многостраничных теперь газетах — наконец, наконец-то пошли на пользу «демократические» издания! — раскладываешь посреди кабинета: чтобы перестала копить внутреннее тепло, маленько протряхла, а заодно надо посмотреть, какое тебе передали богатство и как им будешь распорядиться, как его делить... однажды вышло: Коля Ничик, младший дружок из шахтеров, свой брат-писатель, наскреб после смены, далеко не отходя, чуть ли не полный бумажный мешок, привез мне в Новокузнецке в гостиницу, а тут оказия, летят в Москву ребята из городской «ментовки». Возьмете, спрашиваю, для Шилова?.. Для Ивана Федоровича? — уважительно переспрашивают. — Какой разговор! Генерал-полковник тут начинал, помнят его и чтут: за передачу можно не волноваться. Но чтобы мешок был как мешок, купил я ещё десяток пучков отборной черемши, положил сверху. А он потом рассказывает, Иван Федорович: пришел сын, и я ему показываю пучок — смотри, мол, какое чудо! Не потекли слюнки? Потекли, говорит, дай хоть пару пучков, отец! Пару-не пару, а десяток дам — вон тут сколько! Вытащил не глядя десяток элитных пучков, отдал, а когда стал потом мешок разбирать, а там не медвежий лук, а шахтерский, недаром же у него и это название есть: каменный... Надо сразу глядеть! А ещё был главный в Союзе «сыскарь». И по должности, и — по судьбе. Шилов.

Очень непростое это дело, дележ черемши, — как на охоте или на рыбалке, но там-то за этим священнодействием вся кампания наблюдает, а тут ты — один одинешенек.

Раскладываешь по кучкам: это Вите Вьюшину, ему надо побольше, у него и дома едят, и сибирские дружки ждут... Для вкладчиков «Оргбанка», в котором он работает, конечно же, начнется время тревог: будут водить чуткими носами — мол, пахнет чем-то таким очень уж необычным, сильно пахнет... уж не дефолтом ли очередным? А это — наша колба!

Ещё кучка Борису Рогатину, большому спортивному начальнику: знает в ней толк — никакой тебе допинг не сравнится. Он бы, не сомневаюсь, давно рекомендовал перед международными соревнованиями непременно включать её в рацион, да как на это дело за рубежом глянут? Тут надо ухо остро держать: хоть по части вони они там куда как большие специалисты, но об этой, и точно, не имеют точного представления...

Эта кучка...

Посмеиваюсь, а на самом деле, бывало, у меня чуть ли не поднималось давление: как честно разделить, как бы кого не забыть, как бы не обидеть...

А ведь это только начало сезона — колба с юга Кузбасса, с отрогов Ала-Тау... Потом пойдет и кемеровская, и ещё более северная — из Чебулы, от друга Дерябина...

В это время приходится жить в Москве, все больше у Вити Вьюшина, который тоже считает: как сало для хохла — наркотик, так для сибиряка — черемша. Потому-то о «листе с копеечку» забыл напрочь, только тогда и вспомнил, когда Миша нашел меня в Кобяково.

— Ну, что? — спрашиваю его. — Вернулись гуси?

— Представь себе! — ответил он таким тоном, что было ясно: и он в этом сомневался. — Не только вернулись — уже на яйцах сидят. Там сейчас тишина, все по струнке ходят, поэтому для громкого разговора зовет к себе в город... будет у тебя завтра время?

— Да уж найду как-нибудь. А что за разговор?

— Кажется, рассказывал тебе про его друга-черкеса?

— Может, это я тебе? О своем кунаке?

— Да нет, ну, помнишь — шейх из Эмиратов, у которого мать — черкешенка? Он теперь и на своем «мерседесе» разъезжает в белой черкеске, шейх — с кем поведешься, знаешь... Русский Мальчик все просвещал его, рассказывал не только о Кавказской войне, о казаках да черкесах, но и о нынешних наших грустных делах. В России. Или, как он всегда, — на Руси. А у них у двоих был общий какой-то, крупный ООНовский грант, и когда они сделали работу и получили за неё очень, скажу тебе, приличные деньги, этот черкесский шейх и говорит ему: деньги твои! Вложи их на нашей родине в какое-нибудь серьезное дело на пользу простым людям... Сам видишь, как делят доходы от нефти в Арабских Эмиратах — считай, всем поровну. Не то что у вас: как ты говоришь — на Руси... Распорядись так, чтобы не было стыдно перед единым Богом... Конечно, он растрогался, Мальчик...

— Ну, молодец этот черкес!

— Конечно, молодец! — горячо согласился Миша. — А теперь представь, что в Москве чуть ли не первым делом — информация-то идет! Кто есть кто, с чем из-за рубежа возвращается и что у кого в кармане и в банке. Так вот, первым делом затащили нашего Витю в какой-то получастный-полугосударственный фонд, который занимается подготовкой этого праздника — шестидесятилетия победы. И предлагают: вы нам перечисляете энную сумму — тоже будь здоров деньги! — становитесь нашим соучредителем и вместе с гарантией высокой личной награды получаете от нас квоту на ордена для тех, кого вы посчитаете нужным наградить самостоятельно... ты понимаешь?

— Н-ну, если правильно понимаю... он получает право эти ордена продавать?

— Ты делаешь успехи, — сказал Миша не очень весело. — В том и дело: предпраздничная распродажа наград... как тебе?!

— Всегда знал, что суки, — пришлось сказать. — Но не до такой же степени!

— До такой, — утешил меня мой друг. — До такой... Виктор тут откопал какой-то императорский указ. О том, что заниматься благотворительностью имеют право только те, кто составил капитал честным трудом...

— Да уж, — только и пришлось сказать, — да уж!..

— А у нас чуть не каждый благотворительный фонд — «стиральная машина», как понимаешь...

— И как они разошлись?.. Мальчик — с этим самым ходовым нынче механизмом?

— Он сказал, что спустится за документами и вернулся с пластмассовой флягой спирта, который вез кому-то на дачу. Знаешь, такие возле брынцаловского «Ферейна» продают, по пять литров... Отобрал у секретарши ключи, попросил зажигалку и вытолкнул её погулять, сказал — дезинфекция. Разлил сперва перед дверью в приемной. Потом вошел и молча начал поливать ковер. Ну, само собой — крик: вы что делаете?!.. А он сказал: как клопов!.. Чиркнул зажигалкой, вышел и замкнул дверь...

— Это что же — «коктейль Брынцалова»?

— Он тоже потом так — насчет этого «коктейля», — откликнулся Миша. — Тоже ноу-хау, видишь. Контора выгорела, но никто на него не заявил... И, знаешь, что он решил?

— Самому явиться с повинной?

Друг мой пожал плечами:

— Честно говоря, его это мало занимает. В этом отношении он без комплексов. А решил он сам создать фонд. Предварительно — «Народная медаль», так будет называться. Для вдов, которые ещё остались живы. Для тех, кто рос без отцов. Для детей войны. Кто не воевал, потому что был в лагерях... статус, знаешь, самый широкий. Как он говорит, Русский Мальчик: для тех, кто сам никогда никуда не лез, а молча тянул лямку и тянул. Не лгал. Не изворачивался. Для всех, кто столько лет бедствовал, но помогал другим... остались же на Руси праведники?

— Хоть кто-то об этом задумался! — сказал я глухим, отсыревшим, сам почувствовал, голосом.

— Кому и за что — это как раз его не смущает, — словно сам с собой рассуждал Миша. — Его смущает название медали...

— Он уже и название придумал?

— В том-то и дело... ты сам никогда не занимался медалями? Не собирал?

— Да нет вроде...

— Ну, покажет тебе, мне он показывал: есть старинная медаль петровских времен — в честь победы над нашими вечными друзьями, над турками. Все их корабли тогда полностью сожгли и потопили, и на медали — изображение турецкого флота и только одно слово под ним: «Был».

— Умели наши предки...

— Об этом он и хочет напомнить. Что — умели. Правда, другим способом. Выбить на медали контур Советского Союза... С тем же самым словом под ним: «Был».

— Не слишком ли... а не слишком?

— Так, а лучшее лекарство всегда — одна горечь... Сладкого лекарства не бывает. Разве не так?

— Н-не знаю, надо подумать.

— Поэтому и зовет нас. Как он говорит: стукнуться лбами...

— Мозговой штурм?..

— Вроде того что... но тут у него сомнений, в общем, нет: и контуры Союза, и это одинокое слово — от этого его уже не отговоришь.

— Тогда зачем лбами стукаться?

— Дело в обратной стороне. Там он хочет контур одной России... какая стала. Само собой надпись внутри. Ну, как на карте: «Россия». Внизу слова: «Будет вечно». Или как там лучше: может, пребудет вечно? Тут как бы филолог нужен... специалист. Вот как раз ты и... Едем?

Я только и сказал:

— Во сколько мы должны у него?



Ночь была ясная, и полная луна висела как новая, из чистой, из «корольковой» меди большая медаль: одна на всех на земле...

Ведь правда, подумалось мне, а ведь — правда!

А завтра солнышко встанет: один на всех орден, да ещё какой, какой!

И живите вы с ними: у каждого — есть, каждому от этого тепло и уютно, и никому не обидно.

Но нет, нет: чуть не всякому подавай ещё и личную медаль, и орден на грудь, да чем больше медалей и орденов, тем лучше для него... откуда оно пошло? С чего началось?

Историей наград никогда не занимался, впервые, глядя в Кобякове на луну, об этом задумался, ну, да что ж теперь: так, выходит, устроен человек, таким сделал мир вокруг себя, и так будет всегда, пока будет существовать белый свет... большой дунэй, как называют его черкесы... а, может, от изобилия наград он и погибнет?

Какая там экология, какой парниковый эффект... блуждающие кометы, способные взорвать землю... что там ещё, что?

А на самом деле оттого-то все и произойдет: рухнет мир под тяжестью наград. Его погубят амбиции.

В Москве на Бутырской, заваленная другими книгами, где-то в уголке лежит «История государства Чжурчженей», как-то так... или она — в Майкопе? Разве тут не забудешь, при такой-то жизни: туда-сюда-обратно... То ли перевод со старо-китайского, то ли с древне-монгольского, академическое издание, из которого, выходит, всего-то и вынес: чем хуже идут дела в государстве, тем больше в нем раздают наград.

С нами так и случилось, но разве это не относится ко всему миру?

Со множеством орденов, всякого рода премий, поощрительных, ведь каких только нет среди них, дипломов, грамот и прочих, прочих, прочих знаков признания... чего в итоге, чего?

Признания общей глупости? Или безвозвратно далеко ушедшей гордыни? Полной бездарности вождей мира, заведших всех нас в тупик? Общей безнравственности... чего, чего?

У кого это из поэтов: «От земли до небесного свода разлита несвобода. И торчат как хребты из тумана горы лжи и обмана». Разве не так?

Или раздать ордена и премии не такому, как бы там ни было, широкому кругу лиц, часто одних и тех же, — куда дешевле, чем всех остальных накормить?

Задал, думал я, задал нам с Мишей работу Русский Мальчик!

Столько уже о нем слышал, но так в общем-то и не понял, по каким правилам он играет — не по ним ли самим и установленным, как почти все теперь на большом дунэе?

Чуть не каждый — в свою дуду...

И удастся ли понять это завтра, когда увидимся: что же все-таки за человек, в конце-то концов?

Все его приключения... тут что ж.

После первой победы русского флота над шведами, победы почти невероятной — десяток лодок с солдатами, вооруженными одними ружьями, против двух кораблей с тяжелыми пушками — государь Петр Алексеевич велел выбить медаль с надписью: «Небываемое бывает».

Не всегда это, к сожалению, помним.

Но, может быть, это-то и есть как раз сегодня — наш русский девиз?

И если мир устроен так, как устроен, и приходится принимать чужие правила игры, то не главное ли при этом — сберечь душу и сберечь веру. И самим собою остаться: несмотря ни на что.

Но по тому ли пути хочет он пойти нынче: с этим фондом, которым в России уже несть числа... или это — дело особое? Сам он судя по всему никогда не вешал голову, есть же такие люди, которые никогда её не вешают, и хочет теперь, чтобы её хоть слегка приподняли все обездоленные, забытые, обманутые, обиженные... разве это не главная наша сегодня беда — чуть ли не всеобщий повес головы?

А тут вдруг — обогреть боевым взглядом.

Чуть ли не всех, кого только можно... а что, что?

Разве не нужен нам пример бескорыстия?

Пример мужества.

На редутах Бородина Алексей Петрович Ермолов в гущу французов бросал Георгиевские кресты, и солдатики штыками прокладывали себе к ним дорогу...

А наше, сегодняшнее Бородино, сдается, ещё впереди. И, может быть, это неосознанное желание Русского Мальчика сделать примерно то же самое: чтобы каждый победил обстоятельства своей почти беспросветной жизни и достойно прошел свой путь...

Впрочем, почему — неосознанное?

Сколько небось над всем этим размышлял и на родине, на Руси, и в дальних чужих краях. Может, и с этим неожиданным своим корефаном, с арабским шейхом потихоньку советовался? Уж он-то ему о прелестях нашей жизни рассказывал поди без прикрас!

Но как помочь этому неординарному человеку? Чем его поддержать?

Да и примет ли он, хоть для этого и зовет, нашу помощь — и Мишину, и мою... каков-то он, и в самом деле, окажется, Русский Мальчик?

Снова, лёжа без сна, глядел я на луну за окном. На общую нашу, неизвестно за что пожалованную Творцом, заставляющую о столь многом подумать, награду.

Или это вовсе и не медаль, а испеченный на поду, на капустных листьях поджаристый каравай — поджаристая кубанская «паляныца»?

Может быть — изжелта-коричневый круг копченого адыгейского сыра, который черкесы брали с собой в дальнюю дорогу: и сытен, и пахнет дымком родного очага — домой, где бы ты ни был,

властно зовет?

А утром встанет красное солнышко...

февраль 2005-го, март 2009 г.г. Майкоп

## МЕДЛЕННЫЙ ДЖИГИТ

Был конец апреля, серые, ещё без листочков, старые яблони только что зацвели и купины их набирали молочной белизны... Чёрные корявые абрикосы взялись розовой дымкою, зато зеленоватые соцветья алычи да сливы уже начали осыпаться и устилали узкую асфальтовую дорогу посреди широкой, с рядами деревьев улицы, так что стремительно промчавшийся по ней, сверкнувший никелем на широких боках легковой автомобиль с тёмными стёклами взметнул светлое облачко, которое тут же припорошило за ним мокрые от раздавленных лепестков рубчатые следки.

Каким его ветром занесло в аул, этого высокого ловкого казака, бывшего рыбинспектора с поганого болота, которое на Кубани величают морем?

Главный город у них больше не Краснодар, а Екатеринодар теперь, ей, опять Катъкиндар — Екатерины-дахэ, говорили старики, Екатерины — красавицы, а затопившая половину Адыгеи, совсем испортившая погоду и чуть не все колодцы осушившая лужа — по-прежнему Краснодарское море?

Сразу за Горячим Ключом по дороге на Туапсе, к настоящему морю, к Чёрному, он держит какой-то непонятный мутель-путель, этот казак, большую кунацкую с бензоколонкой вместо старой доброй конюшни, а в горах построил для богатых бездельников просторное стрельбище с высокими домами из камня по краям и назвал его «Охотничий хутор»... чего ему в Гатлукае?

Пока на дальнем краю аула калякал о чём-то с дружкой своим Меджидом, вернулись запыхавшиеся мальчишки и доложили уважаемым старшим, сидящим под шиферным навесом у забора Гогунковых: «У него, Меджид сказал, точно такой джип, как у самого папы римского!..»

Уважаемые старшие неспешно переглянулись, советуясь одними глазами — мол, надо ли что-то на это сообщение, на этот никому не нужный хабар отвечать, и, если надо, то кто на него ответит, — а потом сам Гогунков Аскер, сидевший посредине, как бы нехотя качнул головой и негромко сказал: «Ему уже давно пора дедушкой стать, этому римскому, ым? А он всё — папа. Как маленький!»

Все трое одинаково хмыкнули, каждый приподнял заскорузлым пальцем край выцветшей фетровой шляпы над морщинистым смуглым лбом, и они опять воткнули острые свои подбородки в сложенные на отполированных временем кизилых палках с гнутыми ручками жилистые, набрякшие кисти, снова нацелили давно посветлевшие от яркого солнца, от нестерпимой здешней жары и потому прищуренные под чёрным серебром бровей, нарочито внимательные глаза на дорогу и чуть повыше неё... самое время появиться в прозрачной голубой вышине Первому Жаворонку, самое время!

Пропустить этот миг никак нельзя.

Й — ей!

Если пока остались на белом свете, который зовётся Большой Дунэй, истории, достойные внимания и теперь, когда глаза разбегаются от того, что с самого раннего утра и до поздней ночи бесстыжий

московский ящик показывает, и уши сами начинают закрываться от тех слов, какие в нём говорят и какие даже скромная раньше аульская молодёжь потом громко повторяет, если есть ещё такие сокровенные истории, которые раньше достойно назывались хабарами, то одна из них — как раз эта, история Медленного Джигита и малой птахи — Первого Жаворонка... А, может быть, не одна из них, но — одна единственная? Самая последняя перед концом времён, о котором говорится в священном Коране у пророка Магомета, ым?!

Никто теперь не помнит, когда он поселился в Гатлукае, никто не знает в точности, откуда сюда приехал. Да и зачем теперь знать?

Разве может это хоть каплю добавить к тому, что потом случилось, или хоть что-то объяснить.

Вполне может быть, что Медленный Джигит тут и родился, тут и вывелся, как любят казаки говорить.

Может быть, что жил тут всегда.

Просто никто на него особенно не обращал внимания до тех пор, пока у него не появилась его белая, как яблоневый цвет, белая, как материнское молоко, машина «волга».

Никто не видел, как её пригнали в аул, но однажды ранним утречком она выехала со двора Батырбия Чесебиева, который тогда ещё не был Медленным Джигитом, а так и был — просто Батырбий, тихий учитель русского языка в аульской школе.

Так вот, она совсем неслышно выехала со двора, медленно, очень медленно покатила по улице, и в её плавном движении было столько праздничного торжества и столько значительности, что люди заранее останавливались, чтобы встретить её, а потом ещё долго глядели вслед, и сердце их наполняла невольная гордость: в каком ещё ауле есть такая красивая, как белая лебедь, и чистая, как невинная голубка, новенькая машина — разве это не так?

Белая «волга» стала появляться на улице чуть ли не каждый день, и те, кто ещё не видел её, выскакивали из дома даже в сильный дождь и бежали к воротам: вблизи полюбоваться прекрасной машиной и чинным её хозяином.

Посмотреть на него, и правда: темно-коричневый, в серую полоску костюм с клинышком застёгнутой на перламутровую пуговичку белой рубахи, которая выглядывала из-под тонкого бежевого пуловера, чёрная, такая как тогда у самого Косыгина, широкополая шляпа и до блеска начищенные остроносые башмаки, такие же лёгкие, как мягкие черкесские сапоги — чувяки... У него спокойное, с правильными чертами лицо с печальными темнокариыми глазами, длинные и широкие брови и густые усы под крупным, как у настоящего адыгейца, как у бжедуга, носом. Всегда прямой как струна: сядет за баранку — даже слегка над ней не пригнётся, голова откинута с таким достоинством, словно это не он ведёт машину, а везёт его сидящий с ним рядом кто-то невидимый.

Скоро все привыкли к белой почти бесшумной «волге», полюбили её мягкий, ласковый шелест, и никому не приходило в голову поднять руку и попросить подвезти его... зачем?! Такие машины разве для этого?

Потом однажды случилось невероятное: белая «волга» остановилась чуть впереди хромой бабушки Кесебежевой, этой полусумасшедшей старухи, которая, тяжело переваливаясь с бока на бок, несла с выгона полное, горушкой над широкими краями ведро коровяка, учитель вышел, поднял сверкающую крышку багажника и протянул к ведру руку с вынырнувшими из-под манжеты часами на запястье.

— Давай, — сказал, — я помогу тебе, тян![2]

Она испуганно перехватила дужку другой рукой и даже отвела ведро чуть в сторонку:

— Разве на такой красивой машине можно возить навоз?

— Можно, — мягко сказал учитель. — Поверь, наша мать, что эта красивая машина совсем не против того, чтобы я помог уважаемой женщине, и ей ничего не сделается, если в ней постоит это ведро, которое для всякого пахнет детством... дай-ка!

Она повернулась к нему боком, как бы защищая своё добро, и ворчливый голос её чуть дрогнул:

— Хорошо, хоть кто-нибудь это понимает... но что о тебе скажут в ауле?

— Это мы скоро услышим, тятя, — терпеливо сказал учитель.

Но в голосе у неё снова послышалось недоверие:

— Ты знаешь, зачем я ношу навоз?

— Делаешь из него кизяки, наша мать.

— А ты понимаешь, что нормальные люди давно уже топят дровами, а то и чёрным камнем, который везут...

Он не дал ей договорить:

— Знаю, наша мать, знаю.

— И что у моих соседей есть корова, от которой не добьёшься молока, зато навоза на весь аул хватит, и я могла бы попросить коровяк у них... это ты знаешь?

— Ты повторяешь то, что о тебе говорят не очень добрые люди, наша мать, — терпеливо сказал учитель. — Но зимой, когда идут мимо твоего двора, даже они замедляют шаг, поворачивают голову, поводят, как охотничьи собаки носами и лица у них становятся такими, как будто они вспоминают давно ушедших родных.

— Мне это хорошо видеть через окно! — сказала она громко и, приподнимая ведро, шагнула к багажнику.

Учитель едва успел перехватить его — иначе бы оно ударилось об его новенькую машину.

— Тихинько-тихинько! — с улыбкой проговорил он как будто бы самому себе.

Определил ведро в просторном пустом багажнике и снял со своей белой голубки испачканную соломинку, которая до этого свешивалась из ведра с навозом и только благодаря ему к машине приклеилась.

— Ты, значит, знаешь, где я живу, — проговорила старуха Кесебежева, как бы слегка гордясь этим. — Поставишь напротив двора, а я, когда дойду потихоньку, заберу...

— Зачем же ты будешь идти? — улыбнулся учитель. — Я подвезу тебя.

Теперь она испугалась не на шутку:

— Ты что говоришь? Как это я могу сесть в такую машину? — и протянула руку к багажнику. — Отдай тогда ведро, я сама...

— Не отдам, тятя, — снова терпеливо, как на уроке, сказал он. — Ты сядешь, и я отвезу тебя до калитки.

Но ведь недаром же бабушка Кесебежева считалась в Гатлукае самой большой упрямницей!

— Не видишь, какая на мне обувка? — прямо-таки накинулась она на учителя. — Не видишь, какая юбка?!

— Я каждый день вижу, какой у тебя хороший внук, — ласково и даже как будто с завистью проговорил учитель. — Добрый мальчик, способный и очень внимательный... увидишь, тян, он далеко пойдёт!

— Дальше, чем ты хочешь отвезти этот коровяк? — повеселевшим голосом спросила женщина, но голос у неё вдруг осёкся, она вздохнула.

— Дальше, тян. Гораздо дальше, поверь мне... садись! — он широко открыл переднюю дверцу, и, когда старуха обеими руками втащила, наконец, в белую машину неразгибавшуюся кривую ногу, внимательно осмотрела свои подвязанные грязными лоскутками рваные калоши на чистеньком резиновом коврик на полу машины и поправила на коленях давно порыжевшую от старости чёрную юбку, снова сказал. — Тихинько-тихинько!

И закрыл дверцу возле старухи так осторожно, что не только грюка — даже легонького щелчка она не услышала.

В каких только уголках аула не слышалось потом это непривычно ласковое, как будто самым сердцем сказанное: «Тихинько-тихинько!»

Оно звучало, когда он, торжественный как всегда, укладывал в багажник чью-то вязанку дров, ставил туда оклунок с кукурузной мукой либо грязный чувал с глиной, тяжело опускал мешок с картошкой, освобождал место для плетёной корзинки с курами либо с куриной богиней, с бого-куррой, с индейкою, а однажды, когда он остановился возле почты и пошёл сдать письмо, из багажника послышалось тонкое бляенье, возле него тут же собралась стайка мальчишек, а потом из машины, где сидел рядом с водителем, выбрался не кто-нибудь — сам Аскер Гогунуков и важно сказал:

— Никогда не видел, чтобы железную машину вытирали ушами, но это у вас здорово получается, огольцы! А не могли бы вы точно также смести пыль с этой блестящей штуки впереди?

Мальчишки тут же перебежали к переднему бамперу и, сталкиваясь лбами, дурачились возле него до тех пор, пока вышедший из почты учитель не приказал немедленно отправиться всем на речку и умыться как следует.

Как это непременно бывает, нашлись люди, которым вежливость учителя оказалась не по душе. Старуха Бижева Шамсет, которая слыла в ауле колдуньей, сказала однажды в магазине: «Этот медленный джигит скоро превратит наш Гатлукай в скопище сонных мух. Люди совсем перестанут бегать и громко говорить, а только будут шептать друг дружке: тихинько-тихинько!»

Все знали, что она, как всякая уд — недобрая колдунья — может сглазить человека или навести порчу на корову, на баранов, на птицу и даже на сад и на огород, и потому никто не стал ей возражать, но через недельку — через две случилась история, которая заставила всех говорить одно и то же: Аллах всемогущ, и он всё видит и слышит.

Однажды раненько утром соседка Чесебиевых заглянула к ним через забор и увидела на заднем сиденье «волги» старую колдунью: голова у неё была откинута, как у людей, которые спят глубоким сном или которым сделалось плохо. Ни того и ни другого вроде бы не могло быть, и через несколько минут любопытная соседка вернулась к забору, чтобы всё-таки уяснить: что там во дворе у Чесебиевых происходит?

Возле машины по-прежнему никого не было, зато внутри колдунья металась как лиса в закрытом курятнике, и тогда соседка учителя вышла на улицу и нажала на кнопку звонка, который был спрятан рядом с калиткой на столбе под козырёчком из половинки консервной банки. На звонок вышла жена Батырбия, Сусанна, они вместе пошли к «волге», и Сусанна всплеснула руками и открыла заднюю

дверцу: «Что ты тут делаешь, Шамсет?!»

Колдунья начала рвать на себе волосы и сперва завывала про горе, которое на неё свалилось во дворе Чесебиевых, а потом вдруг разом умолкла и сказала: «Все в ауле только и говорят, какие мягкие матрасы постелены в этой белой машине, и мне так захотелось посидеть на них. Но я не знала, что она открывается только снаружи, а изнутри нет, а белая дверь вдруг случайно захлопнулась!»

И тут она снова завывала про своё горе.

Ну, и попосмеялись в те дни в ауле, ну и похохотали!

Мужчины держались за животы, а женщины подносили ладошки к губам, качали головами и значительно говорили одна другой: «Тихинько-тихинько!»

Нашлись бесстыдники, которые стали рассказывать, что мягкие «матрасы» старуха Шамсет слегка подмочила: какая бы ты ни была колдунья, а попробуй-ка всю ночь просидеть в машине!

Шамсет перестала появляться на улице, а потом вдруг пронёсся слух, что она сильно болеет и вот-вот помрёт: муж её, почти всегда хмурый Айтеч, показывал, говорят, когда возвращалось стадо, бычка, которого зарежет на поминки.

Потом по Гатлукаю стремительно разнеслась другая новость: будто бы ко двору Бижевых подъехала белая «волга», учитель Батырбий Чесебиев вылез из неё, осторожно как всегда прикрыл за собой дверцу и пошёл к дому... Его встретил Айтеч, и они постояли у порога, пока колдунья, как люди потом решили, приводит себя в порядок. Учитель, говорили потом, называя её «зиусхан»,<sup>[3]</sup> стал спрашивать Шамсет о здоровье, и она ответила, что наверняка могла бы поправиться, но её бывшая подруга, бесстыжая Фатима, которую она девчонкой переплясала на аульском джегу, когда в Гатлукае, ещё перед войной, записывали в новый колхоз «Путь Сталина», уже неделю никому не отдаёт градусник, сама держит его подмышкой, и ей с каждым часом становится всё лучше и лучше, сама уже выходит во двор, а до остальных как всегда ей и дела нет — скольких хороших женщин она лишила возможности часок-другой посидеть вечером с градусником — чтобы перестало ломить колени или прошла голова!..

И учитель Батырбий сам потом посадил Шамсет в свою белую машину, они медленно, медленно проехали на другой конец аула, медленно-медленно, дождались, пока дочка усадит в постели и обложит подушками Фатиму, а потом учитель поздравил её с тем, что она поправилась, поблагодарил за это Аллаха и попросил градусник. Фатима отдала, и на обратном пути, когда они заехали в главный аульский магазин купить кускового сахара для калмыцкого чая, у Бижевых он как раз закончился, колдунья держала градусник в левой ладони и говорила, что уж ей-то не обязательно совать его подмышку, она знает молитву, после которой градусник помогает и так, в левой руке — ей сразу, как только взяла его, сделалось лучше...

После этого никто в Гатлукае уже не говорил об учителе плохо, никто не осуждал его за слишком тихий нрав и чрезмерное спокойствие, которые стали входить в привычку у многих в ауле: «тихинько-тихинько» говорили не только молодые матери своим малышам, но даже долго работавшие вместе с русскими на строительстве этой лужи, которую они упорно величают Краснодарским морем, зрелые мужчины, перенявшие не что-нибудь хорошее — дурную привычку часами стоять в пивной. «Тихинько-тихинько!» — советовали они один другому, когда передавали полные кружки с пивом или начинали пошумливать над пустыми стаканами, в которые перед этим налито было что-нибудь такое, покрепче пива.

На южной окраине Гатлукая, по дороге на кладбище возвышается древний курган, который всегда называли Большая шапка — так он похож на старинную черкесскую шляпу, которую носят те, кто пасёт скот, работает в поле либо на пасеке. И каждый день, летом или зимой, в любую погоду, Медленный Джигит подъезжал к Большой Шапке, не торопясь выходил из своей белой машины, медленно поднимался на самый верх и садился на камень на верхушке кургана: тоже летом и зимой, хоть в дождь, хоть в метель.

Конечно, оттуда есть куда посмотреть: у подножия Шапки бежит крошечная, заросшая кугой речка, которая и вверх по течению, и вниз растекается несколькими не очень широкими озерцами, а то и еле видными в зарослях бочажками. В хорошую погоду серебряными монетками взлетает над ними мелкая рыбёшка, а в тихий час на зеркальца посредине выплывают дикие утки... За речкой начинается просторная толока, с апреля и почти по самый декабрь ярко меченая то одними, то другими цветками, поодаль друг от дружки стоят на ней три громадных дуба, которые казаки называют на Кубани «черкесами» — Три Брата. За ними стеной встаёт лес — в зелени как пух ранней весной и в тяжёлом золоте осенью... э-ей! Есть на что посмотреть с Большой Шапки, есть!

Но, может быть, Медленный Джигит искал глазами то, что скрыто было и за толокой с табуном лошадей или аульским стадом, и за Тремя Братями поблизости, и — за далёким лесом?

Голова его была обычно приподнята как у птицы, всегда готовой тут же взлететь!

Но вместо этого однажды ранней весной увидели, что он лежит на вершине рядом с камнем... земля ещё не успела прогреться даже на самом жарком солнышке, рано ещё на ней лежать, рано!

Резавший неподалёку лозу для своих плетёных корзинок Пшимаф Аутлев послал мальчишек спросить Медленного Джигита, не надо ли ему чего...

Но ему в этом мире уже ничего было не надо.

Случилось это перед закатом, и хоронили его наутро.

Во дворе Чесебиевых и вокруг собрался чуть ли не весь аул: не пришли только те, кто не мог встать из-за болезни или по давней немощи.

Погребальные носилки с телом учителя подняли и тронулись быстро: душа хорошего человека всегда спешит на долгожданную встречу с Аллахом, и тело по возможности не должно отставать от неё — это известно всем.

Сменившие первых двинулись ещё быстрее, все за носилками уже едва поспевали, но траурная процессия всё продолжала набирать хода.

Уже на самом краю аула, напротив двора Гогуноковых, вдруг споткнулся на ровном месте и чуть не упал было Шабанов Хазрет: рассказывал потом, что неизвестно отчего у него нога подломилась.

— Тихо ты! — в пустой след громко предупредил кто-то из бежавших за ним, стараясь носилки поддержать, и тут вдруг все разом словно бы что-то вспомнили.

— Тихинько-тихинько! — тоном, очень похожим на тон учителя, сказал один, останавливаясь.

— А-ей, тихинько-тихинько! — поддержал другой.

Передние стали, за ними замирали те, кто только что торопился позади, и каждый, оборачиваясь, говорил шедшему за ним: «Тихинько-тихинько!»

Те, кто отстал, догоняли передних и останавливались, процессия замерла, как замирает длинный состав, в котором притормозил, наконец, и самый задний вагон. И тут в наступившей тишине сверху раздался удивительно чисто зазвеневший тонкий голосок жаворонка... мардж!..

Это не летняя степь, не дорога посреди бескрайнего поля — что ему делать на краю аула над улицей, над скоплением печальных людей, над носилками с телом покойника?!

Не один гатлукаец тогда подумал — подумали об одном и том же все сразу: наверное, этого жаворонка послал Аллах — радостной песней встретить к нему спешащего!



Все стояли как зачарованные, слушали песню божьей птахи, которая опускалась всё ниже над носилками... Вот она забилась совсем низко над ними, всем стало видеть её трепещущие крылышки и вытянутую головку с еле заметным хохолком: не то чтобы его можно было хорошо различить — все понимали, что хохолок должен быть, потому что была звонкая песня степной птахи, должен быть потому, что всегда был на птичьих фигурках из печёного теста, которыми в ауле встречают весну, — с крошечными глазками из изюма и кончиками усыпанных маком крыльев, на которых оставались ножиком сделанные полоски.

Интересное дело: спустившись медленно, птаха взвилась потом так стремительно, как взлетает к ладони от пола игрушечный разноцветный шарик на резинке... как знать?

Может, Аллах в это время, и в самом деле, повёл ладонью и забрал наверх птаху: чтобы все, наконец, очнулись и дальше пошли.

— Тихинько надо, тихинько! — сказал тогда Гогуноков Аскер. — Видно, так хочет Бог.

Аул дошёл до кладбища уже совсем медленно, и даже та часть его, которой о слезах и думать нельзя, давилась от них — что тогда говорить о женщинах: когда мужчины с носилками пошли, а они, по обычаю, остались, все зарыдали в голос и в спину мужчинам ударил один сплошной раздирающий душу вопль... И вдруг он потом тоже стих. В один миг. И мужчины, уже подошедшие к ямке, где навсегда должно было лечь тело Медленного Джигита, вдруг поняли, что какая-нибудь из старух скорее всего напомнила: мол, тихинько! Как он говорил всегда: тихинько.

Надо было видеть, какая чинная и уважительная торжественность царила потом на поминках, какой тут благородный царил дух! Как будто разом все вспомнили, что есть такое слово: благородство. Его теперь взяли на все лады повторять, и оно зазвучало как музыка и в гортанной речи мужчин, исстари похожей на скрежет кинжала и свист шашки, и в напевном, похожем на птичий щебет, говоре женщин...

Аул взволновался только к вечеру, когда из Майкопа на нескольких машинах приехало столько начальства сразу, сколько в Гатлукай, если за все эти годы сложить, не приезжало по отдельности. Приехавшие привезли с собой несколько жестяных венков и несколько — из городских цветов, которые растут только в парниках под Майкопом и из которых сплетают венки самым большим начальникам — многие из гатлукайцев такие цветы впервые видели. На чёрных шёлковых лентах было написано: «Товарищу Чесебиеву Батырбию Джембулатовичу от...» И каких только не было перечислено на венках важных комитетов и организаций: о многих из них аульчане тоже впервые услышали.

На кладбище, неподалёку от того, кто в земляной нише навсегда остался сидеть лицом на восток, гости вели себя как и подобает в таких случаях, но когда на единственной своей машине маленькие гатлукайские начальники поехали до асфальтовой трассы провожать больших майкопских, те повылезали из своих машин у поворота на Адыгею, окружили горстку аульчан и принялись им на крике доказывать, что они не должны были так быстро учителя Чесебиева хоронить...

— Кто вам дал право?! — в который раз спрашивал, всё возвышая голос, один из самых важных начальников, так что в конце концов даже всегда спокойный председатель аульского совета Бечмизоков Амзор, вдруг вспылал и громко сказал:

— Учитель Чесебиев — адыг. И такое право дал нам Аллах. Разве мы забыли, что такое «адыге хабзе» и что такое адыгство? Или его вообще забыли в Майкопе, ей?!

Исходя из этого можно, само собою, понять, что на белом свете, который зовётся большой дунэй, наступили мало кому понятные времена: недавно переехавший из Ставрополя в Москву разговорчивый кубанский сосед с темным пятном на лбу назвал их никому в Гатлукае непонятным словом «плюралис».

Но что началось в ауле потом!

Как будто проснулись, наконец, эти, из своего «Катькина-дара», а потом пробудились и в главной большой Москве... На хороших и больших, всё больше чёрных машинах в Гатлукай и раз, и другой приехали чисто одетые, непременно в галстуках, люди тоже со множеством венков из настоящих цветов и крашеной жести, но на чёрных шелковых лентах было теперь иначе написано: вначале стояли имя с отчеством и фамилия аульского учителя, а подписи были — «товарищи по работе», «товарищи и соратники», «группа товарищей».

Затем в аул приехали военные моряки с важным адмиралом в очень высокой белой фуражке, и адмирал сказал над могилой Медленного Джигита короткую и отрывистую, как выстрелы, речь, из которой гатлукайцы узнали вдруг, что Чесебиев Батырбий — тоже адмирал... как это вам, ну как это, ым?!.. И моряки в своих бескозырках вскинули короткие карабины и дали три залпа, а потом...

Потом случилось то, что трудно себе представить и вообще невозможно объяснить.

Само собой, что по совету умных людей над кладбищем пришлось установить особый надзор: мальчишки, которые неподалёку пасли телят с ягнятами или туда-сюда бегали, чтобы распутать какого-нибудь вечно недовольного всем старого козла с верёвкой на вбитом в землю железном колышке, должны были немедленно сообщать о проезжавших мимо Большой шапки чужих машинах. Так вот, в тот раз они постарались: чуть ли не половина аула успела добежать до кладбища, когда несколько человек в странных нарядах из чужих дальних стран ещё только выстраивались возле могилы Медленного Джигита.

На чужестранцах были шляпы с широченными полями, формой очень похожие на Большую Шапку, — приехавшие снимали их, и каждый забросил на тесёмке себе за спину. На них были расшитые ярким золотом чёрные куртки и узкие штаны с золотыми галунами, и у каждого на бедре висела кобура из тиснёной кожи, из которой наверх высывалась изгибом напоминавшая наверхие хорошенького костыля рукоятка револьвера, а снизу торчал воронёный ствол такого калибра, что о дырках, которые может оставить такая штука, лучше не думать... Обуты незнакомцы были в остроносые полусапожки на каблуках и со шпорами, а в руках держали гитары, дудки и колотушки, которые ударили вдруг потом ну точно, как самая настоящая адыгская трещотка... да вообще!

Черноголовый, бровастый, остроглазый, носатый — каждый приехавший усач вообще напоминал аульского черкеса, который непонятно зачем надел на себя чужую одежду... может, потому, что каждому из них она прямо-таки удивительно шла?

Но почему они на этих своих гитарах-дудках, которые в Гатлукае видали до этого только по телевизору, заиграли вдруг адыгскую музыку?

Музыка стихла также неожиданно, как началась, и тут же на чужом красивом языке громко, как будто что-то приказывая, заговорил один из приехавших с музыкантами, одетый не как они, а как одеваются заморские богачи в длинном-предлинном кино «Просто Мария». Все запереглядывались, стараясь узнать по лицам, понимает ли, что он толкует, хоть кто-то из аульчан, или для всего Гатлукай это так и останется загадкой.

Но тут заговорил русский, толмач.

— На свете есть подвиги... о которых можно говорить лишь тогда... когда совершивший их ушел в другой мир, — начал он медленно подбирать слова: как будто очень не хотел ошибиться. — Но есть такие, о которых долго ещё нельзя говорить и после смерти героя... именно так, да... потому что Батырбий Чесебиев — бесстрашный герой, и это должны знать его земляки.

И аульчане снова запереглядывались: мол, все поняли, что сказал этот богато одетый иностранец?!

— Не было на свете человека стремительнее его, — сказал вслед за чужестранцем переводчик, и над собравшимися повис тихинький гул, сложенный из десятков так и не родившихся голосов изумления.

— Не было на свете человека решительнее его и храбрее... Именно это и сделало возможным тот подвиг, о котором никогда не забудет... благодарная страна, которую здесь... эти господа представляют.

Что же это за страна, все думали, о, Аллах, какая это страна?!

Стоило ему закончить, как музыканты разом выхватили из кобуры на боку свои громадные револьверы, и над могилой Медленного Джигита раздалась девять слитых воедино чётких залпов — насчёт количества их гатлукайцы слегка поспорили, но потом, когда чужестранцы сидели как дорогие гости за просторным столом в доме у Гогунокова Аскера, а гатлукайские мальчишки носились с этими револьверами по улице и показывали их даже тем, кто их об этом не просил, все согласились: девять, потому что в барабане каждого револьвера было девять ячеек такой величины, что в каждую запросто можно было вложить по газырю, если бы только газыри были чуть-чуть короче.

Дело в том, что Гогуноков Аскер пригласил дальних гостей в свой дом выпить по стаканчику бахсымы, пива из кукурузы, на что они ответили своею текилой, чудно — водкой из кактуса, но кончилось тем, что на другой конец аула пришлось посылать за чистым спиртом — чтобы добавить его туда и сюда — к Руслану Кумахову, чистый спирт был у него всегда не только потому, что отцу Русланчика дед его, высокий Нальбий, дал когда-то привезённое от русских непривычное для адыгейцев имя: Спиртзавод.

Как было не послать, если за столом у Гогунокова Аскера, наконец, выяснилось, что над могилой Медленного Джигита музыканты играли слегка переиначенную на свой лад адыгейскую песню «Адыиф»: о том, как ловкий и бесстрашный джигит, укравший невесту, сумел отбиться от всех, кто за ним гнался, но на лесной тропинке выскочил из зарослей и бросился под ноги его коню лесной петух, фазан безмозглый, конь испугался, шарахнулся вбок, красавица-невеста выпала из рук джигита и разбилась насмерть... судьба! От любой погони можно уйти, от неё — нет.

Это Батырбий Чесебиев то и дело, сказали они, пел эту печальную песню в их далёкой стране, и она теперь осталась там жить — уже без него, её без конца передают по радио и поют по телевизору... Велик Большой Дунэй — Белый Свет — и нет числа загадкам и тайнам, которые не так легко распутать, если даже Аллах дал тебе от рождения острый ум, зрелые годы подарили терпение, а то, что у достойных людей называется днями долгой и тихой осени, избавило тебя, наконец, от многих забот, оставив одну-единственную, самую главную в эту пору: на удобной скамейке под навесом из шифера размышлять с такими же, как ты, или почти такими же, только с виду простоватыми, мудрецами...

...Невдалеке послышался мягкий шум, послышался тонкий шелест, и не успели они медленно повернуть головы по направлению к центру аула, как головам пришлось уже побыстрее возвращаться обратно: сверкающий никелем и блестящими, как чёрное зеркало, стеклами большой джип стремительно приблизился и замер вдруг посреди асфальта напротив.

Они молча ждали, и высокий казак из Пятигорки, из своего хутора, которого оказалось мало для него — придумал теперь ещё какой-то «охотничий», открыл, наконец, дверцу и вылез из-за баранки.

— Ничего не понимаю! — громко сказал. — Первый раз заглох, ещё чего — никогда не было!.. Мир вам, отцы!

Они закивали не торопясь, не спеша один другого догнать:

— Мир и тебе!

— Мир!..

— Тебе тоже мир.

Гогуноков Аскер сперва хмыкнул, заранее давая понять, что людей серьезных не очень-то волнует, о

чём он так, на всякий случай, хочет спросить:

— Скажи, а правда ли, что такая машина есть только у тебя и у... как его, этого папу?

Повел пальцами так небрежно, как будто Папа жил в соседнем ауле, в Пчегатлукае или, на крайний случай, в Понежукае, который и русские, и черкесы, посмеиваясь, называют Пониже шукай.

— У Папы римского, да, — откликнулся казак живо.

И в этот миг сверху просыпался далёкий и тонкий звон серебра... ближе, ближе!

Даже казак, наверняка не знавший в подробностях историю Медленного Джигита и Малой Птахи — Первого Жаворонка — слегка наклонил голову набок и прислушался.

Как он там разлил вдруг свой звонкий голосишко, как им всплеснул перед тем, как смолкнуть — чтобы снова подняться на высоту, с которой он только что упал. Как радостно зазвенел опять — совсем-совсем близко!

Трое уважаемых старших словно мальчишки переминались возле лавочки, на которой только что сидели, вглядывались, задрав головы, вверх, и казак тоже тянул шею, искал глазами хохлатого степного бегуна: чего ему, казалось бы, и правда, делать над дорогой в ауле?!

— Не рано он, отцы?

Гогуноков Аскер сказал значительно:

— Он — всегда во-время!

Блестящая никелем и черными стеклами машина вдруг завелась, казак торопливо юркнул в неё, схватился за ручку на дверце изнутри, и джип его взял с места раньше, чем дверца захлопнулась.

Жаворонок тоже пропал: больше не слышать было, сколько они не вслушивались.

— Он ещё потом вернётся спросить, почему здесь остановилась машина как у этого папы! — твёрдо сказал Гогуноков Аскер.

— Если тогда весь аул остановился с носилками, почему не остановиться этой кучке железа? — усмехнулся его сосед слева, второй по старшинству в годах — Унароков Киримизе.

Не торопясь, они опять поудобней уселись на лавочке по бокам от Гогунокова Аскера, и он сказал совсем тихо, как говорят, когда желают, чтобы собеседник напряг не только слух — приготовился маленько пошевелить мозгами:

— Давно спросить хотел... После победы, помните? Когда мы с фронта пришли. Да и потом ещё много лет. До недавнего времени, пока не пришёл ещё этот «плюралис». Если мальчишки играли в войну, с кем они всегда воевали?

— Как — с кем? — оживился Киримизе. — С немцем, конечно!

— С кем ещё тогда можно было воевать? — с загадкой в хриплом голосе переспросил Мосхаб Кунижев.

— Говоришь: тогда! — не поворачивая головы, качнул в его сторону руками, сложенными на палке, Аскер. — А теперь? Ты слышал, что они кричат нынче... Падай! Убил тебя! Ещё недавно грузины падали... а «наши» были абхазы. Но теперь эти огольцы чеченами заделались и заставляют падать урысов...

— «Федерал-удирал»! — подсказал Киримизе.

— Кавказская война пошла, правильно! — качнул руками на палке Гогунуков Аскер теперь в сторону Киримизе. — Как теперь наши учёные в Майкопе добиваются называть: Русско-Кавказская война. Она опять идёт! Слава Аллаху, пока только среди этих дурачков несмышлёных, которые теперь знают больше, чем положено знать...

— Как от них теперь скроешь, — хмыкнул Мосхаб Кунижев, — если уже в первом классе у них в учебниках, говорят, вместо таблицы умножения — таблица размножения, ы?

— Кунак этого казака из Пятигорки, Меджид, возил туда свою бабушку чай пить с его бабкой, — заговорил Киримизе Унароков так торопливо, как будто боялся, что его перебьют. — И слышали, что та сказала нашей?.. Раньше, говорит, у Пятигорке малые дети посикать просились шепотом, а теперь взрослые кричат на усю улицу: сиксуально!

— Теперь они чечены! — строго продолжил старший, явно осуждая тоном и насчёт размножения, и насчёт разговора болтливых старух. — А что сказал Шабанов Хазрет? Он всё время ездит туда, он знает. Абхазы давно прогнали тех чеченов, кто против русских настраивал... быстренько оттуда наладили, как любят в станице говорить... Разве не ясно, что у абхазов только одна надежда? И я уже давно думаю: а что сказал бы этим огольцам наш Медленный Джигит, наш Батырбий, который учил их русскому языку? Если бы мог сказать...

— Он знал много и других языков, ты же слышал, что они тогда нам рассказывали, — виновато напомнил Унароков Киримизе. — Но за него теперь эта птаха нам говорит. Каждый год.

— Только что сказала опять, — согласился Кунижев Мосхаб. — Она сказала, и будем теперь ждать, когда через год скажет снова...

— Это надо придумать: водка из кактуса! — повеселевшим голосом вдруг припомнил Гогунуков Аскер, и пышные его, черненого серебра усы медленно поплыли, один поднялся выше другого. — Чего только нету на белом свете... у тебя не пропала, Мосхаб, эта бумажка, куда ты название записал?

В тоне у Мосхаба послышалась гордость:

— Лежит дома, я её в почётную грамоту засунул! В самую красивую. Не пропадёт!

— Ты их ещё не выбросил? — насмешливо поинтересовался Гогунуков Аскер.

— Ты скажешь! Разве ты выбросил свои медали за фронт!

— Почему — медали? Там и ордена есть!

— А разве у меня — одни грамоты?

— Хорошо, что Русланчик, сын Спиртзавода, дома оказался, никуда не уехал, а, говорит, собирался в тот день, — с задумчивой лаской вспомнил Киримизе. — Они там тоже наверняка вспоминают нас в своей Мексике.

— В Мексике, я так до сих пор не разобрался, или всё-таки... как эту другую далёкую страну?

— Это я тоже записал, там лежит, но я и так помню, — расправил плечи Мосхаб. — Эта далёкая страна — Аргентина!

— Надо же было этому переводчику так набраться! — со смаком произнёс последнее слово Аскер по-русски. — Так и не мог потом сказать толком!

— К-какой от него толк? — весело поддержал его Киримизе. — Если я сам, лично, переводил ему потом, что говорили нам чужестранцы, а один чужестранец, такой, самый чёрный и самый носатый, может, помните, — я сам это лично слышал, переводил ему наш язык!

— Русский, что ты хочешь, — небрежно бросил Мосхаб. — Черкес не может так напиться!

— В голосе у Киримизе послышалась невольная ревность:

— Не может?!

Установилась долгая тишина, потом Гогунуков Аскер значительно и твёрдо сказал:

— Настоящий черкес всё может.

И е-ей, недаром всё-таки Дунэй называется Большим: нет, недаром.

И недаром раз в год появляется над маленьким Гатлукаем Первый Жаворонок: об этом напомнить.

## ЛЕЗГИНКА ДЛЯ СМЕРТЕЛЬНО БОЛЬНЫХ

Позвонил Саиду Лорсанукаеву: мол, надо бы повидаться — отдам тебе маленький рассказик «Три пирога», который напечатал наконец-то «Роман-журнал XXI век».

— Надо! — горячо откликнулся Саид. — Давно надо: «трехстороннюю» встречу осетина да казака с вайнахом он вспоминает часто — жаль, что не можем снова теперь собраться в том же составе... мир праху великого джигита Ирбека Кантемирова и светлая ему память!

Повидаться договорились через неделю: Саид сам позвонит, предложит день и час встречи...

И тут он пропал.

Разыскивать его я не стал, сложилось так, что было тоже не до того, а после уехал сперва на Кубань, в свою Отрадную, потом надолго застрял в Майкопе у родни да у черкесов, у кунаков.

«Болел Саид, причем сильно — не дай Бог никому так болеть! — сказал мне наш общий товарищ Володя Ряшин, когда через полгода я вернулся в Москву. — Пожалуй, на краю был, еле вытащили. Печень его давно прихватывала, а тут началось такое обострение — не обойтись без операции, но наши хирурги отказались. Специалиста в конце концов нашли во Франкфурте, но клиника запросила такие деньги!.. Хорошо, скинулись земляки-чеченцы и Дума маленько помогла — он был тогда уже помощником Селезнева, Саид. Из Германии вернулся еле живой, но сейчас начал отходить помаленьку, уже берет трубку — позвони ему, он спрашивал, как ты и где.»

И вот сидим в необжитом кабинетике Саида в Государственной Думе: я только что вручил ему экземпляр журнала с подборкой своих «Газырей», а он уже успел отдариться только что отпечатанной в издательстве «Воскресенье» книжкой «Дожди меняют цвет»... да что там книжкой — огромной книжицей!

— До электрички как-нибудь дотащу, а там сын меня должен встретить, — пошучивал, принимая прекрасно изданный увесистый том форматом больше обычного. — Как ты-то ее донес — тоже небось твой Асланбек привез тебя и поднял твои «Дожди» на этаж... или — «своя ноша не тянет»?

— Ноша, да! — откликнулся он таким тоном, что было ясно: истолковал мои слова на свой лад. — То, что всю жизнь в себе носил, это ты — точно! Здесь собрано практически полностью, что когда-то было опубликовано и на Кавказе, и в центре: детство, ссылка в Казахстан, возвращение, схватка с партийными чиновниками и люди, люди — Чечня мирная и Чечня военная... встречи с Джохаром, когда я ему сразу сказал: э, нет!.. С Басаевым, который был тогда другой парень... с полевыми командирами и с нашими генералами... да вот, дай-ка...

О, родной мой Кавказ!

О, спаявшая нас потом и кровью моя Россия: вон как все переплелось в тебе, как срослось!..

Чувства явно переполняли Саида: характер из тех, какие называем взрывными.

— Торжественно обещаю прочесть в кратчайшие исторические сроки, — не выпуская «Дожди», сказал я на той же полушутливой ноте. — Обещаю!.. Но что мы с тобой за люди? Так нас с тобой перестанут числить кавказцами: нет сперва — о здоровье, сразу о книжках... как ты?.. Володя Ряшин мне рассказал, и я порадовался и за тебя, и за твоих земляков: все-таки здорово, что собрали деньги, отправили тебя в этот немецкий госпиталь...

В голосе у Саида послышалась скрытая усмешка:

— Кое-что мне там пришлось и самому собирать...

— Не хватило?

— Тебе расскажу, — сказал он по-дружески ворчливо. — Поймешь, чего не хватило... кому из нас...

На какое-то мгновение смолк, а когда заговорил, то голос его стал крепнуть, а глаза будто набирали молодечества, которое тут же источалось на все вокруг:

— Понимаешь: эти проклятые зеленые бумажки были уже у них. Но дело оказалось настолько плохо, что профессор, немец в последнюю минуту говорит: хоть вы и подписали бумагу, что согласны на любой исход операции... что ответственность будет только на вас... решиться я не могу: не сомневаюсь — не выдержите. И тогда, знаешь, что?

Он снова смолк, а я, вроде бы понимающе, спросил:

— Тогда тебе и пришлось?..

— Пришлось! — сказал он громко. — Пришлось. Смотрите, профессор, я закричал. Смотрите, как перед смертью вайнахи пляшут: ас-са!.. И посреди кабинета лезгинку как ударил!

— Лезгинку?.. Ты?!

— Откуда силы взялись... я в жизни так не плясал, как тогда!.. Конечно, не весь танец. Упал на одно колено перед красивой секретаршей, у которой только что эту бумагу подписал. Смотрю на нее, как джигит смотреть должен, а она за сердце схватилась, в кресло падает... Крепко поцеловал ее, оборачиваюсь к профессору: как вы решите, доктор!.. Но я готов. А он — почему-то шепотом: немедленно в операционную. Немедленно!..

...Ехал я потом в полупустом вагоне электрички, держал «Дожди» Саида в руках. То подносил поближе, вчитывался, а то по старой профессиональной привычке принимался листать, пытаюсь угадать наперед, что же это все-таки за книга, чего в конце концов стоит... Опять склонялся над текстом и опять, оставив закладку большой палец левой, прикрывал том задней обложкой, пристраивал на коленях и невидящими глазами подолгу смотрел в окно...

Снова вдруг вспоминал как бы полунасмешливый рассказ Саида о стремительной лезгинке посреди чинного кабинета профессора в благопристойном и дорогом немецком госпитале, и начинало казаться, что одна эта маленькая история — как стальная пружина сжатая, как неистребимый зародыш тугая и плотная — сама по себе стоит этого любопытного и глубокого, я уже успел понять это, наполненного болью отзывчивого сердца тома... или не так, не так?.. Она — как бы некая концентрация всего в нем написанного, естественное его продолжение... естественное?!

Легко сказать.

Само собой, что этот маленький рассказ о несгибаемом мужестве пишу после того, как прочитал «Дожди меняют цвет» целиком: я ведь как бы искал в ней не только личностную разгадку Саида, но и некую общую чеченскую тайну, которая, конечно же, есть... Сказать при этом, что есть она у чеченцев как есть у всякого другого народа, хоть многочисленного, а хоть малого по числу — значит, ничего не сказать.

Какая это тайна? В чем именно заключена? Как ее понять? Как, не посягая на чужое достоинство, сделать ее безвредной для нашего взрывоопасного мира? Как ее «в мирных целях» использовать?

Прежде всего — во благо истекающего кровью Отечества...

А любопытное дело, правда: в былые времена на Кавказе жизнь путника почти напрямую зависела от того, верно ли он угадывал в приближающемся всаднике кабардинца либо, предположим, лезгина...

Какой издали подать встречному добрый знак?.. Как его приветствовать, с чего начать разговор, что спросить?

Нынче же на узкой тропе, бывает, встречаются два народа, но ни один при этом не отягощен знанием характера другого, привычек его, давних традиций и недавно обретенного опыта... И каждого одолевают национальные амбиции, только они... а-ей!

Как восклицают мои кунаки-черкесы.

Тропа, и в самом деле, стала слишком узка, а горы как всегда высоки и ущелья между ними почти бездонны!..

Или все дело — в ненадежных наших проводниках, которые и той, и другой стороне клятвенно обещали вывести из опасной местности, а, оказалось, — лоб в лоб столкнули?

Выходит, уплаченные и теми, и другими большие деньги для них не главное. Главное — большая кровь.

За дружеским столом, за хлебом солью, когда душа распахнута больше, а язык становится искренней, мои друзья на Кавказе говорят: разве не видишь — идет поголовное истребление чеченцев?

— Это где же? — отвечаю. — В том числе — и в московских банках, где кроме еврейских самые большие деньги — чеченские?.. И разве не могу я о русских сказать то же самое: идет истребление?

С вами все ясно, — запросто отвечают мои товарищи. — Это вам самим до сих пор почему-то непонятно, что с вами происходит. Но вы себе можете это позволить — не понимать: вас много!

...Из-за стечения обстоятельств, а, может, по воле провидения, чтение саидовой книжки заканчивал я в Центральном госпитале Главных космических войск в бывшем Голицыне-2 под Москвой, нынешнем Краснознаменске, где мне тоже пришлось несладко.

«Резал» меня заведующий отделением урологии сорокалетний подполковник Сергей Таймуразович Хутиев, неунывающий осетин, а помогал ему печальный, с пронизательными глазами ровесник —



туркмен Батыр, Батыр Арсланович.

«Лошадиный» укол в крестец отдал им всю мою половину ниже пупа, а я с привязанными по сторонам запястьями, с головою в милосердных, но очень крепких ладонях сменяющих друг дружку «сестричек», как на экран смотрел на белую, отделявшую меня от хирургов простыню, на которой, словно в театре теней, шевелились их руки, наклонялись головы...

Боли не было, только приглушенное новокаином тупое ощущение, что тебя разрывают изнутри, и по тому, как усердствовали, как торопливо перебрасывались словами две другие сестрички, чувствовалось, что и заведующий отделением, и его ассистент тоже всю стараются: недаром Хутиев предупредил, что оперировать ему придется «дедовским способом», лучшего в моем положении пока нет, и мне придется терпеть «как деды терпели».

Любопытное дело: я вдруг вспомнил Саида, и сестричка, сторожившая на моем лице перемены, спросила как у ребенка:

— Что это мы так улыбаемся?

— Все хочу с джигитами поговорить...

Она удивилась:

— С какими джигитами?

— У которых в руках кинжалы, естественно. В нашем случае — скальпели...

Хутиев вытянул шею над верхом простынки, и в прорези между белой шапочкой низко по лбу и такой же белой маскою на горбинке носа глаза дружелюбно, но вместе с тем строго — мешаю работать! — спросили: мол, какие проблемы?

— Помните, конечно, старую кавказскую байку?.. Как пожилой джигит, привыкший жить, само собою, набегами, упрекает молодого: бездельник!.. Ты хочешь жить потом, а не кровью!

— А-а! — протянул он уже из-за простынки, посмеиваясь. — Да-да...

— В этом смысле вы с ассистентом неплохо устроились: добываете свой хлеб и тем, и другим. Пот, правда, при этом льете свой собственный, но кровь-то, братцы, не забывайте это, — моя!

Хутиев как бы поощрил меня тоном:

— Справедливо.

А над чертой простыни поднялись, теперь тоже обрамленные белым, пронизательные глаза туркмена Батыра — в спокойной их черной глубине, казалось, жила сама тысячелетняя мудрость Востока: дает же для чего-то Господь такие всепонимающие глаза?!

Несколько дней мне потом было совсем не до книг, вернулся к ним, когда начал вставать, и на плече у меня появилась ну, прямо-таки рыцарская перевязь из бинта либо, если хотите, этакая португеза, на которой вместо шпаги или шашки болталась у бедра потихоньку наполнявшаяся темнотой жидкостью пластиковая бутылка-«полторашка» с выведенной в нее из нутра пониже пупа длинной, тоже из пластика, прозрачной трубкой.

Вместе с книжкой Саида прихватил еще одну, почти такую же объемистую: «Большая игра на Кавказе». Накануне, тоже с дарственной надписью, презентовал мне ее на Книжной ярмарке молодой профессор истории, доктор наук Владимир Дегоев, осетин: давно в столице, должен прямо сказать, не встречал такого дельного, такого всестороннего и такого открытого исследования, написанного уверенной и неравнодушной рукой.

И вот я читал сперва о дорогих сердцу каждого кавказца Черных горах, в которых среди забытой в городах первозданной чистоты бродил Саид рядом с народным целителем-«травознаем», а потом откладывал тяжелый лорсанукаевский том и тут же раскрывал «Большую игру»: Кавказская война и нынешние затяжные конфликты, которые точной калькой накладываются на прошлое... Неужели одним только неумолимым временем? Которое не меняет даже состав заинтересованных в бедствиях России ближних и дальних государств...

Откладывал дегоевский том и снова брался за книжку Саида: казалось, перемежая одно другим, как будто легче было добираться до главного, до чего мы все вместе все-таки не доберемся никак...

Саид рассказывал о своем старшем друге знаменитом танцовщике Махмуде Эсамбаеве, которого ему не один раз пришлось сопровождать в поездках по Кавказу, рассказывал очень интересно, и я, улыбаясь не только в собственные усы — уже и в бороду, давно в бороду, размышлял: конечно, с кем поведешься — того и наберешься... Вот, мол, она кроме прочего откуда — лезгинка в профессорском кабинете немецкого госпиталя!

Посмеиваясь уже над собой, подхватывал свою «шашку-полторашку» и, как на процедуру, уходил в места не столь отдаленные, где нашему брату не до смеха... Чтобы невольных слез не видеть было, сразу шел умываться, забирался потом на очень высокую кровать, прислонялся спиной к стоящим торчком подушкам. Нашупывал ту или другую книжку, долго сидел, не открывая, а все продолжая размышлять.

И все мне представлялся уже не Саид, нет — как будто другой такой смертельно больной и смертельно уставший человек, который на краю пропасти, что называется «Большая игра на Кавказе», взрывается вдруг всепобеждающей, бесстрашной лезгинкой...

## БЕРЁМ ОТ ВЫСОКОГО ДУХА

Портреты единомышленников

## Откровение

Несколько строк о черкешенках из письма Белинского, почти два века назад посланного из Пятигорска М. Бакунину, искал теперь не в собрании сочинений Виссариона Григорьевича — выписал из собственного рассказа «Предчувствие журавлей», пятнадцать лет назад опубликованного в журнале «Москва». Вот что я тогда у классика позаимствовал: «Черкесов вижу много, но черкешенки — увы! — ещё ни одной не видел. Черкесы ужасно похожи на татар, но это, может быть, потому, что они татары и есть (какая глубокая физиологическая догадка — сообщи её Венелину: он напишет об этом огромную книгу). Вообще черкесы довольно благообразны, но главное их достоинство — стройность. Ох, черкешенки! Чтобы видеть их, надо ехать в аул, верст за тридцать, а это мне не очень нравится: погода кавказская в непостоянстве не уступает московской, прекрасное утро здесь не есть ручательство за прекрасный день — можно простудиться. К тому же я питаю к черкесам такую же антипатию, какую к черкешенкам — симпатию. Черкес, плен и мучительное рабство — для меня синонимы. Эти господа имеют дурную привычку мучить своих пленников и нагайками сообщать красноречие и убедительность их письмам для разжалобливания родственников и поощрения их к скорейшему и богатейшему выкупу. Черт с ними! Это уже хуже господ офицеров. А все-таки очень

хочется посмотреть чернооких черкешенок!»

В то время, когда писал свой рассказ, я только что вернулся в родные кубанские края, но в силу обстоятельств поселился в Адыгее, в Майкопе, и после долгих лет сибирской да столичной жизни как бы вновь узнавал Кавказ, обживался, что там ни говори, среди другого народа. И то, и другое давалось непросто, но потихоньку срастались, срастались корешки, оставленные на этой земле казачьими предками, столь многое когда-то у адыгов — читай, черкесов, кабардинцев да адыгейцев — перенявшими. Потому-то и позволил себе вскорости над московскими представлениями о Кавказе горько пошучивать, а с Виссарионом Григорьевичем у меня возник и годами потом невольно продолжался мысленный этот, может, несколько панибратский разговор о черкешенках. И — не только о них.

Ах, Неистовый, говорил ему, если бы ты знал, что ты потерял тогда, ссылаясь на дурную погоду, которой, скорее всего, пытался прикрыть дурное настроение, а то и дурной характер. Ах, если бы ты знал, что все мы потеряли тогда и всё продолжаем, все продолжаем терять нынче!..

Чем дольше обитал на Кавказе, тем сильнее укреплялась во мне эта печальная уверенность, и смыслом её была не только «стройность» черкесов либо черкешенок, больше — вековая наша неустроенность отношений России с горцами.

Когда-то не без державного бахвальства говорилось, что Кавказ — «наборный пояс» России. Но мало, мало у нас задумывались над этим символом. А здесь всегда значило: надеть такой пояс — быть в постоянной готовности к защите родной земли, к сыновнему ради неё подвигу. Снять его — предаться лени и отдыху.

Так ощущали мы его на себе или нет, этот «кавказский пояс»? Или же, полузабытый нами, он в сторонке больше полеживал?

Тут, когда московские просчеты и промахи, начинаешь чувствовать на собственной шкуре, задумываешься не только над этим, и старое казачье правило подставлять плечо, когда столица ещё не спохватилась, заставляет принимать собственные решения: на свой страх и риск.

Какое пространное и убедительное письмо отправил я в своё время генералу Казанцеву, бывшему тогда главой Южного Федерального округа, с какой надеждой, незванный, ехал потом со знакомыми, хорошо понимавшими меня православными священниками для встречи с ним на совещании духовных лидеров Северного Кавказа в Ставрополе!

Заботой моей было восстановление на новой основе, с непременным сохранением тысячелетних национальных традиций, единого с Россией духовного пространства Северного Кавказа, пусть с издержками, но, так или иначе ещё недавно существовавшего. И поправить дело пытался я не только при помощи «писем в инстанции».

За полтора десятка лет перевел большой роман адыгейского писателя Юнуса Чуюко о Кавказской войне — «Сказание о Железном Волке», вышедший с благожелательнейшим предисловием Валентина Распутина, и «Милосердие Черных гор, или Смерть за Черной речкой», тоже Чуюко, — по сути первый черкесский, что давно равнозначно адыгскому, роман о Пушкине. Но недаром тут бытует присловье: работай на другого — учишься для себя. В журнале «Южная звезда» недавно вышла повесть «Вольный горец» с подзаголовком «Записки о народном Пушкиноведении», в Майкопе — книжка коротких рассказов под названием «Газыри», во Владикавказе уже набрана и вот-вот должна выйти документальная «Счастливая черкеска» — «Размышления о современном рыцарстве и об осетинском джигите Ирбеке Кантемирове».

Как принято обозначать это у «киношников», на Кавказе я теперь — «в матерьяле».

Но, может быть, как раз потому-то внутренний разговор с «Неистовым» не только не попритих, но сделался и ещё настойчивей? Хоть смысл его, приходится повторить, относится уже не только к Белинскому, но ко всей официальной Москве, проявляющей по отношению к Кавказу и его

насельникам во многом почти такие же чувства и такое же, не отличающееся, мягко скажем, глубиной, как у стародавнего литературного критика знание, осталась у нас с Виссарионом Григорьевичем, как маленькая тайна, ещё и общая заветная тема: черкешенки.

Разве это не радостно, представьте, когда мировой исторический опыт, давно заявивший, что «черкешенка» — явление уникальное, то и дело подтверждается у тебя на глазах как бы на бытовом уровне, подтверждается ярко и выразительно, и после очередного вроде бы мимолетного разговора с хорошо знакомой «адыжкой» в майкопской библиотеке — это вместо «адыгейки» настойчиво употреблял прекрасный русский прозаик Аскер Евтых, большую половину жизни изгнанником проживший в Москве — в Национальном музее, на кафедре филологии в местном университете, а то и дома у кого-нибудь из старых друзей — с замотанной заботами о детях и внуках женой его (на улице воспитанная в старых традициях черкешенка с тобой не только не остановится, может и деликатно не заметить) — так вот, даже после мимолетного разговора с «настоящей» черкешенкой думаешь: что там покрытые архивной пылью, как ни суди, «Беседы с госпожой Каландрины», по-французски написанные адыгской красавицей Айшет в восемнадцатом веке, когда вот оно, всё это живо и нынче — удивительная тонкость, изящество и ум, да, — глубокий и гибкий, поверьте, ум — ведь для того только и позволил себе сказать о своем знании Кавказа, чтобы мне и точно поверили, потому что дело касается не только вещей серьёзных, но, может быть, нынче — главных. И для Северного Кавказа. И — для России.

Пока собирался написать о черкешенках, пока размышлял, как это достойно и ненавязчиво сделать, в руки мне, само собой, не случайно, попала книга в алой обложке со знакомым адыгским орнаментом: «Царская любовь» Любы Балаговой. Кабардинский роман-драма в стихах, переведенный Николаем Переясловым.

Прочитал взахлёб, и, только что насмешничавший над своим великим, как еще недавно считалось, предшественником, словно оказался вдруг в его сомнительной роли. Правда!

И сильно поколеблено было вроде бы честно заработанное здесь самоуважение, и стало зашкаливать стрелку самокритичности: настолько четче, чище, эмоциональней, возвышенней оказался явленный кабардинкой Балаговой как бы зеркальный, а на самом деле глубоко внутренний, сокровенный, озаренный не то, что высоким — поистине горним светом, образ черкешенки... Да ещё, в каких обстоятельствах!

Когда почти пятьсот лет назад из Москвы в Кабарду прибыло представительное боярское посольство — сватать красавицу-княжну Гошаней Идарову за царя Иоанна Васильевича, за Грозного, ей было пятнадцать лет. Зная о высоконравственном воспитании у кабардинцев, во многом ещё и нынче остающихся законодателями Северного Кавказа, невольно представляешь юную горянку в традиционном кожаном корсете, который впервые в жизни должен непременно снять с неё только муж, кинжалом распарывая прочные ремешки... Но не только корсет был тогда крепок у черкешеских невест: незыблемые правила «адыге хабзе» — кодекса чести, прививаемые с самого нежного возраста, сообщали и тот самый высокий дух «человечности», известный, как «адыгагэ», и чуткий, вроде нынешнего радара, характер, чтобы подстроиться под нрав суженого, и тонкую интуицию — чтобы делалось это незаметно...

Вот — и ещё одну великую тень из русского сонма тревожить приходится!

«Современники пишут, что сия княжна черкешеская, дикая нравом, жестокая душою, ещё более утверждала Иоанна в злых склонностях...» Это уже Карамзин. Читаешь и думаешь: да не могло быть такого, ну, нет! Как бы сказали нынче: «по определению» — не могло!

И следом у Николая Михайловича: «...не умев сохранить и любви его, скоро простывшей: ибо он уже вкусил опасную прелесть непостоянства и не знал стыда.»

Может быть, в этом-то и состояло несчастье брака русского царя и кабардинской княжны?

Иоанну Васильевичу было к тому времени тридцать, одиннадцать лет перед этим он был женат на

Анастасии Захарьиной, впоследствии, скорее всего отравленной. Без неё остались сиротами двое детей, что открывало потом недоброжелателям новой царицы, в православии Марии, возможности для бесконечных интриг...

Тоже Карамзин: «Женолюбивый Иоанн, разгорячаемый вином, забыл целомудрие, и в ожидании новой супруги для вечной, единственной любви, искал временных предметов в удовлетворение грубым вожделениям чувственным».

И тут-то оно и прибыло в русскую Москву в сопровождении русских бояр и кабардинских князей и джигитов — адыгское целомудрие, о котором черкешенки не забывают до смертного часа. Это ли не сюжет для «феатра истории», выражаясь языком того же Николая Михайловича?

И сразу же со всей возможной в моем положении ответственностью позволю себе сказать: конечно, это не драма, это — трагедия со страстями поистине шекспировскими — недаром «Царская любовь» выходит заодно и на английском языке, на родине великого драматурга.

Сознаю, что как критик, а в данном случае — горячий апологет Любы Балаговой, я давно бы уже должен засыпать читателя цитатами из неё, но вот какое дело: открыв книжку, в этом смысле буквально теряешься. Может быть, предрасположенность к Северному Кавказу и острая боль, горечь-горькая за то, что и нынче (а то и нынче — особенно, нынче — как ещё никогда) этот уникальный, удивительный край так и пребывает непонятым, лишает меня и желания, и, не исключая, возможности, что-то вычлнять, «резать по живому». «Царскую любовь» надо читать от начала и до конца, и читать не единожды: роман в стихах — великолепных, надо сказать, стихах! — этого стоит.

Только представьте себе, что кроме главных героев — царя Иоанна Васильевича Грозного, одного из главных строителей России, и кабардинской княжны Гошаней Идаровой, воплотившей в себе неразгаданную до сих пор тайну «любимца богов» — Кавказа, на сцене «феатра истории» действуют ещё десятки удивительных, как само то время, выразительных, поистине самобытных персонажей. Отец княжны, мудрый и отважный Темрюк Идаров, бесконечно любящий свою дочь, горячо желающий ей счастья, знающий, что сердце её уже отдано одному из молодых кабардинских князей, но хорошо понимающий, что будет значить отказ царственному свату с севера, и очень надеющийся на то, что маленькая его, воспитанная в лучших традициях терпеливая умница все преодолет, все переможет и на веки вечные скрепит союз двух очень нужных друг другу соседних народов... да разве не так оно, в конце-то концов, и случилось?.. Княжеское, из самых верных и преданных ему знатных уорков-дворян и бесстрашных джигитов, окружение, воспоминание о котором в далекой Москве натолкнёт потом царицу Марию на мысль оградить такую же нерушимой стеной своего мятущегося мужа... Другое дело, что из этого, в конце концов, выйдет, но Мария ли, кабардинка Гошаней, виновата в разгуле вышедшей потом из берегов царской опричнины?

Есть на «феатре» у Балаговой именитые русские бояре и неизвестные простолюдины, черная кость, есть не только крестивший и окормлявший, но много раз спасавший потом Марию-Гошаней страдалец-митрополит Макарий, есть сопровождавшие её в непростой московской миссии кабардинские князья во главе с братом Салтаном Черкасским, в крещении Михаилом: «Он удивлялся русским: что за нрав — служить тому, кто сотню раз неправ, и честь свою ронять, как в битве флаг, ради никчемных и минутных благ — таких, как деньги, власть и прочий прах?! Он — так не мог. Он по-другому жил. Царю дав клятву, лишь ему служил. Не отвергал награды и успех. Но честь и гордость ставил выше всех».

Начавши, придётся процитировать один из диалогов Марии Темрюковны и Иоанна Васильевича: «Взяла я в сердце всю страну твою. И если в ней исчезнут вдруг солдаты — я сброшу платье и надену латы, чтоб защитить тебя и Русь в бою. Иль рухну мертвой — или устою!..» — «Ах, белошейка! Страшную работу ты хочешь сделать за мои грехи. Не знаешь ты — и за тобой охоту уже ведут коварные враги. Они следят за каждым твоим шагом, их тайный взгляд тебя везде пасёт. И, если смерть войдет мне в грудь, как шпага, то и тебя никто здесь не спасёт. Опасен враг, идущий от границы, но с ним могу я встретиться в бою. А как от тех врагов мне защититься, что здесь, в столице, ищут смерть мою?»

В этот диалог веришь, потому что Балагова подводит к нему не только неторопливо — подводит правдиво и естественно. Вот как сама она объясняет это в авторском послесловии: «Следующее, что случилось со мной, — это то, что ко мне явилась моя великая соотечественница, о которой я много думала, много размышляла и много плакала. Это одно из самых счастливых и значительных событий, произошедших в моей жизни. Я, словно сошедшая с ума, бредила ею, пока она мне не явилась. Она воскресла в моей душе, как Великий Ангел, позволяющий увидеть неисчерпаемую глубину духовного плана адыгов и дарящий бесконечную любовь ко всем русскому... Её судьба родиться кабардинкой, затем стать великой Русской Царицей, быть принятой, любимой и возвеличенной, а затем быть забытой и униженной, возвышает её до таких высот, что её имя смело произносится рядом с именами святых. Чем сильнее искажают её светлый образ, тем ярче и чище становится её Душа.

Её имя связывает два народа — кабардинцев и русских. И, возможно, именно потому, что в мире когда-то была (а для меня есть и поныне) Гошаней или Царица Мария, я ощущаю свою равную принадлежность как к кабардинскому, так и к русскому народам. Осознаю свою духовную причастность к Кабарде, точно так же, как и к Москве. Произнося это, я не повторяю заученную в ранней юности школьную фразу, чтобы удовлетворить этим чьи бы то ни было выгоды и интересы. Она звучит во мне спонтанно, легко и с верой в сердце. И потому, наверное, я могу от чистого сердца сказать, что люблю Россию и, любила её всегда. Да только — что значила моя любовь до того, как душа моя обрела, благодаря Марии, духовный опыт проникновения в безграничность связи между её кабардинским и русским народами!..

Да, это правда, что я прожила много месяцев и даже лет, пытаюсь разгадать её образ мыслей, её отношение к своему супругу Иоанну и к русскому народу. И поверьте мне, не моими глазами, а её глазами я увидела образ величайшей личности всех веков, великого князя Иоанна Васильевича — сложного, противоречивого, трагического и... непременно достойного настоящей любви, какую могла бы ему предложить (и в действительности, предложила) одна только кабардинская княжна Гошаней Темрюковна Идарова — любви безусловной и всеотдающей.

...То, что Гошаней обладала мощным потенциалом великой царицы, была цельной и духовной натурой, верой и правдой служившей своей новой стране и новому народу в лице своего супруга князя московского Иоанна IV, для меня неопровержимая истина. В ней просто по самой её природе не могло быть природы предательской, так как взрастивший её народ, кровь которого текла в её жилах, издревле жил и умирал в строгих рамках идеалов Чести Адыгэ Хабзэ и Адыгагэ. Ученые и древние европейские путешественники, описывавшие историю, культуру и быт кабардинцев, сравнивали Адыгэ Хабзэ и Адыгагэ — систему воспитания уоркских (княжеских) детей с „самурайским кодексом чести“ и „европейским рыцарством“. Уорки убивали себя, если оказывались в ситуации, где им грозило бесчестие измены принципам и идеалам своего народа.»

Может быть, потому так и поразил меня стихотворный роман-трагедия Любы Балаговой и связанные с ним кровоточащие её откровения — она их так прямым текстом и называет — что к одному и тому же мы шли из разных отправных точек, как говорится, в этом случае — как бы от двух соседних народов... какие там письма толстокожему генералу Казанцеву, который судится нынче с женой из-за колбасной фабрички под Краснодаром, Господи!

Тут-то, выходит, прав был «Неистовый» в отношении «господ офицеров» — вот оно как все переплелось в русской истории!..

...А Балагова с иголкой в искусных пальцах сидит терпеливо, как Сатанэй из адыгских легенд и изо всех сил пытается дошить сай — халат, который непременно должен быть готов до захода солнца... Она не успевает, и солнце, видящее её старание, замедляет свой путь и ждёт, ждёт.

И Люба-Сатанэй успевает поставить такую надёжную стежку: на том самом едином духовном пространстве родных ей Кавказа и России...

«И мне очень хочется верить, что моё откровение будет услышано другими народами России» — это тоже из её авторского послесловия.

Это надо читать, повторю, надо читать.

Остросюжетный, блестящий по форме стихотворный роман «Царская любовь» наполнен яркими этнографическими и глубокими философскими отступлениями: «Слово о воде», «Притча о юном герое», «Слово о материнском молоке», «Сказка старой няни», «Слово об отце», «Слово о князе Темрюке Идарове».

Но главное в нём, конечно же, — верность. И родимой земле, и — ставшей родной.

Когда решил написать о «Царской любви», стал искать записи, которые, помнилось, делал невольно мимоходом, не мог найти, и обнаружил вдруг потом на крошечном пригласительном билетике на юбилейный концерт мужского ансамбля «Казачий круг», с которым давно и прочно дружу... «Люба — такая же державница, как Мария» — написано торопливой рукой. Значит, тронуло душу, пробило сознание посреди обращенных в прошлое старых казачьих песен, в том числе о Кавказе, которые обычно слушаешь, забыв обо всём... Но вот: вспомнилось!

Снова цитировать Балагову?

«...чувствую, что получила откуда-то свыше привилегию достичь такой высоты внутреннего переживания, — пишет она в авторском послесловии, — что передо мной зримо открылись смыслы понятий „части“ и „целого“, зависимости каждого от другого и ответственности каждого перед другим.»

Тут, сдаётся мне, пора обратиться к переводчику. В своем предисловии, красноречиво названном «На краю истории и правды» Николай Переяслов подтверждает, что царица Мария-Гошаней «недолговечной яркой звездочкой просверкнула на небосклоне российской политической жизни XVI века и сгорела в костре жесточайших придворных интриг и вспышек царского психического безумия, явив собой невинный жертвенный агнец, возложенный кабардинским народом на алтарь своего служения России.»

И вот оно: в России почти забыто, а в Кабарде всё болит, болит!

Уверен, что автор и переводчик не договаривались об этом, а тем более пишущий эти строки — с ними обоими, но из одинаковых ощущений «троицы» — автор-переводчик-читатель — совершенно определено следует, что глубоким своим и очень эмоциональным романом-трагедией Люба Балагова заложила прочный, как кавказские скалы, камень в описание будущего, даст Бог, церковного жития царицы Марии.

Сегодня Русская Православная Церковь задним числом, как говорится, пытается «исправить» многие ошибки непростой нашей истории. Почему бы, и действительно, в таком случае не прославить и «кабардинского агнца» — рабу Божию Марию?

«Мария, Гошаней, Гошана — чья ты? — спрашивает Балагова в „Слове вослед событиям“. — Какой народ твои считает даты? Ты в Кабарде узнала вкус свободы. Но жизнь сожгла — для русского народа! Что ж о тебе никто не пишет книги? Все позабыли — русские, адыги... Лишь в небесах, увлекшись птиц игрою, твоя душа блеснет, как луч, порою... Ведь ты — Мария, и наступит время — ты к нам вернёшься, тихо скрипнув дверью, и назовет тебя народ — святою, ибо в страданиях ты сроднилась с Тою, в чью честь тебя крестил Макарий в храме и чей покров висит над всеми нами. То — Матерь Божья! Ваше горе — схоже. Не почитать вас — никому негоже...»

Два малых сына, так или иначе погубленных в Москве за восемь лет «царской любви» — брачного союза Иоанна и Гошаней — и в самом деле, роднят православную кабардинку Марию-Гошаней с Божией Матерью.

Может, и в самом деле, хорошо бы об этом вспомнить в праздничный год 450-летия союза России и Кабарды? Какая радость была бы не только для по-прежнему в основном православных пятигорских черкесов и вообще верующих во Христа, а их немало, адыгов. Даже тех, кто над этой датой скрытно

или явно насмешничают — а таких, не надо закрывать на это глаза, тоже ох, как немало! — в той или иной степени наверняка коснулось бы полузабытое чувство удовлетворенности Москвой.

Но прославлять — дело РПЦ.

А мне хотелось бы не то что «прославить» автора и переводчика — хотя бы воздать должное их литературному и гражданскому подвигу.

Сам донашивающий солдатскую шинель переводчика, когда на плечах у автора переведенных романов уже поблескивают — ох, не ослепили бы, как это часто на Кавказе случается! — крупные генеральские звезды, хорошо знаю, сколько сил забирает этот необоримо увлекающий «сопротивлением материала» поистине творческий, но тяжкий, что там ни говори, тяжкий труд...

«Это миссия, миссия!» — с лучезарной его улыбкой не раз говорил, приободряя меня, всепонимающий Петр Васильевич Палиевский.

Николай Переяслов справился со своей миссией блестяще и, судя по вдохновению, которое незримым ореолом окружает русский вариант стихотворного романа, она была для него не в тягость — была радостна.

Так вот, я — о первоисточнике этой окрыляющей радости.

С Любой Балаговой не знаком, хоть имя её было, как говорится, на слуху, но те подробности, которые узнал из биографии на обложке «Царской любви» и авторского послесловия, заставили теперь о многом задуматься, многое предположить, многое, вольно или невольно, домыслить...

Не без вполне понятного удовлетворения вдруг узнал, что Любовь Хазреталиевна окончила факультет журналистики МГУ. Сколько мелко- и великопакостных грехов, содеянных его выпускниками, куда рьяней многих других отстаивающих в наших СМИ «демократические перемены», исповедующих «едино» «общечеловеческие ценности», с родного и мне «журфака» потом спишутся! Благодаря поэтическому мастерству, подвижническому труду и гражданскому бесстрашию Любы.

Разве в родной Кабарде, в соседних Адыгее и Карачаево-Черкесии — да вообще на Северном Кавказе! — так вот, «на ура», и примут «Царскую любовь»?

Если бы!..

Как Москва «зашорена» в отношении «лиц кавказской национальности» — так эти «лица» всё платят столице той же монетой.

Обсуждать либо, не дай Господь, подвергать сомнению некоторые факты общей истории либо даже черты характера горца тут не только не принято — отступника ожидает остракизм. Пример тому — судьба великолепного прозаика Аскера Евтыха, так пока его родной Адыгеей — по большому счету — и не «реабилитированного».

Больше десятка лет назад, когда только начал здесь приживаться, за мной прислал машину заместитель главного редактора «Советской Адыгеи» Заур Хуако, тоже выпускник журфака МГУ, теперешний друг, профессор, доктор наук, негромкий и твердый консерватор. В полосе стоял тогда мой рассказ «Готовый роман», в котором была единственная — но добрая, добрая строка! — об императоре Александре II, и Заур весьма настойчиво попросил её снять.

Пришлось удивиться: она, мол, тут очень к месту, зачем?!

— Как ты не понимаешь? — в свою очередь удивился Заур. — К тебе хорошо относятся, тебя уважают... ты наш, наш! И вдруг!..

Не произнёс даже имени царя, а только ткнул концом шариковой ручки в газетную полосу.



Как бы все это и яснее, и, главное, — сокровеннее объяснить?

В сюжет рассказа о наших днях вплеталась давняя, 1861-го года, — история встречи Александра II с абадзехскими старшинами, когда взамен на согласие дать «три дороги к морю» русский государь твердо обещал и невмешательство во внутренние дела адыгов, и державное покровительство. Предложение это было отвергнуто, начался самый жестокий, самый кровавый этап Кавказской войны.

Трагедия? Разумеется!

Но только ли адыгская?

Убежден, что это было начало случившейся полвека спустя русской трагедии.

Есть история — несмотря на те или иные разночтения — общепризнанная, достоверная, задним числом возводимая всем миром почти что к точным наукам, а есть ещё и у каждого как бы своя, интуитивная: добытая горьким опытом предков, печалью сердца и долгими размышлениями. Так вот, по этой, моей версии все могло быть иначе, если бы русские и черкесы тогда договорились. Не сомневаюсь, что цвет адыгства стал бы цветом русского воинства. Никакие потрясения были бы империи потом не страшны. И не было бы, горячо убежден, того национального предательства по отношению к собственному государю, от которого России никогда не отмыться.

И как же я не только удивился — чуть ли не изумленно обрадовался, когда несколько лет спустя в московском журнале «Кавказский дом» прочитал беседу корреспондента с Мухадином Кандуром — потомком покинувших в девятнадцатом веке Кабарду махаджиров, человеком неординарным, безусловно талантливым и во всяком деле успешным. Один из самых удачливых в черкесской диаспоре предпринимателей, входящий в списки мировых лидеров, к этому времени он успел снять на Голливуде несколько фильмов о Кавказской войне и выпустить в России очень любопытный трёхтомник «Кавказ», первоосновой которого — скажем истины ради — скорее всего послужили, конечно, его сценарии: не пропадать же добру!

Так вот, на «узловой» вопрос о встрече в 1861 году императора с абадзехскими старшинами в долине Мамрюк-Огой под Майкопом, Кандур достаточно определенно ответил: правы ли были тогда черкесы, отказавшись дать русскому царю «три дороги» к Черному морю — вопрос открытый...

Вот и думай теперь: наш? Не наш?

Этот гражданин мира.

Который в собственном предисловии к русскому изданию своей книги «Мюридизм. История Кавказских войн 1819–1859 г.г.», вышедшей в Штатах четыре десятка лет назад как научное исследование, нынче с явным пристрастием размышляет: «Кавказ — многоязычная, многонациональная страна. Надеюсь, что лидеры народов этого региона возьмут на вооружение плюрализм как средство достижения взаимопонимания и сближения, а не политику, нацеленную на разобщение и вражду. Следовало бы внимательнее присмотреться к югославскому конфликту, изучить его и понять — куда может завести кавказские народы безудержный этнический национализм».

Три года назад в зале Чайковского в Москве на вечере для черкесской диаспоры, посвященном творчеству Мухадина Кандура звучала его симфоническая музыка: исполнял её собственный его оркестр, которым он, Мухадин, дирижировал — и сейчас помнится и его «Плач по Иерусалиму», и «Палестинские мотивы», кажется — так.

А многочисленные, подаренные ему тогда букеты цветов он передавал тогда Любе Балаговой...

На обложке «Царской любви» под фотографией Любы теперь сообщается, что живет она в Англии и

Иордании, а в послесловии она пишет: «Спасибо моему супругу и близкому моему другу Мухадину Кандуру, тонкому историческому романисту и многолетнему исследователю родной культуры, без чьей любви к тому, что я делаю, и веры в то, что я делаю, написание и издание моих книг было бы на грани невозможного.»

Ощущаешь, что пишет это счастливая женщина. Но удался, видимо, не только семейный союз: крепок и плодотворен творческий.

«В Англии и Иордании», а всё же — на родной кабардинской почве.

Для Любы ещё — и на родной русской.

Может быть, отсюда ещё, от всех этих неординарных обстоятельств, — и раскованность стихотворного письма Балаговой, подхваченная и верно переданная Переясловым, и его энергия, и масштаб размышлений, как бы некий космизм, русский космизм, так отличный от столько опасностей таившего для Любы за рубежом, ставшего нынче обычным, чуть ли не бытовым, космополитизма.

Примерно в это же время, когда в Москве, в «Обществе дружбы и развития сотрудничества с зарубежными странами» готовилась к выпуску «Царская любовь», в Майкопе, в Адыгее, по уговору с «Фондом российской интеллигенции» я занимался составлением сборника «Северокавказский рассказ», и ко мне как бы стекалась информация и о том, что теперь на нашей «малой родине» пишут, и-как пишут.

Должен сказать: несмотря на громкие имена, в Абхазии уже давно «имевшие место», а в Осетии, предположим, имя недавно появившееся, проза самого высокого уровня живёт и здравствует нынче как раз в Кабарде. К давно именитым Сараби Мафедзеву, Эльберду Мальбахову, Тенгизу Адыгову, Алимю Типпеву присоединилась блестящая плеяда, состоящая из мало пока известных, но чрезвычайно способных и многообещающих молодых прозаиков: Мадины Хакушевой, Амира Макоеза, Алима Балкарова, Бориса Чипчикова.

О поэтах и о поэзии в это время как-то не думал: не до того было.

Но после того, как прочитал «Царскую любовь» Любы Балаговой, твёрдо знаю: Нальчик — столица северокавказской поэзии.

С очень серьёзной заявкой на центр и российской поэзии, и — русской.

Тоже послесловие:

Когда эта статья была окончена, из стопки переносимых с места на место книг на пол выпала одна из давно не попадавших на глаза — оригинальная, чтобы помягче сказать, «Новая хронология Руси, Англии и Рима» В. Носовского и А. Фоменко, не без просветительского доброго умысла подаренная десяток лет назад Андреем Тарасовым, серьёзным писателем, бывшим научным обозревателем «Правды»...

Твердо верящий, что ничего случайного не бывает, подумал с полуиронией: знак?..

Может быть, авторы исходили исключительно из царской «нумерации», но в «Повой хронологии» говорится, что «Иванов», сведенных впоследствии летописцами в один образ, на самом деле было у нас четыре... И в мыслях у меня дальше пошло-поехало: «А что скажет княгиня Марья Алексеевна?»

В этом случае — давний добрый знакомец и, можно сказать, соратник, Мурад Аджи, кумык,

известный писатель, автор исторических бестселлеров, чуть ли не поголовно записавший в них всем нам в «пятую графу»: тюрки!

Некогда единый, разведенный потом штатными разделителями, народ.

Но что делать!

Пока мы исходим из общепринятых исторических координат.

И думать больше хочется не о том, кем мы были, а кто мы есть нынче.

И единым народом в страдающей своей, бедствующей стране тоже хочется быть сегодня.

Не об этом ли так горячо и так искренне печется автор «Царской любви» Люба Балагова?

Черкешенка.

Дружище Элик

У краснодарского профессора Юры Хагурова, у Айтеча Аюбовича, у доктора наук, академика, который давно бы мог забросить свою социологию, потому что уже успел состояться как великолепный, пишущий на русском, прозаик, был с собой полиэтиленовый пакет с бритвой, как понимаю, и мыльницей да барсетка с документами, а у меня тяжелый кофр с моими книгами — Тенгиз настаивал, чтобы непременно привез, — довольно большая сумка со всякой одежкой и маленькая, на плече, с разной разностью. Пока вещи не расхватили наши встречающие, Юре пришлось мне помогать, и я всё переживал и стыдился: да что же, мол, я за «шмоточник» такой? В коротенькую поездку столько всего набрал!

Но я, оказывается, зря не захватил кипятильник, с вечера пришлось выпрашивать у дежурной шикарного полупустого пансионата...

Зато утром, когда уже попил крепенького чайку — то сидя в удобном кресле и поглядывая на свои иконы и на будильник на тумбочке возле кровати, а то — стоя перед выходящим на балкон громадным, во всю стену окном и глядя на полоску изжелта-зеленоватой зари над ещё темными горами, — в голову мне вдруг пришло: да потому я всё это с собой и вожу, потому, как черепаха свой дом на себе, таскаю, чтобы в бесконечных путешествиях из края в край сохранить как раз это — ощущение родного дома...

И если, в конце-то концов, это открылось мне в Нальчике — значит, тут оно намного сильнее, это ощущение. А почему?.. Может, тут-то и есть мой дом? Или — был. Или — когда-то будет.

Очень понравилось это тем, кто расслышал, когда попытался озвучить пришедшую утром мысль уже на подвыпившем, расшумевшемся вечером банкете в уютно и как бы чуть иронично стилизованном — винчестеры на стенах и даже официанты в ковбойских шляпах — ресторанчике «Лимонадный Джо», где мы вдали от «уважаемых старших» и от оч-чень больших начальников сидели с Эликом Мальбаховым чуть не в конце стола...

В самом конце сидели танцоры в национальных костюмах, а когда как раз напротив нас расположились музыканты в черкесках — с шичепшинэ, трещотками и гармошкой — Элик, чуть заикаясь, пошутил:

— Я думал, тут будут ребята с банджо и саксофоном, а оно — вон, опять наши!

Ох, Элик-Элик!

И эти «ребята с банджо и саксофоном»...

Сперва я даже не узнал его, когда как бы наткнулся в зале, где должна была происходить наша «презентация»...

Более чем скромно одетый, но явно не придающий этому факту значения — на нем была порядком заношенная темносерая тройка из джинсы, брюки, рубаха, жилет со множеством кармашков — тот самый удобный наряд, какой все не решусь надеть у себя в Кобякове под Звенигородом, чтобы в переполненной электричке ехать в этом в Москву — так вот, скромно одетый хмурый пожилой горец с резкими и печальными чертами, носящими явные следы былой красоты и бывшего мужества... Или мужество былым быть не может?

Заметно было, что он уже «взял на грудь» стопку-другую, чтобы почувствовать себя уверенней, но уверенности в нем как раз и не было — когда, крепко пообнимавшись и по-осыпав друг дружку радостными восклицаниями, уселись в зале в середине первого ряда, чуть ли не наотрез потом отказывался вместе подниматься на сцену...

Но вот, когда уже сидели плечом к плечу во втором, само собою, ряду президиума — и тут как опытные «заднескамеечники», и тут — и я держал в руках только что отданный мне его одотомник с трогательно «дарственной» — Элик стал постепенно отходить... или как раз — приходить?

В себя.

На собственном портрете, снятом на самом пике времен между уходящей молодостью и наступившей зрелостью, Элик пририсовал чернилами сердце, пробитое гусиным пером с моей фамилией, а на страничке рядом написал: «Дружище Гари! Моя память крепка и благодарна, чувства искренни и полны...»

Но хватит, хватит. Мы ведь, что там ни говори, кавказцы. «Мужчины чёрные», несмотря на седину. «Железноглазые».

Потом-то я уже понял, что он переживал: как встретимся? Сохранилось ли между нами то студенческое братство, которым — как хорошо я это понял потом! — он так бескомпромиссно и так трепетно дорожил...

— Это мой внук, — кивнул на снимавшего сперва зал, а потом и президиум молодого телевизионного оператора, высокого и чуть полноватого.

Я нарочно возмутился:

— Так что же он снимает других, а не нас с тобой? Разве ты его не предупредил?!

— Он на р-работе, — мягко ответил Элик.

Жена его, Галя, умерла, пожалуй, лет пятнадцать назад, он так и жил вдовцом в двухкомнатной квартире, где ждала его только постаревшая собака — с какой самоотверженной радостью она потом бросалась на нас — от одного к другому — когда глубокой ночью мы заехали к Элику за картиной, которую он с предусмотрительной надеждой уже подписал для меня на обороте холста... Элик-Элик!

Недаром говорится, что талантливый человек во всём талантлив: теперь он занимался ещё и живописью и, как бы предупреждая возможное моё критическое восприятие этого его увлечения, сказал, явно волнуясь:

— Наши художники относятся к моим работам серьёзно, поверь.

Да почему же мне было не верить, если пейзаж был написан не только профессионально — написан мастерски... Или брал своё ещё и дорогой нам обоим сюжет?

— С порога отцовского дома в моей Отрадной видать было только далёкую верхушку Эльбруса, а тут он во всей красе, Ошхомахо.

— Будешь в Москве родину вспоминать! — сказал он растроганно. — А з-заодно и автора. И факультет наш. И — целину...

Ну, как без неё, ещё бы!

Несколько часов назад, только что встретившись, мы с ним первым делом мысленно вернулись туда, на Алтай, где вместе помогали «убирать урожай» осенью 57-го... как давно это было, Господи! И как ярко и отчетливо многое помнится!

Перед этим один из высоких кабардинских хозяев, дружелюбно посмеиваясь, назвал меня «Гарри Поттером», и я отшутился: мол, дожил! Когда-то был Гарри Айзман, первый пионер Америки, потом — президент Гарри Трумэн, «поджигатель войны», Гарри Полит — секретарь американской — или английской? — компартии, фокусник Гарри Гудини или «трюковой» киношный артист, фамилию которого теперь запомнил, «Гарри Смит из печати Херста», как в пьесе Симонова «Русский вопрос» — в зависимости, мол, от интересов и уровня всяко меня называвшего. И вот теперь — новенькое.

Элик взялся своему земляку рассказывать: мол, были вместе на целине, и поэт Олег Дмитриев частушку сочинил — «Ходит-бродит по деревне иностранец Гарри Смит. Всю-то ночь он как бы дремлет и весь день он как бы спит...»

В доверительном варианте Олега все было куда грубей — «всю-то ночь он на хрен дремлет и весь день он на хрен спит»... это чтобы не сказать уж полную правду, как там у него было.

Но в том-то и дело: этот прозрачно-чистый вариант, который запомнил Элик, как бы определяя чистоту и искренность остального, что соединяло нас в прошлом.

— А помнишь, сколько Олег всего насочинял, когда был день рождения у Бориса Золотарева? — спрашивал Элик. — Помнишь? «Пусть будет живот твой как бочка бездонная — его я наполню. Повар Будённая.»

Многие из этих якобы пришедших в глухую деревню на имя Боба Золотарёва стихотворных телеграмм я неожиданно для себя нашел несколько лет назад в хорошо сохранившейся записной книжке дома в Москве — в толстой тетрадке в крупную клетку, форматом только чуть меньше обычного «тетрадного». Но надо же — этой позабытой мной «телеграммы» там не было!

— А матерщинника деда Никиту помнишь? — стал я цитировать, что не забыл. — «Моя душа тебе открыта. Тра-та-та-та. Дед Никита.»

— Ну, как же! — радовался Элик. — А там ещё и про тебя... как там?

Мы тогда несколько раз — как только на всё хватало сил! — играли в футбол: наш четвертый курс против их второго, а так как нас в той самой деревне, в Никитовке, было всего четверо, а их куда больше, то я «насмёрть» стоял в воротах, а трое остальных — Олег Дмитриев, Лёва Лебедев и Валера Кузьмин — светлая всем вам, ребята, память! — носились по полю против их постоянно меняющегося, прямо-таки мощного состава.

Однажды Боб Золотарёв прорвал нашу «оборону», вышел на прямой удар, я бросился ему в ноги,

взял мяч, а он упал и с полудурашливым криком начал кататься по земле: у него был порван мениск, и тут-то об этом я ему и напомнил...

— «Коль хочешь быть здоровым, Боб, не бей коленом в гарькин лоб»... это?

— Крепкий у тебя был кумпол! — радовался Элик. — А про меня?

— «С полей колхозных возвратясь...»

— «...тебя я поздравляю. Князь.» — закончил он, отчего-то явно волнуясь. — Ты не забыл, меня тогда — Князь...

— Да как же это всё можно забыть, Князь?!

И мы с ним снова горячо обнялись.

— А я всё-всё помню, да так хорошо! — сказал Элик. — Рубленую с-сибирскую избу, в которой мы жили, — и взялся нарезать пространство ладонью правой руки. — Одни двухъярусные нары от входа — так, другие с ними в стык — так. На полу солома, в которой спали рядком девчата. Наша Лина, которая вышла потом за Лёву, Вера, которая в-вышла за Кузьмина, Юла Хрущёва, рядом с ней, крайняя от нар — Нина Буденная, а на нарах сразу за занавеской, совсем почти с нею бок о бок — ты.

Это я тоже, насчет «бок о бок», забыл — ну, как мог?

Правда, я всегда светло и счастливо, всегда помнил столько другого, о чем тогда многие из них не догадывались. А именно этого тогдашнего соседства с Ниной в памяти как раз и не сохранил.

— Да ты что?! — вскинулся. — На самом деле я ведь тогда дружил с Юлой...

— А с-спал рядом с Ниной. Сразу за занавеской, я это так хорошо запомнил...

Какое чистое было для нас тогда время, если совсем уж затасканное нынче «спать» Элик употреблял всё в том же исключительно бытовом, ну, будто бы в первозданном смысле!

— А между нами, выходит, — наша повариха Нина, — говорил я, будто во что-то вглядываясь. — Представляешь, Князь? Как по строгому обычаю на Кавказе: между молодыми влюблёнными, между парнем и девушкой — шашка... Шашка Семёна Михайловича Буденного — в этом случае. Сама Нина... и как я мог забыть?

— Наверно, только о Юле и думал, если дружили, говоришь, — сказал Элик.

— Но ведь Нина-то, между нами, и действительно, — как шашка!

— Да, чтобы сохранить чистоту, — отзывался Элик. — Она ведь тогда, и правда, была... Чистота.

— Была, Элик!

— Была, была!

— А не помнишь такого — Боба Равинского? Скорее всего — ваш, второкурсник. Наверно, приехал с вами...

— Равинский... Равинский... Боб? А что с ним?

— Я и хотел спросить: где он? Что?.. Знаешь ты или нет, у меня ведь была эта странная, если не сказать грубей, полоса, когда в Москве меня, не спросясь, «кликнули» атаманом...

— Слышал-с-слышал. К-когда началось это — як-кобы возрождение...

— Во-от!.. Тогда я и получил письмо из Штатов. От этого самого Боба. Это не вы ли, спрашивал, тот самый Гарик Н., с которым мы вместе были на целине?.. Наш бригадир. Меня, мол, вы, конечно, не помните, потому что я совсем не пил и в вашей пьющей компании не числился...

— Да как мы там пили? — искренне удивился Элик. — Ты тогда в деревне у кого-то достал бидончик бражки, и я её чуть не всю и выпил, потому что лежал тогда с простудой...

И этого я тоже, признаться, не помнил.

А Элик спохватился:

— Постой, постой... Может, Даниил?

— Что — Данил?

— Раввинский! Даниил его. Даня...

— Ну, конечно!.. Это Золотарев — Боб, а он в письме — Даниил, точно!

— Из моей группы... Мы все тогда вместе — и Нина Будённая, и Юла Хрущёва, и этот Даня... Из одной группы.

— Ну, вот! Написал мне из Штатов, но адрес тут же затерялся, а так мне потом хотелось кинуть ему письмишко! Мол, я это, да, я — а что?

— Хорошо, теперь хоть с тобой поговорили да всё припомнили!

Ещё бы не хорошо, а-ей!

Или — ха-хай?

Как бы сказал в этом случае настоящий черкес, а не такой как я? Приписной. Которому всего лишь пару часов назад вручили малиновую избура папку, на титуле которой — скачущий на своем мифическом коне, на Тхожее, нарт Сосруко с факелом вместо меча в руке и с надписью над ним на адыгском: «Дунейпсо Адыгее Хасэ». А внутри!

Известное дело, что казаки — такие же хвастуны, как многие, а, может, и все остальные насельники Северного Кавказа, и неизвестно, кто у кого это не украшающее любого джигита качество перенял... Но как тут, и действительно, не сообщить этот драгоценный хабар, эту прямо-таки сенсационную новость, если случай ну, как будто сам этого требует?

«Международная Черкесская Ассоциация награждает Почетной грамотой Г.Л.Н., талантливого писателя и переводчика, за пропаганду и содействие в развитии духовных традиций, культуры и литературы адыгского народа, за деятельность, направленную на духовное сближение народов Российской Федерации.»

И — подпись: «Президент Международной Черкесской Ассоциации Касполат Дзамихов.»

А?!

Но в том-то и штука, что я не стал бы ничего такого рассказывать, если бы эта грамота только мне и предназначалась... да нет, братцы, нет!

Пусть это будет не только каждому из писателей, принявших участие в сборнике северо-кавказских

рассказов, вышедшем в Москве в конце лета — пусть будет и сразу оценившему его умному редактору, и принявшим сердцем пожилым, старой школы, корректоршам, буквально «вылизывавшим» понравившиеся им тексты моих разноплеменных коллег, и даже с утра нетрезвым грузчиком, ронявшим пепел от сигарет на тяжеленные пачки с книгами — да всем, всем!

В этом ресторанчике «Лимонадный Джо», когда только вошли туда, я попросил курносых девчат в ковбойских шляпах на время положить эту грамоту и другую — от Правительства Кабардино-Балкарии — в какое-нибудь надежное местечко, а когда в конце щедрой, истинно кавказской хлеба-соли, мне их вернули, определил подмышку.

Но ведь недаром мой старший друг Аскер Евтых, самый серьёзный и самый многострадальный писатель адыгского мира, печально посмеиваясь, говорил мне: когда, мол, наши дважды, на обе стороны, трогательно прикладываются друг к дружке, на самом деле рукою на чужих боках ищут: нет ли с собой оружия?

Может быть, он, закоренелый при жизни атеист и пересмешник, может быть, он, дорогой и мне, и многим-многим нашим общим друзьям, безбожник, всё-таки поглядывал сейчас на этот, будь он неладен, «Лимонадный Джо» из нынешних своих райских далей?

На прощанье владелец ресторанчика дружески обнял меня и вдруг с полунасмешливым одобреньем шепнул мне на ухо:

— Кобура?

— Где там! — рассмеялся я. — Вот!

Разве, опять же, это не было как бы вполне законной причиной обнародовать свою черкесскую Грамоту?

И в хозяине «Лимонадного Джо» проснулся адыгский джигит:

— Доброе дело — мардж!..

А я попробовал на полушутке развить затронутую было им тему:

— Говорят, правда, этот документ даёт право носить оружие, а?

Лицо у него вдруг сделалось строгое, сказал значительно:

— Только Он даёт такое право! — и не только посмотрел в ночное небо, прощались уже на улице, возле ждущих автомобилей, но и слегка приподнял обе ладони. — И носить, и применять оружие — только Он!

Жаль, конечно, размышляю ещё и сейчас, очень жаль, что Он при этом не подтверждает своё разрешение хоть какую-нибудь бумагой, каким-то видимым глазу знаком... Скорее всего, сообщает его очень древним, поистине дедовским способом: стремительным ускорением в каждом из нас тока крови...

Но поди потом разберись, когда после этого пролита чужая кровь!

Тем более тут.

На Кавказе.

Утром в книжном магазине увидел поэта Юруслана Болатова, балкарца, с которым познакомились два года назад на заседании «круглого стола», устроенного журналом «Дружба народов» в Железноводске. Как нарочно, накануне перебирал в Майкопе визитки, и на карточке с его именем



задержался чуть дольше, чем на других остальных...

Не мы, но Бог устраивает встречи: дело в наших краях известное.

Узнал его, назвал по имени, оба обрадовались, но почти тут же он с деликатным укором начал:

— Мне пришлось вести передачу о вашем сборнике на кабардинском телевидении и я очень хвалил его, но книжку перед камерой показывал так, чтобы не видно было названия...

И я только горько вздохнул: ну, ещё бы!

Вот они рядком лежат на прилавке: «Война длиною в жизнь»... «Война длиною...» «Война...»

— Людям надоело само это слово, вы понимаете? — мягко выговаривал мне Юруслан. — Дети от обложки с таким названием просто шарахаются!

В какой уже раз принялся оправдываться: книжка, мол, собиралась общими трудами, в разных концах. Как к составителю, все стекалось ко мне, и был момент, когда только я один уже знал ей цену, учуял, как старый охотничий пес, удачу, вцепился в добычу всеми ещё оставшимися зубами и ни за что не хотел отпустить...

Но в договоре на сборник, словно капкан, спрятана была предательская строка: мол, в рекламных и коммерческих целях издательство имеет безоговорочное право на собственное название...

Всегда идут рядом?

Коммерция и война.

И снова, снова права горькая поговорка Великой прошлой войны: «Кому война, а кому — мать родна...»

Так?

И мне пришлось объясняться со своими братьями по перу и с будущим нашим общим Читателем во вступительной статье «Наборный пояс России»: так называли раньше горский Кавказ.

Может быть, люди добрые меня всё-таки поняли?

До этой — ох, «Лимонадный Джо», твоё влияние! — презентации в Нальчике с чеченским писателем Эльбрусом Минкайловым, вошедшим в сборник с двумя глубокими и печальными рассказами, мы не встречались, но тут вдруг, только взглянув друг на друга, как старые товарищи, как соратники, обнялись, и, выступая потом перед залом, он горячо сказал: сперва опасался, что этот сборник — очередная попытка использовать кавказскую экзотику для приманки уже не один раз обманутого читателя, но, прочитавши, вижу: это наша боль. Это — своё.

И тут же в зале погасшие, словно искры, эти слова Эльбруса остались для меня не только такими же дорогими, но как бы и такими же ощутимыми, как и эта малиновая избура папка с нартом Сосруко на обложке: ещё не поздно снова нам всем собраться вместе — ещё не поздно!

Сам, выступая прежде него, всего-то рассказал эту историю в московском издательстве: как Ольга Тучина, редактор, передала мне «сердечный привет» от читавших сборник корректорш... Говорят, мол, что давно уже не встречали такого чистого и такого изящного русского языка, спасибо!..

Невольно произнес про себя пижонское, ещё со студенческих лет задержавшееся во мне: а вы, мол, думали!?

А Ольге сказал: им тоже привет, и тоже спасибо. Работать с ними приятно, это правда. Высокий

класс почувствовал сразу: по дельным вопросам на полях, по той дотошности, перед которой остаётся лишь «поднять руки» — и точно, мол, виноват, не доглядел!

Срочной работы у меня тогда было через край, потому-то сразу и не дошло, но однажды вдруг спохватился: постой-постой!.. Это, выходит, что же?

Крупнейшее в России издательство, на долю которого приходится одна пятая всех выпускаемых в стране книг, и вдруг корректорш, этих почти безропотных нынче трудяжек, беззаветно день и ночь жужжащих над текстами пчелок, что радуется-то? Что, как Ольга передала, «потрясает»?

Чистый русский язык лиц кавказской национальности?

Ничего себе пироги!

Это в Белокаменной-то!

Как мы ещё недавно говорили — «в центре всего передового и прогрессивного»... ну, не дожили?!

Само собой, что над многими рассказами потрудились опытные, тоже старой школы, переводчики... какая школа была, убедился теперь лишний раз — какая школа!

Но ведь большинство рассказов на русском написано, да — как, как!

Эти средних лет и чуть помоложе кабардинские «мудрецы», гордясь собою и, разумеется, прихвастывая, даже особый термин для прозы своей придумали: «нальчикский понт».

Но ведь есть у них для этого основания, есть!

А мои ровесники?

Осетин Руслан Тотров прислал не только собственный великолепный рассказ, но и свои переводы земляка из Южной Осетии, Алеша Гучмазты, погибшего «в 1992 г. во время грузино-осетинской войны» — в конце сборника в биографической его справке так и написано. А тот же Эльбрус Минкаилов, уже знакомый теперь нам чеченец? «Перевел на русский язык повести и рассказы А. Айдамирова, А. Мамакаева, М. Бексултанова, М. Ахмадова, М. Мутаева и других» — тоже взято из биографической справки. А кабардинец М. Эльберд — Элик, Эльберд Мальбахов?.. Его печальные и тонкие, написанные на русском рассказы из «Воспоминаний охотничьей собаки» так и хочется назвать «чеховскими», а ведь он ещё очень достойно переложил явно сложный для перевода сюжет балкарца Эльдара Гуртуева «Смехотворная драма» и совсем уж блестяще — «Конокрада» Сараби Мафедзева, ставшего украшением сборника... или нельзя так?

Потому что как в таком случае говорить и об аварце Газимагомед Галбацове с его «Сонетом», и снова о кабардинцах — о главном моем беззаветном и бескорыстном помощнике Тенгизе Адыгове, не только давшем в сборник свои полные глубокой поэзии философские «Диалоги», но и открывшем для меня творчество младшего своего земляка Амира Макоева, которого я теперь при каждом удобном случае откровенно и чуть не торжественно «пропагандирую»: достоин!

Так как же это всё, с чистым, неиспорченным русским языком-то, понять?

В московской клоаке чуть не начисто исчез, а тут вдруг, на Северном Кавказе, как вырвавшийся на волю горный родник щедро проявился?

Или — не вдруг, нет?

И многое мне стало в те дни приоткрываться, и чуть ли не мистическим образом в единую картину складываться...

Разве этого нельзя было ожидать?

Когда началось это самое, на котором недаром в речи своей споткнулся Элик, «в-возрождение», чуть ли тут же сделалось ясно, какая опасность нависла над Русским Духом, много лет скреплявшим страну куда прочнее «бессмертного учения». Наблюдая за стремительным разрушением наших нравственных ценностей, не раз тогда думал: а погодите-ка, ребятки!.. Уж Северный Кавказ-то с его кровной приверженностью тысячелетним горским традициям, вам будет явно не по зубам.

Кавказ, был я тогда прямо-таки яростно убеждён, — общая наша крепость. В ней укроемся, как старинные насельники в минуту опасности укрывались в горах, в ней, в этой крепости, сохраним характер и волю. Мы ведь не только всю жизнь дрались: братались шашками. Но не было ли такого, чтобы Россия заслоняла Кавказ в годину горя?

Теперь настал черед горцев: их час!

Как раз в это время умерла в Москве жена Аскера Евтыха Валентина Николаевна, его Валечка, которую он так трогательно, так беззаветно любил, и я для себя ввел правило: звонить своему старшему другу ежедневно, хоть недолгой беседой, да отвлекать его от горьких дум, скрашивать одиночество. Сколько мы с ним тогда переговорили о надвинувшейся на всех нас грозной беде... аукнулось пугавшее когда-то округу название русской крепости — как беспощадно-громко аукнулось!

Только потом уже пришло ко мне запоздалое понимание, с какими двумя Великими Горцами дружил тогда: вторым был всемирно известный наездник, народный артист СССР Ирбек Кантемиров. Его только что избрали главой многочисленной в Москве осетинской диаспоры. К шлейфу тянувшихся за ним особенно трудных в те годы хлопот о выкупленном из цирка преклонных лет жеребце — сам лишенный достойной пенсии, не мог себе позволить Ирбек, чтобы от голода и бедности страдал терпеливый и верный работник, многолетний его напарник, чистокровный «араб» Асуан — так вот, к собственным бытовым да семейным его заботам прибавилась теперь эта, и до того бывшая для него всегда главной: забота о духовном облике земляков, о соответствии их тому рыцарскому образу, о котором так много было ими самими во все последние годы громко говорено...

Однажды на московской улице, когда подошла наша с ним очередь занять подкатившее такси, нас опередил молодой бойкий кавказец. Я тоже взялся за ручку передней двери и кивнул на стоявшего неподалёку Ирбека:

— Постыдился бы старшего!

— Наверно, он и дома, на Кавказе так поступает, — с дружелюбной и будто извиняющей парня усмешкой проговорил Ирбек.

Но у того вдруг вырвалось:

— Здесь не Кавказ!.. Если я тут в Москве начну...

— Начни! — очень твердо сказал мой друг. — Непременно — начни... Не знаю, кто твой отец, но мой всегда говорил: не стесняйся поступать по высокому горскому обычаю — тогда Москва и о своем обычае вспомнит!

Об этом уже писал: как мы с ним вроде и в шутку, и очень всерьёз условились блюсти в столице, несмотря ни на что, горский этикет и что из этого вышло.

Перед семидесятилетием Ирбека позвонил старому другу Валерию Евсееву, редактировавшему тогда элитную газету «Ночной клуб», попросил о поздравительной статье в честь знаменитого наездника, для которого джигитство было не только профессией — было образом жизни. Сам статью написал, сам в редакцию отнёс, но перед публикацией вычитать не успел, доверился молодым журналистам... Рано утром спустился вниз со своего двенадцатого этажа, взял экземпляр «Ночного клуба», уверился, что моя статья есть, и попросил дать ещё десяток номеров. Но каково же было моё

изумление, когда в рассказе о нашем с Ирбеком братском договоре о верности старому этикету вместо слова «горский» стояло иное: «городской».

Схватился за телефонную трубку, и сдававшая статью в набор молодая сотрудница «Ночного клуба» тоже вдруг изумилась: думала, у вас опечатка, потому и поправила... А что, мол, и правда, есть такой этикет: горский?

Я еле сдерживал себя:

— Он-то как раз есть! Но неужели станете меня уверять, что нынче имеется и городской этикет? Это что же в нём: в какой руке тринадцатилетней крохе держать бутылку пива, а в какой — сигарету?!

Но как было бы славно, если бы молодая сотрудница «Ночного клуба» была в Москве исключением — куда там!

Попадись похожая фраза нашим многоопытным законодателям в Государственной Думе, и они тут же чохом проголосуют за эту поправку: учитывая приоритет общечеловеческих ценностей и толерантности ради, предлагается заменить всё горское на всё городское! Кто — за?

И против будет, конечно же, один «сын юриста»...

Но «Лимонадный-то Джо» оказался куда хитрей и проворней нашего насквозь проспиртованного Вани. Потому-то всё с Кавказа и началось?

Как и вся остальная Россия, этот самобытный край оказался не готов к «нейлоновой войне», к изобилию заморских товаров, к испытанию тем самым, что сами западные социологи давно называют: «потреблятьство».

А с этим пришли и все остальные прелести «свободного мира».

И кавказская крепость тоже не устояла?..

В прошлом году ранним летом ехал привычным рейсом междугородного автобуса «Краснодар-Майкоп». Адыгеец-водитель то и дело останавливался, чтобы подвезти голосующих на обочине аульских земляков, в основном женщин средних лет да молодёжь, которая обычно толпилась потом в проходе.

Но вот вошли двое, как будто символизирующие весну и осень это щедрой земли: сияющая юная внучка и строгая бабушка в очень уважаемом возрасте.

На передние ряды бабушка глянула, как глядит, может быть, самый большой начальник из комитета «Антитеррор»: чрезвычайно сурово и вместе беспомощно. Причина этого тут же явилась: в виде голого пупка полураздетой внучки. Бабушка сперва, пожалуй, хотела пропустить внучку подальше внутрь, но что-то там вдруг насторожило её, опытным сердцем почуяла опасность и снова подтолкнула её вперед, повернулась ко всем спиной и как будто нахохлилась над неразумной девчонкой, защищая её от посторонних взглядов.

Но этого ей показалось мало: одною рукой держась за спинку сиденья рядом, растопыренной ладошкой другой она взялась заботливо прикрывать открытую полоску тела на пояснице у внучки... а-енасын!

Куда там посмеиваться — я чуть не плакал.

Разделяю твою боль, милая зиусхан! Как тебе сочувствую, поверь...

Но разве хватит теперь наших ладоней, чтобы прикрыть весь тот позор, который не тут начинался, но — в бесстыжей Москве.

И, может быть, только это ещё и осталось живо: так и не сломавшаяся в смутные времена, давно объединившая нас русская речь.

Как тут снова не вспомнить известное: вначале было Слово...

И в начале давно назревшего возвращения к традиционным, тысячелетиями проверенным ценностям, — тоже Оно, вместе собравшее нас теперь в Нальчике.

Сколько теперь на матушке-земле, разговаривая с нами, произносят: мол, давайте будем поступать цивилизованно. И думаешь с печалью: к чему призываете? О какой цивилизации говорите? О вашей, ещё почти без корней, пиратской, разбойничьей или о той, какую тут никаким историческим ветрам согнуть не удалось: о кавказской цивилизации?

На презентации сборника осенью в Москве, в большом зале Центрального дома литераторов, который именуется теперь писательским Клубом, было куда спокойней и в зале, где трибуну ну, будто оккупировали политики недавней, ельцинской, так скажем, волны, причастные, как не ряди, к бедам Северного Кавказа... И было потише на фуршете в крошечном Пестром зале... в столице эти беды ощущаются куда меньше?

Кого-то, пожалуй, — вообще не трогают?

Иначе в Нальчике. Хоть заметней был пиетет перед приехавшим из Железноводска, где старые болячки подлечивал, Сергеем Филатовым, главою Фонда социальных и интеллектуальных программ, под патронажем которого выходил сборник северо-кавказских рассказов, заметнее был и спрос: мол, вы же тогда были рядом со «всемирно избранным», вы всё видели и многое слышали — неужели так-таки нельзя было избежать и войны в Чечне, и всего того, что вслед за нею потом последовало? Заговорили и о его книге мемуаров «Совершенно нескретно», в которой он пытался достойно и по возможности беспристрастно объяснить то непростое время, когда ему довелось быть главою администрации Ельцина.

Уже на банкете одна из немногочисленных женщин как бы простосердечно воскликнула: мол, понимаем так, что выпуском этого сборника и другими миротворческими акциями вашего Фонда стремитесь возместить возможный ваш по отношению к горцам недосмотр, проявленный тогда на столь высоком посту?

О, этот кавказский этикет, этот «адыге хабзе», смирявший некогда неистового царя Ивана Васильевича, связавшего свою судьбу с юной черкешенкой Гошной Идаровой, в святом крещении Марией Темрюковной, а судьбу Руси — с Кабардой. С нынешней Кабардино-Балкарией, рядом с которой, как со старшей, всякого на своем веку повидавшей, сестрой, держатся и неуёмная Карачаево-Черкесия, и вроде бы тихонькая скромница Адыгея!..

Как знать, может быть, Филатову давно нужны были эти достаточно мягкие, но прямо, без обиняков сказанные слова? Сдаётся, что с благодарностью за понимание он потом на них искренно отозвался...

...А Элик мне, в очередной раз накрепко «завязавшему», подкладывал на тарелку то бочок «куриной богини» — индейки, обильно полив его острым соусом, то ломтики да кружочки духовитого кабардинского сыра, который ну, прямо-таки требовал к себе и зеленого лучка, и петрушки с кинзой, и тархуна с укропом...

— Не пьёшь, так хотя бы закусывай! — наставлял Элик. — Конечно, всему этому далеко до тех борщей, которые варила нам Нина Будённая...

Никак он не мог успокоиться — может, тогда, на Алтае, в этой деревеньке с таким свойским по тем-то временам названием Никитовка мы, и в самом деле, пережили самые светлые свои времена нашей молодости?

Ещё в поезде, между песнями под гитару в теплушке с нарами, Нина и Юла предупредили нас: пожалуйста, мол, не выдавайте нас, не говорите, что и Буденная, и Хрущева — те самые. Иначе тут же со всей округи начнут свозить жалобы, а отцы категорически запрещают нам брать их: мол, это не ваше дело!

Кому оно, и правда что, непонятно?

И безудержный матерщинник дед Никита, первый к нам подступивший с расспросами, тут же получил насмешливый отпор:

— Да ты что, дед, что ты, Никит?.. Умный же вроде человек!

— Дык я и сам имя, тра-та-та, говорю, нашим бабам: если ба они были те, тут ба и охраны, тра-та-та, нагнали, и поваров, тра-та-та, навезли, и спальных, тра-та-та-та, вагонов...

— Скажешь тоже: какие вагоны, если железной дороги к деревне нет?

— Проложили ба! — восклицал дед Никита. — Долго, штолича? Или ба на стальных листах тракторами приташшили — как у войну. А то ить у черных кухвайках ходють и у соломе сплять... А что едят-то?

Вот с этим-то с последним, с едой, было у нас, и действительно, плохо.

Запасы домашней, конечно же, вкуснейшей провизии, принесенные к поезду сердобольными родителями студентов-москвичей пошли само собой в общий котел и скоро закончились. Шоколад остался только у одного, кто потихоньку ел его по ночам под одеялом: все на него глядели с нескрываемой жалостью.

От колхоза нам полагалось мясо, картошка и капуста, но всё это так и оставалось нетронутым: готовить в бригаде было некому. А работа между тем пошла жаркая...

— Жрать хочется зверски, девки! — называл вещи своими именами Лёва Лебедев, долгие годы работавший потом в «Правде» заведующим спортивным отделом и каких только яств во всех уголках мира не отпробовавший. — Неужели никто из вас не умеет готовить?

— Ты ведь у нас деревенская, Нина! — сказал, помню, огненно-рыжей тогда Нине Деревянкиной, которая четверть века спустя принесла в редакцию «русской советской прозы», которой я тогда заведовал в издательстве «Советский писатель», сборник своих достаточно широко идущих по стране пьес. — Неужели тебя мама не научила?

— Этому — нет, — тихо ответила огненно-рыжая Деревянкина.

— А чему научила, Нинк? — слышалось ехидное.

— Да, ты прямо скажи товарищам!

— Не отпирайся, да!

Ясное дело, что мы тогда с успехом утешались вещами призрачными, и юмор наш в ту пору был, и действительно, спасительным.

И тут вдруг из этой самой соломы поднялась Будённая и робко, будто нарочно врасстяжечку, спросила:

— Можно я вам готовить попробую, мальчики?..

— А ты умеешь, что ли?!

— А вы увидите, — продолжала она своим удивительным тогда, ну, прямо-таки сокровенным голосом. — Если после первого борща наш дружный коллектив оставит меня в живых, я — согласна...

Вот это прекрасно помню: как раненько растолкал Олега Дмитриева, Олежку, и мы с ним, как два уже опытных бродяги по просторам великой Родины — у меня за плечами было две геофизических экспедиции и одна у него — растопили на стане печку, из колодца с журавлём натаскали в бочку студеной воды, накололи приличную горку березовых полешек.

С каким нетерпением ждали потом на току новоявленную свою повариху, которую вместе с её первой продукцией должен был на телеге доставить наш друг дед Никита!

И что бы вы думали?

Когда это случилось, наконец, и алюминиевые миски перед каждым из нас стали доверху наполняться самым настоящим — причём тут «украинский», разве на Кубани он хуже?! — борщём, раздался такой дружный треск за ушами, что в нём тут же утонули наши все и всяческие сомнения...

А каша, каша с бараниной?!

Каждый день мы с Олегом вставали всё также рано и поднимали двух-трех помощников, которые должны были обежать ближайший лесок в поисках ещё не замерзших грибов или позычить в деревне заказанной нашей поварихой сметаны и зелени.

Есть мы стали как на убой. Более того: решением общего собрания дед Никита был дружно повышен в должности — переведен в снабженцы, а кнут он торжественно вручил Нине, уважительно сказав перед этим:

— И в лошадях она, тра-та-та, понима-а-ат — надо жа!

На телеге с баками и с бачками Нина приезжала на ток теперь одна, сильно однажды запоздала и, смущаясь, потом объясняла:

— Хотела путь спрямить, мальчики, но перепутала дороги, уж вы меня простите!

Такого-то повара да не простить?!

Как-то увидел, что две высокопоставленные, чумазые от работы на кухне да на току подружки — Нина и Юла — таинственным шепотом о чем-то друг дружке напоминают и тут же обе начинают посмеиваться: ну, так от души!

Юлу, с которой тогда и впрямь были особые отношения, шутливо попросил: мол, посвети?..

— Только никому больше! — поставила она условие.

— Могила! — пришлось произнести.

Может, давно уже, как говорится, истёк срок давности, и я могу теперь это рассказать?

Не только Элику, которому тогда ни о чем таком не говорил, — всем.

— Отец просил её писать письма, и Нина написала, что она теперь повариха. Как готовит, всем нашим нравится, и еду теперь, чтобы немножко отдохнуть да с нами пообщаться, возит сама, — тихонько посмеиваясь, стала Юла рассказывать. — Так и написала: папа, я теперь заодно и конюх!.. И написала, как она заблудилась в степи... Знаешь, что ей Семён Михалыч написал в ответ?.. Молодец, Нина, что хорошо готовишь, что сама на телеге возишь еду ребятам, но в степи,

пожалуйста, больше не блуди!

Ну, ещё бы!

Они были второкурсницы, знаменитый профессор журфака Константин Иоакинфович Былинский, знаток стилистики, уже успел их кое-чему научить, а тут вдруг — этот «перл» народного маршала, не Бог весть какого, конечно же, грамотея... Но почему через столько-то лет всё это не только вызывает невольную улыбку, но греет душу? Не потому ли, что кто теперь из новой, тра-та-та, как говаривал дед Никита, элиты отпустит свою восемнадцатилетнюю дочку с ватагой ровесников не в швейцарский Куршавель развлекаться, а в глухую алтайскую деревеньку — вкалывать?

Уже после нашего возвращения с Алтая позвонил как-то Нине домой. В трубке, когда она отозвалась, слабым фоном слышались звуки гармошки, наяривавшей плясовую, и я насмешливо спросил: мол, кто этот там «рвёт гормозу»?

— Это папа играет, — сказала она простосердечно. — А мы танцуем...

Как всё понимать?.. Зачем посреди размышлений о кавказских наших делах это рассказываю?.. Почему в зимнем Нальчике воспоминания далекой юности снова накрепко соединили нас с Эликом — мы прямо-таки не могли от них отвязаться?

Что это всё?

Только ли ностальгия по давно ушедшему времени? Или — сквозь нынешний почти непроглядный туман подающие нам спасительный знак проблесковые огни той самой, советской цивилизации, которую мы так по-воровски спешно похоронили — над нею ещё прямо-таки ворочается земля, как ворочалась когда-то над заживо брошенными в могилу: в гражданскую.

В начале перестройки её «прорабы» нам всё талдычили про якобы рабскую нашу психологию, что было на самом деле подсознательным самовыражением тысячелетнего собственного их рабства...

А, может, мне отчаянно повезло?

Что вижу его почти повсюду, рабство, только теперь, а тогда не приходило в голову: ни в те короткие месяцы на Алтае, ни десяток лет потом на большой сибирской стройке, ни после — в «Советском писателе», да нигде. Никогда.

Дело вообще-то удивительное: и тогда нас звали вперед, в светлое будущее. И нынче. Теперь-то уже, и действительно, — глобальное...

А мы-то — всё назад, всё в прошлое, всё к своим началам. К корням.

По сколько нам тогда было на Алтае?

Мне, правда, уже — двадцать один.

Ещё в дороге с Юлой у нас начался стремительный и пылкий роман, но на месте её вдруг определили в другую деревеньку, была от нас более чем в полста километрах. Меня уже выбрали бригадиром, но на сутки я отлучился вовсе не затем, чтобы пополнить бригаду тягловой силой.

Неожиданно возник у второкурсников на току, взял Юлу за руку и повел к избе, где она квартировала с подругами.

— Быстренько соберись! — почти приказал там. — Мне отвернуться?

— Не знаю, как с этим быть, — вздохнула она у меня за спиной. — Это моё, но Галка им делает примочки, у неё что-то на лице...



В руках у неё было целое сокровище: бутылка спирта.

— Твоей Галке все равно это не поможет, — вынес я безжалостный приговор. — Забирай!

Закинул за плечо её рюкзачок, подхватил чемоданчик и снова крепко взял за руку:

— Можешь — бегом? За поворотом скоро должна быть машина с зерном...

Бежали, как от погони со стрельбой, но какая там тогда могла быть стрельба. Сторож, у которого у одного могла иметься берданка с заряженными солью патронами в дневное время, само собой, спал, как впрочем поди спал и ночью.

Потом мы лежали, по горло зарывшись от ночного студеного холодка в теплое зерно, машину швыряло на выбоинах, залихватски кренило на поворотах, и в ночном небе покачивались и косо перемещались яркие в предгорьях осенью звезды...

В станице астрономию преподавал нам контуженный майор Иван Георгиевич Калита, высокий франтоватый красавец, от которого всегда крепко пахло одеколоном и постоянно натягивало грозой... Но он не только ругал нас. Бывало — неоправданно громко хвалил. В десятом, в самом начале года, велел мне подготовить доклад о созвездиях северного полушария, и когда на специальном, в школьном дворе под открытым небом, уроке я показал однокашникам все видимые в ту ночь скопления звёзд и назвал почти каждое, он тут же развернул классный журнал и при свете электрического фонарика выставил против моей фамилии сразу шесть «пятерок» — первую — за ответ, четыре потом — за каждую четверть и одну — годовую. Чего мелочиться, верно?

Познания мои в астрономии на том и закончились, учебник я больше не открывал, но названия созвездий на всю жизнь запомнил, и тогда, когда грузовик с тяжёлым зерном покачивал нас под алтайским небом, я вдруг увидел, что прямо над нами несется распластанный, с яркими звездами на концах, контур Лебедя...

— Видишь? — рассказывал Юле. — Позади коротенький хвост, зато вон как вытянута шея, ты видишь?.. И звездочки на окончаниях крыльев по бокам.

— Летит прямо над нами...

— Сопровождает, да!

Отданное вымышленным героям, это было потом в «Тихой музыке победы», печальном давнем романе о сибирской стройке, но всю жизнь я мечтал написать об алтайской осени пятьдесят седьмого года короткую и ёмкую повесть о чистой, как осенние звёзды, любви, много раз начинал, через пяток или десяток страниц спотыкался и всякий раз чуть не с болью останавливался... Как об этом достойно и с неиспорченной нежностью рассказать?

Пути наши с Юлой разошлись, но на маленькой своей книжечке, подаренной мне уже через несколько лет, она написала: «Куда летит Лебедь?..» И в разговоре по телефону, уже недавнем, когда мы были в разных краях, она сказала вдруг то, что всегда было на душе у меня: потом было много дорогого и было всякого, но такой чистоты и ясности, как на Алтае в ту осень, не было уже никогда...

Но почему об этом теперь рассказываю?!

О самом сокровенном вдруг — всем?!

Уж не потому ли, что из дружеских восклицаний и отрывочных разговоров с Эликом родился вдруг этот кавказский образ: безжалостная шашка, как символ незапятнанной чистоты?

Само собой, что с годами невольно менялся ракурс, по которому я постоянно вглядывался в прошлое, и однажды, в очередной раз приступив к работе, которую условно называл для себя «Осенний роман», я вдруг понял, что тогда, уже полвека назад, я ведь по сути украл Юлу, как в наших краях крадут невест... Украл её как пылкий черкес или казачок-хитрованец, как вам будет угодно.

Но зачем эта запоздалая откровенность?

Уж не потому ли вдруг прорвало, что всё последнее время утопаем в двуличии — и в России вообще, и на Кавказе — особенно, и даже эта двуглавая птица, которая потому и двуглава, чтобы во все стороны видеть, достойно ли нам всем или не очень живется, и она уже постепенно сделалась символом высокого, если такое только может быть, государственного двуличия, ну, прямо-таки с рвением подхваченного на всех уровнях — по всей вертикали власти...

И как у многих здесь, у меня рвётся сердце: как быть?

Я русский, но плоть от плоти — кавказец. Недаром говорю о себе всегда, что тоже — «лицо кавказской национальности».

И я, как может, никто иной, сердцем, раненым любовью и к тем, и к другим, хорошо понимаю, как всех нас, когда искусно, а когда достаточно примитивно, разводят, чтобы постоянно держать ну, прямо-таки в необходимом кому-то напряжении — разводят, неизвестно кто больше, и свои, и чужие, да и сами мы, невольно поддаваясь минутным вспышкам, вроде бы добровольно и даже как бы с охотой подальше друг от дружки расходимся...

Что тут воскликнуть?

Черкесское «а-енасын» или что-нибудь из лексикона алтайского деда Никиты?

...Банкет наш между тем набирал и силы, и скорости, всякому понятные градусы из опустошенных бутылок перемещались в тела и в души сидевших за столом, и нашему тамаде, советнику Президента Кабардино-Балкарии Хасану Думанову, доктору наук, известному на Кавказе историку, всё трудней и трудней удавалось и добиваться хотя бы относительной тишины, и сдерживать то одной, то другой пылкой речью подогреваемые эмоции...

Уже произнесено было словосочетание «кавказский Нюрнберг», который давно ждёт и московских умельцев, и здешних, из доморощенных выскочек, политиков... Уже бросивший срочные дела в другом городе и примчавшийся, чтобы поговорить с Филатовым, известный в этих краях крупный предприниматель Валерий Хатажуков в деталях рассказал, что видел и что слышал во время последней встречи Дудаева с Черномырдиным, когда боевой, прошедший Афганистан генерал бесстрашно сказал якобы: у меня, мол, нет выбора. Вы обещаете сохранить мне жизнь, но если соглашусь принять её от вас, меня чуть ли не тут же лишат её те, кто приехал со мной и в приемной ждёт теперь результатов нашей встречи... Безжалостная «коробочка»?

Выражаясь хоккейным либо футбольным термином.

В смертельной для генерала, ставшего заложником трагических обстоятельств, игре.

— Говорю это не для того, чтобы вы возненавидели Америку, — вы и без того её ненавидите, — располагающим тоном начал Филатов, решивший, видимо, хоть слегка приоткрыть тяжёлую дверь в большую политику. — Но с Чечнёй всё решили слова Клинтона, сказанные Ельцину в разговоре по телефону: мол, что вы там возитесь с этой крошечной республикой, кончайте с ней — а мы на это закроем глаза...

И скольким и в Чечне, и в самой России они тогда «закрыли глаза»!

Навсегда.

А скольким, если на то пошло, — вообще в мире?

Да почему, подумалось, всего-то «кавказский Нюрнберг»? Почему заодно — не «ближневосточный», если уж не было «вьетнамского» и скольких после, скольких других?!

Уж если «назвался груздем», если решил править всемирным балом, на котором теперь бравурные мелодии все чаще и всё настойчивей сменяются похоронными — имей честь соответствовать!

Да только откуда она у них нынче, честь?

В Римском клубе о ней не говорят, на встречах «восьмерки» — тоже, среди показателей хоть нью-йоркской, а хоть токийской биржи она не значится...

Как не слышится и заботы о ней в разрекламированных в России национальных проектах, где имперские замашки так и остаются лишь амбициями здоровых телом, но слабых духом...

Как трогательно заботимся о бранных останках царской семьи и как накрепко забыли завет последнего Государя, не зря желавшего оставить престол наследнику, а самому уйти в Патриархи: мол, промышленность создадим, экономику наладим, но удастся ли преодолеть пропасть открывшейся и среди аристократии, и среди простого народа безнравственности?..

Когда ещё было сказано!

Но мы, чего только теперь о себе не узнавшие, чего только о себе и мире вокруг не открывшие, по-прежнему предпочитаем мощному дубу — а то по брежневским орденам мы этого, что — дуб-то, не видали!? — змею, выбравшуюся из-под его упавшей колоды...

Ну, да — крута гора, а миновать нельзя.

Тем более тут — на Кавказе.

Где мой старый друг Элик, очень хороший, я это твердо знаю, писатель Эльберд Тимборович Мальбахов, сообщает о себе в биографической справке нашего сборника, что «родился в 1939 году на Северном склоне Эльбруса Кабардино-Балкарской АССР.»

Вот он теперь и раз, и другой протягивает ладонь в сторону тамады и тут же тычет пальцем себе в грудь: дай тост сказать, уважаемый тамада!

С рюмкой выходит к голове стола и с достоинством, как бы неожиданным в печальном пожилом горце, не только небогато — смиренно, скажем, одетом в эту дешевую чужую «джинсу», начинает, словно преобразившись:

— О Сергее Александровиче Филатове тут уже говорили более уважаемые и наверняка ещё не раз скажут более достойные. А мне хотелось бы произнести хох в честь моего старого товарища...

Ну, подумал я, началось!

Может, мне теперь, пока Элик будет там говорить свой «хох», воспользоваться вполне объяснимой паузой и сочинить коротенький тост в его честь?

Тем более, что ответного слова при всех на банкете, к большому сожалению, я тогда так и не произнёс.

Так вот, через месяц-другой после того, как мы вернулись с Алтая в свою «альма матер», в Московский Университет, с Эликом я неожиданно столкнулся в подъезде дома, где жил тогда на Страстном бульваре, рядом с Пушкинской площадью...

— Ко мне, Князь? — спросил с нарочитым удивлением. — Что ж ты не предупредил — бегу теперь по делам!

— Нет, — почему-то смущённо ответил Элик. — Н-не к тебе.

Сам я тогда чуть не гордился, что вместе с московской роднёй живу в одной из тех семи комнат, которые некогда в этой квартире занимал «коньячник Шустов». Этажом выше, пользуясь полунасмешливой и несколько надменной речью новой родни, напротив друг друга в «семикомнатках» жили «бумажник» Орлов и «рыбник» Ишков. Министры бумажной промышленности и рыбной. А ниже этажом жительствовавал тогда с семьёй «сам Байбаков». Председатель Госплана.

С него-то я и решил начать:

— Ах, да! Ты, само собой, — к Байбакову?

Элик опять явно смутился:

— Вообще-то к его бывшему заму.

— Эт-то ещё кто?

И Князь стал заикаться ещё заметней:

— Ф-фёдоров. Теперь он министр нефтяной и нефтехимической промышленности... Виктор Степанович, д-дядя Витя, старший мамин б-брат. Т-только т-ты — никому, а?.. Знает только наша комната...

Сколько же на нашем непрестом, что там ни говори, факультете ходили с задраннным носом — гордились «предками», а тут — на тебе. Как было не поиздеваться над Князем?

— Государственная тайна?..

Он прямо-таки изнемогал:

— М-ожно, я т-тебе потом?

А ведь мог бы гордиться, мог: в годы войны «дядя Витя», старший брат Нины Степановны, мамы Элика, головой отвечал за бесперебойную работу «грознефтезаводов», за то, чтобы фронт бесперебойно получал самый качественный в стране бензин, и в 44-ом, ещё до победы, стал Героем социалистического труда и лауреатом Сталинской премии: было ему в ту пору тридцать два.

С другой-то стороны: а не слишком ли?.. Как говорится, не перебор?

Мало того, что папа, Тимбора Кубатиевич, — первый секретарь партии в Кабардино-Балкарии. А тут ещё и родной дядя — член правительства!

— Я бы лишний раз не п-пришёл, — всё-таки раскололся Элик. — Но ребята в комнате: сколько ещё нам, К-князь, до «стипушки»?.. Может, сходишь?

Попробуй тут, и правда что, не пойдя, если под каждой кроватью в комнате общежития, куда после стипендии с шиком была брошена горсть «серебра», уже был поди нашарен последний, в пыли и паутине, медный пятак, и сокурсники, товарищи по несчастью, прямо-таки толкают тебя в спину:

— Иди, Князь, иди! И сам там всё гляди не сожри. И деньги по дороге не трать. На «семерке» от метро езжай «зайцем» — лучше, если что, штраф заплатишь...

Тут же пытались выбрать комитет, который должен был через закрытую дверь расспросить вернувшегося из гостей Князя, с чем он явился, и только потом открыть ему...

Моя «партийная кличка» в ту пору была «Станишник Гарри», родители в Отрадной жили весьма и весьма «средне», потому что вернувшемуся с войны отцу, инвалиду, так и умершему потом от старой раны, приходилось заботиться о всей оставшейся без кормильцев родне. Но разве не лежал тогда на нас на всех, русских южанах, невольный отблеск здорового, сытого румянца героев романа «Кавалер Золотой звезды» Семена Бабаевского или триумфально скачущих по всем кинотеатрам Союза «Кубанских казаков» Ивана Пырьева?

И только ли меня пытавшаяся жить студенческой «коммуной» комната тут же, как только приходило извещение о переводе либо посылке из дома, немедленно вытаскивала на почту!.. Наказы «без жратвы не возвращаться» давали и обоженному напалмом герою-корейцу, бывшему зенитчику Ли Дин Хуну, когда он собирался на прием в своём нищем посольстве, и Володе Эспинья, испанцу, которого позвала на долгожданный обед его героическая, но по вполне понятным причинам очень прижимистая бабка Долорес Ибарурри — легендарная в то время Пассионария.

После окончания фака мы с Князем друг для друга надолго потерялись. Я уехал на юг Западной Сибири, больше десятка лет жил в рабочем поселке под Новокузнецком и писал длинные пр-р-ролетарские романы о своей «ударной комсомольской стройке Запсиба», правда к чести своей должен сказать, что главный герой первого из них, «Здравствуй, Галочкин!», не был комсомольцем, даже как бы наоборот — был в конфликте с застившими ему свет «маяками», а секретарь парткома был порядочное дерьмо: прототип его достаточно долго портил мне потом жизнь, постоянно вычеркивал из списков на награды и устроил потом настоящую охоту на меня, когда я опубликовал остро-критический очерк «Новый город на земле». О горьких бедах сибирских новостроек, о просчетах Москвы в планировании и снабжении, о пренебрежении вольным духом, который у нас тогда держался, о предательстве тех, кто позвал нас на «передний край», а сам остался в благополучной «белокаменной»... Как не удивительно, это определение — «предательство» — поселилось в моих текстах задолго до того, как по отношению к собственному народу оно случилось.

Иван Григорьевич Белый, сменивший моего оппонента на посту секретаря парткома стройки как мог прикрывал меня — как бы нынче сказали, крышевал, — и это ему во многом удалось, хотя почти полвека спустя, когда дожившие до этого счастливицы собрались в нашей Кузне на праздник пятидесятилетия первого колышка, что дало мне основание назвать себя самым прикольным в стране писателем, он после дружеских объятий наставительно произнес: «Говорил я тебе, чтобы ты хоть на годочек — рот на замок? Говорил! Так мне хотелось, чтобы у тебя был орден: на память. Но ты мне прямо-таки не дал тебя наградить!»

Только это вот и осталось на долгую память: самый пролетарский, действительно, как пошучивали у нас, — «Орден Сутулова». Сейчас вот подумал: может быть, его тоже стоит в анкетах указывать, а что?

С бывшим секретарем райкома Николаем Алексеевичем Силиным история у нас на этом печальном торжестве случилась такая: уже совсем пожилой — на десяток лет старше — с радостной улыбкой шел мне навстречу, уже развел по сторонам пятерни, чтобы меня, значит, сграбастать, а я остановился и чуть не кричу: «А с тобой, Николай Алексеевич, я не буду не то что обниматься — я тебе и руки не подам!» Он прямо-таки опешил: «Почему это?!» А я «заблажил» — так это тогда у нас называлось — ещё громче: «Еще и спрашивает!.. Мог ты меня из партии исключить? Мог! Прямо-таки обязан был: тебе ведь тогда твое начальство приказывало!.. А ты что?.. А ты меня пожалел, видишь ли! Не стал исключать!.. Пожалел волк кобылу, а?.. Да если бы ты меня тогда исключил, где бы я сейчас мог быть?.. Если не в Лондоне или в Нью-Йорке, то в Париже — это как пить дать!.. А я прозябаю то в Москве, а то и этого хуже: прозябаю в Майкопе! Разве это не так, скажи?!»

И тут мы горячо обнялись.

Из всего этого видать, какой я был тогда ягодкой и какую пока остался: за всё — слава Богу!

Недаром же меня потом в Москве буквально «вычислил» автор детективных романов Толя Голубев, тонкий психолог: в журнале «Смена», когда он там был редактором, я ему был не нужен, а в издательстве «Советский писатель» ещё как потом, когда он чуть не насильно притащил меня туда, пригодился.

«Ну, как с ним работать, как?! — горячо восклицал на оперативках, а то и на встречах с именитыми авторами наш хитрован-директор Владимир Николаич Еременко. — Он же неуправляемый: говори-не говори, как не слышит!.. Авторитетов не признает — ну, что с таким делать?! Как работать?!.. хотя... хотя... прозаик-то он хороший, тут ничего не скажешь... с опытом. Но проблемы создает: как вот и на это раз к нему теперь не прислушаться?! Надо!»

Эх, соберусь ли?

Позволит ли судьба? Даст ли Бог?

А так хочется однажды все бросить и засесть как раз вот за это, и так и назвать: «Записки неуправляемого»...

Пока не укатали окончательно нашего сивку крутые горки.

В том числе и — Кавказские.

...Элик сперва поехал работать на родину, в Кабарду, и, по слухам, если не очень преуспевал там, то во всяком случае под крылом-то родительским не бедствовал, но потом вдруг выкинул вроде бы неожиданный фортель: отправился собственным корреспондентом «Известий» в Омск...

Были, конечно же, на это свои причины, убежден — не простые, но у меня, когда теперь все заново взвесил, появилась на сей счет своя особая версия.

В сентябре 57-го, когда наш стремительно мчавшийся на Алтай состав на часок задержался в Омске, наша компания четверокурсников «схватила» на вокзале такси и отправилась взглянуть на центр города. Молодость стремительна, это ясно, и нам тогда вполне хватило и пары взглядов да тройки реплик, чтобы вынести свой, конечно же, безжалостный приговор: тут ловить нечего. Договорились мы «зубами уцепиться за Кремль»? Договорились. Этого пока и будем держаться.

Где-то на краю перрона стояла дощаная будка, в которой располагался тир. Около стойки с духовыми ружьями я натолкнулся на Элика.

— А, Князь! Постреляем?

Он посмотрел на меня так, будто хотел спросить: а как нажимать на курок, мол, знаешь?

Может быть, покровитель мужчин и путников адыгский бог Зекотха заметил этот уничижительный взгляд Князя и решил предупредить его об излишней в том нашем возрасте самоуверенности?.. Может быть, он уже полунасмешливо приглядывался ко мне?.. Или дело в другом?

Стрелок я вообще-то никакой, известный в родной Отрадной мазило, но так как дружки мои после всякого неудачного выстрела громким криком об этом всюду напоминали, то, может быть, на их возгласы однажды явился, а после стал присматриваться ко мне и нет-нет, да и помогать, потом уже — и в Сибири, известный каждому адыгу Мазитха — бог лесов, покровитель охотников.

Тогда он, во всяком случае, решил мне помочь, а заодно, не сомневаюсь, и Элика подзадорить: не успокаивайся, мол, не думай о себе, как о первом на Кавказе стрелке!

Потом уже Элик, и в самом деле, стал лучшим стрелком в Кабарде, к этому, Бог даст, ещё вернёмся, но тогда, на перроне в Омске, я Элика «перестрелял» прямо-таки безжалостно...

Может, потому-то он потом в Омск и вернулся: как бы реванш взять? На том же месте...

Вот, пошучиваю. А ему тогда, убежден, было совсем не до шуток.

Строгое следование отца нормам «коммунистической морали», помноженное на никогда не умиравший в душе «адыге хабзэ», горский кодекс чести, — разве это не слишком? Когда тебе тридцать-сорок, и в тебе уже во-всю проявилось, прямо-таки кипит и не даёт жить спокойно творческое начало, которое сделает тебя потом одним из лучших на Кавказе писателей.

Но всё это опять же — потом.

А тогда он приехал в Москву проведать лежавшего в «кремлевке» отца и, уходя, оставил ему только что законченную рукопись романа «Страшен путь на Ошхомахо» — Тимбора Кубатиевич стал первым его читателем.

— Ну, и кто, только честно скажи, помогал тебе? — строго спросил он сына, когда через несколько дней тот снова появился в палате.

— Честно? — переспросил Эльберд.

— Совершенно искренне. Я пойму.

— Пожалуйста, пойми, — попросил Элик. — А помогли мне граф Алексей Николаевич Толстой и Чарльз Диккенс. Иногда, правда, захаживал другой англичанин: Вальтер Скотт.

— Иногда? — не согласился отец, но в голосе у него послышалось облегчение. — Судя по всему, он у тебя гостил довольно часто!

Элику пришлось скромно согласиться:

— Пожалуй, так.

— Что ж, у тебя были хорошие помощники, и ты их, кажется, не подвёл, — подобрел отец. Но — только на мгновение. И снова переменял тон на строгий. — А какой псевдоним ты возьмёшь себе, сын?

Так в палате «кремлевки», где подлечивался Тимбора Кубатиевич Мальбахов, родился новый писатель, ничего общего не имеющий с влиятельным вождём кабардинских коммунистов: М. Эльберд...

— Он прочитал роман и, кажется, даже похвалил его, — с рюмкой в руке говорил Элик теперь уже обо мне, многогрешном: продолжал тот самый свой тост в «Лимонадном Джо», на который я ему нынче отвечаю. — Пообещал сделать всё, чтобы тираж был двести тысяч, а потом вдруг звонит мне: должен перед тобой извиниться, Элик... У меня руки опустились: не пойдёт?.. Роман? Да нет, говорит, он уже в печати, но тираж будет — только сто пятьдесят тысяч... сравните с нашими временами, когда мы рады тиражу в одну тысячу вместо обычных пятисот экземпляров!.. И всё-таки в конце книги, когда получил её, значилось: двести тысяч. Он пробил-таки обещанный тираж, мой дружище!

Как славно, что было именно так, теперь я об этом вспомнил. Как славно, что Элик, выходит, никогда об этом не забывал. И как хорошо, что забыл я.

Но зато, как всякий съевший в своём деле собаку профессионал, я прекрасно помнил это ощущение новизны и свежести прозы Элика: часто ироничной, иногда авантюрной, но всегда исторически

выверенной, глубокой, а главное — озарённой неугасимым светом сыновней любви к родным северокавказским краям с их тысячелетними устоями, традицией и обычаем, с их удивительными мифами и легендами.

Вернувшись теперь из Нальчика, я, конечно же, перечитал и первый роман Элика, вышедший тогда у нас в «Советском писателе», и второй: «Ищи, где не прятал.» И долго, конечно же, очень долго — работа эта из-за кочевой моей жизни не раз прерывалась — размышлял и о своём друге, и о его полной превратности судьбы, и о том несомненном, но так до сих пор и не оценённом по достоинству вкладе, который он внёс не только в кабардинскую литературу, но и в северокавказскую вообще, и — в русскую.

«Нальчикский понт», ишь ты!

А нас — как не было?

Сейчас прозу Эльберда Мальбахова обозначили бы модным словом «прорыв».

И новизна её, на мой взгляд, и обаяние заключены в том, что ему одному из первых в России того времени, а на Северном Кавказе — и вообще первому, удалось преодолеть ту привычную отстранённость, которая всегда существовала между «небожителем»-писателем и обитающей на грешной земле читающей публикой, внести в отношения между ними не только простосердечие и доверительность, но — сокровенность.

Может быть, дело в писательской интонации, идущей от богатства души? От невольного ощущения читателем незаурядности автора, человека высокообразованного, более того — утонченного, но, может быть, именно оттого-то и сознающего, что сам он — всего лишь малая частица великого целого: своего исстрадавшегося народа. Отсюда и это сокращение дистанции: до протянутой для дружеского пожатия руки. До братского, плечом к плечу, крепкого объятия.

Люблю и ценю великолепные книги, созданные старшими, нашими предшественниками: «Улицу во всю её длину» Аскера Евтыха, за неё как раз от Адыгеи, от малой родины, отлучённого, и его «Баржу» и «Бычью кровь»; «Последнего из ушедших» Баграта Шинкубы; «Из тьмы веков» Идриса Базоркина; «Сломанную подкову» Алима Кешокова; «Мой Дагестан» Расула Гамзатова. И вместе с тем настаиваю на том, что М. Эльберд — Мальбахов Эльберд Тимборович — в прозе Северного Кавказа сказал новое слово: и веское, и высокое. Именно с него началась смена поколений прозаиков, он в этом смысле — патриарх, за которым потом, сознательно или нет, последовали и Тенгиз Адыгов с романом «Щит Тибарда», и Юнус Чуяко со «Сказанием о Железном Волке», и Нальбий Куёк со своими небольшими по объёму, но такими ёмкими и глубокими романами: «Чёрная гора», «Вино мёртвых», «Лес одиночества». И — Мадина Хакуашева, успевшая обо всех этих авторах написать в своей докторской диссертации и многому у них, само собой научившаяся, многое перенявшая. Её трепетная и тонкая «Дорога домой» — яркое тому доказательство, и говорю я всё это не только как давний болельщик родной северокавказской словесности, но и, что там ни говори, непосредственный участник здешнего литературного процесса. Работа над переводом «Сказания о Железном Волке», так неоднозначно одобренная в предисловии Валентином Распутиным, заставила меня многое перед этим перечитать, многое изучить, ко многому присмотреться и многое переосмыслить. Случилось так, что только я сам теперь помню о доле своего творческого участия в «Сказании» — авторы, как правило, тут же об этом напрочь забывают, и тут уж ничего не поделаешь. Как говорится: нормальный ход!

Как там нынче издеваются над якобы обветшавшими идеалами нашего поколения: мол, «жила бы страна родная».

Но это, и действительно, так. И — слава Богу.

«Творчество Ю. Чуяко интегрировало все прогрессивные тенденции адыгской литературы, обогатило и развило художественные методы, — пишет Мадина Хакуашева в большой статье „Архетип Кузнеца в романе Ю. Чуяко „Сказание о Железном Волке““. — Роман явился важным событием в истории



адыгской литературы, которое в кабардинском литературоведении до сих пор не получило должного резонанса. Тесная, нерасторжимая связь адыгских субэтносов с единой национальной культурой, этикетом и фольклором обуславливает такие же общие, единые закономерности развития адыгской литературы, которые не позволяют рассматривать каждое отдельное произведение вне общего литературного процесса.

Роман Ю. Чуюко (в профессиональном переводе с адыгейского Г. Немченко) своеобразно адаптировал широкий пласт адыгской мифологии и фольклора, сформировал новые методы организации и структуры художественного текста, которые вывели адыгскую современную прозу на качественно новый уровень художественного мастерства".»

И правда, искренне благодарен Мадине за столь щедрые слова о моём «профессионализме»: в пору чуть не повального литературного разгильдяйства это дорогого стоит. Но не эти ли похвалы подвигают меня теперь пройтись по любительской для меня литературоведческой дорожке?

Не то же ли самое, что она — о Юнусе Чуюко, только в менее специфических выражениях, я пытался сказать об Эльберде Мальбахове: и «пласт» этот самый первым начал разрабатывать он, и «сформировал новые методы» — тоже он. И творчество его, пик которого совпал со сломом времён, тоже «до сих пор не получило должного резонанса».

Вспомним-ка: в своё время роман «Страшен путь на Ошхомахо» чуть не в одночасье стал культовым. О нём говорили, за ним гонялись, его цитировали.

— Ты, конечно, не знаешь, но грузины собирались поставить по нему десятисерийный фильм, — рассказывал, печально посмеиваясь, Элик, когда сидели рядышком в «Лимонадном Джо». — Вот тут у меня в кармане лежало приглашение и договор, который я должен был подписать... И мы уже договорились со старым другом — вот он кивает нам, видишь?.. Что поедем в Тбилиси на его машине и жить будем у нашего общего товарища. Я уже стал собирать гомыль нам на дорогу и кое-что запастись на хлеб-соль. Не с пустыми же руками появляться кабардинцам перед уважаемыми соседями!..

Как будто переживая всё заново, Элик надолго замолчал, пришлось спросить: и чем, в конце-то концов, дело кончилось?

— Всё обвалилось. И у м-меня тоже. Стало не до жиру, как говорится: быть бы живу. Будем у меня, увидишь голые стены. Там раньше висели мои ружья. Я ведь тогда, и правда, стал чуть не профессиональным стрелком. Когда в республику приезжали важные гости, егеря первым делом меня находили: станешь на номер?.. Кто-то из охотников в отпуске, кто-то приболел или загулял... мало ли! Знали: если буду с-стрелять, без дичи не останемся. Иногда после выстрела тут же уходил: чтобы не встречаться с отцом. Есть кабан? Есть. Косуля есть?.. Иногда, правда, когда бывал в добром настроении, он передавал через егерей: пусть, мол, не валяет дурака. Пусть остаётся на общий ужин...

У меня невольно вырвалось:

— Элик!.. Знаешь, ты кто? Не знаешь?!.. А я, пожалуй, стану добиваться для тебя статуса жертвы политических репрессий. В том числе и со стороны собственного родителя...

— Шути-шуты...

— Но разве это не так?

— В каком-то смысле — конечно. Он был настоящий, ты знаешь... таких тогда было не так много, я ведь в-видел...

— А то у нас любой спекулянт имеет теперь статус жертвы политических репрессий, а тут — чего тут неясного? Тогда — собственный отец. Теперь — его недруги...

— Ружья продавать пришлось, жалко, — печально сказал Элик. — Чехословацкий карабин, семь миллиметров, как он бил! Французский «меферт», ещё довоенный, шестнадцатого калибра — точность невероятная. Пятизарядный помповый «ремингтон» двенадцатого калибра... А «винчестер»!

— Это не он там висит? — кивнул я на противоположную стену.

И он вздохнул:

— Я не п-подхожу, не хочу расстраиваться. Может, и действительно, — м-мой?

Повернул голову и пальцами взялся за подбородок: не то чтобы не подойти, показалось мне, — чтобы лишний раз не взглянуть...

Сказал уже, что этот запоздалый тост в честь старинного товарища, у которого одно из любимых его словечек — не просто друг, как обычно говорится, но дружище, большой и близкий, мол, глубоко уважаемый и любимый друг — прерывался долгими поездками и по Северному Кавказу, который в не столь давние времена в России называли «тёплая Сибирь», и по настоящей, по «холодной» Сибири, которая для меня давно стала теплой оттого, что меня там ожидают братские встречи с нашими «старичками» — ровесниками далёкой молодости, соратниками по комсомольской ударной стройке, всегда остававшейся для меня своего рода Запорожской Сечью: сибирской вольницей.

И Элика, и нашу алтайскую бригаду вспоминал постоянно, потому что всё собирался выбрать денёк-другой и через Салаирский кряж перевалить из Кузбасса, из Кемеровской области в соседнюю, в приграничный с ней Залесовский район, в дорогу сердцу Никитовку...

И думалось вместе с тем: зачем?

Чтобы вслед за сумрачным Ницше через столько лет повторить его знаменитое: «Это — остров могил. Тут погребены мечты моей юности.»

Но только ли, только за этим?

Сейчас, когда уже на Северном Кавказе, в Майкопе, вновь вернулся к этим дорогим для меня размышлениям, на мониторе компьютера вслед за достаточно долгим пропуском в конце текста нашёл несколько бережливших, впрок заготовленных строчек. Две взятые в кавычки цитаты, а после — снова мой текст.

«Она воскресла в моей душе как Великий Ангел, позволяющий увидеть неисчерпаемую глубину духовного плана адыгов, и дарящий бесконечную любовь ко всему русскому...»

«...и, возможно, оттого, что в мире когда-то была (а для меня есть и поныне) Гошаней или царица Мария, я ощущаю свою равную принадлежность как к кабардинскому, так и к русскому народам. Осознаю свою духовную причастность к Кабарде точно также, как и к Москве.»[4]

Не отсюда ли тоже и причастность к двум культурам, и раздвоенность Элика, и — его сердечная боль? В этом случае сердце мужчины открыто ей точно так же, как сердце женщины.

Может, оттого, кроме прочего, и тянемся с Эликом друг к дружке, что эту же раздвоенность и эту боль он ощущает и во мне: ведь две культуры могут сближать точно так же, как сближают мать и отец и могут точно так же рвать сердце, когда они, хоть на короткое время, «не в ладах»...

«Ты-то тут причём, казачок? — кто-то спросит. — Если русские на Кавказе — пришельцы, то ты теперь, живущий в Москве, — пришелец дважды!»

Бывает, в который раз принимаюсь рыться в старых записных книжках, чтобы найти давно затерявшуюся фразу из Киплинга, которого когда-то очень любил. Смысл её примерно таков: если, мол, слишком близко к сердцу принимать чужие дела и пытаться жить по чужому обычаю, то можно настолько заиграться, что однажды проснёшься аборигеном, и не ищи тогда дорогу обратно...

А если предки твои жили в абазинском ауле, и на этой земле в станице рядом родился? Если хранишь её в своём сердце и даже в дальних краях с нею не расстаёшься?

В юности у меня были такие стихи: «Мне родиться бы капитаном, чтобы шляться по дальним странам. Чтобы там, где бы только не был, тосковать по родному небу. Чтоб о нём, от тоски, от жгучей, написать бы стихи получше.»

В «капитаны» меня не взяли по причине неподходящего для настоящего моремана зрения, с «дальними странами» тоже не очень-то получилось, но что касается тоски по родной земельке — этим я себя, и впрямь, обеспечил. Чего-чего, а уж её-то было с лихвой! И, может быть, в последнее время — особенно?

Когда перечитывал «Страшен путь на Ошхомахо» уже после поездки в Нальчик и братской встречи с Эликом, выписал, не знаю зачем, несколько строк поближе к концу романа: «Где-то в эти годы уже шлёпнулось на землю Ньютоново яблоко, и гениальный англичанин открыл закон всемирного тяготения. Людям от его открытия пока что не было ни холодно, ни жарко. Они совсем другой закон ощутимо чувствовали на своей шкуре: закон всемирного тяготения сильных мира сего к чужим землям и чужому добру».

Из текста выделял это, пожалуй, как образец изящного эликова стиля, приправленного так свойственной ему печальной иронией. И только потом, когда и раз, другой наткнулся на этот горький посыл уже в записной своей книжке, вдруг подумал: это ведь не только горькая шутка о нравах давнего восемнадцатого века! Для Кавказа, для этой райской земли, — пророчество на все времена. Кто только и в каком чужедальнем краю снова и снова не включает его в сферу своих «жизненно важных интересов».

Здесьним насельникам «Путеводитель», как называют адыги Полярную звезду, помогает найти путь к дому или путь к другу... Для чуженина она так и остаётся холодным ориентиром на разбойной дороге.

О том, куда она на Северном Кавказе приводит, и повествует роман «Страшен путь на Ошхомахо».

Выходит, книга — на все времена?

Недавно в письме к знаменитой не только в наших краях Лейле Бекизовой, хорошо знающей литературный Кавказ, у меня вдруг вырвалось и для себя неожиданное: после долгой и радостной работы над «Железным Волком» во мне проснулся черкес, которому теперь некуда деться. Оказывается, мол, и такое с нами бывает!

Не оттого ли в полупустом нальчикском пансионате и пришло ко мне и ощущение родного дома, и — ощущение родства?

Тем более, что я знал: в этом городе ждёт меня мой старый товарищ, верный идеалам нашей далёкой юности.

Дружище Элик.

Газырь о Валентине Распутине

Перед этим я, конечно, посомневался: Распутин и газыри — ну при чем тут? Зачем же корневому, кондовому сибиряку, настоящему, можно сказать, чалдону эти кубанские прибабасы? Может быть, мне так и назвать мой коротенький рассказ, который пишу перед 70-летним юбилеем Валентина Григорьевича: «Настоящий сибиряк»? Или просто «Сибиряк»... А может быть, просто «Настоящий»?

И этот, как никакой другой заголовок, соответствовал бы и прозе Распутина, и его судьбе, и — характеру. И, бесконечно в это верю, душе.

В девяносто втором году, пятнадцать лет, выходит, назад, я закончил работу над переводом романа адыгейца Юнуса Чуяко «Сказание о Железном Волке», отдал автору текст уже целиком и стал ждать: как он сам примет «русскую версию», как ее поймут и оценят его советчики и добровольные консультанты?

Литературный опыт к этому времени у меня был, казалось, достаточный, «сопротивление материала», как всякого профессионала, лишь вдохновляло. Щедрые возможности, которые свежим глазом разглядел в рукописи Юнуса, не только все ясней потом открывались и в долгих беседах с аульскими жителями, и в размышлениях над книгами о древних адыгских традициях, об истории Кавказа и Кавказской войне — возможности эти прямо-таки непреодолимо затягивали. Не поддаваться очарованию народного искусства, древних легенд и фольклора черкесов было попросту невозможно.

Всем этим старался я пропитать чуть ли не всякую строку, но как знать, что из этого вышло?

Но вот Юнус вернулся с рукописью в дом, где в Майкопе живем. Первым делом не только крепко обнял меня — по-русски расцеловал: экзамен по «кавказоведению», как выяснилось, я сдал. Но оставался другой. Может быть, не менее главный.

— А что, если попросить какого-нибудь знаменитого писателя написать предисловие к роману? — предложил Юнус.

— И кого бы ты хотел видеть автором предисловия? — спросил его.

Друг мой взялся перечислять имена «живых классиков»:

— Юрий Бондарев... Михаил Алексеев...

И к тому и к другому относился с большим уважением, обоих достаточно близко знал, и все-таки, все-таки...

— А Валентин Распутин?

И Юнус вскинулся:

— Думаешь, он возьмется?

Зная Валентина Григорьевича еще с сибирских времен, я на это надеялся: и старое товарищество, и прежнее служение идеалам литературной молодости всегда оставались для него делом чести.

Мне как раз предстояло возвращаться в Москву, захватил с собой экземпляр «Сказания...» и прежде всего позвонил Валентину Григорьевичу: хотел бы повидаться. Примешь ненадежного сибирячка-перебежчика, который пытается теперь «приписаться» к черкесам?

За чаем в квартире у Распутина с предварительным вздохом — мол, извини, но что делать? — достал папку с рукописью и принялся излагать суть дела.

— Завтра мог бы и не застать меня, — негромко посетовал Валентин. — Старые друзья договорились с военными: ложусь в госпиталь. Предупредили: может случиться — надолго.

— А что такое? — спросил я. — Что тебе предстоит?

Он ответил полупечальной своей улыбкой:

— Тоже предупредили: приятного мало.

И мне пришлось приподнять над столом ладони:

— Вопрос, прости меня, снят.

Протянул руку, чтобы взять рукопись, тут же сунуть, чтобы не мозолила глаза, обратно в сумку, но он положил пальцы на край папки:

— Все-таки оставь. Я попробую.

— Валя! — снова как бы извинился перед ним тоном и заодно уже укорил.

Но он успел переложить папку себе под руку:

— Оставь, оставь.

Предисловие он написал, о каком можно только мечтать, но настоящая цена его дружеского поступка открылась мне лишь потом, много позже, когда сам попал в «лапы к хирургам» с той же болячкой, что была тогда у него, тоже — в военный госпиталь.

«Приятного мало» — мягко сказано, как говорится. О своем пребывании в урологическом отделении Центрального госпиталя Главных космических войск после я написал рассказ «Лезгинка для смертельно больных», в нем — иные герои, снова кавказцы, но очень хорошо теперь представляю, чего наша с Юнусом просьба стоила тогда «настоящему сибиряку» Распутину — очень, поверьте, хорошо!

А тогда с братским напутствием Валентина Григорьевича, с его благословением, не постесняюсь сказать, потому что написаны им были слова высокодуховные, «Сказание о Железном Волке» вышло сперва в Майкопском издательстве, а потом и в «Роман-газете», имевшей тогда самую обширную в стране читательскую аудиторию.

Не только Юнус гордился предисловием Распутина — с постоянной благодарностью и я его вспоминал. Редкость по нашим временам, большая редкость: добрые слова там были не только об авторе романа, но и прямым текстом — о переводчике.

Потому-то история с его предисловием и получила продолжение, прямо сказать, весьма неожиданное.

Год назад в отделе краеведения Национальной библиотеки в Майкопе меня почтили трогательным вниманием: решили включить в календарик «круглых именинников» 2006 года. И попросили дать сведения о себе... Но тут и хотел бы в рай, как говорится! И какая-никакая критика, и, какие были, доброжелательные статьи и письма — все это в московской квартире: при бродячей моей, скифской жизни что с меня, с «черкесского зятя», взять? Не ехать же мне «в Москву за песнями», если это даже хвалебные песни?

Искренне переживавшая за меня заведующая отделом Сара Мугу пыталась помочь: может, мол, без

публикаций вспомните, кто из больших писателей говорил о вас добрые слова?

Назвал «Дневник» Юрия Нагибина и заткнулся: прошу простить это профессиональное для киношников словечко — «затык».

— А еще, мол, еще? — старалась Сара.

Так искренне, что я уже не за себя обрадовался — за них в отделе за всех:

— Да вот же, вот! — чуть не закричал. — Валентин Распутин.

Несколько строчек обо мне можно перепечатать из предисловия к «Железному Волку»!

Сара, не отвечая, взяла в руки лежавшую перед ней книгу, начала сосредоточенно листать ее, и это стал как бы безмолвный знак ее сотрудницам: каждая вдруг тоже углубилась в какую-нибудь книжицу, каждая возвратилась к только что прерванной работе... Восток — дело тонкое, да, но и Адыгея, Адыгея!..

Сперва не понял, в чем дело — шел, как бульдозер с нашей «ударной комсомольской» в Сибири:

— Да почему нет? Запросто можно!

Молчание прямо-таки повисло в воздухе, и тогда как на амбразуру бросилась — принялась медленно отвечать та несчастная, которой предстояло писать обо мне статью в этот календарик, — Марина Бекизова.

— Понимаете в чем дело, — начала очень тихо, опустила глаза, и щеки ее действительно запылали. — Вы простите нам наш менталитет... Во многом он одинаков и в ауле, и, к сожалению, в среде адыгской интеллигенции. И многие считают, что Распутин просто не мог написать этого предисловия. Это сейчас Юнус Чуяко — известный писатель. А тогда?.. Стал бы, говорят, знаменитый Валентин Распутин — о каком-то Чуяко!

— А кто же его написал? — удивился я.

И Марина одними губами, что называется, тихонько произнесла:

— Считают, вы сами...

— Нич-чего себе! — опешил я.

— И этого мелкого жулика, который сам о себе хорошие слова пишет, вы собираетесь теперь вставить в ваш календарь?!

— Сами так мы не думаем, — мучилась Марина. — Мы-то вам верим. Но что нам делать? — и прямо-таки по-детски попросила: — Вы помогите нам!..

— Да что же мне, письмо Распутину написать? — воскликнул. — Чтобы он свое авторство подтвердил?

Сара чуть ли не строго, как у школьника, спросила:

— А вы можете такое письмо ему написать, вы — можете?

И я руками развел:

— Так ведь придется!

Отправил Валентину Григорьевичу письмо: мол, так и так. Обвиняют не то чтобы в плагиате — как бы в плагиате навыворот. Не мог бы ты в этот оч-чень, как понимаешь, животрепещущий вопрос внести ясность? Улучи минуту, выбери час — напиши им, пожалуйста, в отдел краеведения. Работают там добропорядочные милые женщины. Настоящие черкешенки, какие, слава Богу, на Кавказе еще остались. Очень прошу тебя, ответь — они будут благодарны.

Как они, и действительно, потом радовались!

Строгая заведующая, хоть и слишком звонким голосом, но вполне ответственно заявила, что, как только уйдет на пенсию, тут же возьмется писать мемуары. И с чего их начнет? Конечно, с письма Распутина в отдел краеведения Национальной библиотеки Республики Адыгея!

Как бы хотел я тут привести простосердечное и мягкое письмо Валентина Григорьевича, наверняка не уступающее лучшим образцам изящных кавказских благопожеланий!

Но ведь теперь это — их письмо, их ценность. Их неожиданная реликвия. Пусть сами потом ею, и правда, распорядятся. Появится хоть и в мемуарах Сары Хазретовны: а почему бы нет?

У меня был рот до ушей, когда они мне его потом зачитывали. И очень потешили меня и растрогали — спасибо тебе, милый Валя! — примерно такие строчки: пишу, мол, от руки и хочу, чтобы моей руки было побольше. А то вы там еще, чего доброго, опять подумаете, что и это письмо написал вам за меня Гарий.

Сомнения милых дам из отдела краеведения Национальной библиотеки Адыгеи, таких же, как и по всей России, обойденных заботами родного государства страдалиц, самоотверженных терпеливиц, беззаветно пекущихся о сохранении наших духовных богатств в самое неподходящее для этого, злое время, — сомнения их были, слава Богу, рассеяны: несколько добрых слов Распутина обо мне в адыгейском календарике все-таки появилось.

Конечно же, и они тоже способствовали тому, каким искренним получился литературный праздник, устроенный объединенными силами казаков да черкесов. И правда: это было не мое торжество, а торжество лучшего в нас — и в тех, и в других. Почаще бы оно проявлялось!

Но разве живем одними праздниками?

Из подмосковного Подольска вдруг позвонил старший сын: слышал уже, отец, что в самолете, который разбился в Иркутске, погибла дочка Распутина?

С ноющим сердцем я приник к телевизору, а у жены какое-то срочное дело тут же нашлось на кухне...

Теперь уже тридцать лет назад в Москве солнечным днем в самом начале октября она шла вслед за двумя мальчиками-первоклашками: только что, выйдя из ворот школы, они чинно держали друг дружку за руку. Пережидая, когда промчится трамвай, все трое остановились, но, когда он пронесся мимо, мальчишки вдруг бросились перебегать улицу. На глазах у нее детишек убил не сбавивший скорости возле школы встречный вагон.

Нашего Мити нет уже тридцать лет. Нет рядом.

Начавший жить под сердцем у матери, нынче он, ставший неумирающей болью, словно крошечный мальчик-с-пальчик, опять свернувшись калачиком, тихонечко полеживает в сердцах у нас у обоих. До поры до времени всякий раз беззаботно и якобы счастливо живет себе у папы и мамы.

Но не зря ведь я плачу, когда пишутся эти строки, хоть плакать, знаю, по ушедшим нельзя...

Вместе с известием о чужом горе с новой силой накатывает свое. Снова спрашиваешь: за что, Господи?! Нам с Ларисой тогда. Теперь — им. Светлане и Валентину.

А главное — детям-то, детям! Семилетнему Мите. Тридцатилетней Маше. Если бы такое было возможно, разве бы мы не поменялись с ними судьбой?

Но каждому свое. И только представить себе: в радостном ожидании дочери стоять в аэропорту родного города, где столько раз провожал ее и встречал... Откуда постоянно улетал в Москву сам и вместе с женой. Где не раз, улыбаясь, шел навстречу вывалившейся из самолета толпе друзей, прилетевших на «Сияние России», на твой, распутинский праздник, который уже столько лет не только помогал Сибири не опускать голову — по всей стране поддерживал русский дух.

— Ты правильно поймешь? — спросил он, когда обнялись в иркутском аэропорту несколько лет назад. — Наши расписали тебе маршрут по рабочим городам: Братск, Усть-Илимск.

И я рассмеялся: наоборот, мол, спасибо тебе! Привычная моя сибирская лямка.

Выезжать пришлось сразу, и в Иркутске я только оставил записку: «братский» — теперь уже в двух смыслах — привет замлякам из Кубанского казачьего хора, который днем позже прилетал из Краснодара. И получил потом в ответ крошечный листочек от запевалы нашего кубанского гимна, старого дружка Толи Лизвинского: завидую, мол, тебе — сказали, едешь потом на Байкал. Нам на этот раз не удастся.

Отношение Валентина к Кубани — особая статья.

Еще давно, когда впервые прочитал один из лучших распутинских рассказов «Уроки французского», уловил этот невольный вздох сибиряка, эту вполне понятную, почти неясную самому мечту о теплых краях: как в молодости бывает, вообще — о краях дальних, краях неведомых. Не однажды потом приставал к Валентину Григорьевичу: рассказал бы подробней, а? Как наше кубанское розовощекое яблоко докатилось до твоего родного села, до Аталанки?!

Потом была одна маленькая история. Из Краснодара позвонил однажды Петр Придиус, еще работавший в то время редактором «Кубанских новостей», но уже избранный председателем отделения Союза писателей России: предстоит, мол, очень короткая командировка в Москву, можно у тебя на денек-другой остановиться?

Мы не только дружили — родом были из соседних станиц, и, как бы напоминая ему о наших общих корнях, шутливо называл его «дядька Петька», а сам у него был, конечно, — «племенничек».

Говорю теперь: может, «дядька», ты хотел набрать другой номер, да ошибся? Неужели у «племенничка» надо об этом спрашивать?!

Дома у нас он первым делом открыл свой кейс, стал выкладывать из него крупные яблоки, красоты ну необыкновенной.

— Стоп! — сказал я. — Эти три самых больших оставь-ка в кейсе.

И принялся заряжать новой кассетой свою «мыльницу»: чутьем фотографа-любителя угадал, что снимок может выйти «исторический» — так оно потом и случилось.

В перерыве писательского пленума, который открылся на следующий день, подвел Придиуса к Распутину:

— Вот, Валентин Григорьевич! Мой «дядька» хочет поблагодарить тебя за твой рассказ «Уроки французского» и вручить тебе специальный приз — за создание светлого образа нашей землячки — учительницы с Кубани!

Ну, и пока они там знакомились да занимались яблоками, я ходил вокруг них и все «щелкал»... не надо мне было, конечно, на факультете журналистики сбегать и с лекций, и с практических занятий



по «фотоделу»! Какой из меня фотограф?.. На одном снимке лицо у Валентина как бы еще растерянное, а там, где он уже тепло улыбается, видна только верхушка яблока, эх!

Но зато я их друг другу представил.

Через год-другой после этого была долгая писательская поездка, связанная со столетием Транссиба: из Москвы во Владивосток и обратно. За день до прибытия поезда в столицу, по одолженному в штабном вагоне мобильнику позвонил Придиус, сказал, что с ним тяжелый груз, попросил встретиться. Обнялись на вокзале, и он вдруг сказал:

— Дай-ка я тебя, «племенничек», еще раз!.. Ты знаешь, с кем я ехал от Байкала и до Тихого океана, потом обратно? В Иркутске в купе подсел Распутин: вот уж с кем отвел душу!

И снова меня крепко обнял...

У нас тогда, после «Сияния России», и в самом деле была поездка на Байкал, была прогулка на катере по штормившему морю, и была великолепно натопленная банька на берегу, из которой бегали охолунуться в ледяной воде «священного моря». Потом началось шумное застолье.

Предупредил, ненадолго отлучусь, выскользнул из банкетного зальчика, пошел к подножию сопки. Вернулся с двумя крошечными, чуть больше карандаша, листовничками, которые с корешками выковырял лезвием карманного складничка: какие две трехметровые красавицы вымахали теперь в нашем палисаднике под Звенигородом!

Да тут только начни, только начни...

На прощальной пресс-конференции в Иркутске вдруг пришло в голову, я сказал: спасибо, что повидал наконец-то Братскую ГЭС которая строилась почти в одно время с нашим Запсибом. Повидал Усть-Илимскую. Пусть энергия, которую они вырабатывают, принадлежит нынче не нам — больше Чубайсу. Зато и в Сибири, и по всей большой разноплеменной России с нами осталась наша энергия народного духа, которую никто у нас пока не отобрал, — все вместе пуще глаза будем хранить ее!

Не один ли из самых главных и надежных ее хранителей он, Валентин Распутин?!

Но как теперь и его, и убитую горем Светлану Ивановну поддержать?

Нет, неспроста нам с таким нахрапом навязывают чужие правила игры в одиночку, нет!

Как много друг для друга мы все-таки пока значим!

Помню, как негромкий Валентин Сидоров, глубокий умный поэт, которого злые насмешники после его книг об Индии стали называть «рерихнутым», в трудные для нас с женой дни сердобольно-братски мне посоветовал: поезжай в Сергиев Посад, в Лавру. Побывай у раки преподобного Сергия Радонежского. Постой, помолись. Попроси его поддержки и помощи... Светлая тебе память, Валентин Митрофанович: я и нынче в Сергиев Посад нет-нет, да навещаю. И первым делом всегда иду к раке нашего главного русского Заступника.

Помню, как земляк Виктор Гончаров, светлая и тебе, Витя, дорогой Виктор Михайлович, память, позвонил в те дни и сказал мне: написал еще перед твоей бедой, но этот стих, который тебе прочту сейчас, он — для всех.

В утешение скольким, не знающим, как пережить земное крушение родной тебе жизни, я потом отсылал этот Витин стих!

Вслед за скорбной телеграммой, вырвавшейся мгновенно, как отчаянный крик, послал потом его и в письме Распутиным в Иркутск: «Разве жизнь повторится? Никогда, никогда. Улетит, как жар-птица!.. Не оставит следа... Не тревожьте слезами тех, кто вами любим, только временно с нами быть

положено им. Отпустите, их тянут наши стоны назад. Пусть безвесыми станут и счастливо летят в жизнь, лишенную пятен, окруженную сном, в мир, что нам непонятен, необъятен умом. Наши слезы — засада в их нелегком пути. Не зовите, не надо, им назад не прийти. Что ж ты плачешь, вздыхая? Дорогая, сейчас их бесплотная стая ждет покоя от нас. С этим надо смириться, это надо понять. Улетела жар-птица, чтоб счастливо сиять! Помоги ей, не поздно, всем ненастьям назло — вспоминай, но бесслезно, вспоминай, но светло».

Не всегда это получается, конечно, без слез.

Но, может быть, все-таки и это не зря: в стальные римские легионы не брали солдат, не умевших плакать.

...Праздники мои случились в июле, а в августе я получил письмо из Иркутска...

Хоть письмо очень личное, смею надеяться, Валентин Григорьевич меня не осудит, если несколькими строчками из него все-таки поделюсь: «Задним числом поздравляю тебя с попаданием в одну из самых трудных и малодоступных целей, а передним умом, прости, не сумел этого сделать вовремя. Прости! Не придем мы никак со Светланой в себя, весь месяц после случившегося с Марией — горе горькое-прегорькое. Хотя и записана у меня в поминальнице твоя дата — да вот, рот разинул.

А сегодня звонит из Иркутска (я спасаюсь на даче) товарищ и говорит: „Литературка“ поздравляет Гария. Я плакать научился — и по этому поводу всплакнул: ничего в голове не осталось.

Вот и подошли мы к библейским годам, семьдесят в наше время — это все равно что 700 или 900 Аврааму и Моисею. Во все времена тяжела ты, доля русская! И ты маешься не при родине (и негде приютиться), и я не могу выбрать себе могилы: в Москве не хочу, в Аталанке через несколько лет ни одной души не останется. Остается Иркутск, рядом бы с Марией. Да ведь откинешь копыта где-нибудь в сторонке — и не повезут: где пал — там и пристал.

Поздравляю, Гарий, обнимаю братски и тепло: прежде всего, работы тебе, ты умеешь работать, и дается она тебе — как любимая женщина отдается — с прилаской и игрой. Нигде у тебя не видно бурлацкого отяготенья. А если ошибаюсь — ну, и еще раз прости.

И еще надеюсь на встречу — до того, как навсегда разминемся в разных землях.

Ларисе кланяюсь и кланяюсь.

Ваш В. Распутин».

Может быть, мне надо было позвонить Валентину Григорьевичу и попросить у него разрешения на публикацию этого исходящего кровью сердца письма?..

Но за статью эту сел вдруг совсем неожиданно, шла она чуть ли не стремительно, и я боялся расплескать состояние духа, в котором она рождалась: придется теперь задним числом просить у Вали, у обоих у них со Светланой, прощения уже по приезде в Москву.

Но тут и другое: конечно же, мне хотелось любящим Валентина Григорьевича его читателям хоть маленечко рассказать, как он нынче тяжело ранен, как открыт для боли и взаимной любви, как терпеливо и самоотверженно «горе горькое-прегорькое» свое переносит... Вы не ошибаетесь в своей сердечной симпатии и в сокровенном давно ставшем не только национальным — общенародным в России уважении к нему, нет!

Вот нам все говорят, что русская литература так ничему свой народ и не научила... да враки все это!

Морок, которым натягивает на нас с далекого заокеанского берега, где расположена эта страна, которую только что умерший во Франции мыслитель-мудрец назвал единственной, еще оставшейся на земле «первобытной». Не раз и не два перечитывал письмо Валентина Григорьевича, и сколько

возникало за строками его и меж строк!

Вспомнил, как ровно десяток лет назад и «думский» журнал «Российская Федерация сегодня», где я тогда перебивался в роли «обозревателя по культуре», и «Парламентская газета» опубликовали нашу с Распутиным пространную беседу, заголовок для которой придумал он сам: «Многобедное наше счастье — жить в России».

Заместитель главного редактора журнала Александр Черняк, опытный публицист, мой старый товарищ, задним числом посетовал: почему, мол, я, стреляный воробей, не догадался попросить тебя, чтобы вызнал у Валентина: как он относится к Солженицыну? И я «пошел навстречу» начальству: «Эксклюзив, Саша, специально для тебя. Знаешь, что мне сказал Распутин? Как-то при встрече с ним Солженицын вздохнул: „Вы мне, Валентин, симпатичны, но я считаю вас заблудшим без отпущения грехов!“ И Валя ему ответил: „Вы пользуетесь взаимностью, Александр Исаевич: и в одном смысле, и в другом“.»

Так вышло, что через месяц-другой после нашего с Распутиным разговора он получил «солженицынскую» премию — немалые при нашей бедности деньги. И «патриоты» в Москве заговорили известное: продался.

А я был чуть ли не счастлив: как хорошо, что перед этим мы с Валею о кубанском моем землячке Александре Исаевиче, о котором знаю, может быть, чуточку больше, чем он, и к которому куда определенной, нежели он, отношусь, мы поговорили как понимающие друг дружку два миротворца — нам ли драться с хорошо начинавшим «стариком» на борту нашей расхोлившейся теперь на волнах русской лодки!

У каждого из нас свой выбор, но предложений у Распутина куда больше, и оттого он, пожалуй, больше нашего и печален. Уютно ли ему бывает среди притулившихся к зажавшейся части священства мирских оборотней, вместе жирующих в теньке от только что отстроенных ими храмов — недаром старцы еще, когда предупреждали, что в конце времен число церквей многократно умножится, но вера ослабеет... Всегда ли по душе рядом с так называемой оппозицией, которая давно, кажется, только потому и оппозиция, что хапнуть успела меньше?..

Ведь Валентин Григорьевич из тех, кто и кожей чувствует, он — из таких. Или я слишком категоричен, когда именно так сужу, разве исключено, что это больше мое видение — и тут тоже придется просить прощения?

Но вот спустя десять лет стал перечитывать нашу с Распутиным откровенно горькую, очень жесткую по тем временам беседу о «многобедном счастье жить в России» и не то, что с грустью — почти с безысходной тоскою понял, что если что-то в страдающей от пороков и бедности стране изменилось, то не в лучшую сторону.

Но вот такое дело: мы не сдались! Может быть, даже с нарастающим упорством мы — держимся.

Разве мог я ждать от Валентина письма после всего, что в Иркутске с ними случилось?

Но он написал.

И опять, кроме прочего, а, может, прежде всего — о нашей, что там ни говори, особой работе. Ну, что мы за люди?!

Когда погиб наш семилетний Митя, журнал «Смена», в котором тогда служил, как раз печатал отрывки из «Царь-рыбы» Астафьева. И вместе с новой главой Виктор Петрович прислал мне коротенькое письмо, в котором не то, что настойчиво советовал — чуть ли не принуждал: спасайся работой! Других рецептов для русского человека нету.

Что нам, милый Валя, еще остается?

Поскольку пишу теперь из северокавказских краев, из Адыгеи, позаимствую, как в свое время казаки тут — черкеску, здешнее старинное по-желание: пусть за все твои добрые слова и дела воздастся тебе, Валентин Григорьевич, в десять раз. В сто. В тысячу раз!

Этого ты заслужил. И здесь — тоже.

Может быть, помнишь? Железный Волк из романа Юнуса Чуяко, разрушающий города и аулы, прежде всего, выедаёт людские души.

В свое время ты помог Волку утвердиться в признанном теперь на Кавказе, завоевывающем все большую популярность «Сказании...», но, как истинный сибиряк и потомственный охотник, к душе своей ты и близко не подпустил его.

Оставайся таким!

В наше время всеобщих подделок, мимикрии, которую зовем теперь толерантностью, фальши, суррогатов, гнилья, дурной запах от которого выдают кто за тонкий европейский аромат, кто за родную вонцу отечественных портянок... Несмотря ни на что, оставайся!

«ВО ДНИ СОМНЕНИЙ...»

Размышления в «Год Русского языка»

ХОРОШЕЕ СЛОВО

Эту историю я узнал в селе Долгие Поляны под Старым Осколом. Далековато, конечно, от наших мест, но привязкой к ним может служить тот на первый взгляд малозначительный факт, что давний мэр Старого Оскола Николай Петрович Шевченко, ставший там теперь ещё и Почетным гражданином — наш земляк, родовые его корни тянутся к расположенному в Адыгее по дороге на Краснодар хутору, который так до сих пор и называется: «Шевченко». Когда-то мы вместе работали в Сибири, в Старый Оскол я приезжал у Николая Петровича погостить да в очередной раз о нём написать, и вот во время одной из наших поездок окрест города вдруг попросил его остановить машину возле небольшой, но ладной, удивительной красоты, новенькой церкви.

— Любуетесь? — с ревнивым интересом спросила проходившая мимо пожилая женщина, и я откликнулся:

— Да ведь нельзя не залюбоваться!

Она остановилась:

— Это всё благодаря Фёдору Ивановичу да нашей Марьюшке...

Сказать, что Федор Иванович Клюка — владелец крупнейшего в России Стойленского горно-обогатительного комбината, один из самых богатых в Старом Осколе жителей, значит, — не сказать о нем ничего. Фёдор Иванович с уникальной его биографией, редкой судьбой и чрезвычайно крутым нравом — живая легенда Белгородчины. Но кто — эта Марьюшка?

— Как же, как же! — прямо-таки вскинулась наша неожиданная собеседница. — Она ж тогда и ездила до Ключки: просить за церковь. Да вы можете пробежать до неё, она тут рядом совсем: сама вам расскажет.

В новеньком «мерседесе» мэра мы «пробежали», и неторопливый рассказ Марьюшки, полный почти позабытого теперь простонародного благородства и удивительного по нашим-то горьким временам достоинства, постоянно с тех пор живёт в памяти... вообще-то грустное это дело! Или наоборот: как раз — радостное?

Вот я уже и о Шевченко многое, что там ни говори, успел в пяти строках рассказать, и наметить в нескольких словах образ Ключки, нового «хозяина жизни», а фамилия заботливой Марьюшки затерялась в моих оставленных в Москве записных книжках и там же вместе с именем-отчеством канула и другая фамилия: благословлявшей Марьюшку перед поездкой «до Ключки» праведницы-односельчанки... Нехорошо вроде!

Нынче нас «идентификационные номера» взять обязывают. Личности особо продвинутые уже готовы добровольно подставить место, в которое прежде уколы делали, чтобы туда ему «чип» вживили. А одна из героинь нашего маленького рассказа так и останется безымянной?

Назовём её, с вашего позволения, Петровной.

— Когда люди уговорили меня ехать до Ключки просить за церковь, — стала нам тогда с явной охотой рассказывать Марьюшка, — поднялась я пораньше, управилась, прибралась, приделась, как могла, и — к Петровне: да скажи мне на дорожку, Петровна, хорошее слово! Сказала она, и я поехала...

— А кто она у вас, эта Петровна? — принялся я уточнять с профессиональной дотошностью. — И что она вам сказала? Какое это «хорошее слово»?

— А вы не знаете? — простосердечно удивилась очень пожилая, куда старше нас с Николаем Петровичем, Марьюшка: вся она так и светилась каким-то особенным, будто доставшимся ей от далеких предков, благожелательством. — Как же это не знать?.. Когда церкви порушили или склады в них устроили, а священников — кого в Сибирь, а кого постреляли, тогда люди — что?.. До таких вот, как Петровна у нас, за хорошим словом и шли: никого не обидит, никого не обманет. Последним куском поделится. Надо будет, последнее с себя снимет — чужому отдаст. Ой, человечная!.. Только поглядит на тебя — уже на душе спокойно... а по другим селам другие были, да и сейчас ещё есть.

— Так что она вам — конкретно? — взялся помогать мне мой старый друг.

— Да ничего такого, — развела руками добровольная ходатаица. — Это ты правильно, говорит, Марьюшка, надумала: поезжай с Богом!

— И всё? — не поверил мэр.

И она опять простодушно удивилась:

— Дак, а что ещё?

— И никого больше ни о чем не просили?

— А кого ещё о чем?

— Кто пропуск вам к Федор Иванычу заказывал? — деловито допытывался мэр.

— Дак, а сама! Сказала, зачем, мне и дали эту бумажку, чтобы пройти...

— Паспорт хоть был у вас с собой?

— Да никто не предупредил, дак и не было — так поверили...

И Николай Петрович прямо-таки захохотал:

— Это — у Клюки?!

Потом, когда уже не раз побывал и в Старом Осколе, и в управлении Стойленского ГОКа — в просторечии «Стойла», и в его «святая святых» — в кабинете у Федора Ивановича, я и сам размышлял: ну, не сказка ли? Ну, не чудо?

Муштрованная охрана не только у входа внизу, но чуть не на каждом этаже за каждым углом, опытные секретарши и специальный монитор на столе у Клюки: хорошо видна и вся приёмная, и всяк входящий в неё, всяк в ней сидящий... И вдруг приходит этот «божий одуванчик», эта Марьюшка, её везде беспрепятственно пропускают, сразу же принимает сам Фёдор Иванович, терпеливо выслушивает просьбу сельчан, нажимает на одну из кнопок и тут же вошедшему инженеру приказывает: завтра начинаем строить церковь — чтобы к утру был проект.

Тот чуть не в ужасе: в жизни, мол, церкви не проектировал!

А Клюка ну, будто советует:

— Вот и пора тебе: хоть раз это сделать. Всё!

Назавтра начинают копать котлован, а ещё через месяц посреди села возносится красавец-храм во имя целителя Пантелеимона...

Всё размышляю: может быть, в глазах у Марьюшки прямо-таки виделось, что было у неё в тот день на душе? И прямо-таки читалось на лице вдохновлявшее её хорошее слово?

А почему успел обмолвиться, что размышления мои насчет наших героинь, которые без своих фамилий остались безымёнками, почти неведомками, не только грустны, но заодно радостны — да потому, что сами бы они меня и правильно поняли, и сразу, не сомневаюсь, простили. Безымянность в добром начинании, его анонимность всегда были одной из самых глубинных черт уважаемого в народе артельного характера: важен был счастливый исход и общая польза. Был бы толк! А все остальное...

Недаром же есть такое старинное понятие: тихая милостыня. Которую, не сказавшись, незаметно оставляли у порога.

Но цена-то «хорошего слова», а?!

И часто ли мы такие слова говорим друг дружке? И думаем ли вообще над тем, что, когда, кому и как говорим?

Очень часто вспоминаю ещё одну маленькую историю, которая произошла уже в наших краях: в санатории «Кавказ» под Майкопом. Путевка туда стоила тогда дешево, и как-то чуть ли всю зиму я работал там над переводом романа Юнуса Чуюко «Сказание о Железном Волке». Бывало, автор по тем или иным причинам долго не приезжал, и я спускался с четвертого этажа, запросто подходил к аульским бабушкам или пожилым мужчинам: помогайте!..

Летом попасть в «Кавказ» было не так-то просто, отдыхало да подлечивалось областное да городское начальство с женами и детишками, а в межсезонье или зимой пансионат заполнял народ неизбалованный, благожелательный, простодушный, и добровольных помощников, готовых растолковать мне малопонятное слово или объяснить старый обычай, было хоть отбавляй. Просто грех тут не упомянуть об Османе Наховиче Чамокове, светлая ему память: наши неторопливые беседы с этим удивительным, с нелегкою судьбой человеком во время ежевечерних наших прогулок

дали такой богатый материал, что так понравившийся потом читателям дедушка Хаджекыз из «Железного Волка» очень, очень многим обязан «дедушке Осману» из Кабехабля — он это, он.

Правда, тут вышла такая закавыка. Так как один Осман в романе уже был, я решил подыскать для него другое имя. Но какое?.. Перебирал в уме, перебирал и вдруг вспомнил, как в Майкопе очень пожилая женщина, приоткрыв калитку, негромко кого-то позвала:

— Хаджекы-ы-ыз!

Очень оно мне тогда понравилось, это имя. Может быть, потому что вырос в станице, которая соседствовала и с абазинами, и с бесленеями, и выговор у нас поэтому, что там ни говори, был особенный. В речи у старых станичников имелся непривычный для русского уха звук: «дъжь». У нас не говорили «ручей журчит» — говорили «ручей дъжюрит». Если на конных скачках кто-нибудь проявил удалство, его похваливали:

— О, дал дъжёгу!

Ну, проявил настоящее джигитство: у черкесов ведь праздник с участием конников именно так и называется: дъжёгу.

Если у нас хотели сказать «черкесы заговорили по-своему» — звучало так: «черкесы задъжерготали». А пожилая женщина на майкопской улице тогда как раз и «задъжерготала»: Хаджекы-ыз!

Дорогой душе отзывк счастливого послевоенного детства?

И новому герою романа, целиком навеянному удивительными рассказами Османа Чамокова из Кабехабля я и дал это имя: Хаджекыз.

Скорее всего, что этот щедро подаренный незаурядным аульчанином образ оказался таким притягательным, что перед его обаянием не устоял и Юнус: новое имя принял безоговорочно.

Спустя двадцать лет профессор русского языка Роза Юсуфовна Намитокова подписала мне «Словарь адыгских имён», и только тут я к великому своему и очень запоздалому удивлению понял, что когда-то теперь уже очень давно на майкопской улице бабушка звала не внука, как мне тогда показалось, — звала внучку: имя Хаджекыз означает — «девушка, совершившая хадж».

Может быть, размышляю теперь, это некий посланный свыше знак признательности всем тем аульским женщинам, которые так беззаветно, так самоотверженно мне в пансионате «Кавказ» двадцать лет назад помогали?

Добросердечие их, действительно, было беспредельно.

Вышло так, что в отсутствие Чуюко новые мои благожелатели, узнав, что адыгскую гармошку я слышал до сих пор только со сцены, устроили приезд знаменитого гармониста Алия Темизока: да пребывает теперь щедрая душа его в райских садах! Он приехал с достойным его мастерства трещоточником и чуть ли не день до вечера в одном из просторных номеров, где жили мужчины, мы просидели за кабехабльской бахсымой, которую специально в своём ауле заказал «дедушка Осман-Хаджекыз»: как же помогать своему кунаку, как его роман до ума доводить, если старинной бахсымы «переводчик» не попробовал!

Правда, и в те минуты, так получилось, мне было тоже не до неё: записывал на магнитофон одну зажигательную мелодию за другой.

А на следующий день меня окружили женщины:

— Знаем, что записал нашу музыку. Поиграешь нам внизу в коридоре? А мы тебе покажем, как у нас надо танцевать...

Мог ли я отказаться «поиграть»?!

Вскоре отношения между нами установились почти доверительные, и, когда одну из самых пожилых женщин увидал с печальным лицом и повязкой на голове, прямо-таки не удержался:

— Зиусхан, нана!.. Так тебе хочется помочь.

Она чуть не испуганно отпрянула, потом словно о чем-то задумалась и очень серьёзно, как бы даже с особым значением сказала:

— Спасибо тебе. Я видела, как утром ты бегаешь у костюме с полоской: тебе пока можно.

Конечно, я удивился:

— Это должен говорить только здоровый человек, нана?

— А как же! — сказала она убежденно. — Некрепкий может и совсем заболеть. Если он не как у нашего парня в руках, что с гармонистом Алием приезжал. Если он — не трещотка...

Спасибо доброй аульской женщине: русского писателя с немалым и тогда уже стажем учила бережному и честному отношению к слову.

И не только, не только: тогда мне впервые стала приоткрываться некая общая для всех языков и наречий тайна. Может быть, впервые я невольно задумался о мере ответственности и за сказанное слово, и — за написанное. К стыду своему, только потом уже пришлось прочитать у Даля, что «с языком шутить нельзя, словесная речь человека — это видимая, осязаемая связь между душой и телом.»

Не об этом ли, естественно в иной форме, в недавнем своем обращении о русском языке напомнил нам Владимир Владимирович Путин?

Всем нам давно уже было ясно, что с речью нашей — беда. На улице — уши затыкай. Перед телевизором — ещё и зажмурься. Но вот оно сказано для нас: президентское «хорошее слово».

Может, лиха беда — начало?

Ведь само собой, что «вначале было Слово...»

А там, глядишь, дождёмся и этого: что скажет он нам всё-таки адыгское «зиусхан».[5]

Возьмёт, наконец-таки, на себя нашу боль.

Много её у нас у всех накопилось, и чрезвычайно тяжела будет ноша.

Но Президент ещё молод и здоров. «У костюме с полоской» не только по утрам бегают, но вон как на горных лыжах несётся с таких крутых склонов!

Ему пока — можно.

Только дал бы Господь: не с горы, а — в гору.

Пусть для начала медленно, с тяжким трудом, почти с нечеловеческим напряжением.

Но тут уж дело такое — коли взялся за государственный гуж.



## НА ПРИЕМЕ У СТАЛИНА

В не столь давнее время у записных остряков имелся целый цикл баек о министре угольной промышленности Засядько, который в тяжелейшей этой отрасли налаживал дела в трудные послевоенные годы.

Начнём с обеда у Сталина: вождь пригласил за стол подающего большие надежды горняка, чтобы поближе с ним познакомиться. Сам попивал своё любимое вино «киндзмараули», а гостя потчевал дорогим коньяком. Когда тот опорожнил вторую бутылку, Сталин велел принести третью, но тут наш подающий надежды, наконец, спохватился:

— Нет-нет: Засядько норму знает!

Вскороги после этого обеда, для горняка столь знаменательного, Сталину подали список претендентов, могущих возглавить министерство, а чтобы вождю было легче в нем ориентироваться, три из десятка фамилий были подчеркнуты.

Засядько среди этих трех не было, и Сталин не без нарочитого удивления спросил: мол, почему это?

— Есть за ним одна слабость, — начали деликатно объяснять вождю. — Неравнодушен к спиртному...

Но Сталин — конечно же, вынув изо рта знаменитую свою трубку, — со значением в голосе произнес:

— Засядько норму знает!

Но что касается так называемой ненормативной лексики, тут у нового министра не было удержу. Под тяжестью печально известных «девяяти этажей» перед Засядько гнул головы сильный пол и навзрыд плакал слабый. Во время отраслевых селекторных совещаний отборная ругань неслась из конца в конец по всей одной шестой части света: от Украины до Сахалина.

Но однажды Засядько пригласили к Сталину. В приемной, где кроме них никого больше не было, неизменный секретарь Сталина, Поскребышев указал на кресло и как бы между прочим сказал:

— Потерпите, я пока выйду.

И зазвучал из усилителей записанный на магнитофонную ленту громкий крутой мат министра.

Длился он пятнадцать минут.

Потом раздался тихий, тоже записанный на пленку, голос вождя:

— Ви свободны, товарищ Засядько!

Тут же в приемную вошел Поскребышев, буднично сказал:

— Приём окончен.

А?!..

Не станем дразнить гусей, не будем давать основание говорить, что и тут, мол, нам «не хватает

Сталина», — мы совсем о другом.

О нашей речи. О слове.

Что оно тогда значило? Что — теперь?

И что оно для человека вообще значит, слово.

Принято считать, что черная брань, которая якобы «на воротах не виснет», особенно пышно расцвела в годы крайнего напряжения всех и вся — как раз в военные и послевоенные годы. Во всяком случае сам я тоже долго считал, что старшие мои, прошедшие фронт коллеги, собраты по перу и устному слову, оттого-то крепких выражений и не стесняются, что в своё время «хватили всякого».

Но так ли это? Не совсем так? Или — совсем не так?

Сегодняшние размышления о языке невольно заставили меня вернуться и к своим текстам, и к своим героям, и к дорогим сердцу людям, оставившим по себе светлую память.

Вот страничка из моей повести «Я — не Гавриил Попов»: «Дедушка Гаврюша, Гавриил Павлович, был добрейший, деликатнейший человек, не сказавший при мне ни одного грубого слова, и однажды я спросил его: „Но ведь когда-то вам приходилось материться, отец?.. Что ж вы? За всю войну...“

Он не дал мне договорить:

— Был один случай, был!

— Один? — спросил я с подчеркнутым недоверием.

— Но зато это сильно помогло! — сказал он очень горячо. — Я потом даже думал иногда: может, потому-то... дурное слово... и оказалось такое крепкое, что я вложил в него все, ты понимаешь?.. Другие по делу и без дела матерятся всю жизнь... некоторые вон чуть не всякую минуту — слышать бывает тошно. А я только один раз, но зато так дал!

Я, конечно, подтрунивал над ним:

— И что же это за случай был, когда вы, папа, так дали?

— Это в сорок втором, — стал он рассказывать. — Самые плохие дела на фронте. А мы через тайгу в Забайкалье везем глинозем для алюминиевого завода... Завод может стать. Ты понимаешь? Алюминий! Тогда говорили: это — крылья сталинских соколов, алюминий. А я — начальник колонны. Меня предупредили: не прибеднит груз в срок — под расстрел. Тогда не чикались!.. А дочкам моим тогда: одной четыре годика, другой — три... И вот засел передний ЗИС, и нечем вытащить, ты понимаешь, — передний. Все водители повылазили — подтолкнуть. Бились-бились, нет — и всё. Только садится ещё крепче. Был бы легче груз, а то — глинозем. И под колесами глина. Клей!.. Схватила намертво. Солдатики уже устали, всё: нету сил!.. Давно не евши и не пивши. Прошу их: родные, последний раз!.. И вот, ты знаешь... я сиротой рос. Мамы своей не помнил. И во сне даже ни разу не видел. А тут она появляется как живая, и я понимаю: это она, мама!.. И говорит мне ясно-ясно: не стесняйся, сынок!.. Надо тебе — закричи. Да так настойчиво. Взались опять, но никто уже и не верит: машина даже не качнется... И тут я уловил тот момент, когда все напряглись, и заорал страшным голосом — никогда я раньше так не кричал... ни до, ни после: „Па-шла-а!“ Ну, и это — дурное слово вслед. Заорал тоже. Такая-сякая, мол, машина. Пошла — туда её! И, ты знаешь, как они навалились, солдатики?! А ведь уже надежды не было: всё!.. И вдруг — вынесли. И правда что — на плечах. А я заплакал. И от радости за все, и оттого, что мама, которой я раньше никогда не видал, тут вдруг пришла и помогла мне. Да интересно как: закричать разрешила. Даже как будто подсказала — да так настойчиво! Мама... ну, как живая. Так поглядела на меня, как будто улыбнулась и подбодрила: мол, дочки маленькие ждут, Валюша и Любочка... Не стесняйся!

Милый дедушка наш Гавриил Павлович! Верный ленинец. Атеист... Простота народная. И — чистота.

Потому-то и явилась к нему тогда в тайге, и подсказала, и разрешила все это женщина, которую совершенно справедливо он посчитал родной матерью... Скольких по простоте душевной заблудших, так и не успевших ничего понять в адской суете, но добрым сердцем заслужившим милости Её, спасала Она, страдая душой и горько печалась о них, переставших ждать сердечного слова и давно уже привыкших помогать себе грубым...»

Впервые повесть вышла в 1994 году в частном издательстве, и там проблем не было: как автор написал, так пусть и будет — его дело. Но вот в 1999 году в составе третьего тома сочинений её переиздавал уже «Современник», и редактор Марина Подзорова вдруг сообщила: корректор отказывается эту страничку подписывать.

— Корректор?! — чуть насмешливо переспросил я с высоты своего, почти полувекового уже и тогда, не только литературного — но и административного тоже опыта.

— Она у нас православная, — развела руками Марина. — Твердый человек... давайте к ней сходим?

В корректорской сидело совсем ещё юное, чуть не со школьными косичками, и оттого саму себя стеснявшееся очаровательное создание, но сколько в глазах у неё было веры в свою правоту, сколько решительности!

— Понятно, что в этом отрывке вы имеет в виду Матерь Божию, — сказала, густо покраснев. — Но давайте ещё раз поразмышляем: могла ли Она позволить это кощунство по отношению к Себе Самой?

У меня чуть слезы не брызнули: вот она о чем!

— Если вы заметили, я редко отступаю от правды, — начал объяснять ей, пытаюсь скрыть неожиданное смущение.

— Это я заметила, да.

— Дедушка Гаврюша — реальный человек... Подполковник в отставке, вся грудь в орденах — это не ради красного словца, это факт. Очень искренний и, признаться, в силу характера очень далёкий от фантазий. Он просто не мог это выдумать. И поскольку речь идёт и о его памяти... о его правде...

— Это я понимаю — конечно же! — сказала она мягко. — Но как нам быть, как?

И час, пожалуй, никак не меньше, вели мы с ней вовсе не богословский, но такой сокровенный разговор о нашей русской непростой доле, о судьбе нашей, в которой нераздельно сплавилось праведное с грешным... Какая, оказалось, умница, какое прозрачное чистое сердечко!..

Это в Москве, которую за распущенность нравов, за дурной, на всю страну, так получается пример, и недолюбливаю, и, бывает, осуждаю и публично и — печатно.

Но вот совсем недавно в Майкопе шел я мимо университета и уже почти обогнал двух идущих под руку и мирно беседующих о чем-то длинноногих, в коротких модных шубках красавиц, явно — студенток... Стоял тот редкостный для этой зимы прохладный день, когда на обочинах было бело, и кто-то из парней, запустив снежком, попал одной из них в спину...

Какой изощренный «девичий» мат раздался в ответ!

А я с ними как раз поравнялся «на обгоне» — ну, как было на лица не посмотреть?

Как это случается, в сознании разом пронеслось многое: и некоторое моё, как там не судить о нем, одиночество в этом городе, связанное с долгими годами в столице и нынешней непростой жизнью

уже не «на два дома», а на три: к Москве да к Майкопу прибавился ещё и Старый Оскол, к которому давно успел прикипеть... И невольный поиск родства — душевного, профессионального. Всякого. И тоска по чистому и высокому слову, вместо которого часто слышишь безграмотное, но уж такое самоуверенное извержение... Не надо полагать, что это относится исключительно к адыгейцам, нет, — как раз черкешенке однажды в минуту горестных размышлений обо всем этом и позвонил: мы с вами, говорю, незнакомы, но мне так понятно и так дорого ваше беспокойство о чистоте русской речи, которое слышится в ваших беседах по телевидению — спасибо вам! Она отвечает: мол, незнакомы, да, но один ваш рассказ я включила в сборник изложений для учеников старших классов: может, заглянете на кафедру?.. «Заглянул», пошел обмен книжками, и в очередной свой приезд в Москву я рассказывал о новом своем знакомстве старому другу Леве Скворцову, давно Льву Ивановичу, конечно же, — доктору филологии, профессору, тогда ещё проректору Литературного института: то, мол, тебе нет-нет, да позванивал по междугородной, чтобы растолковал мне, темному, смысл того или иного слова, а теперь у меня появилась такая возможность и в Майкопе — на кафедру звоню или домой... «Не Розе ли Намитковой? — опередил меня мой дружок. — Это серьезная школа, да. Правда, в Москве её давно не встречал: можешь передать ей „крайнюю“ мою, как принято у космонавтов, работу — новый „Большой словарь“?» И я конечно, привез в Майкоп увесистый том с автографом Льва, конечно же, передал, а тут меня уже ждали и новые книги от Розы Юсуфовны, и через неё — очередное знакомство, на этот раз — с доктором литературоведения Татьяной Маратовной Степановой, чья глубокая книжка о творчестве русского эмигранта Бориса Зайцева стал для меня и неожиданной радостью, и настоящим открытием...

А как же наши долгие, от которых не так просто оторваться, диалоги с Батырбием Берсировым, деканом национального факультета, а полные взаимного уважения беседы в отделе краеведения республиканской библиотеки «под председательством» нарочито категоричной Сары Мугу и первой её помощницы Марины Бекизовой, а дружеские разговоры с русскими библиотекарями, с подвижницами этими, на «выдаче» в абонементном отделе, а деликатнейшие, полные изыска слова научных сотрудниц Национального музея Галины Барчо и Зои Хут, к которым, бывает, обращаюсь за советом, а помощь директора музея искусства Востока Нафисет Кушу, за которой обращаться не надо — сама не отстанет от тебя, пока не поможет...

И что — старания всех этих добрых людей напрасны? И та самая, о которой и молодежь чуть не с придыханием говорит, аура бывает пробита бездумно брошенным грязным словом. Высокий дух, который люди высокопорядочные так самоотверженно пытаются в городе и блюсти, и поддерживать, так вот, походя, бывает унижен.

— Спасибо, девчата, — сказал я не без печальной усмешки. — Особенно радостно слышать ваши слова писателю старой русской школы... Не скажете, с какого вы факультета? Уж не филологи ли?

Но за это время парень позади нас успел слепить новый снежок. Опять он разбился о спину одной из подружек.

И нежные девичьи уста вновь отворились, чтобы произнести то самое, что после необычного приема у Сталина боялся произносить старый, с «подземным» стажем, матерщинник-шахтер...

## МУРОМЕЦ И ХАЗАНОВ

История фильма «Вольная Кубань», много лет подпитывающего зарубежное казачество запахами нашей теплой и все ещё пока зеленой родины, — это особь статья, как говорится, и она потом, коли будет на то воля Божия, тоже войдет в наши размышления о языке. Нынче придётся рассказать лишь часть этой непростой истории.

Однажды, когда «пазик» с киногруппой мчался между станицами Отрадненского района, я попросил водителя остановиться, чтобы подобрать бредущего обочью дороги парнишку и был буквально ошарашен нервическим криком режиссера Виталия Тарасенко:

— Никогда этого, прошу вас, не делайте!.. Не надо превращать наш автобус в рейсовый. В салоне аппаратура! Люди тут отдыхают после съемки...

— Да что это ты, старик? — простецки попробовал ему возразить. — Разве мальчонка тут же кинется курочить аппаратуру? Или начнет по головам ходить?

Во мне и сейчас ещё жива сибирская привычка не проезжать мимо пешего, а тогда она была — как закон. Но наш Феллини буквально захлёбывался возмущением:

— В кино есть свои правила, которых вы пока не знаете!

Потом-то он всем нам, всей киногруппе докажет, что «в кино», как он его себе представлял, правил как раз и нету, во всяком случае — благородных правил. Но это будет чуть позже.

А в тот месяц «по семейным обстоятельствам», краснодарский родом кугут Феллини приостановил съемки, уехал в Прибалтику, но ждать, пока он вернется, нам было никак нельзя: собирались включить в фильм кадры переноса мощей батюшки Серафима Саровского, а торжественная колонна сопровождавших раку преподобного церковных иерархов, священников и мирян несколько дней назад вышла из Москвы и под почетной казачьей охраной уже приближалась к Дивеевской обители. Хорошо, что администратором была у нас все понимавшая толковая женщина. На правах автора сценария и ведущего, на свой страх и риск, уговорил её ехать без режиссера, и как славно всё потом у нас в Дивеево получилось!

Но началось ещё до него...

Оставшись за главного, отводил душу: кого только мы по дороге не подбирали, кого только в свой «пазик» не подсаживали. Перед самым Муромом в автобус поднялась простенько одетая пожилая женщина с бидончиком молока в руке. Явно застеснялась вольно разбросавшейся по отдельным креслам полуголой в жару «киношной» команды, и я взялся потихоньку её подбадривать, а заодно и природное свое любопытство подкармливать: и как, мол, в вашем славном городе — жизнь? Не перевелись ещё в Муроме богатыри?.. А в селе Карачарове? На родине Ильи-то Ивановича?

На всякий случай сняли на пленку памятный камень на окраине города, а тронулись дальше — наша попутчица разговорилась, наконец: да как, мол, тут у нас? Весь город только об одном и говорит: и смех, и грех... Богатыри, конечно, при такой-то жизни давно повывелись, да зато что правда, то правда — помидоры в Карачарове, и в самом деле, растут богатырские. Таких помидоров — больше нигде. И на вкус: ой, какие особенные! Поэтому люди на базаре первым делом всегда и спрашивают: откуда, мол, помидоры? Карачаровские, нет ли? А тут приехал в Муром комик этот... ну, известный теперь везде... из техникума который...

Она замялась, словно боясь вдруг попасть впросак и оконфузиться, и наши ей дружно взялись подсказывать:

— Из кулинарного?

— Хазанов, что ли?

Она поблагодарила тоном:

— Вот-вот.

— Геннадий Хазанов?

— Он.

— И что Хазанов? — посыпались вопросы. — И что он, что?

Женщина слегка осмелела:

— Пришел тоже на базар... А про помидоры, видать, уже знал. Вот идёт, а за ним, конечно, толпа. Собрал целый карагод!.. И все люди переспрашивают: он? Не он?.. Да неужели, и правда, он? Да он, он!

— Хазанов! — опять её наши выручили. — Хазанов.

— А там стоял за прилавком человек, у которого всегда — лучше всех эти помидоры... От он подходит к нему с этим карагодом: дак, а что это за помидоры? И правда, карачаровские?.. Правда, тот отвечает. Из того самого Карачарова?.. А тот: сам не видишь? Другого Карачарова тут нету!.. И точно, нету? — тот спрашивает. А продавец ему тогда: чего ты, мужик, пристал как банный лист?.. Хочешь брат, дак бери, а торговать не мешай: видишь вон, какая за тобой ко мне очередь!.. Тот руками развел и — дальше... Вся толпа за ним, возле продавца никого не осталось, а он тогда: ты куда их повел, эй?! — женщина поднесла ладошку ко рту, все чего-то смущаясь. — Что там бы-было... от хохота весь базар чуть не плакал!

Наши тогда тоже посмеялись вволюшку: группа была в основном из молодых дипломников ВГИКа.

— Давно это было? — спросил я.

— Да уж с месяц, а то и чуть больше — у него всегда ранние помидоры...

— Ну, ему-то потом хоть объяснили?

— Да не знаю. К нему никто теперь больше не подходит, — сказала она жалостливо. — Только глазами покажут: это вот — тот самый, что не узнал артиста. И пальцем — коло виска... Кто ж такие помидоры и будет у его брать?

Было это, считай, полтора десятка лет назад, но до сих пор помню и будто смущенный её голос, и виноватое отчего-то лицо. Явно хотела отдариться за то, что её подвезли, но никак не могла решить: как отнесутся к этой истории модные ребята в драных шортах и майках с иностранными буквами?

Только сочувственный мой тон её и поддерживал... где ты, природная деликатность — сохранилась ещё хоть в каком-нибудь уголке?!

Оставшись от природы человеком порывистым, способным творческие планы резко переменить, бывало, от еле слышного зова, я тогда убеждал себя: что надо, отснимем, даст Бог, в Дивеево, а на обратном пути предложу ребятам на денек заскочить в Карачарово, к этому неожиданному страдальцу. Руку пожму ему, обниму. Если печалится, скажу: брат, выше голову! Эти твои землячки, которые вертят пальцем возле виска, не тебя унижают — себя самих. Ну, что делать?.. Такая нам выпала карта: будем терпеть. И будем работать. Ты вот — богатырские свои помидоры выращивать, я — писать. Больше ничего не умею: писать да читать. И, знаешь, что вычитал?.. Что семена, которые оставляли даже на небольшое время в пещере Печерской Лавры рядом с мощами твоего односельчанина Ильи Муромца, Ильи Ивановича, прорастали в несколько раз быстрее и урожай давали почти невиданный. Как жаль, что мало когда-то возле него постоял, что не очень внимательно разглядывал: только и помню черное, с серебряными крестами сукно, низко надвинутый капюшон да восковые, на груди сложенные персты... А ты, брат, живёшь в таком месте, над каким и нынче благодать не иссякла. Иначе откуда эти ваши знаменитые помидоры? Это — знак нам всем. Свыше. Всегда это помни, и дай Бог тебе здоровья долго-долго ещё трудиться на твоих грядках и с ясными глазами стоять потом за прилавком... это хорошо, что этот московский гость встретился тебе на базаре, а не пришел к тебе в огород, а то и ботва бы вдруг попривяла, и цветки бы осыпались, и

плоды почернели... как знать? Я тебе уже не о Хазанове, он, старая ещё школа, куда деликатней остальных: я — обо всех!. Многих из них хорошо знаю лично. Хочешь, расскажу тебе? Только подальше отойдем от растений...

...Было это, повторяюсь, полтора десятка лет назад, но вроде бы незначительное происшествие не только не забылась — сделалось для меня предметом чуть ли не постоянных размышлений... О чем?

О том же самом: о языке. О слове.

Разумеется, он не собирался этого делать, Геннадий Хазанов.

Но вольно или невольно популярный артист, мастер слова, многолетним своим изобильным, как помидоры в Карачарове, творчеством, считай, перевернул жизнь в «отдельно взятом» провинциальном городке, все поставил, хоть на малое время, с ног да на голову, в неустойчивом и без того, по смутным-то временам, сознании некоторых изменил шкалу ценностей...

А, может быть, в этом смысле мы давно должны говорить об «отдельно взятой» стране?

Бесконечным потоком пошловатых, а то и попросту хамских шуточек, и в самом деле, опущенной не то что до провинциального — уже до местечкового уровня.

Разве с вами не бывало, что, нажимая одну кнопку за другой, в одно и то же время вы всюду видели на телеэкране одни и те же до боли знакомые лица с одними и теми же ужимками и чуть ли не одинаковыми словами на одну и ту же тему?

У чеченцев есть сказка о муравье, такая маленькая, что не грех привести её полностью: «Давным давно один человек сказал муравью:

— Ва, муравей, какая у тебя большая голова, хоть сам ты и маленький!

— Голова бывает большая, если много ума.

— А почему у тебя такая тонкая талия?

— Талия бывает тонкой у благородного человека!

— А отчего твой зад такой толстый?

— Благородный человек не станет говорить о том, что ниже пояса, — ответил муравей.»

Давайте вдруг на минуту представим, что по какому-нибудь общественному уговору — хотя бы не на целый год, именуемый «Годом русского языка», а только на один день — штатных наших юмористов вежливо попросили бы не говорить о том, что «ниже пояса». Постараться хоть на денёк об этом забыть...

И вот вы нажимаете одну кнопку, другую... четвертую... шестую, а на экране — сплошная темь!

Но не прольётся ли в этот день над городами и весями нашего Отечества удивительный, ещё небывалый свет?!

«МУХАДЖИРЫ» РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Есть такие люди, пока, слава Богу, — есть. Подполковник медицинской службы в отставке, бывший хирург. Истый книголюб, настоящий библиофил, и правда что — «ходячая энциклопедия». И — отчаянный меломан, сам с хорошим голосом. Ещё недавно был заведующим отделением в майкопском военном госпитале, а вечерами пел под «Русскую удалю», под уникальный, это и в самом деле так, оркестр русских народных инструментов. Потому-то, когда ему исполнилось семьдесят пять, главный дирижер «Русской удалю» Анатолий Шипитько решил посвятить Ивану Тихоновичу Болдыреву концерт, в котором тот должен был солировать... Эх, как Иван Тихонович со всеми своими многочисленными наградами, во всей нестареющей воинской красе, с мощным своим, так и не покинувшим его, не ослабевшим басом, прошелся потом, оренбургский казак, «вдоль по Питерской»! Как погулял по залу вместе с «двенадцатью разбойниками» и атаманом их Кудеяром, который у всех на глазах превратился в смиренного монаха Питирима!

Общительный и благожелательный нрав сделал Ивана Тихоновича добровольным «культургом», не только обзванивающим своих многочисленных подопечных перед приездом какого-нибудь знаменитого артиста, которого наконец-таки удалось Анатолию Шипитько залучить в Майкоп, но и рассказывающим потом дорогие сердцам понимающей публики подробности... Он ведь, Болдырев, первым приходит в филармонию перед концертом и уходит последним, деликатно пропуская впереди себя редкого, дорогого гостя...

Кабы не кончалось на нашей Руси такое почти жертвенное самоотвержение!

Иван Тихонович и нашел меня по телефону несколько месяцев назад: мол, бесконечно виноват перед вами, но, Бог свидетель, не мог перед этим дозвониться!.. Да что такое, спрашиваю?.. Уверен, говорит, что вы тоже пошли бы к Анатолю Васильичу на репетицию: из Нальчика приезжали два певца с великолепными оперными голосами, давно, мол, таких не приходилось слышать. И, знаете, что они поют?.. Русские народные песни! И как поют, как!.. Для всех это будет самый настоящий, большой праздник. Кто, конечно, придёт потом на концерт... Анатолю Васильичу засел за ноты, чтобы самому получше к ним приспособиться и им дело облегчить. Репетирует пока без них, первый концерт потом в Нальчике, затем у нас, но дата уже известна: можете своих друзей приглашать! Пусть подумают. Понимаю, как трудно нас раскачать, все своими делами заняты. Но пропустить это просто нельзя — ну, никак! Так вот, чтобы мы с вами не были потом виноваты...

И в который раз начинаются одни и те же страдания:

— Не хочешь увидаться на концерте «Русской удалю»? — звонишь.

— Так ведь там же не так давно и встречались!

— Ты, братец, как тот милиционер, которому дарят книгу... Спасибо, говорит, у меня одна уже есть!

— Ну, сравнил, ну, — спасибо!

— А разве не так?

И долго говоришь о вещах очевидных, как бы азбучных, о которых интеллигентному человеку и говорить-то стыдно: концерт концерту рознь, дело известное. Что-то прошло в тот раз на высшем уровне, а что-то получилось не очень, мало ли!.. К тому же теперь с «Русской удалю» будут кабардинцы.

— Да этих кабардинцев в Майкопе!.. Вчера только с одним разговаривал.

— Оперные голоса, ты слышишь? Оба окончили московскую консерваторию. С отличием. Но в Нальчике-то с эти не разгуляешься, с оперой. А русские народные песни там у них — на ура...

— На бис, ты хочешь сказать?



Ведь понимает, а? Как раньше говаривали: грамотный! Но уговорить так и не удаётся. Ни одного, ни другого, ни третьего... да что же это?

Тоже кое-что понимаю: прописан в Москве, но больше пока, спаси, Господи, езжу, где только не бываю. Недаром же здешняя журналистка Валерия Ломешина однажды мне как приклеила: география, мол, его творчества — Северный Кавказ-Москва-Западная Сибирь — напоминает анэ: адыгейский столик-трёхножку... Ещё и самого себя начать цитировать, что ли?

Пошучиваю, думал. А ведь, и в самом деле, придётся!

Потому что как бы заново обнаружил: в вышедшей в 2006 году в Майкопе книге «Газыри» три рассказа — три «газыря», значит, — посвящены «Русской удали».

Вот самый короткий из них: «Уроки Грузии».

«Нынче, правда, об уроках Грузии, преподанных ею столько лет, словно щитом, прикрывавшей её России можно долго рассказывать».

Но мы о добрых уроках.

Полистал сейчас свой сборничек „Голубиная связь“, быстренько пробежал рассказец „Короли цепей“... нету там! Что делать? Годы идут, написанного все больше, и уже не всегда помнишь, где о чем написал. Помню, что писал, — это точно, но вот где?

И тут так.

А искал я сюжетец с грузинскими борцами, возвратившимися домой: с победой, естественно... Встречают такого в аэропорту, и первым делом к нему, какому-нибудь заслуженному-перезаслуженному, подходит личность, известная лишь в Тбилиси: таксист Леван или официант Котэ... Подходит и прямо тут же, на взлётной полосе, укладывает героя дня на лопатки: чтобы не возомнил, будто он — и в самом деле, лучший борец... вон таких сколько в Тбилиси! А по всей Грузии?!

Постоянно возвращаюсь мысленно к этому обычаю: очень нужный, очень справедливый обычай.

Из-за чего недавно о нём вспомнил: мы были на концерте „Русской удали“ — оркестра народных инструментов под управлением Анатолия Шипитько. На этот раз выступал с ним баянист Николай Горенко из Сочи... сразу скажу, что я сочувствовал невольню оставшимся в тени прекрасным Толиным баянистам. Но что делать?

Горенко не только — блестящий виртуоз и артист-характерник, не скрывающий себя под каким-нибудь традиционным концертным фраком... потрясающий работяга: как летали у него по пуговкам пальцы! И в самом деле — будто легко порхавшие птицы. Но понимаешь, сколько за этим труда и пота, в том числе и выступающего на красной рубахе на виду у зрителя... Как когда-то у Гарибальди? Чтобы не было видно крови. Как у каких-нибудь „ломающих“ пьяного гопачка тверских „драчунов“-танцоров.

Концерт посвящен был Геннадию Заволокину, и я опять услышал далекий — хотя он рядом, всегда в душе, — зов неоконченной работы о нем и о народном творчестве, которую озаглавил: „Казачи и пигмеи“.

Так вот, по этой четкой классификации Николай Горенко ещё какой казачура, как и сам Шипитько: недаром же, послушав его оркестр, которому пришлось подменить на фестивале в Анапе какой-то опоздавший на него именитый коллектив, и организаторы фестиваля, и жюри засыпали Анатолия вопросами — мол, кто таков, мол, откуда? Почему о нем не слышать?

А о ком слышать-то?

Вот тут-то и подходим к главному: да ежели бы после выступления какой-нибудь разрекламированной сверх меры звезды или такого же звездюка выходила бы какая-нибудь деревенская Фрося — на этот раз такой „Фросей“ была Анна Железовская, которую я уже слышал с ними в станице Гиагинской, дай Бог ей удачи! — эти деловары давно бы перемерли от стыда за себя... но стыда у них нет. Они давно бы уже „повыздыхали“, как в родной моей станице говаривали, от черной зависти.

Но не так ли нынче в искусстве вообще? Не то же ли самое — в литературе?

(Утром читал маленькую книжечку Николая Зиновьева, поэта из городишка Кореновска... Какой там Вознесенский?! Коля наступает на пятки своему кубанскому землячку Юрию Кузнецову:

Из всех блаженств мне ближе нищета.

Она со мной и в летний дождь, и в стужу.

Она тяжка. Но — тяжестью щита,

надежно защищающего душу.

Ну, кто из них мог бы так сказать? Им ведь сие неведомо, в том-то и штука, что они-то — всего лишь богатые дельцы!)

Хороший был в Майкопе концерт.

Дай, Господь, чтобы он пригодился мне, когда снова возьмусь за „Казачков и пигмеев“.

Пригодился вот!

Недаром считается, что всю жизнь, как бы мы это ни озаглавливали, постоянно пишем одну и ту же книгу.

Позволю себе заодно привести короткий отрывочек из рассказа „Два пирога в память о старшем друге“ из тех же „Газырей“:

...В зал Кремлевского Дворца вбежал как раз в тот момент, когда только погас свет, но сцена светилась ярко, было видать, что свободных мест много, в том числе и в самых первых рядах.

Когда неделю назад покупал билет, улыбнулся кассирше, примерно своей ровеснице: „Не могли бы дать мне местечко посредине в самом верхнем ряду?.. Дело в том, что на съезде комсомола в одна тысяча девятьсот шестьдесят „бородатом“ году там сидели наши сибиряки... молодость хочу вспомнить!“

Она понимающе рассмеялась: „Возьмите просто входной, все правильно. Будут места. Русская народная музыка — это вам не Пугачиха с Киркошкой... так на родной земле теперь живём!“

Быстренько прошел со своей верхотуры вниз, сел во втором ряду, чуть справа.

Наши, майкопские, были на очень высоком классе, вровень с самыми именитыми из тех, кого пригласил выступить вместе с собой руководитель Национального, так он теперь называется, академического оркестра народных инструментов России Николай Калинин — а уж он-то знает, кого

приглашать. И вот после „нашего“ номера, когда раздались первые хлопки, настал и мой час, опыт есть. Сложил ладони рупором, заорал:

— Майкоп — молодцы!.. Толя — bravo!

Следил, само собою, за Шипитько, но он в мою сторону не посмотрел, не подал вида, что слышал: только и того, что я об этом, как стреляный воробей, по чуть просветлевшему лицу его догадался.

Но как радостно он потом рассказывал об этом в Майкопе общим нашим товарищам! Как жал мне руку:

— Ну, молодец! А я и забыл, признаться, что ты обещал прийти. И тут вдруг — „bravo“ не где-нибудь, а в Москве, в Кремлевском дворце! Наши потом неделю ходили радостные...

У меня прямо-таки сжалось сердце: как мало надо для счастья, как говорится!

Которого эти-то — „Пугачиха“ с „Киркошкой“ да иже с ними — чуть не каждый день черпают такую бесстыдной мерой...

И всё я вспоминал потом и неполный зал, и бедноватую для Москвы публику, которая расходилась потом со счастливым светом на лицах.»

Незадолго до того дня, когда с «Русской удалью» должны были петь кабардинцы, снова позвонил Иван Тихонович:

— Не ругаете меня, что не только вас, но и ваших друзей втравил в это безнадёжное дело?.. Имейте в виду, что концерт перенесли. Почти на месяц. Может быть, всё-таки удастся продать билеты. А то ведь нечем будет и заплатить артистам... какие голоса, я как вспомню!

Опять я принялся звонить здешним своим дружкам:

— Из-за таких вот, как ты, горе-патриотов... что рвут на себе рубаху, когда кричат, что они — настоящие русаки, да ещё и с дворянскими корнями... Кричат, что «деньги — помёт дьявола». Но жалеют отдать сто пятьдесят-двести рублей за концерт своего же товарища по искусству...

Наиболее уязвленный из них тут же пообещал:

— Сейчас отнесу к ним в кассу шестьсот рублей... на два лучших билета, так? Чтобы вы с Иваном Тихоновичем обо мне плохо не думали. Пусть возьмёт, кто захочет. Кому вы скажете... А сам могу надолго отлучиться...

Это с подводной лодки-то?

Под названьем «Майкоп»...

Но вот, наконец-то — вот!

Мы в зале Адыгейской филармонии, и он потихоньку начинает наполняться... да неужто, и в самом деле? Неужто?!

Сидим с женой на самых дорогих, за триста рублей местах, и к нам откуда-то сверху спускается Иван Тихонович, половину «Военного городка» приведший на дешёвые места за свою подполковничью пенсию. Вид у него счастливый, но почему-то заодно и чуть виноватый.

— Милиция выручила, — говорит. — Выкупили все оставшиеся билеты и раздали сотрудникам, у них профессиональный праздник... будет публика, будет!

Рядом с нами садится пара средних лет, к которым то и дело спускаются сверху девочка лет десяти и мальчик чуть старше. Оба, видно, сидят несколькими рядами выше — родители раз за разом тут же отсылают их обратно.

Шипитько начинает с девятнадцатого века, с основоположника народных оркестров Василия Васильевича Андреева: «Светит месяц...» Казачье, как считается, солнышко.

Обычно так начинает, если предстоит русская классика... Невольно думаешь: с кабардинцами?

Но когда Мухадин Батыров высоким, с красивым тембром, «бархатным» баритоном заводит «Тройка мчится, тройка скачет», и уже в самом начале слышится неожиданная, будто бы давно забытая сила, в зале устанавливается счастливая тишина, которая обрывается потом взрывным всплеском аплодисментов и громкими криками «браво», к которым присоединяю своё вроде бы простецкое, но зато ведь — адресное: «Молодец, Мухадин!..» Как будто до этого уже десяток лет знал его... больше, больше! Потому что и предки мои любили эту песню, как иначе, если дядя мой был основателем «женского оркестра» в одном из колымских лагерей, в Ягодном, и знакомые летчики с риском вывезли его потом из Магадана: за «хороший голос» и «матрас денег», из которого он отобрал потом на материке «сколько захватит пятерня»... На дорогу до родной Кубани, до дома.

— Молодец, Мухадин, молодец!

Ай да кабардинцы, ай да — ну!

Объявляют Алия Ташло: «Вернись в Сорренто». Великолепный, богатой окраски, драматический тенор... И — началось!

Сменяют друг друга: Мухадин поёт «Только раз бывает в жизни счастье», «Ямщик, не гони лошадей», «Вдоль по Питерской», и вдруг — «Из-за острова на стрежень»... Когда её в последний раз слышал-то? Где?

А ведь было время, когда в небогатом застолье на нашей «ударной комсомольской» она считалась чуть ли не обязательной. Не по какой-либо официальной причине: просила душа. «И жила бы страна родная», и «Люблю тебя, жизнь!» — это как бы само собой. Но вот и Стенька, Разин Степан Тимофеевич, выходит, непременно напоминал о себе: не позабыли?!

Как же наша «Западно-Сибирская Сечь», наша вольница, могла его позабыть?!

Между этими старыми русскими песнями Алий выходил и с «Санта Лючией», и с давней итальянской песней ещё пятидесятих годов: «Скажите, девушки, подружке вашей...» Как его тоже принимали!

Объявили песню, совсем почти забытую: «Россия»!

Иван Тихонович перед началом успел шепнуть: песня, конечно, удивительная, но давно не исполняют, в ней, мол, — «сталинские мотивы»... дались нам! До этого Алий не пел её, это Анатолий Васильевич предложил ему: «Поверь: твоя песня!» Расписал для него ноты, чтобы тот разучивал в Нальчике — и вот, вот...

«Россия вольная, страна прекрасная...» мощно звучит удивительный голос Алия... какой голос!

Что же им там, действительно, в Нальчике — с такими голосами? Оперы нет, а далеко ли уйдёшь с русской песней, это хорошо, что сюда приехали... хорошо?

Если бы не милицейский праздник, опять бы небось концерт не состоялся!

— «Песня мухаджиров»! — вновь объявляет Алия Ташло ведущая.

— Мухаджир, это — путешественник, — деловым тоном объясняет достаточно громко жене наш

сосед.

И сколько тут же стремительно проносится в сознании!..

«Путешественник, — горько думаешь, — да! Избавил бы впредь нас Господь, и черкесов, и русских, от подобного рода путешествий... Изгнанник! Покинувший свою родину.»

Но кто этот-то человек, так свободно толкующий отдающее болью слово?

Как раз родная милиция, небось: точно-точно! Тут же недавно нового министра «внутренних дел» назначили. Откуда-то, кажется, из Восточной Сибири... вон как далеко! А за ним в наши места, нынче иначе не бывает, табором потянулись прежние его сослуживцы, которые в здешних делах пока — ни бум-бум. «Путешественник», видишь ли!

Но как выразительно, с какой безысходной болью Алий поёт! И как внимательно, с каким сочувствием его слушают!

В сознании лихорадочно проносятся недавние встречи в Нальчике: на свой семидесятилетний юбилей позвал один из самых знаменитых «путешественников»: потомок кабардинских мухаджиров Мухадин Кандур. Композитор, писатель, сценарист, снявший в «Голливуде» несколько фильмов о Северном Кавказе — родине предков. И — крупный бизнесмен. «Человек мира». Может быть, оттуда оно, из Иордании да Англии, — всё видней?.. У него, у единственного, как-то прочитал: мол, ещё неизвестно, правильно ли поступили те горячие головы из наших не столь давних адыгских предков, кто в 1861-ом году напрочь отверг предложения императора Александра II об условиях мира... Здесь это попробуй заявить! Хоть многие именно так и думают.

Тогда, в Нальчике, мне надо было сказать речь, и в голову пришёл стих, который во время банкета произнёс потом, стоя с рюмкой напротив стола, за которым рядом сидели виновник торжества с женой Любой Балаговой, только что издавшей в Штатах на русском поэму «Царская любовь» — об Иване Васильевиче Грозном и его кабардинской жене Марии Темрюковне — и Президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков:

Оставив дом, ты приобрёл весь мир.

Пусть это нынче станет поговоркой:

как превратил великий мухаджир

Нью-Йорк — в город кабардинских уорков!

Как первым заплодировал Каноков!

Алию Ташло аплодировали куда дальше: дошла боль? Хоть по-черкесски, как сам я, многие не понимают, но в голосе у Алия слышалось такое неизбывное горе, такое страдание...

Но стоп! — подумалось. — Стоп.

Тут странное, выходит, дело... Как бы некий исторический парадокс.

Исход черкесов случился в позапрошлом веке не только из-за того, что русская армия была вооружена так ими с тех пор ненавидимыми пушками... Разве это начисто исключало русское бесстрашие и русскую доблесть?

Но вот они слиты воедино: звучание оркестра «Русская удаль» и «Песня мухаджира» — скорбный плач черкесского изгнанника...

Они-то сами об этом думали? И дирижёр Анатолий Шипитько... И оба кабардинских певца?..

Интересненькое, думал я, дельце: вот как оно у нас тут всё, на Кавказе, переплелось! Так неразрывно одно в другоеросло... Может, и действительно, — могло бы и раньше?

И многих трагедий в последующей нашей общей истории, уверен, не случилось бы...

И снова вдруг: постой-ка, постой!

Так они ведь теперь все вместе, считай, мухаджиры! Вот в чем дело: и те, и другие. Эти двое кабардинцев с великолепными своими, удивительными голосами и консерваторскою школой как бы не особенно нужны в Нальчике... А кому со своим оркестром нужен Шипитько тут, в Майкопе?

Перед этим ведь кого только не уговаривал: давай сходим, ну, — давай! Неужели Толе не сочувствуешь, неужели тебе за такое положение дел на родине-то не стыдно?.. Он ведь сам иногда вздохнёт: это хорошо ещё, что к ансамблю и ко мне самому Заур Хот, директор филармонии, и с пониманием, и с явной симпатией относится!.. По сути не приносим ему дохода, но он всё подбадривает: будем надеяться, Анатолий, будем надеяться! А на что, скажи мне, надеяться, — на что?!

Очень деликатно, боясь наступить «на больную мозоль», взялся однажды расспрашивать Анатолия Васильевича: мол, каким видишь будущее своего оркестра?.. Понимаю, что страдаешь из-за малого числа слушателей, очень тебе сочувствую, но разве нынче только ты в таком положении!

— Вы меня видите на сцене перед оркестром, — стал он печально размышлять. — Видите годами и всё замечаете: как Шипитько поправился... проще говоря: постарел. А о чем, как ты считаешь, думаю я, когда гляжу в зал?.. Когда за весь оркестр раскланиваюсь или поднимаю кого-то отдельно, чтобы зал обратил внимание и особенно тепло поблагодарил. Я ведь с печалью думаю: как все зрители, все мои слушатели на глазах становятся всё старше и старше. Одни и те же люди. Наши горячие приверженцы... Постоянно одни и те же лица! Когда-то, первый раз в зале, видел их ещё молодыми и радовался, что новенькие пришли... Но годы летят, а новеньких теперь, знаешь, почти не появляется... редко-редко! Внучку или внучка приведет бабушка, он с ней рядом повертится... сам не слушает, ей мешает. Глядишь, в следующий раз приходит снова одна... а в общем-то это трагедия нашей русской культуры: ты-то меня понимаешь!

Ещё бы не понимать.

Помните эту старинную сказку, как опытный крысолов избавил средневековый город от нашествия этих всеядных тварей?

Заиграл на своей флейте особый мотив и через городские ворота пошел через деревянный мостик за реку, а все крысы — за ним. Мостик разобрали, и досаждавшие горожанам твари остались на другом берегу.

Крысолов вернулся за деньгами, но городские власти обманули его: решили не платить.

И обиженный крысолов снова достал свою флейту и снова заиграл.

И увел из города всех, до единого, мальчиков и девочек. Всех детей...

Не то же ли нынче происходит в России? С той, правда, разницей, что крысы так и остались в городе, и где-нибудь в подземном переходе в Москве или на улице между киосками буквально шныряют под ногами.

А детей наших и внуков чужие крысоловы смогли увести. Если не всех, то — многих и многих.

Это благодаря им, телевизионным крысоловам, наше «племя младое, незнакомое» почти отвыкло от национальной культуры. И если в горской Республике или в каком-нибудь не столь многочисленном народе это пока считается предосудительным, и «суверенизация», которой все мы успели чуть не до отрыжки наглотаться, хоть тут своё доброе дело сделала — снова привязала к давней традиции, то с русскими всё наоборот. Под разговоры о толерантности чужая псевдо-культура с треском отрывает молодёжь от народных корней, а с теми, кто этому сопротивляется, невообразимое дотоле количество явных агентов влияния поступает по стародавнему принципу «вологодского конвоя», который «шуток не имеет»: «шаг вправо — агитация, шаг влево — провокация, прыжок на месте считается за побег». Так и здесь: не «хочешь стать Максимом Галкиным» — тут же зачислят в скинхеды. Или в националисты. В экстремисты. В ксенофобы. Или ещё куда-нибудь, о чем бедный парень — в прямом смысле бедный, прежде всего — в прямом! — до этого не имел представления...

Как тут снова не вспомнить Лесковское, из «Очарованного странника»: «И даны мне были слёзы дивно обильные. Всё я о родине плакал».

На которой, и в самом деле, произошла преступная подмена ценностей: на Лолиту, хотя билеты стоят куда дороже, в Майкопе будут ломиться. На Азизу — тоже. Побегут и на концерт Винокура с явно издевательским названием «Смех без причины...». Или «поколение пепси» уже и не знает, что вслед за этим следует: «...признак дурачины»?

Но виноваты мы — допустившие это старшие.

Ведь мы их по сути предали.

И, к несчастью, они это поняли куда раньше нас...

**СОБЕРИСЬ, РОДИНА!**

Успел уже Шевченко сообщить номер вагона, в котором должен приехать, а тут вдруг поздней ночью — звонок:

— Хорошо, что застал тебя! Это значит, что придёшь обязательно. Завтра в девять будь у входа во дворец спорта в Лужниках. Пропуск твой у меня...

— Постой-постой, — начинаю ещё в полусне. — Дело в том, что...

— Не могу «постоять»! — тут же весело подхватывает неожиданный собеседник. — Я тебе из автобуса: мы едем. Только что с ребятами Воронеж проехали...

И до меня доходит, наконец:

— Арамбий?

— А кто же? — продолжает он там пошучивать. — Конечно, бесленеевский зять!

Ну, тут, наверное, сразу надо кое-что объяснить.

Дело в том, что на своём горячо любимом Запсибе я ведь женился на майкопчанке. Снова

приходится говорить: надо было кубанскому казаку так далеко от малой родины уезжать, чтобы встретить красавицу, разумеется, из соседнего, считай, со станицей аула!

Почему так говорю — да потому что почти тут же ко мне пристало аульское: «майкопский зять».

Зять у адыгов — лицо, мягко скажем, мало почитаемое, а зять, который живёт у тещи — вообще своего рода нравственный «беспредельщик». Об этом уже приходилось писать: как всякий раз по приезде из столицы хмурой в наше время России в столицу «солнечной Адыгеи», иначе этот рай земной в средствах массовой информации не зовут, я, как нарочно, чуть ли в первый день встречал Арамбия Хапая, трехкратного чемпиона мира по самбо, и этот отчаянный ревнитель горского этикета вместе с понятной радостью от встречи со старым товарищем тут же выражал ну, прямо-таки превеликую скорбь:

— И ты-ы? — начинал он вростяжку. — Опя-ять?!

— У неё, — отвечал я понятно. — У тёщи. А что прикажешь? Не переезжать же мне к тебе в кунацкую вместе с женой, с чемоданами, с пишущей машинкой... Да внук ещё собирался приехать.

И он толковал это на свой лад:

— Думаешь, у меня не хватит места?

У самого у него жена родом из Бесленея, кратчайший путь из Майкопа в этот аул лежит через Отрадную, и Арамбий не раз и не два звонил мне из родных моих мест.

— Это бесленеевский зять, — поддевал для начала. — Ты не скажешь, когда земляки твои сделают нормальную дорогу? По хуторам ну, невозможно проехать! Мне самому сейчас найти тут главу администрации и спросить? Или, помнишь, — собирались вместе с тобой?

Это — по короткой программе, как говорится. Если — по расширенной, то непременно скажет:

— А какие хатёнки!.. На бабушек стыдно смотреть, как одеты-обуты. Для того вы у нас отбирали землю, чтобы люди здесь так бедно жили?

На заднем стекле у Арамбия цветными красками нарисована карта знакомых тут всякому северокавказских мест, и по ней идёт крупная надпись: «ЗЕМЛЯ АДЫГОВ».

У многих это вызывает протест, а сам я отношусь к этому не только с пониманием, но как бы и с некоторой долей благодарности: молодец-молодец! Предупреждает нас, русаков: смотрите, ребята, в оба, а то потом будет на ваших «шестисотых»: «РУССКАЯ ЗЕМЛЯ».

Но моё положение «майкопского зятя» волновало Хапая ничуть, кажется, не меньше чем заботы его малой родины.

Позвонил мне однажды тоже глубокой ночью и радостно сообщил:

— Сказать, что я придумал? Я теперь общим нашим товарищам говорю: слышали новость?.. Гарий у тёщи выкупил дом, и теперь не он у неё живёт — она у него!

— Здорово придумал, спасибо! — сказал я. — Но, знаешь, что?.. Давай самой ей не будем пока об этом говорить!

Но руку пожимать стали мне в Майкопе, представьте себе, куда уважительней.

Как тут не отозваться на приглашение этого полуночника, который вместе с командой борцов из Адыгеи и самыми преданными болельщиками катит на своём «фирменном» автобусе в белокаменную?



— Ты хоть растолкуй, я-то тебе зачем? — пытаюсь отстоять свою завтрашнюю поездку в Оскол.

Но он там значительно предупреждает:

— Не мне!.. Президенту!

— Тхакушинову, что ли?

И в голосе у него тут же слышится небрежный смешок:

— Да ну!.. Разве нашего «Иванова» самбо интересует? Выше бери: нужен Путину. Завтра — кубок Президента по самбо. А кто за нас в вашем ауле болеть будет, если не ты?

Так вот, «майкопский зять»: дело серьёзное. Писал об «адыгейской школе» самбо? Ещё три десятка лет назад. Обещал снова написать? Было дело.

Соответствуй!

Шутки шутками, но когда приезжал Путин в Адыгею, то сфотографировался уже не с Якубом Коблевым, только что получившим громкий титул «Тренер 20-го столетия» — снялся с его учеником Хапаем, нынешним главным тренером команды адыгейских самбистов. А кто в неё входит, кто? Капитан сборной России прежде всего: одиннадцатикратный чемпион мира по самбо в тяжелом весе Мурат Хасанов.

И вот на снимке — два на весь мир известных борца: Владимир Владимирович, значит, при галстуке. И Арамбий Аскерович с наградами от подбородка и до пупа.

Сладкая парочка.

Прежде всего рано утречком я сдал на своём Савеловском вокзале билет на вечер и взял другой, тут же позвонил Шевченко, выслушал его ворчание и, чтобы хоть чуть задобрить, первым сказал то, что почти непременно надо было ждать в конце разговора от него:

— Ну, не служил я в армии, не служил!

— В том-то и дело, — сказал он там. — И если бы — один ты!

Семь лет в танковых войсках, что там ни говори, — не фунт изюма. Тем более в одной из лучших гвардейских частей, стоявших тогда «при полном боевом» на границе с «загнивающим Западом». Посмеиваюсь, но разве не на этом танковом топливе десятилетиями шел потом мой друг по непростым колеям и колдобинам нашей жизни?

Когда пошли эти бесконечные дискуссии о гражданском долге и о профессиональной армии, я всё думал: спросили бы вы у Коли Шевченко. Спросили бы у Жени Подчасова. У Славы Поздеева, светлая ему память. У сотен и тысяч других парней, тут же становившихся потом крепким, как броня на их боевых машинах, костяком любого людского скопища: будь то сибирская стройка, рудник в Караганде или завод в южнорусском Новочеркасске...

Или потому-то и нужна теперь совсем другая армия, что с капиталистами договоримся всегда, сами теперь с усами, а вот как — с собственным народом? О долготерпении которого по миру ходят легенды.

Как подумаешь об этом обо всём!..

Или лучше не думать?

Включить телевизор и поглядеть: как там нынче наши подуставшие любовники Алла, Филя и их приёмный сынок Максим?

Это ведь не что-нибудь — прямо-таки общенародный, с утра и до поздней ночи, хронометраж как по графику расписанных отношений этого тазобедренного «треугольника». Чем тебе не объединившая, наконец-то, всех национальная идея?..

Ведь Алла, только представьте себе, уже на третьем, после Премьер-министра да Президента, месте по популярности во всероссийском рейтинге. Ну, сколько там — до второго?.. А там, глядишь... ой, что будет, что будет?!

Так и хочется повторить то, что ещё не окончательно стерлось в памяти поколений: «Братья и сестры!.. Вероломный враг напал на нашу многострадальную землю. Идёт жестокая, какой ещё не бывало в мире, духовная война. Неужели мы окончательно решили сдаться на милость победителя: сделаться быдлом?!»

Разве не так?

Когда-то Пугачёв будоражил национальное воображение России... Не по иронии ли судьбы теперь — «Пугачиха»?

...А в зале Дворца спорта неистребимо пахло потом тяжёлой мужской работы. Незримо поднимался над борцовскими, на которых одновременно шли схватки, разноцветными коврами и под гулкий высокий купол уносил на себе и заталкивал по углам и глухой стук падающих тел, и скупые, но резкие выкрики тренеров, и меняющийся, словно морской прибой, всплеск эмоций болельщиков на трибунах...

Или я всё это придумал?

Когда-то давно написал рассказа «Хоккей в сибирском городе» и после, как «большого спеца», что об этом скажешь иначе, меня включили в состав группы тренеров и судей, поехавших на чемпионат мира в ФРГ, но я и тогда не разбирался в правилах игры, и до сих пор их не знаю... То же самое — с дзю-до и самбо: только о чём-нибудь профессионально спроси, и тут же сяду в калошу.

Дело, вероятней всего, в иных правилах, которых нам так всегда не хватало в непростой нашей жизни... Сделал ли всё, что мог? До конца остался бойцом или растекся, в конце концов, как желе. По-мужски, по-рыцарски поступил или — по-хамски?

Состояние духа всегда испытывал любопытнейшее: глаза видели что только возможно им видеть, время от времени возвращали к реальности, чтобы радостно вскрикнуть или тяжело вздохнуть, а сам дух куда только в эти минуты не отлучался, в каких только запредельных далях не успевал побывать.

Чувство одиночества среди ревушей толпы: не его ли они там так бесстрашно, так мучительно преодолевают?.. Вспышка общей воли, которая вдруг объединит всех и каждого и вместе сделает несокрушимыми, — может быть, и тебя она когда-то поднимет, ещё не успевшего связать концы и начала, но на уровне подсознания вдруг ощутившего себя неотделимой частью народного целого?

И тебе только это и остаётся: то, что тут происходит проецировать и на себя, и на соотечественников твоих, и — на весь мир.

Арамбий разрывался между своими подопечными и старыми, из теперешних ветеранов, коллегами: тут собрался, конечно же, цвет... Пусть попривыдший, с лицами, давно изрезанными морщинами, с осанкой, оставляющей желать лучшего, а кто не то что с брюшком — с громадным брюхом или другими издержками чрезмерно сурового в прошлом режима, но было в их глазах, было нечто объединяющее — не поприхнувший, но как бы специально сберегаемый для особых случаев свет, тут же готовый в любую минуту вспыхнуть, чтобы отсемафорить непререкаемо и категорично: такой же, как прежде, да! Не сдался и сдаваться не собираюсь.

Лишь где-то в глубине зрачков, отражающей не внешнее, но самое в душе сокровенное, пряталось уже застарелое страдание, невольно отвечавшее на «болячку» — болевой приём, который так или иначе ко всякому применяет судьба на склоне лет...

Конечно же, я пытался узнать хоть кого-то из старых знакомых и теребил Арамбия:

— А этот вот, кто помахал тебе и ты вскинул руку?

Всякий раз он называл имя или фамилию, но иногда только бывшую весовую категорию — а, это, мол, «полутяж», это — «полусредний»! — но даже и это казалось мне чрезвычайно важным на этом празднике... может, всё-таки — на чужом?

Вон как они обнимают друг дружку, как один к другому идут, ни на кого вокруг не обращая внимания, как издали тянут руки...

— Можно, мы с тобой потихоньку обойдём краешком? — попросил Арамбия.

Пошли, и я тут же неловко почувствовал себя: и один окликает Хапая, и другой, а третий спускается с фотоаппаратом: сняться на память. Ну, будто я к чужой славе примазался.

Но тут вдруг повезло и мне:

— Вот этот в спортивном костюме, с костылём — вроде лицо знакомое?

— Малёнкин, — сказал Арамбий. — Когда-то к нам в Майкоп приезжал...

— Слу-ушай! — протянул я. — Давай-ка подойдём.

— Это писатель, — сказал Малёнкину Арамбий. — Болельщик наш...

И я заторопился:

— Помните, начало семидесятых в Майкопе?.. Новосибирец Валя Глухов, Эдик Агафонов из Красноярска...

— Нету Эдика, — сказал Малёнкин. — Давно уже. Но они там проводят чемпионат его имени... Настоящий был боец.

— Во-от! А я тогда только что переехал в Майкоп, никак не мог прижиться, до того было несладко...

— Наши чуть было на лопатки его не бросили! — профессионально обрисовал Хапай тогдашние мои беды.

— Да, так и было, считай!.. А кто мне тогда дух поддерживал? Сибиряки, что приезжали... уж я тогда за вас за всех попереживал, покричал, порадовался! Один!.. На весь зал. А после повесть написал: «Скрытая работа». Мне потом за неё дали премию и кино по ней сняли. И главного героя там — будь здоров паренёк! — я назвал Эдик Агафонов, а главную героиню... уж вы простите меня за это, но сибирячка настоящая, такой характер, что любому мужику нос утрёт, так вот, знаете как её назвал? Любка Малёнкина!.. В честь вас.

— Дочка твоя! — подначил Арамбий.

Но у Малёнкина повлажнели глаза:

— Спасибо за память!

— Это вам спасибо: вы мне помогли! Выстоять в чужом тогда городе.

В этом месте меня можно спросить: а почему ты, дядька-писатель, не обрисуешь тут внешность этого твоего Малёнкина?.. Или лучше не надо, потому что ему, как и тебе, тоже в ближайший понедельник — сто лет? Да ещё с костылём: только что, говорит, из больницы...

Ну, конечно же!

Но оба мы с Малёнкиным были в те минуты как мальчишки.

Да только ли мы?

Когда встретились ещё перед входом во Дворец, к группе адыгейских борцов подошёл обняться высокий, с худощавым лицом, уже достаточно пожилой, но явно спортивного вида человек: весь его облик свидетельствовал о скрытой силе и гибкости.

— Скажи-ка, Арамбий, — начал я еле слышно, и он, не дожидаясь, согласно кивнул:

— Рудман, правильно!

И мы тоже обнялись, я сказал:

— Помню вас перед Тегераном в Майкопе: папа Шульц, Ципурский ходили уже в гигантах, а Рудман был как бы уже и с ними, но с ковра ещё не ушел, ещё боролся...

— Спасибо, что помните! — сказал он растроганно.

— Где вы сейчас, Давид?

— В Штатах живу. Тренирую ребят.

— Но Россию, но Россию...

И он опередил меня:

— Разве бы иначе я прилетел?

...В перерыве, чуть не единственный, остался сидеть в опустевшем зале: некая моя особенность, что ли. Может быть, — тот самый «прибабах», который есть чуть не у каждого из нас. Но всё кажется: теперь, когда ты один, тебе больше достаётся не всем предназначенных картин, звуков, шорохов, разговоров.

Пошла репетиция торжественного закрытия, движение колонн, где каждый ещё в своём, кто в чем пришел, перегруппировка на ходу, команды в микрофон, а то и не совсем корректные комментарии, а зал с двух концов, снизу вверх и по кругу, деловито обходили проводники в цивильном с собаками на поводках: значит, должен быть всё-таки Президент. Ожидают.

Достал записную книжку, чтобы по свежим следам подправить ставший совсем никудышним почерк, и выпала газетная вырезка, которую недавно прислал из Новокузнецка Толя Низюк, мастер спорта международного класса, начинавший когда-то тренировать кубанских самбистов. Приготовленная уже для Старого Оскола, утром попала на глаза и прихватил для Арамбия. Беседа бывшего «красного директора» Запсиба Бориса Кустова: «Мир состоит не только из бессовестных и продажных людей». В электричке отчеркнул для Хапая крошечный ребус: «Звонит мне как-то начальник производственного отдела Морозов: „Борис Александрович, можешь к нам зайти? Гарантирую, ты такого ещё не видел“. Захожу, вижу сидит такой невзрачный парень. „Вот сталь ноль просит и чтоб подешевле“ — говорит Морозов. „А в чём проблема? — не могу понять. — Такой металл у нас есть, пусть платит деньги и забирает“. „Деньги у него есть, — почему-то смеётся

Морозов и, обращаясь к парню, — покажи." Тот задирает одну штанину, другую — мать честна: к ногам привязаны пачки купюр... Продали мы ему вагон металла. И другим таким, кто честно зарабатывал — мы по документам проверяли — продавали. И нам это было выгодно, и им заработать давали.

— А те, кого вы от комбината отвадили, неужели всё это стерпели?

— Они хотели меня убить. И если бы меня не взяли под защиту авторитетные люди — скажу только, что это бывшие чемпионы мира по борьбе, можно не сомневаться, что убили бы.»

Хотел тут Арамбию сказать: вопрос, мол, на засыпуху. Кому я должен в Кузне руку пожать?

Эти-то всё друг о друге знают: по всей России. Сам же Кустов не скажет. О чём с ним только не говорили в бытность мою этим самым «инженером лаборатории социологии», но как-то после очередного моего косившего под наив «почему?» он помолчал-помолчал и объявил: «Знаешь что, дружок? Давай-ка введём в наших с тобой душеспасительных беседах старую систему табу. Ты спрашиваешь о чём-то, а я: „Табу!“ Нельзя. И — проехали. В целях твоего же доброго здравия. Ты ведь тут у нас как жук-плавунец. Скользишь по поверхности, обо всех пишешь, и все у тебя хорошие, а главное — город, город! И все тебя любят: чуть ли не носят на руках. А заглянешь поглубже — тут же башку и оторвут.»

Когда же это всё кончится, Господи?!

Взрослые давно мудрее и опытней. Но сколько так и не повзрослевших мальчишек, которых никто не только не предостережёт, наоборот — подтолкнул к темным глубинам, так потом из них и не вынырнули. Сколько доверчивых, с чемпионскими задатками, детей твоих погибли в подстроенных алчными мужами разборках!

И вот вложил дома вырезку в записную книжку, но спросить пока Арамбия забыл, да ему, признаться, не до того: Мурат не в лучшей форме, потянул спину.

— Пойдём, и ты подбодришь, — позвал меня перед этим.

Подошли, и, пока разговаривали, этот гигант с лицом добродушного великана всё как бы невольно выпрямлялся и с бока на бок покачивался.

— Может, всё-таки лучше посидел бы? — спросил его. — Лучше давай я рядом сяду...

— Правильно, а я постою, — распорядился Хапай.

И только мы сели, тут же сзади положил руки на богатырские плечи этого адыгского нарта, привычно стал разминать.

...Открыл свою «записную», надел очки: «Как пункт назначения: Дэли!.. Дэли!»

Я тогда, и правда, сперва не понял: что за крик у ковра? Будто объявляют авиарейс в столицу Индии или посадку на пароход: туда же. «Дэли!» — опять повелительный крик. И тут вдруг сообразил! Тренер сборной Грузии кричит своему подопечному: «Делай!.. Делай!»

И смех, и грех.

Говорят, что мир знает всего только три истинно русских слова: самовар; спутник; калашников. Некоторые шутники к ним добавляют ещё и водку — как без неё, проклятой?

Но это было до того: до Тегерана, где в самом начале семидесятых прошел первый чемпионат мира по самбо. С тех пор этот родившийся в России вид спорта всё набирает и набирает очки. На транспаранте, который висит над сценой, где только что сидели организаторы чемпионата и главные

судьи, крупно написано: «Самбо — национальное достояние России.» И это, и действительно, так.

Может быть, потому-то и тренер из Грузии кричит именно это, давно устоявшееся в России: «Делай!»

А сколько ещё этих взбадривающих дух наставительных окриков: «Встань!» «Соберись!» «Работай!» Вошли бы они в нашу нынешнюю жизнь хотя бы также, как в мою собственную. Взгрустнулось что-то в Москве, малость занездоровилось и не успел сделать работу во-время: написать предисловие к сборнику рассказов северокавказских писателей. Слегка по телефону поныл, пожаловался жене, а она вдруг: «Соберись, отец!»

И тут уже, и в семейной жизни — влияние известной теперь во всём мире майкопской школы. Только и не хватало, чтобы она ещё посоветовала чисто тренерское: «своей борьбой!»

О, этот чёткое наставление: вспомни!.. И воспользуйся твоим коронным приёмом. Лучше многих иных изученным тобой. Лучше остальных тебе удающимся. Счастливым для тебя приёмом, который не однажды уже приносил победу!

Не то ли самое в жизни?

Тем более теперь — в нашей, когда честные правила борьбы столь многими позабыты. Но это не тот случай, когда можно присоединиться к неумолимо возрастающему большинству. Тебе — нельзя. Потому что ты — мастер. И хоть кимоно твоё пропитано такими земными запахами, мастерство дано тебе свыше. И за подлость, настанет миг, будет отобрано.

Недаром ведь говорится, что Господь долго терпит, да потом — больно бьёт.

Также, как и — народ?

Может быть, потому-то и любим спорт, что рождает в нас чувства и мысли, от физкультуры на первый взгляд очень далёкие?

...Закончился перерыв, зал стал стремительно заполняться, на ковры вышли рефери в своих особенных разноцветных блузах: левый рукав синий, правый красный, спина и грудь белые — цвета России. Поглядывали на длинный столик на сцене, за которым опять расположились устроители: не появится ли, наконец, высокий покровитель нынешних самбистов — сам Президент.

Пошли финальные схватки, и наш Мурат додавливал крупного, почти такого же, как он сам, болгарина, а к ним, стремительно сняв камеру со штатива уже подползал по ковру фотокорреспондент, умоляюще кричал: «Ну, поддержи его, Мурат, поддержи!»

У каждого своя работа, свой хлеб.

Прошли показательные выступления «старичков»: самбистов-ветеранов, которые, словно передавая эстафету, учили мальчишек мастерству. Сразу узнал несгибаемого чеченца Асламбека Аслаханова в белом кимоно и голубых спортивных трусах, невольно подумал: а что, мог бы потрянуть стариной и наш экс-президент Аслан Джаримов, бывший самбист... Или «бывших самбистов», как и «бывших разведчиков» не бывает?

Потом, чтобы получить запоздалые награды и запоздалую признательность новой власти, на ковер выходили именитые борцы, спортивная слава России, на которых навсегда останется отблеск славы великого Советского Союза... И на ком только ещё этот отблеск не останется!

Жаль, сама страна никак не решится объявить себя правопреемницей всей прошлой славы, но что делать! Так устроена русская история, тем более, что незваных доброхотов этого, начиная со школьных учебников, «устроительства» истории нынче — как ещё никогда.

Последним в славной пляеде объявили героя уже сегодняшнего, чемпиона мира по боям без правил, но позднее время уже настолько поджимало меня, что поглядывал на него чуть не через плечо, уже от выхода... но что делать! Такова столичная жизнь: суета сует и всяческая суета.

На самом деле — работа с утра до вечера. Во всяком случае, у меня.

Прав оказался Арамбий.

Вручил нам с Николаем Демчуком, тоже пришедшим в главном «ауле» России поболеть за своих, фирменные футболки с крупным цветным лэйблом на груди «Кубок Президента по самбо» и полушутливо сказал:

— Говорил, он вас ждёт?.. Вдруг задержится или вообще не сможет прийти — пусть это будет на память!

Путин так и не появился.

Если у каждого из нас — «своя борьба», то у него она, и точно, — особенная.

Тем более случай тут уникальный: и болельщики, и судьи — в одном лице...

В кабинет своего друга вошел я в сопровождении встречавшего меня на вокзале Виктора Вербкина и с порога дурашливо, как иной раз позволяю себе, ну, прямо-таки заорал:

— Ну, винова-ат! Ну, не служил я в армии, не служил!

Но мэра это не проняло:

— Ты почему задержался?

И я зашел с другой стороны:

— Ты понимаешь, какое дело: был «Кубок Президента по самбо»... Коля! Как будто на нашем Запсибе побывал. В старые времена. Такое братство... недаром и среди устроителей — «Боевое братство», бывшие афганцы, ребята из других горячих точек. Ясно, что постарели, в зале по углам инвалидные коляски: и там, и там. Но такой блеск в глазах. Обнимаются...

Мэр явно не разделял моих эмоций. Суховато спросил:

— Как попал туда?

— Да как? У меня есть друг-черкес. Бывший чемпион мира... трижды. Известный тренер теперь. Пригласил: ну, как не пойти?

Он слабо так улыбнулся:

— Ты на своих черкесах заиклился!

— Да? — интонация у меня сделалась такая, с какой говорили в детстве: мол, нетушки-нетушки! — Скоро мы посмотрим, чьи они на самом деле черкесы: мои или твои?

— Что-то новенькое, — сказал мэр.

Может быть, может быть.

Но на Кавказе теперь — столько новенького!

Взялся ему рассказывать: есть, мол, в Майкопе одна обаятельная дама, историк и журналист Мулиат Емиж. Достаточно поехала по арабским странам, и не только по ним: черкесская диаспора в мире после русской — вторая по численности. Одно из последних увлечений её: Египет, мамлюки, черкесские султаны. Но не только это: человек она и разносторонний, и — масштабный. Так вот, есть у неё такая теория: украинская фамилия Шевченко произошла от адыгской Шеуджен. Основа фамилии — шоген, это христианский священник. «Ко» по-черкески: сын. Ну, сын такого-то, значит. В нашем случае — сын шогена...

— Попа? — переспросил мэр.

— Ну, там ведь, среди Шеудженов, тоже народ был разный. Тебе-то, понимаю, больше подошло бы родство с революционером Мосом Шовгеновым, — продолжал просвещать его. — Или был такой знаменитый в своё время участник гражданской войны — Шеуджен, я ещё застал его в Майкопе, пришлось и разговаривать, и рукопись прочитать: помахал дед шашечкой в буденовских частях, помахал.

— А я-то причём? — посмеивался мэр.

— Ничего себе: причём он!.. А хутор? Он-то небось и подогревает научный интерес Мулиат. Едет в Краснодар, название увидела, — и давай опять: Шевченко-Шеудженко. А если бы она ещё на тебя посмотрела? Ты же ведь по облику, и правда, черкес — больше, чем многие из настоящих...

Мэр кивнул в мою сторону, сказал Вербкину:

— Это он просто подбирает себе компанию...

— Хорошая компания, — поддержал Вербкин.

Ну, как бы им всё это объяснить? Верней, мэру. Потому что Вербкин через это уже прошел: был корреспондентом ТАСС в Киргизии, хорошо знал Чингиза Айтматова, не раз о нём писал... Или это всё-таки разные вещи, как говорится?.. Средняя Азия и Кавказ.

Тут у кого только крыша не поехала. Но основания для этого как бы есть, вот в чём штука. Отчего вершина Эльбруса двуглава?.. Да оттого, что Ноев ковчег, прежде чем остановиться на склоне Арарата, распахал Эльбрус — Ошхомахо. Это миф. Но то, что Кавказ хранит остатки самых различных цивилизаций — правда, в которой даже из самых серьёзных учёных мало кто сомневается. В моей библиотеке в Москве ну, прямо-таки на почётном месте стоит книжка Володи Болова, «кабардинца московского разлива», как сам о себе он говорит, «Кавказская Атлантида Платона». Но он ведь не такой большой юморист, более того, его даже можно и в некоторой доле мрачности обвинить: по вопросам геополитики консультирует Зюганова. Чеченцы дотошно разрабатывают теорию о том, что родина их — колыбель античного мира. Карачаевцы... Но, впрочем, чего мне по всему Северному Кавказу, занятому одним и тем же, наскрести недоброжелателей? Не лучше ли обратиться к нашему полушутливому разговору с со старым дружкой — адыгейским археологом Нурбием Ловпаче: «Что делать! — посмеивается. — Что делать: не мы первые начали, не черкесы. Но то, что каждый из двенадцати адыгских этносов тоже скоро готов будет доказывать, что Адам разговаривал, скажем, по-бжедугски или по-абадзехски, это — точно. Президент Хазрет Совмен был шапсуг, а так как его знали золотишники всего мира, то наши стали было склоняться к тому, что Адам говорил по-шапсугски... жаль, рано от нас уехал Хазрет: не успели это в научных трудах закрепить — слишком рано!»

Есть, конечно же, в этом деле печальная сторона, но есть и другая, радостная.

Не поиск ли это всеобщего родства? Или — пусть в грубоватой, категорической форме — предложение родства. Которое нет-нет, да и оборачивается открытиями... пусть невеликими, конечно, но всё-таки, всё-таки.



Когда стали в Майкопе «копать» под Шевченко, я только посмеивался: черкесские султаны Египта — это само собой, это ваше, но мэра Старого Оскола не отдадим, нет!

А тут мягенько так, как могут только черкешенки:

— А кто у него жена?

— О! — говорю. — Жена у него писаная красавица. Даже ещё и нынче, в свои семьдесят. А видели бы её в молодые годы!

— А её бывшая фамилия? — спрашивают сторонники Мулиат. — Откуда она родом.

— В Абхазии они встретились, там она жила. А фамилия девичья — Кудзинова...

— Так это же известный кабардинский род, что вы хотите!

И вот шутки шутками, но, хорошо зная Людмилу Александровну, я вполне серьёзно начал подумывать о её адыгском происхождении. И высокий рост, и красота лица да изящество — это ладно, а вот характер, характер! И настоящая домоправительница, которая за всю жизнь ни разу небось без снежнобелой рубахи за порог Колю не выпустила, и хлебосольная хозяйка, мастерица готовить, и — всю жизнь она то директор техникума, то... И всю жизнь, считай, генеральный подрядчик над этим «субчиком» — моим другом-монтажником...

Нет-нет, чтобы не говорили, а есть что-то в этих модных нынче поисках родословия, что-то — есть.

Сказать, думал, Коле — не сказать?

Что мысленно я уже твёрдо определил его Людмилу Александровну в кабардинские княжны?

Но он будто опередил меня:

— Ерунда это всё! Чем ты занимаешься, слушай? Какой-то черкес привёл его на «Кубок Президента»... у тебя что, других друзей нету?.. Оттуда только вернулся наш Федя Емельяненко, уже двукратный чемпион мира по боям без правил...

И я замямлил:

— Погоди-ка, погодика...

— Чего годить?

— Да там потом в конце все они выходили на публику... может, он и был самый последний, а я уже торопился...

— Как всегда: слона он не заметил.

— Так он ваш, Емельяненко?

— А то чей же. Тут вырос, тут чемпионом стал... давно у нас не был: тебе неинтересно! А вот Владимиру Владимировичу Путину — интересно! — мэр взялся дожимать меня, как Мурат Хасанов — болгарина. — Недавно в Санкт-Петербурге были показательные бои с американцами, на которых он лично присутствовал. И Федя их сделал всех как мальчишек, а после сказал: били американцев и будем бить. Говорят, Владимир Владимирович первый заплодировал. А потом тут же пригласил Федю на чай, и о чём там они целый час один-на один, можно только догадываться...

— И он сейчас здесь, Емельяненко? В городе?

— Редкий случай, но здесь. То сборы где-нибудь, то бои. Скоро должен опять...

А я уже, конечно, как старый боевой конь — копытом:

— Так, может быть... как-то...

— Возьми его за ручку, Виктор Алексеич, и отведи, — распорядился мэр.

— Наверно, в Дубраве тренируется?

— Ну, это вы разберётесь... бери за ручку, бери. Чем больше смотрю на этих москвичей...

Неужели такой ворчун стал?

Но на душе у меня, когда через несколько минут уже неслись на базу отдыха «Дубрава» за городом, играла музыка...

Неужели Емельяненко, думал, и в самом деле будет ещё на тренировке?

Вот везуха была бы! Вот — пруха!

Но этот, про себя посмеивался, мэр-то, мэр? Не Мэр, а — парень-удача, и правда что. О чем с ним не заговори, о чём не вспомни, и всё это — тут, всё — у него. В Старом Околе.

— В спортзале, говорят, полно автомобильных шин, — рассказывал по дороге Вербкин. — От всяких марок, от всяких — и маленькие, и большие, и просто гигантские. Снесли, что только можно... И вот он часами — по ним, до изнеможения. Интересно было бы застать его за этим занятием, интересно...

Не застали.

Только вышли из машины у ворот базы, как над стайкой девчат, явно выглядывавших кого-то, пронеслось негромкое:

— Идёт, идёт!

Он шёл. Фёдор Емельяненко. Гроза борцовских залов планеты, да!..

Но до чего же обыкновенный у чемпиона был вид.

Вовсе не богатырь. Симпатичное лицо. Ранние залысины. И дружелюбный, открытый взгляд.

— Привет, девчонки, привет! — сказал, когда его окружили.

Мог бы, пожалуй, и вздохнуть: расписывался на протянутых открытках, на книжках, а руки заметно подрагивали и буквы получались не всегда ровными...

— А тут ещё и мы на вашу голову, — сказал ему, невольно извиняясь за «необъявленный визит». — Но тут уж дело такое: старый болельщик, много писал о борцах...

Пошел разговор, и опытным глазом тут же увиделось, что Фёдор как рыба в воде естествен... Ну, может быть, — как птица на ветке, потому что ему, конечно же, как можно скорее хотелось вспорхнуть, ну, да что ж тут: дело понятное.

— Вот о чём хотел. Большого остального: время на чтение выкраиваете? Или совсем некогда этим заниматься?

Он как бы даже слегка удивился:

— Да почему же? Читаю много, можно сказать...

— Но когда, когда?

Дальше я не стал, но в подтексте это как бы оставалось жить: когда, если часами по автомобильным шинам колотить, пальцы вон до сих пор — ходуном?

— После тренировки, — сказал он. — Во время отдыха... И потом — в самолёте, в поезде. В дороге приходится проводить много времени. Вот и беру с собой.

— Что-нибудь такое полегче?.. Чтобы в аэропорту не жалко выбросить?

— Да нет, — сказал он как-то очень серьёзно. — Я классиков люблю читать.

Я, конечно, воспрял:

— Каких классиков?

— наших, русских. Достоевского люблю. Толстого. Недавно вот прочитал Бунина. «Тёмные аллеи»...

Я сказал:

— Можно вас обниму?

Нет, ну правда.

Представить себе: тяжкая работа, оружий зал... Весь в поту, это само собой, а то и кровь, как без нее. И чужая, и, бывает, — своя...

А он: Бунин. «Тёмные аллеи». Гимн нежности!

О чём ещё человека долго спрашивать. И — зачем?

Договорились увидеться позже, всё ещё подрагивающей рукой он написал номер мобильного.

— Так вы-то где сейчас? — спросил.

Сказал, что отсюда скорее всего вернуться в Москву, но почти тут же придётся съездить в Майкоп.

— Мурику передадите привет?

Сперва я даже не понял:

— Что-что?

— Мурату Хасанову.

— Ну, конечно, — сказал я, будто спохватившись. — Обязательно передам. И ему, и Арамбию...

— Мы часто на сборах — с Муриком, — снова сказал он с такой удивительной мягкостью и с такой душевной чистотой в голосе...

Представить, опять же: тяжёлый вес в самбо и чемпион по боям без правил. Два самых сильных в мире человека. Двое громил.

Но, может, им-то как раз нежности больше всего и не хватает? — подумалось вдруг. — Более того: может быть, во имя неё-то как раз и ломают они друг дружке хребты?

## СКАЗКИ

### ПУТЬ КУДРЯВКИ

или

### ДУШЕВНАЯ СВЯЗЬ

(Сказка для маленьких девочек с улицы Первомайской, и не только для них)

Однажды холодным вечером по склону горы катилась озябшая Кудрявка, так звали это растеньице, а фамилия Кудрявки была — Перекати-Поле...

Катилась она давно и очень устала, но до степи, где Кудрявка могла передохнуть, было ещё далеко, и она прямо-таки не знала, что делать.

В дальнее путешествие она пустилась впервые, опыта у неё не было, а к рассказам Старых Колючек она всегда относилась не очень внимательно.

Конечно, старшие говорили ей, чтобы она подождала остальных, вместе в дороге всегда веселее и безопасней, но она не послушалась, покатилась одна, и теперь была готова расплакаться от страха и одиночества.

Неподалёку зашуршала сухая трава, и Кудрявка вздрогнула и оглянулась. Ничего подозрительного она не увидела, но на всякий случай продолжала оглядываться и оглядывалась до тех пор, пока не свалилась с небольшого обрыва.

От обиды она чуть не заплакала, но тут увидела впереди большой серый камень и решила, что возле него она сможет, наконец, остановиться.

Под камнем был затишек, а сам он ещё хранил дневное тепло. Усталая Кудрявка прижалась к нему продрогшим тельцем и тут же уснула.

Проснулась она оттого, что кто-то пытался отодвинуть её от нагретого местечка.

— Что ты делаешь, эй? — пробормотала она ещё в полусне.

И этот «кто-то» дунул ей в уши:

— Решишь, наконец-то, по-человечески отдохнуть, а твоё место занято!

— Но я сюда прикатилась первая! — возразила Кудрявка, окончательно просыпаясь.

— Вот-вот! — продолжал тот же голос. — Она прикатилась, видишь ли. Наверняка — в первый раз. А

то, что я — я! — прилетаю сюда уже много лет...

— Прилетаешь? — удивилась Кудрявка, оглядываясь. — Ты умеешь летать?

— Да уж чего проще! — сказал тот же голос.

— Но люди не умеют летать.

— А кто тебе сказал, что я — человек?

— Да сам ты и сказал: хотел отдохнуть по-человечески.

— Ну, это — к слову. Они так говорят. Люди. С кем поведёшься, того и наберешься, дело понятное... А вообще-то я — простой ветер.

— Совсем простой?

— Так тебе и скажи всё сразу, — проворчал ветер. — Ну, вольный на самом деле. Вольный ветер.

И Кудрявка вздохнула:

— Счастливый: катись куда хочешь.

— Да почему — катись? Я летаю.

— Наверное, это ещё лучше? Тебе можно позавидовать! А нам Старые Колючки рассказывали, что перекасти-поле может летать только тогда, когда его подхватит сильный ветер и подкинет высоко вверх...

— Когда-то это было моё любимое занятие, — насмешливо проговорил невидимый собеседник. — Таких как ты повыше зашвыривать. Верблюжье сено, курой... да знаю вас всех, знаю, потому что я и есть этот самый сильный ветер.

— Но ты уже сказал, что ты — вольный?

— Запомни: это одно и то же, — сказал он непререкаемым тоном. — Если ты вольный, обязательно станешь сильным.

— Сильным-пресильным? — переспросила Кудрявка.

— Хочешь, чтобы я тебя выкинул отсюда? И сразу согласишься...

— Нет-нет! — воскликнула она. — Пока искала это местечко, я так устала... А ты, выходит, самый настоящий Сильный Ветер?

— Ну, разумеется! Хотя больше привык называть себя Вольным...

— А ты не хвастаешь? — не поверила она.

И тут же пожалела об этом: сперва её подбросило только слегка, потом посильней и тут же она больно ударилась о камень и скатилась по нему вниз.

— Верить теперь?

— Верю, верю! — сказала она быстренько. — Но почему тебя не видать... где ты?

— Не видать ей! — усмехнулся Вольный Ветер. — Глянь-ка на этот старый ковыль. Сейчас я слегка

поглажу его, и ты всё поймёшь... А потом шевельну этот кустик рядом со своим старым другом...

— С твоим другом? — удивилась Кудрявка. — А где твой друг?

— Нехорошо! — сказал Вольный Ветер: Кудрявка уже стала привыкать, что это говорит именно он. — Так ты на уют отвечаешь? А ведь мы у него в гостях: ты и я. Что ж, что он молчит? Такой у него каменный характер!

— Ты хочешь сказать, — начала Кудрявка.

Но что-то прижало её к выемке у подножия камня, и голос Вольного Ветра строго приказал:

— Тишина!

Куда там!..

Почти сразу же началось такое, что Кудрявку в дрожь бросило — на ней затрепетал каждый крошечный листик.

С гулом, со страшным шумом, с громким воем, с шипящим свистом что-то огромное стремительно пронеслось по бокам от большого серого камня и сверху над ним.

И вдруг стало тихо.

— Уф! — с облегчением выдохнул новый знакомец Кудрявки. — Они нас, кажется, не заметили...

— Ты от кого-то скрываешься? — спросила Кудрявка.

— Я-я?! — усмехнулся Вольный Ветер. — Ну, если и скрываюсь, — только для их же пользы.

— А разве так бывает?

— Бывает, бывает...

— Но кто это? — спросила она всё ещё испуганно.

— Злые ветры! — объяснил ей невидимый собеседник. — Сбились в одну большую стаю... да чего там: в шайку, можно сказать. И носятся теперь над землёй. Там забор повалят, в другом месте опрокинут стог сена или снесут крышу...

— А ты добрый? — спросила Кудрявка.

— Ну, разумеется! — ответил Вольный Ветер порывисто.

— Добрый-добрый? — переспросила она.

И он слегка поприших:

— Н-ну, не совсем, если честно... Ведь все мы в душе остаёмся детьми, и другой разок ну, так хочется пошалить. Разве удержишься, если заметишь в городе человека в такой большой шляпе, что она может прокатиться по асфальту как велосипедное колесо? А как ты спокойно пролетишь мимо, если на двенадцатом этаже увидишь висящие на верёвке простыни? Или цветные рубахи? Или...

— Совершенно не представляю, о чём ты говоришь! — с сожалением вздохнула Кудрявка.

— Темнота! — уверенно сказал Вольный Ветер. — Живёшь в своих горах или даже в степи на равнине... Ну, где ты была? Что ты видела? Наш друг Крепкий Камень, и тот знает куда больше, чем

ты...

— Ты так думаешь? — обиженно отозвалась Кудрявка.

— Я не думаю, я — уверен, — насмешливо сказал Вольный Ветер. — Потому что я сам ему всегда рассказывал о тех странах, над которыми летал, о тех городах, где срывал крыши...

— Так ты их всё-таки срывал?! — испуганно, но с оттенком восторга в голосе воскликнула Кудрявка.

— Ну, было, если честно, — признался Вольный Ветер. — Одно время я тоже был в этой дурной кампании, которая только что пронеслась над нами. Но я всегда пытался или останавливать их или хотя бы остаться в сторонке, чтобы получше да поспокойней всё вокруг разглядеть. Ведь мир так красив и так интересен!.. И всякий раз, когда потом прилетал сюда и у своего друга останавливался, я рассказывал ему о дальних странах и обо всём, что там увидел... И он всегда с таким вниманием слушает! С таким интересом.

— Он тебе сказал это?

— Зачем бы он меня перебивал?! Он никогда не перебивает... И никогда не задаёт глупых вопросов. Он очень умный, мой друг. Поэтому он и днём и ночью молчит.

— Наверное, он просто не умеет говорить? — спросила Кудрявка.

— Не то что говорить — он может даже кричать, — уверил Вольный Ветер. — Да ещё как, как кричать! Однажды я услышал, как он тут кричит, когда был в Париже... Наша самонадеянная молодёжь пыталась там раскачать и опрокинуть Эйфелеву башню, и я остался, чтобы на это поглядеть и потом вволю посмеяться... ты представляешь, где это?

И Кудрявка качнулась с бока на бок:

— За тем бугром?

— Темнота! — снова сказал насмешливо Вольный Ветер. — Надо перелететь через тысячу таких бугров, чтобы оттуда сюда добраться, но я их перелетел, когда понял, что другу моему плохо, я тут же перелетел!

— И увидел возле него большого верблюда? Который мог съесть его?

— Ты хоть соображаешь, что говоришь? — рассердился Вольный Ветер. — Сколько я пролетал над пустынями и нигде не видал, чтобы верблюды ели камни, тем более такие большие и крепкие, как этот... Там вообще один песок!

— Они едят там песок?

— Если честно, мне жаль тебя, — задумчиво проговорил Вольный Ветер. — Очень жаль. Ты ещё такая зелёная и кроме этого своего бугра пока ничего не видела и ничего не знаешь... Ты, правда, могла бы... Вернее, я бы мог.

И Вольный Ветер надолго замолчал.

— Что бы ты — мог? — осторожно напомнила Кудрявка.

— Прикидываю, — пробормотал Вольный Ветер. — Ты думаешь, я умею только подкидывать? Нет, скажу тебе. Нет. Если перестаёшь быть злым ветром, то другой раз прежде, чем что-то подкинуть высоко вверх, приходится тут, внизу долго прикидывать, что будет дальше...

— Долго-долго?

— Нет! — воскликнул, наконец, ветер. — Это слишком большая ответственность. Слишком. Конечно, это было бы очень хорошо, если бы я тряхнул стариной и перенес тебя через два-три моря... может быть, даже через океан, да. Это ещё проще. Я бы зашвырнул тебя на торговый корабль, ты бы закатилась в трюм и забились в самый дальний угол. А я бы улёгся где-нибудь на носу...

— На моём носу?

И Вольный Ветер чуть не взвыл:

— У-у-у!.. До чего же ты, и действительно, тёмная. Потому и говорю, что слишком большая ответственность... стоит мне отвернуться или ещё что, мало ли, а ты куда-нибудь не туда закатишься и ищи потом... Голосок у тебя такой слабенький: разве в большом городе услышишь?

— Но ты же услышал своего друга? Даже возле этой... возле Филькиной башни...

— Сама ты «филькина»! — усмехнулся Вольный Ветер. — Ты хоть слушай, что тебе говорят: Эйфелева башня!

— Ты же его там услышал?.. Или он так громко кричал...

— Тут дело другое. Ты совсем маленькая, и боюсь не поймёшь. Всё дело в душевной связи, которая давно между нами установилась...

— У этого Крепкого Камня есть душа?

— А как же? — удивился Вольный Ветер. — Она у всех есть. И самая верная, между прочим, как раз у камней. Потому и душевная связь с ними — самая надёжная.

— И что он тогда тебе сказал поддушевной связи?

— Что-что, — проворчал Вольный Ветер. — По ней можно и без слов — на то она душевная и есть... По ней понимаешь сразу главное: хорошо твоему другу? Или плохо?

— Ему было плохо? — спросила Кудрявка.

— Редко бывает хуже: вокруг него пылал громадный костёр, а чуть подальше стояли люди с лопатами, с ломом и с кирками... Они хотели разбить его на куски и сделать из него каменную стену...

— Я думала, это и есть стена, — призналась Кудрявка.

— Ты делаешь успехи, — похвалил Вольный Ветер. — В том-то и дело! Он ведь сам по себе стена!.. Ты ещё не видела, а я сколько раз это замечал: тут прятались зайчата, когда за ними гналась лиса... В тени от моего друга скрывались от солнца кузнечики и стрекозы, а ящерицы наоборот всегда на нём грелись. А однажды у него на спине отдыхал такой громадный орёл, каких я не видел даже в Африке. Мне он обещал сюда прилетать и, может быть, уже прилетал, но друг мой об этом не рассказывает, он не болтун — от него лишнего слова не добьёшься.

— Может быть, у него есть какая-нибудь своя тайна, и он боится, что станет болтать — проговорится?

— Я же сказал тебе, что ты делаешь успехи! — похвалил Кудрявку Вольный Ветер.

И она вздохнула:

— Теперь-то я начинаю понимать, что надо было внимательней слушать и своих родителей, и



дедушку с бабушкой... вообще старших, которые знали много разных историй. Кое-кто из них тоже видел дальние страны и удивительные города...

— Ха! — выдохнул Вольный Ветер насмешливо. — Видели бы они их, если бы не мы, всемогущие ветры!

— Ты так и не сказал, как ты тогда помог своему другу, у которого мы теперь в гостях, — вежливо напомнила Кудрявка.

— Это была славная история! — с удовольствием вернулся к своему рассказу Вольный Ветер. — Прежде всего я не только сорвал с них кепки и эти дурацкие американские колпаки с длиннющими козырьками — я даже лопаты из рук повыхватывал. Швырнул всё это в огонь, а пока они закрывали лица от дыма и протирали от пепла глаза, я пригнал грозовую тучку, которая пряталась неподалеку и сама собиралась напасть на них, да только подкрадывалась слишком медленно... уж я ей тогда помог, я помог! Но она приступила к делу только потом, когда мы за ними погнались. А для начала всю эту компанию само собой сдуло ветром...

Неподалеку что-то глухо лопнуло, зашипело, и все травы вокруг нагнулись в одну сторону, полегли, а стволы двух высоких татарников хрустнули и сломались.

— Ты мне хотел показать, как их снесло ветром? — дрожащим голосом спросила Кудрявка, всё ещё прижимаясь к камню.

— Разумеется! — согласился Вольный Ветер.

— И для этого ты сломал стебли?

— Всё равно им пора, — беззаботно прошелестел Вольный Ветер. Но тут же поправился. — Они уж сделали свое дело — давно облетели. Остальное за нами: куда отнести семена, где бросить.

— Сдаётся мне всё-таки, что ты немного хвастун, — как можно мягче сказала Кудрявка.

Но Вольный Ветер всё равно возмутился:

— Я?! Выбирай, что сказать! Ну-ка...

И не успела Кудрявка опомниться, как её вынесло из-за камня и потащило невысоко над землёй.

— Ты не закрывай глаза! — насмешливо крикнул Вольный Ветер. — А то ничего не увидишь...

Кудрявку развернуло, понесло обратно, и опустилась она на том же месте под Крепким Камнем.

— Видела? — спросил Вольный Ветер.

— А что я должна была видеть? — пролепетала Кудрявка, которая никак не могла прийти в себя после первого в своей жизни полёта.

— Что-что, — недовольно проворчал Вольный Ветер. — Там до сих пор лежат ломы и кирки... Где они побросали их по дороге, там и лежат.

— Так ты их тогда напугал?

— Н-ну, не я один, — решил поскромничать Вольный Ветер. — Это тучка... Из неё слышался такой грохот и летели такие молнии, что от стальных ломов искры сыпались... А дождь потом ударил такой, что в станице каждый из них пробежал мимо собственного дома — так они неслись. Хочешь, я тебе...

— Нет-нет! — воскликнула Кудрявка. — Не надо мне ничего показывать!

— Испугалась?!

Кудрявка сделала вид, что возмутилась:

— Ни капельки! Просто надо предупреждать... если ты настоящий джентльмен! Или рыцарь...

— Мамочки! — ахнул Вольный Ветер. — Что-то новенькое... Где ты этого набралась, про джентльменов и рыцарей? Неужели на своём бугре? Что, они там тоже растут? Рядом с верблюжьим сеном или зольником?

— Уважаемые Старые Колючки нам рассказывали, что рыцари и джентльмены растут везде!

И Вольный Ветер не удержался, передразнил Кудрявку:

— Везде-везде?

— А ты думал? — не без гордости ответила Кудрявка. — И даже если они выросли не на нашем бугре, почему они не могут быть перекасти-полем? Джентльмены и рыцари?

— Вспомнил, вспомнил! — обрадовался вдруг Вольный Ветер.

— Что ты вспомнил?

— Как ещё называют перекасти-поле, вот: «бабий ум»!.. Это они-то вот, небось, наговорили тебе про джентльменов и рыцарей!

И Кудрявка сделала вид, что она обиделась:

— Много ты в чужих делах понимал бы!

Дело в том, что только теперь она стала припоминать долгие разговоры которые вели между собой Старые Колючки: под их рассказы и наставления так хорошо спалось под неслышным вечерним солнышком. А как — ранним утречком!..

Но теперь она кое-что припомнила и сказала уверенно:

— Как раз из рыцарей и джентльменов выходит лучшее в мире перекасти-поле!

— Ах-ах, фу-ты, ну-ты! — зафыркал Вольный Ветер. — Может, мы и ещё вспомним что-нибудь этакое? Хорошо хоть, что ты не училась... А если бы ты закончила школу?

— А сам ты её закончил?.. Чтобы так надо мной смеяться.

— Это я-то? — удивился Вольный Ветер. — Да ты знаешь, сколько раз я её заканчивал?

— Много раз? — доверчиво спросила Кудрявка.

— Даже не помню, сколько! Надоело считать, — и Вольный Ветер разговорился. — Особенно мне нравилось заканчивать школу весной. Тогда почти все двери открыты настежь или прикрыты совсем неплотно. Стоит легонько толкнуть, и ты в классе. Сначала я путался, начинал с пятого на десятое, да... ну, сначала, в пятый класс залетал, потом в какой-нибудь девятый. Но старшие меня научили, и вскоре я начинал с первого класса, потом по порядку залетал во второй, третий, четвертый... Мы с одним старым дружком, очень уважаемым теперь, можно сказать, знаменитым ветром, из класса в класс дули в то время наперегонки. Кто скорее школу закончит. Залетаешь в первый класс, пару тетрадок на пол скинешь — дуй во второй. Там книжки позакрываешь, цветок с окна сбросишь —

лети в третий. Окно раскрыл, у всех волосы на голове поднял дыбом... расскажу тебе, между прочим. Или ты пока не поймёшь?

— Выдумываешь опять! — обиделась Кудрявка.

— Тогда слушай. Я вот тебе обмолвился, что однокашником моим был всеми уважаемый, знаменитый ветер... большой учёный, поверь!

— И что он там такое придумал?

— Он не придумал. Он это вывел, понимаешь? В результате многолетних опытов и тщательных наблюдений... нет, боюсь всё-таки, что ты ещё не созрела...

— Я?! — возмутилась Кудрявка.

— Ну, ладно, — продолжил Вольный Ветер. — Ты мне скажи: часто тебя в детстве по головке гладили?

— Ну, иногда перепадало, — вздохнула Кудрявка. — Пока колючки на голове были мягкие. А когда они стали твёрдыми и уже могли уколоть...

— Во-от! — сказал Вольный Ветер. — У тебя хоть оправдание есть. Ну, вернее причина, по которой тебя по головке не гладили. А что, у детишек — колючки на голове? Или шипы как у шиповника, который потому так и называется, что покрыт шипами? И взрослые боятся уколоть пальцы о детскую головку?.. Тогда почему почти никто и никогда лишней разок не погладит ребятишек? И девчонок, и мальчиков... Скажи, почему?! Да потому что взрослым просто некогда этим заниматься. Они считают, что это вовсе неважно: погладил малыша — не погладил. И какая-нибудь мама может полчаса перед зеркалом причёсываться или полдня в парикмахерской просидеть...

— А что такое — парикмахерская? — перебила Кудрявка.

— О, не наступай мне на большую мозоль! — тоскливо выкрикнул Вольный Ветер. — Мне всегда говорили, что я — природный парикмахер. И это была мечта моей жизни — работать в парикмахерской. Но каждый раз передо мной захлопывали все двери... ты потом напони, это тема особая и очень для меня дорогая, а пока я хочу досказать тебе... на чём мы остановились?

— На том, что твой однокашник стал большим учёным...

— Так вышло, да, — почему-то вздохнул Вольный Ветер. — Я не завистник, но всё-таки, всё-таки... Много раз я заканчивал школу раньше него... Даже когда ввели одиннадцатый класс, и в школе приходилось задерживаться на минутку-две больше, и то я его опережал. Я всегда был первым учеником, всегда! Однажды после очередного окончания я даже влетел в кабинет к завучу и вырвал себе аттестат об окончании школы. Не то чтобы он лежал где-нибудь на краю стола, нет! Я выхватил его прямо-таки из рук у завуча, да.

— Какой ты смелый! — восхищённо произнесла Кудрявка.

— Но я отдал его своему однокашнику, — не обращая внимания на похвалу, продолжил Вольный Ветер. — Он тогда уже быстро летел в гору, но чтобы продолжить учёбу ему нужен был документ об окончании средней школы. И он потом продолжал листать учебники в институтах и академиях, уносить конспекты у аспирантов, врываться в крупнейшие библиотеки мира... но игра стоила свеч, как говорится. Он сумел доказать, что лучшие на свете причёски делает ветер и никто на свете лучше него не разглаживает морщины. Это мы не стареем, ветры... А человек стареет, но ничто лучше ветра не гонит от человека старость... старость прямо-таки панически боится ветра, ты это знаешь?

— Ты так интересно рассказываешь, только я не всё понимаю! — пожаловалась Кудрявка.

И Ветер подхватил:

— А почему не понимаешь? Да потому что, когда была маленькая, тебя редко гладили по головке. А это необходимо не только маленьким, но и ребятишкам постарше и даже взрослым — правда, взрослые даже сами от себя это скрывают. Но мы-то, ветры, всё знаем! Мой однокашник смог это доказать, потому и стал теперь знаменит... Когда мы с ним последний раз встретились в Новой Зеландии, он вспомнил: а не забыл, как в кубанской станице Отрадной мы с тобой так запутывали ребятишкам волосы, что каждый потом чуть не полчаса разбирал их, поглаживая себя по головке... Думаешь, этих мальчишек и девчонок вырастили да воспитали родители? Это сделали мы с тобой — мы! И теперь имеем полное право хоть слегка отдохнуть. Потому-то я и прилетел к своему старому другу: тут моя самая любимая в мире гостиница!

— Четырёхзвездочная? — спросила Кудрявка.

— Опять она, фу-ты, ну-ты, — четырёхзвёздочная! — передразнил её Вольный Ветер. — Откуда у нас такие обширные, ну прямо-таки потрясающие знания? Ну, прямо-таки — не перекасти-поле, а — перекасти-энциклопедия!

— Говорят, одна моя тётка, очень старая Колюка, рассказывала родне, что как-то давно ветер занёс её в Армавир, и она целую неделю со всеми удобствами прожила на балконе четырёхзвездочной гостиницы! — с гордостью объявила Кудрявка.

Но Вольный Ветер захихикал, как маленький:

— Что-то тут не так, поверь, нет — не так! Уж кому, как не мне понимать в гостиничном деле. Какие богатые шторы приходилось выбрасывать на улицу из лучших отелей Лондона, пока я не порвал с дурной кампанией, которая ещё недавно пронеслась над нашими головами... Блюда с какими лакомствами мы опрокидывали в Рио-де-Жанейро! И потому я совершенно точно могу тебе сказать, что четырёхзвездочной гостиницы в Армавири просто не может быть...

Но тут он вдруг споткнулся на полуслове:

— Хотя... впрочем...

— Что — хотя? — нетерпеливо спросила Кудрявка. — Что — впрочем?

— Я подумал, что только в Армавири и могли неделю не убирать в номерах. Иначе твоя тётка тут же бы вылетела с балкона!

— Из отеля, — поправила Кудрявка.

— Хорошо, что ты так быстро всё схватываешь! — одобрил Вольный Ветер. — Ну, точно, как мы — прямо на лету!

— Один разочек я ведь уже пролетела! — охотно согласилась Кудрявка.

— Будь по-твоему! — охотно согласился ветер. — Тётка вылетела бы из отеля — как миленькая!

Но Кудрявку, видно, задело и это грубое «вылетела», и даже якобы ласковое «как миленькая».

— А сколько же звёздочек в этой твоей гостинице под старым камнем? — решила она отыгаться.

Но Вольный Ветер поправил её:

— Ты хотела сказать: под Крепким Камнем?

— Извини, если твоего друга я невольно обидела...

Но ветер и тут не дал ей спуску:

— Ты хотела сказать нашего друга?

— Хорошо, нашего, — согласилась Кудрявка. — Но ты мне не ответил про звёздочки... Сколько их может быть в этом отеле «У Крепкого Камня»?

Но Вольный Ветер будто готов был к этому вопросу.

— Семь! — ответил он тут же. — Ровно семь. У старого моего друга отель семизвездочный.

— Почему ты так решил?

— А погляди-ка на небо! — радостно зашелестел Вольный Ветер. — Пока мы с тобой тут о себе друг дружке рассказывали, опустилась ночь, погода хорошая, и звёзды видать прекрасно... Видишь почти над нашими головами висит такой ковшик из ярких звездочек? Называется это созвездие Большая Медведица. А посчитай, сколько в нём звездочек?

— Ты, наверное, забыл, что я не умею считать, — печально произнесла Кудрявка, и он отозвался виновато:

— Ах, да! Прости.

— Это ты проносился по классам и рвал учебники...

— Учебники я не рвал! — возмущённо возразил Вольный Ветер. — Другое дело, что на меня это сваливали — такое бывало часто.

— А если бы я попала хоть в какой-нибудь класс, я бы там хоть на целый год задержалась!

— А, может, — на два? — рассмеялся ветер.

— Да хоть на три!

— Такое бывает и совсем редко, — посерьёзnel Ветер. — Тех, кто в классе остаётся на второй год зовут второгодниками, о таких я слышал, и даже многих знал лично: такие ребята всегда — наши первые помощники. Но чтобы говорили о третьегодниках...

— Зато бы я столько знала! — мечтательно проговорила Кудрявка.

— Ты это так горячо говоришь, — посочувствовал Вольный Ветер. — Ну, хочешь, я закину тебя в какой-нибудь школьный двор?

— Нет! — закричала Кудрявка. — Нет! Ни за что!

И хоть голосок у неё был совсем тоненький, Ветер проворчал:

— Напугала!..

— Это ты меня напугал!

— Я?!

— А кто хотел отнести меня в школьный двор? — стала выговаривать ему Кудрявка. — Пусть мне неизвестно многое другое, но это я хорошо знаю: для перекасти-поля нет ничего страшней, чем туда

попасть.

— Станут придирааться, а то и сразу по шее дадут? — посочувствовал Вольный Ветер. — Начнётся эта не очень добрая игра: кто на новенького?

— Ах, если бы только это! — воскликнула Кудрявка. — С нами всё куда хуже.

Я даже знаю, как называется эта игра, когда они ногами бьют по шарам перекасти-поля: фанбол!

— Ох, и тёмная ты, и правда, — дружелюбно посочувствовал Вольный Ветер. — Как в холодной Сибири, откуда я родом, говорят: тайга глухая. Ты всё перепутала. Игра называется футбол. А фанбол — это, пожалуй, ещё страшней, мне приходилось их видеть, фанов. Там не только — ногами, там ты можешь получить палкой по голове... придётся тебе остаться без среднего образования, эх! Единственная надежда — это посмотреть мир и хоть что-то понять, чему-то научиться...

— Почему-то мне всё ясней становится, что я должна это сделать, — тихонько, словно сама себе, проговорила Кудрявка.

И Вольный Ветер тоже будто сам себе повторил:

— Нет-нет, слишком большая ответственность. Слишком!

— А скажи мне, — робко начала Кудрявка. — В этой шайке... В дурной компании, как ты сказал. Все-все ветры — злые? Все-превсе?!

Но он как будто не слышал её: может, снова что-то в уме прикидывал?

— Нет-нет! — наконец, пробормотал. — И правда, слишком большая!

Но Кудрявка, пожалуй, кое о чем уже догадалась:

— А что нам остаётся, скажи? Если у нас такой корень, который не может нас удержать на месте. Был бы он крепкий, как у солодки, разве кто-нибудь называл бы нас перекасти-поле?

— Тут я тебе пока ничем помочь не могу, — задумчиво проговорил Вольный Ветер. — Ведутся исследования, ведутся. Но пока...

— Какие исследования? По причёскам?

Ветер сделал вид, что обиделся:

— Ты за кого нас держишь, скажи? И что тут, по причёскам, особо исследовать? Тут всё давно ясно: ветер — лучший в мире парикмахер! Не только дамский или там даже мужской, нет. Посмотри на большие и малые деревья, за которыми мы ухаживаем. Летом из-за обильной листвы бывает трудно понять, а погляди на облетевшее дерево, когда всё сквозит: как идеально мы подстригаем!

— Вот я и говорю, — в тон ему сказала Кудрявка.

— А как мы расчёсываем степь! — увлёкся Вольный Ветер. — Особенно, ранним летом, когда всё цветёт: на это часами смотрим не только мы. Я сам видел, как однажды в этих местах остановилась машина, из неё вылезли двое седых черкесов, и один стал другого перебивать: а ты туда посмотри, Гирей! Как бежит трава, как бежит!.. Нет, Нальбий, ты — туда погляди! Это от них я узнал, что долина, где мы трое остановились, называется Ажитугай...

— И я о ней от кого-то слышала, — поддержала Кудрявка.

— Ну, от кого ты могла слышать? — остановил её Вольный Ветер, явно недовольный тем, что его

перебили. — Только и могла — от какой-нибудь выжившей из ума старой колюки. А черкесы наверняка были люди учёные и оба, видно, умели читать, потому что один другого спросил: а помнишь, у Пушкина?.. Но что они помнили, я не дослушал, потому что один грустно сказал: посмотри, остановилась трава! Упал ветер... Это я-то?! И я тут же быстро поднялся и помчался над степью, а в спину мне всё несло: ты только посмотри, как бежит трава! Но на самом-то деле бежал я.

— Трава бежит, но не трогается с места, — вздохнула Кудрявка. — И всегда может остановиться... А если побежит перекасти-поле, то — всё!

Последние слова она произнесла так решительно, что Вольный Ветер переспросил:

— Что — всё?

— Пока полмира не пробежит — не остановится!

— Что-что?! — насмешливо спросил Вольный Ветер. — Ну, ты заговорила! Эко тебя занесло: полмира!

Но в тоне у Кудрявки уже слышалась горечь:

— А что остаётся? Если у тебя так просто отрывается корень...

— Я тебе начал о корнях, но ты сама перебила, — укорил её Вольный Ветер. — Скажу как на духу: ты думаешь, если бы у меня был корень, я бы вот так носился по белу свету?.. Нет, нет и нет. Да я бы вот тут пустил его около моего задушевного друга. Корень. И навсегда рядом с ним остался. И обо мне стали бы говорить: этот ветер не так себе. Он с глубоким корнем.

— С глубоким? — вздохнула Кудрявка.

— А как иначе? — убеждённо подтвердил Вольный Ветер. — Уж если, и действительно пускать корень, то непременно — глубокий. Иначе зачем за это непростое дело браться?

Кучерявка отчего-то вздохнула ещё печальней:

— Ты сказал, навсегда бы остался рядом с другом...

— Да, а что? Защищал бы его от всяких случайностей... видишь, как? Молчаливого домоседа всякий может обидеть. Вот он тут сто лет торчит. А, может, тысячу, — так же? И вдруг появляется какая-нибудь важная, надутая птица: это теперь моё, я тут буду себе гнездо вить, а он мне мешает... Разве это справедливо? Я бы ну, прямо-таки сдувал этих важных птиц.

Он так горячо это говорил, что Кудрявка не выдержала:

— А я бы тебе помогала!

— Ты?! Помогала сдувать? — удивился Вольный Ветер. — Не смеди меня.

— Сам просил: не наступай, мол, на больную мозоль, — со вздохом напомнила Кудрявка. — А, думаешь, мне не больно, когда вдруг даже ты — о крепких корнях? Кто о них не мечтает! Но если их нет, должно же нас что-то связывать...

— Говорил тебе, что есть особая связь...

— Да я вот её всё больше чувствую, — сказала Кудрявка, как будто чего-то недоговаривая.

Вольному Ветру пришлось даже уточнить:

— Душевную связь, что ли?

— Что-то такое, да...

— С другом моим тоже, что ли? — поинтересовался Вольный Ветер насмешливо. — С Крепким Камнем?

Но Кудрявка очень серьёзно ответила:

— И с ним — тоже.

И Вольный Ветер впервые произнёс какой-то странный звук: ну, как будто закашлялся.

— А какие, ты говорил, ведутся исследования? — пришла ему на выручку Кудрявка.

И он опять вдохновился:

— А, думаешь, почему мы с корнем вырываем деревья? Потому что как раз хотим с этим разобраться. С корнями. Откуда они растут? Куда?.. Как?.. Почему?.. У нас есть очень, оч-чень большие специалисты по корням: такие деревья выворачивают!.. Но обобщить нам пока не удаётся.

А Кудрявка вдруг негромко спросила:

— Ты слышишь?

— Слышу-слышу, — недовольно фыркнул Вольный Ветер.

— И ты опять спрячешься?

— Я же тебе говорил, что это дурная компания!

— И там нет ну, ни одного доброго ветра? — с надеждой спросила Кудрявка. — Ни одного-ни одного?

— И потом я только что прилетел, — продолжал ворчать Вольный Ветер. — Хотел у старого друга отдохнуть, да вот с тобой заболтался и ничего ему пока даже не рассказал.

— По нашему бугру тоже как-то проходили черкесы, — сказала Кучерявка. — Между собой разговаривали, а мы слышали. Так вот у них три дня гостя не принято спрашивать, на сколько он приехал...

— Да причём тут? — всё громче ворчал Вольный Ветер. — У моего друга так принято, что и через неделю не спросит...

— И через месяц? — спросила Кудрявка.

— Ну, на столько я тут никогда не задерживался, но что он и через месяц не поинтересовался бы — это точно.

А Кудрявка снова с надеждой спросила:

— Они уже ближе, ты слышишь?

— Ну, что ж теперь!

— А мог бы ты меня хоть слегка подбросить? — попросила Кудрявка. — Когда они будут над нами



пролетать?

Ветер не то что удивился — даже как будто испугался:

— Я?! Своими руками?

— Прошу тебя! — взмолилась Кудрявка. — Ты ведь сам говорил, что мне надо белый свет повидать и хоть чему-то научиться...

— Подрасти ещё! — буркнул Вольный Ветер.

— Как же я тебе подрасту — без корня?

— А вот как хочешь! — уже почти кричал Вольный Ветер. — И я вот без корня!.. А, знаешь, как я в один момент могу вырасти?

— Но я-то не могу!

— А ты пробовала?

— Сердце подсказывает, — печально сказала Кудрявка. — Что я должна лететь. Ты понимаешь? Обязана.

— А, знаешь, что потом о тебе станут говорить?..

— Что повидала большой мир?

— Повидала она! — сильнее зашумел Вольный Ветер. — Кабы это! О тебе станут рассказывать, что у тебя ветер в голове...

— Разве это так плохо?

— Ты хоть соображаешь, что говоришь? — возмутился Ветер.

— Помнишь, я рассказывала тебе о черкесах, которые отдыхали на нашем бугре? В голосе у неё слышалось полузабытое Вольным Ветром тепло, с которым разговаривала с ним когда-то его маленькая сестричка Заветрюшка, и он проворчал уже ласковей:

— Три дня ни о чём гостя не спрашивают?

— Потом они говорили о другом и всё повторяли два слова: «Большой дунэй». Мы спросили у нашей тётки Старой Колюки, что это значит, и она попыталась объяснить нам, что это — белый свет. Большой мир...

— И что, что? — поторопил Вольный Ветер.

— Мир такой большой, а я такая маленькая! — жалобно произнесла Кудрявка.

И Ветер всердцах воскликнул:

— Опять она за своё!

Может быть, они слишком громко разговаривали?

Может, первыми подкрались к ним, как опытные разведчики, тихие, бесшумные ветры?

Но только Кудрявка раз и другой подпрыгнула и стала вдруг подниматься всё выше и выше...

— Эй-эй, ты куда? — закричал ей вслед Вольный Ветер.

— Это не я, они несут меня! — откликнулась Кудрявка, и было непонятно, чего в её голосе больше: тревоги или радости.

— Сейчас я им, погоди!

Вольный Ветер стремительно рванулся вслед за ней, быстро настиг и понёс было вбок, но как раз тут-то на них с гулом налетел воздушный поток, в котором чего только не слышалось и чего только не летело: среди сора и обломков стеблей Кудрявка успела заметить и носовой платок, и старую шляпу, и даже несколько летевших высоко над ними крупных шаров перекаати-поля.

Крупных-крупных!

— А-а, Темир-казак![6] — со свистом кричал кто-то рядом с ней. — Ты вернулся?.. Решил опять стать разбойником!

— Как знать! — насмешливо отвечал голос Вольного Ветра. — Вернулся я как раз затем, чтобы кое-кого из вас отучить от разбоя!

Вокруг зашикали, зафыркали, засвистели:

— Нашёлся умник — опять он за старое!

— Думаешь, это тебе удастся?

— Да ты просто ослаб — ну, так и скажи!

И знакомый Кудрявке голос сделался грозным:

— Сказать? Ну — слушай!

Тут же её сильно качнуло, закружило, бросило вверх и в сторону.

— Ты что, Темир, шуток не понимаешь!? — раздался обиженный голос насмешника.

Другой услужливо предложил:

— Хочешь, я понесу твою колючку?

— Обойдусь!

— Может быть, отдашь её в наш обоз — там молодые носильщики...

— Я вам что сказал? — грозно напомнил Вольный Ветер. — Сказал, обойдусь. И это не колючка, это — моя сестра маленькая Кудрявка. Будет рядом со мной. И чтобы ни одна веточка, ни один листок... Все поняли?! Сестрёнка...

Кудрявке было и страшно лететь, и весело, а последние слова её нового друга отозвались в её зеленом сердчишке такой радостью, какую она ещё никогда не испытывала. На лету она иногда переворачивалась, и тогда видела то редкие огоньки на темной земле, а то гроздь крупных звёзд в бескрайнем небе.

Потом она увидела неяркую дымчатую полоску, которая тянулась в небе от горизонта до горизонта и вдруг вспомнила, что о ней рассказывала одна очень старая, но всеми на бугре уважаемая Колючка: её даже называли Многоуважаемая...

— Ты знаешь, как называется эта светлая полоса на небе? — спросила она у своего нового друга, который назвал её сестрёнкой.

— Конечно, знаю, — небрежно бросил он на лету. — Ты небось привыкла думать, что это Млечный путь, а то ещё Путь соломенщика. Только сама подумай. Ну, разлетелось бы это молоко на мелкие брызги, если бы наши баловники не вырвали из рук у доброй старушки кувшин и не покатали бы его по небу?.. Если не выхватили бы из рук пастуха эту его солому и не разбросали бы от края неба до края земли? Так что на самом деле это — Путь Ветра...

— А меня уверяли, что это — Путь Перекати-поля, — сказала она слегка обиженно.

И Вольный Ветер ответил уже задумчиво:

— Гм... вообще-то всё может быть в этом странном мире...

Она немного помолчала и вдруг словно что-то вспомнила:

— А тебе не кажется? Может быть, друг наш, который будет ждать нас внизу, на земле, уверен, что эта светлая полоска с мелкими звёздами — путь Крепкого Камня?

— Да наверняка он так думает! — почему-то обрадовался Вольный Ветер. — Другое дело, что никогда об этом не скажет...

— По-моему, я расслышала, — робко начала Кудрявка, — что Крепкий Камень... желает нам доброго пути...

— Ну, конечно! — обрадовался Вольный Ветер. — Он всегда кричит это вслед, когда я улетаю. И хорошо, что ты это уловила первая.

Тут её снова качнуло, снова подбросило, и она услышала дружеский голос, очень похожий на голос Вольного Ветра:

— Дай тебя обнять, старый бродяга! Как я рад, что ты снова с нами! Я слышал, ты тут кое-кого уже успел напугать?

— Здравствуй, брат! — растроганно отвечал вольный ветер. — Ты всё такой же молодец. Всегда помню, как ты меня поддержал в давнем споре...

— О нашем предназначении на земле?

— И не только, не только!

— Хорошо, что ты вернулся: без тебя мы мало обо всём этом говорили.

— Послушай, что я тебе скажу, — неторопливо начал Вольный Ветер. — Вот эта маленькая бродяжка, что летит с нами. Кроха, которая боится даже верблюда... Когда мы с ней познакомились у моего большого друга... у Крепкого Камня. Она засмеялась: это четырехзвездочная гостиница? Я тоже в шутку отвечал ей: семизвездочная!.. Называется Большая Медведица...

— Такая гостиница есть на Аляске, — напомнил товарищ Вольного Ветра. — Мы с тобой когда-то туда залетали...

— Верно, как я мог об этом забыть! — воскликнул Вольный Ветер. — Это там эти двое наших буйнов столкнули с крыши мальчика, а ты успел налету подхватить его...

— Спасибо, что ты это помнишь! — растрогался его друг. — Недавно я пролетал мимо и остановился

на него поглядеть: он стал настоящим мужчиной, у него уже есть свои мальчики.

— А эти двое могли лишить его будущего...

— Правильно, что ты их нынче прогнал — эти наглые ребята понимают лишь силу! — сказал друг Вольного Ветра.

Только теперь Кудрявка окончательно поняла, что недавно произошло между злыми ветрами и Вольным и Сильным ветром... как ей всё-таки повезло, что возле Крепкого Камня остановился тогда отдохнуть именно он, а не эти двое!

И как хорошо, что рядом со злыми ветрами всё-таки существуют добрые, которые не дают им разгуляться!

— И когда эта маленькая бродяжка, за которой я и тебя прошу присматривать, спросила о четырёхзвёздочной гостинице, я взялся размышлять, — снова послышался голос Вольного Ветра. — Как ты думаешь: что пришло мне в голову?

— Поделись со своим братом!

— Потому я и начал этот разговор, чтобы с тобой поделиться! — растроганно сказал Вольный Ветер. — Ты только представь себе: люди малюют на своих гостиницах звёзды, чтобы завлечь в них постояльцев, не так ли?

— Согласен, мой брат.

— А мы с тобой спать ложимся на нашей теплой и зеленой земле под тысячью звёзд... Под миллионами.

— Говорят, что на небе их — миллиарды!

— У кого ещё есть такая гостиница, брат?.. «Под миллиардом звёзд» — разве нельзя её так назвать? .. И тогда только представь себе, какие мы богачи, если живём в такой гостинице! И не только мы, нет! Все, кто ходит по этой земле... Кто летает, потому что у него нет корня. Кто катится, гм... как эта моя сестрёнка.

— По-моему, она уже спит на лету, — сказал Добрый Брат, так звали этот ветер. — Не беспокойся, я, и в самом деле, буду за ней присматривать.

— Даже кто так крепко врос в землю, что уже не может от неё оторваться... ты понимаешь, брат? Что все мы на земле — богачи, и для счастья нам недостаёт одного...

— Одного меня, да! — неожиданно раздался нахальный голос и поток, в котором они неслись, слегка пошатнулся.

— Ты не дал нам договорить! — спокойно сказал Вольный Ветер.

И тут же раздался жалобный хрип:

— Ой, ой, отпусти меня!..

— Не отпущу! — строго сказал Вольный Ветер. — Потому что ты тоже должен знать, чего всем нам на земле не хватает.

— Ну, чего, чего? — пищал уже совсем тонкий голос.

— Доброты! — громко произнёс Вольный Ветер. — Нам всем не хватает доброты!

— Ну, отпусти, будь добренький, я запомнил! — снова раздался жалкий писк.

— Запомнить — этого мало! — сказал друг Вольного Ветра, которого он назвал Добрым Братом. — Надо совершить какой-нибудь добрый поступок...

— Сделаю, сделаю!

— Ну, так что тебя останавливает? — насмешливо спросил Добрый Брат.

— Меня послали, чтоб отвлечь вас, — быстро зашептал заискивающий голос. — Летит большая стая серых гусей, и наши там... ну, некоторые... решили закружить их и бросить на скалы... я добрый?

— Твоя доброта — вынужденная, — строго сказал Вольный Ветер. — Но я тебя отпускаю... и когда отпустил, тебе надо сделать уже добровольный выбор: с кем ты будешь в этой несправедливой истории?.. Поможешь этим старым разбойникам, для которых нет ничего святого, или останешься с нами?

— А что мне гуси плохого сделали? Что плохого? — быстро заговорил отпущенный на свободу ветер. — Однажды я им даже помог, когда они летели над морем...

— Помоги и сейчас! — уже приказывал Вольный Ветер. — Вместе с Добрым Братом вы неожиданно ударите сбоку и подальше оттесните эту злобную шайку. А я подхватчу гусей и помогу им улететь так далеко, как я только смогу!

— В тебе я не сомневаюсь, ты сможешь! — сказал Брат Вольного Ветра. — Пожелай нам того же!

— Пожелай, да, пожелай нам! — раздался ещё один голос, тоже набравший в себя решительности.

— Тебя я знаю, Добрый Брат! — сказал Вольный Ветер. — А этому степнячку теперь верю. Верь ему и ты: это главное.

— Да когда я кого подводил?! — уже чуть хвастливо присвистнул Ветер-Степнячок.

— Тогда — за дело! — громко сказал Вольный Ветер.

Двое его товарищей плечом к плечу, локоть к локтю бросились вбок, а сам он рванулся в другую сторону, и Кудрявка вдруг оказалась посреди большой гусяной стаи...

Снилось ли это ей? Или было на самом деле?

Слышался тугой посвист сильных крыльев, и её обдавало почти неслышным, но таким знакомым теплом, которое всегда исходило от ног маленьких мальчишек и девчонок, когда они забирались на бугор и бегали босиком по зелёной траве.

Крылья вдруг закрывали от неё крупные созвездия, но почти тут же она видела другие.

Прямо у неё над головой медленно разворачивалась матовая полоска с меленькими звёздами, и Кудрявка вдруг подумала, что гуси, рядом с которыми она мчится, наверняка зовут её Гусиной Дорогой, и это тоже верно, потому что светлая дорога в высоком небе принадлежит не кому-то в отдельности, а всем вместе.

Также как всем вместе принадлежит эта такая большая и уютная, с миллиардом звёзд над головой, гостиница о которой когда-то пыталась рассказать им Многоуважаемая Старая Колюка.

И как хорошо, думала Кудрявка, что у неё теперь есть такие надёжные друзья: Крепкий Камень, который остался дома, и назвавший её сестрёнкой Вольный Ветер, который взял её с собой в

большой мир, пятнами огоньков мерцающий внизу под ними Большой Дунэй...

9-13 января 2009, Майкоп

## ЧЕРКЕССКАЯ СКАЗКА

Светлой памяти мастера русской прозы, классика адыгской литературы Аскера Евтыха

Когда Гаврюше было четыре года, он начал сильно заикаться, и для того чтобы избавиться от этого обидного недостатка, ему пришлось научиться петь: врачи говорили, что от этого заикание непременно пройдет. Оно и в самом деле про-шло, зато привычка петь у него осталась — Гаврюша прямо-таки и часа не мог прожить без того, чтобы потихоньку, а то и во весь голос не запеть.

Надеюсь, что ты и сам — если сам читаешь «Черкесскую сказку» — сделаешь справедливый вывод: всякая маленькая беда не только закаляет характер, но и многому учит — надо лишь не отчаиваться, не плакать от обиды, а стиснув зубы терпеть и твердо верить в то, что после грустной полосы в твоей жизни непременно наступит радостная, разве ты этого еще не замечал?.. Если нет, то прямо-таки сегодня, с этой минутки — сколько там на часах, которые висят на стене или стоят на полочке, — вот прямо-таки с этой самой минутки начинай это примечать, и скоро ты увидишь, что все на свете не так уж плохо устроено.

Итак, Гаврюша полюбил петь, а оттого, что учила его в основном старенькая его прабабушка, пел он все больше старинные казачьи песни. Другой раз вроде бы ни с того ни с сего вдруг как закричит-закричит:

Ведите мне коня гнедова-а-а

с черкесским бархатным седлом!

Некоторые даже начинают оглядываться: хотелось бы помочь мальчику, да где же нынче в городе коня-то взять? Тем более — с бархатным седлом.

Итак, Гаврюша жил в городе, и мне только остается уточнить, что этот город — Майкоп, что расположен он на просторной равнине у подножия высоких снеговых гор, которые называются Кавказскими горами: о них, я думаю, ты уже много слышал, и мне остается только напомнить тебе, что Прометей, похитивший у богов огонь, как об этом рассказывают греческие мифы, и давший его людям, был прикован к скалам неподалеку отсюда, на двуглавом Эльбрусе, и как раз туда прилетал громадный орел, чтобы терзать его. Так что не думай, мальчик, будто все события мировой истории прошли вдалеке от тебя, нет, они случились рядом с тобой — надо только хорошо знать края, где ты живешь, и очень любить их.

Однажды глубокой осенью вместе с другими маленькими певцами да музыкантами Гаврюше предстояло ехать на фольклорный праздник в соседний город Армавир, но Гаврюша простудился, и домашние его не отпустили. Однако за день до того, как должен был состояться большой

заключительный концерт, Гаврюше сделалось лучше, а главное — к этому времени он уже столько раз успел представить, как он, первоклассник, подведет свою школу, если в Армавире не выступит.

К ужасу всех в доме, Гаврюша начал собираться в Армавир: решил догнать там своих, из школы. Дома начались громкие всплескивания руками и бесконечные вопросы: как?... с кем?.. В этот бандитский город? А вдруг не разыщешь там своих, разминешься с ними — как ты потом вернешься обратно?!

Но ты, наверное, уже понял, что Гаврюша был казачонок с характером. Его домашним пришлось туда и сюда звонить и вообще проявить чудеса изобретательности: рано утром в тот день, когда должен был состояться концерт, Гаврюша стоял в проходе между креслами в большом междугородном автобусе, который держал путь на Армавир.

На мальчишке была теплая куртка и высокая казачья папаха, в которой он должен был выступать, — потому-то его и окликнули:

— Казачонок, ым?.. Как тебя звать?

Гаврюша обернулся: с дружеской, чуть насмешливой улыбкой в нарочно строгих глазах на него глядел сидевший у окна старик с толстыми седыми усами и с седою, но пышной, как у молодого льва, гривой... Мальчик невольно прокашлялся и не очень громко ответил:

— Гаврила!

— Гаврила? — удивился старик. — Очень редкое нынче имя!

И мальчику пришлось согласиться:

— Да, редкое. Даже очень!

— Почему же тебя называли не Эдик и не Робик? — спросил старик. — Почему тебя называли таким редким именем?.. Знаешь, как это будет по-черкесски? Джебраил!

Надо тебе сказать, что пока они говорили, Гаврюша-Джебраил подошел поближе к старику с космами, как у молодого льва, потом сидевшая рядом со стариком молодая женщина отодвинула ноги чуть в сторону, как бы приглашая мальчика и еще придвинуться... Как-то так, скажу тебе, все произошло, что когда Гаврюша взялся отвечать старику, он уже сидел у него на коленях — лицом к автобусному окну:

— Мой папа говорит, что у него был очень хороший дедушка, и его звали Гавриил Павлович. И он назвал меня так в память о своем дедушке, только не Гавриил, а — Гаврила...

— Чтобы совсем по-русски? — спросил старик.

— Чтобы совсем по-русски, да, — согласился Гаврюша, который именно так об этом и слышал.

— Значит, Гавриил Павлович — это твой прадедушка? — уточнил старик.

— Мой прадедушка, — согласился Гаврюша. Он вспомнил ордена, которые не раз показывал ему его папа, и уже не без гордости сказал: — Он был на войне!

— ым? — откликнулся старик. — Я тоже был на войне... Знаешь, какое у меня имя? Меня звать Аскер. По-черкесски это означает: воин. Солдат.

Старик-черкес так интересно говорил свое «ым», что Гаврюша вслед за ним тоже невольно повторил:

— Ым?.. А что же ты тогда делал после войны?

Ты можешь подумать, что Гаврюша был невежливый мальчик, если сказал старшему «ты», но дело совсем в другом. У черкесов не принято говорить кому-либо «вы»: Гаврюша, хотя был маленький, знал об этом, и его вежливость тут и проявилась — сказать так, чтобы уважаемому человеку понравилось.

— Что я делал после войны? — задумчиво переспросил старый Аскер, или, если по-русски, Старый Солдат. — Я продолжал сражаться.

— Ты продолжал сражаться? — удивился Гаврюша.

— Представь себе! — ответил старый Аскер, он же Старый Солдат. — Бывает так, что после войны приходится сражаться еще больше и получать раны еще больней...

— Тебе не трудно меня держать? — и Гаврюша попытался привстать. Но старый Солдат только грустно улыбнулся:

— Это невидимые раны. — Толстым пальцем он ткнул себя в грудь. — Они тут!

Гаврюше всегда нравилось, когда с ним разговаривали на равных. Аскер сразу же расположил его к себе, и теперь мальчик чистосердечно сказал:

— У меня тоже есть одна невидимая рана... вот тут!

— Ым? — поинтересовался старый Солдат таким тоном, что было ясно: он очень сочувствует Гаврюше.

И Гаврюша чуть ли не выпалил:

— Мама обещала мне купить «баунти», а потом сказала, что у нее нет денег!

— Баунти? — удивился Аскер. — Это что же это такое?.. Я даже не слышал, что на свете есть что-нибудь, что так называется!

И Гаврюша с некоторым превосходством сказал:

— Это шоколад с молоком кокоса!

— Будь оно неладно! — воскликнул старый Аскер. — Я знаю, что есть корова симменталка и есть джерсийская... Есть холмогорская, красная степная, голландская, швицкая. Есть еще костромская и много других, но я не слышал, чтобы была порода, которая называется кокос! Ты ничего не перепутал?.. Это больше подходит для курицы, которая кричит «ко-ко-ко», но тогда эта порода куриц так и должна называться: кококос!

— Это на дереве! — попытался сквозь смех объяснить Гаврюша. — Это на пальме!

— Курица? — серьезно спросил Аскер.

— Да нет же!

И он удивился еще больше:

— Ко-ро-ва?.. На дереве? На пальме?! Конечно, я понимаю, что там можно было бы долго пастись на одном месте, но как корове на пальму взобраться? И что, если она захочет бросить лепеху?.. Надо спускаться вниз?



Гаврюша решил больше не поддаваться и строго сказал:

— С кокоса бросают орехи, а не лепехи!

Старый Аскер сделал вид, что он хочет схватиться за голову:

— Еще новости — орехи!.. Ым? Я родился в ауле и кроме того, что я — старый солдат, я еще старый земледелец, старый крестьянин, но я никогда не слышал, чтобы корова бросала орехи, а не лепехи! Может, на этой пальме сидел баран? Может, бородатый козел?.. Представляю, как бы он оттуда жалобно мекал!

Гаврюше пришлось доставать носовой платок — он чуть не взмолился:

— Ну, дедушка Аскер! У меня уже не только глаза намокли — промок нос.

— Это я лечил твою душевную рану! — уже чуть грустно сказал старый черкес. — Разве тебе не стало легче?

— Стало! — согласился Гаврюша. — Что правда, то правда.

— А теперь объясни мне, — продолжил Аскер. — Мама сказала тебе, что на эту самую штуку из плохого иностранного шоколада у нее нету денег...

— А зачем тогда обещать? — горячо спросил мальчик.

— Это очень сложный вопрос, — вздохнул Аскер. — Ты ведь, наверное, тоже иногда обещаешь то, что после не можешь выполнить?

Гаврюша задумался, стараясь честно припомнить, было ли с ним такое, а старый черкес спросил:

— Как я понимаю, ты ей не стал больше напоминать об этом плохом иностранном шоколаде? Ты обиделся, но его больше не просил, больше не канючил?

И мальчик гордо воскликнул:

— Конечно, нет!

— Считаю, что ты проявил мужество! — серьезно сказал Аскер. — Если бы у меня были деньги, я учредил бы и заказал хорошим мастерам специальный орден для маленьких мальчиков. За мужество, которое они проявляют, когда перестают своим мамам надоедать: купи! купи!.. Ну купи!

И Гаврюша вздохнул чуть ли не с завистью:

— Хороший орден!

— Нравится тебе?

— Ну, конечно!

— Ты бы такой носил?

— Еще бы!

— Эх, может, мне подсобрать немножко денег? — откровенно, как маленький, вздохнул Аскер. — Подумать, как их раздобыть, проклятые эти деньги, без которых даже порядочного ордена для мальчишек нельзя учредить... Зачем ордена взрослым людям?.. Зачем они пожилым либо вообще старикам? Если бы у них было вдоволь орденов, когда они бегали еще без штанов, глядишь, они

успели бы ими наиграться и не стали бы потом бомбить чужие города либо уничтожать целые народы... Зачем? Или я не прав, Джебраил?

Кое-что из речи нового своего знакомого, который ему так почему-то понравился, Гаврюша не понял, но душой он чувствовал, что Старый Солдат говорит верные слова, а потому охотно подтвердил:

— Конечно, прав — еще бы нет!

— И как мы назовем этот орден? — спросил старик. — Если я все-таки раздобуду на него хоть маленько денег?

— Мы его назовем... назовем, — стал думать Гаврюша вслух. — Мы его назовем...

И вдруг ему пришло в голову:

— Давай его назовем: орден Аскера!

— Аскера? — переспросил черкес.

— А что?.. Ты же сам говорил: Аскер — это старый солдат. Будет орден Солдата!

И старый черкес как будто своим мыслям откликнулся:

— Орден Старого Солдата, да-да. Который все давно понял и очень устал от войн. От всех, которые когда-либо были на земле... От тех, в которых он участвовал вместе со всеми, и от тех, когда воевал совсем один... против всех!

— А так бывает?

— К сожалению, бывает.

Гаврюша не поверил:

— Один-один?.. Против всех?!

— Самое интересное в этих войнах, — сказал, словно припоминая что-то и еще раз оценивая это, старик, — самое интересное, что против всех ты воюешь ради них же самих, и победа здесь особенно дорога.

Старик говорил это с такой убежденностью, что Гаврюша невольно переспросил его:

— Ты победил?

— Иногда я думаю, что это так. Иногда.

— Вот и пусть он будет называться: орден Аскера.

— Орден Старого Солдата для маленьких черкесских... для маленьких русских... для чеченских... для всех маленьких мальчиков, которые проявили мужество... А что? Орден Старого Солдата — маленьким мальчикам, ым?.. За мужество, которого нам самим не хватило.

— Что ты там говоришь? — спросил Гаврюша. Как же не хватило, если вы тогда победили немцев, сильнее которых не было никого на свете, — это мне папа говорил и говорила бабушка, которая учит меня петь песни!

Может, Гаврюша вспомнил, что скоро ему выступать и надо хоть чуть прочистить горло и попробовать голос? Он вдруг на весь автобус не то чтобы запел — закричал:

Кзаки!.. Кзаки!

Едут, едут по Берлину наши кзаки!

Многие удивленно обернулись на голос, а некоторые даже повставали со своих мест, чтобы хорошенько было видать: кто это там поет? А старый Аскер сказал растроганно:

— Наверно, я все-таки продам все свои книжки и закажу хорошим мастерам такой орден. Орден Аскера, пусть. Орден Старого Солдата. А на обороте будет: «Маленьким мальчикам России. За мужество». Продам все свои книги...

— Ты что, библиотекарь? — спросил Гаврюша.

Старик прижмурился на миг:

— Н-не совсем.

— А какая у тебя была душевная рана, скажи? — попросил Гаврюша. — Я забыл тебя спросить, извини.

Старик снова прикрыл глаза, а когда открыл их, то первым делом повел подбородком куда-то за окно:

— Смотри: заяц!..

Гаврюша ткнулся лбом в толстое оконное стекло, расплющил нос:

— Где заяц, где?!

За автобусным окном плавно поворачивалось ярко-зеленое, словно только что подстриженное, ровное, как городской газон, поле, которое упиралось в гребешок со всей почти облетевшей лесополосы — только на самых верхушках деревьев держались листья. Вдалеке за деревьями виднелись голубовато-серые горы с яркими белыми пиками. Самые высокие из них восходящее солнце уже окрасило розовым, и в другое время Гаврюша надолго залюбовался бы этим красивым зрелищем, но теперь глаза его только мельком скользнули над краем поля.

— Где он, дедушка Аскер, скажи — где?

Аскеру пришлось приложить к стеклу толстый палец:

— Ну вон же он, во-он!.. Белый такой.

— Фи! — разочарованно сказал мальчик. — Да это вовсе не заяц!

— А кто же это, по-твоему? — удивился Аскер.

Мальчик еще раз поглядел на белое пятно посреди зеленого поля:

— По-моему, это полиэтиленовый мешок!

— Значит, у меня что-то с глазами, — грустно сказал Аскер. — А там, чуть левой? Разве это тоже не заяц?

Мальчик снова взгляделся:

— И это пустой пакет, ну конечно!

— И там... ближе к лесополосе? Во-он там!

— Гаврюша твердо сказал:

— И там тоже — пустой прозрачный мешок!

— Да что же это такое? — пробормотал Аскер. — Когда я мальчишкой из одного аула в другой ехал на бричке, то и слева и справа вдоль дороги тянулись высокие курганы, под которыми раньше хоронили богатырей... На таком кургане в самую середку венчика из густого терновника можно было поставить пустой глиняный кувшин, и ночью в него тихонько опускалась душа богатыря — пожалуйста, забирай кувшин в саклю — пусть она немножко поживет дома и слегка отдохнет и успокоится, пусть побудет среди людей, пусть почувствует тепло очага, который топят сухим коровьим кизяком, сырым хворостом, кукурузеньем и соломой да бодылками от подсолнуха... Пусть богатырская душа послушает разговоры, пусть ощутит густой и теплый запах овечьего сыра, который коптится над очагом... А что теперь?.. Теперь почти все курганы распаханы, тернов на них давно, нет, а вместо прыгающих там и тут зайцев на ветру дергаются рваные пустые мешки!

— А с ним можно было поговорить? — спросил Гаврюша. — С этим богатырем? Когда он отдыхал дома душой?

— Можно! — подтвердил Аскер. — Но далеко не всякому.

— Кто хорошо учится? — догадался Гаврюша.

— Кто хорошо учится, да, — согласился Аскер, и голос у него вдруг как будто помолодел. — Кто хорошо учится слушать и понимать прошлое и беседовать с героями, которым уже тысяча лет...

— Тысяча? — ахнул Гаврюша.

— И две, и три тысячи, — подтвердил Аскер. Столько, сколько черкесским богатырям... А значит, казацким тоже.

— Они росли вместе? — спросил мальчик.

— И старик будто похвалил его:

— Поверь мне: в одной семье.

— Как это?

Но Аскер уже опять подался к окну:

— Но у него шевелится хвост, посмотри!

Гаврила снова взгляделся:

— Да это потому, что мешок рваный и край болтается — дергает ветер.

— Ты думаешь, ым?

— Разве у зайцев бывают такие длинные хвосты? — спросил Гаврюша. — А у этого длинней, чем он сам!

— Может, с хвостом это случается? — задумчиво проговорил Аскер. — Он отрастает такой большой, если заяц много хвастает?.. Понимаешь: такой он становится от хвастовства?

— Тогда бы так и писали: хвастовство! — решил Гаврюша, перед которым теперь каждый день вставал этот вопрос: где писать «а» и где — «о»?

— Вообще-то, конечно, жаль, — сказал Аскер. — Что «хвастовство» и в самом деле пишется через «а». И что у хвастунов не вырастает длинный и толстый хвост. Такой, как у австралийского кенгуру. А то бы мы хвастунов и обманщиков... и правителей, которые много обещают, но ничего не делают, узнавали бы по хвосту... И всех газетных героев. И лауреатов всяческих премий.

Гаврюша не очень понимал, о чем так настойчиво и с такой печалью снова заговорил его друг Аскер, но на всякий случай переспросил:

— По хвосту?

— Ну конечно! — подтвердил Аскер. — Прыгать, как кенгуру, они не стали бы... Ты представляешь: в парламенте начались бы сплошные прыжки. А у какого-нибудь завалящего лауреата был бы такой длиннющий хвост, что он волочился бы по земле, дважды лауреату приходилось бы заказывать для своего хвоста специальную коляску, какие делают для баранов с большим курдюком — ты никогда таких не видал?.. А трижды лауреат уже не мог бы обойтись без самой настоящей тракторной тележки... Представляешь, сколько с ней было бы хлопот?.. Как быть, если тебе надо подняться на третий или на восьмой этаж?.. Оставь тележку на улице — ее могут украсть. Даже в тихом Майкопе. А если в сумасшедшей Москве?

— Ты когда-нибудь был в Москве? — спросил Гаврюша. — Хотя бы разок?

— К несчастью, я там живу! — сказал Аскер. И он так длинно и так совсем по-ребячьи вздохнул, что Гаврюша даже вытянул шею и поверх спинки оглядел соседние кресла: уж не сидит ли где-то там еще один мальчик?

Вблизи ребятишек не было — неужели все-таки это Аскер вздохнул, как маленький? Но старик уже снова повеселел:

— Хочешь, я расскажу тебе сказку?

— А ты умеешь? — спросил Гаврюша.

— Когда-то умел... Когда-то я сочинил много сказок...

— Сам? — не поверил Гаврюша.

— Конечно, сам.

— Выходит, ты — сказочник?.. А говорил, что старый солдат!

Аскер отчего-то еще больше повеселел:

— Часто это одно и то же. Ведь самые лучшие сказочники в мире — это как раз старые солдаты. Именно они, Джебраил, очень убедительно рассказывают о том, какие справедливые войны они вели, какими были героями и храбрецами и только потому-то и выжили, хотя все было наоборот: настоящие герои давно спят в земле — ведь они всегда были первыми, потому-то и встретили смерть раньше других. А живые потом присвоили их славу и присвоили право говорить от имени павших... Ты хоть понимаешь, о чем я?

— Это сказка? — догадался Гаврюша.

— Но Аскер снова печально вздохнул:

— Это горькая правда, Джебраил. Ты еще маленький, чтобы все это понимать, но в том-то и штука, что человеческие слова могут храниться в памяти, как хранится в добром амбаре зерно, и прорастут у тебя в душе, когда ты станешь большой, и это тебе понадобится, чтобы утешить себя или хоть чем-то подбодрить...

— И это тоже правда?

— Это тоже чистая правда!

— А потом ты расскажешь сказку?

— Слушай, Джебраил, сказку. Слушай: жил-был маленький зайчонок. Остальные его братики и сестрички померли оттого, что сверху, с самолета, их посыпали химией, и они не перенесли этого, а зайчонка, о котором мы говорим, мама-зайчиха прикрыла своим телом, а папа-заяц взял своими резцами за длинные уши и оттащил на чистое место, чтобы он там окончательно оклемался — на зеленой травке да на родниковой водице...

— Он оклемался? — спросил Гаврюша.

— Потому-то я и рассказываю тебе эту сказку... Иначе о чем бы я стал рассказывать?

— И что было дальше?

— Дальше зайчик пережил еще много опасных приключений — так много, что просто удивительно, как он мог выжить в таких условиях. Его чуть не задавило комбайном, а когда он однажды ночью выскочил на дорогу, то попал прямо под свет фар мощного автомобиля и бежал, бежал, бежал потом по дороге до тех пор...

Гаврюша-Джебраил не вытерпел — подсказал-таки:

— Наверно, это был «мерседес»? Аскер сперва не понял:

— При чем тут «мерседес»?

— Ты сказал: мощный автомобиль... Он так долго гнался за зайцем...

— Да-да, — согласился старый черкес. — Конечно, это был «мерседес»... Теперь без «мерседеса» и шагу не сделаешь. Все — только на «мерседесе»... Даже туда, куда раньше царь пешком ходил, нынче норовят съездить на «мерседесе».

— Ясно-ясно! — рассмеялся Гаврюша.

Аскер его похвалил:

— Уже неплохо!

— А что? — сказал Гаврюша. — Если у них столько денег, что их девать некуда, они придумают себе такие туалеты, куда будет можно, как в гараж, въезжать прямо на «мерседесе»...

— Вот-вот! — поддержал Аскер. — Из любимой машины не надо выходить — стоит нажать кнопку, и в кресле тут же откроется очко, а на штанах у них будет прорешка не только спереди, но и сзади... Ты еще не встречал на улице людей с такими прорешками?

— Нет еще! — рассмеялся Гаврюша.

— Если встретишь теперь, то знай!

— Я и мальчишкам в своем классе скажу, — пообещал Гаврюша. — Тоже пусть знают...

— Но этот «мерседес», который погнался за зайцем? — напомнил Аскер.

— Может, в нем сидели рэкетеры? — предположил Гаврюша.

— Ты думаешь, они бы стали гнаться за зайцем? — хмыкнул Аскер, — Что с него возьмет рэкетир?.. Капустный листок?

— А он и не возьмет, — возразил Гаврюша. — Он не успеет. Потому что на крутом повороте этот заяц не станет бежать по дороге, а прыгнет за бетонный столб на обочине. И «мерсик» налетит на этот столб, и от него останутся рожки да ножки, а заяц наконец отдохнет...

— «Мерсик» — это «мерседес»? — спросил Аскер. — Что ж, может быть.

— А что с ним было дальше? — поинтересовался Гаврюша.

— С этим «мерседесом»?

— Нет, с зайчиком.

— К нему подошла хитрая лиса и сказала: «Заяц!.. Я тебя съем».

— Это хитрая лиса так сказала? — удивился Гаврюша.

Аскер снова хмыкнул:

— Пожалуй, ты и тут прав. Какая же в таком случае она хитрая?.. Давай по-другому. Хитрая лиса сказала зайцу: из Москвы пришла бумага, в которой сказано, что я должна тебя съесть...

— А могут в Москве придумать такую бумагу? — спросил Гаврюша.

— В последнее время там только такие бумаги и придумывают: чтобы лиса съела зайца. А волк — съел лису. Волка задрал медведь. Медведя...

— А им бы там достались все шкуры?

— Ты далеко пойдешь! — похвалил Гаврюшу Аскер. — Может, когда станут выбирать президента, ты выступишь свою кандидатуру?

— Мне слишком мало лет! — вздохнул Гаврюша.

— И Аскер как будто спохватился:

— Ах да!.. Там ведь надо, чтобы кандидату в президенты было как можно больше лет и как можно меньше извилин...

— Извилины? — переспросил Гаврюша. — Каких?

— Ты еще не знаешь, каких извилин может не хватать президентам?

И мальчик тихонько рассмеялся:

— Ну понял, понял!.. А она покажет зайцу эту бумагу?.. Лиса? Или бумаги у нее не было, но заяц все

равно испугался...

— Он очень испугался, — подхватил Аскер. — Но тут он вспомнил, что прошептала ему мама-зайчиха, когда папа-заяц собирался вытащить его на чистую травку, а она оставалась с его умирающими братиками и сестричками... Он вспомнил и сказал волшебные слова, которым научила его мама... «Разве лисы едят пустые полиэтиленовые мешки из-под удобрений да из-под всякой химии?» — спросил Заяц. И стоило ему это сказать, как он тут же превратился в этот самый полиэтиленовый мешок: грязный с виду и даже слегка дырявый. Лиса уже открыла рот, чтобы съесть Заяца, но когда увидела перед собой кусок прозрачной пленки, то невольно открыла его еще шире, вытаращила глаза да так и пошла потом через поле. Если тебе встретится когда-либо лиса с вытаращенными глазами и широко открытым ртом — так и знай: это та самая хитрая лиса, которая говорила зайцу, что у нее есть бумага из Москвы...

— Это я понимаю, — сказал Гаврюша. — Что заяц может превратиться в пустой полиэтиленовый мешок...

— Что тут такого, верно? — поддержал Гаврилу Аскер.

Тот согласился:

— Я и говорю: это мне ясно. Но как потом пустой полиэтиленовый мешок, да еще дырявый и грязный, — как он снова может стать зайцем?

— В этом и есть главный секрет, — сказал Аскер. — Если хочешь: большая тайна.

— И как он может?

— А вот: он так и остается пустым мешком и на одном месте торчит посреди поля или на опушке леса до тех пор, пока проезжающий в автобусе... как едем мы с тобой... или на стареньком автомобиле, или на бричке проезжающий мальчик не закричит вдруг радостным голосом — обязательно радостным, ты это непременно запомни: «Заяц!.. Смотрите — заяц!.. Заяц!..» И тогда он тут же оживает и со всех ног несется дальше. По своим делам, которых очень много у него накопилось, пока он пустым мешком торчал посреди зеленого поля... Представляешь, сколько у него могло накопиться дел, если авто-бусы все ехали и ехали мимо, но ни один мальчик не кричал удивленно и радостно: заяц, заяц!.. А все только со скукой зевали и отворачивались. Ты представляешь, сколько всяких дел могло накопиться у зайца за это время?

— Конечно, много! — согласился Гаврюша. Автобус катил мимо облетевшего, стоявшего посреди поблекшей травы леска с черными, с коричневыми да серыми стволами деревьев, потом снова выскочил на дорогу вдоль зеленого поля... Оно поднималось слегка вверх и тянулось до самого горизонта, где возвышалась подрезанная краем поля ослепительно белая цепочка далеких снеговых гор... Какое голубое висело теперь над ними небо!

— Представь себе, что заяц каждый день должен был дважды обежать это поле, — сказал Аскер. — Один раз — по часовой стрелке... Надеюсь, ты знаешь, что это означает, и как он бежал в этом случае?

— Конечно! — согласился Гаврюша. И даже повел подбородком. — Отсюда — туда.

— И другой раз — против часовой стрелки, — добавил Аскер.

— Оттуда — сюда, ага...

— А если заяц месяц напролет проторчал посреди зеленого поля?.. Представляешь, как долго придется ему нагонять упущенное время?

И Гаврюша пожалел бедного зайца:



— Забегается!

— Вот! — подхватил Аскер. — А мы спокойно проезжаем себе мимо этих пустых мешков... И так и говорим: мол, это пустой мешок!..

— Понял! — откликнулся Гаврюша.

— Что ты понял?

Но мальчик только хитренько улыбался:

— Понял-понял!.. Сейчас я еще чуток подумаю...

— Хорошее дело! — согласился Аскер.

Тут я должен признаться, что в точности не могу объяснить, почему дальше все произошло именно так, а не иначе... Может, Гаврюша думал больше, чем надо бы?.. На всякий случай имей в виду: если очень уж долго думать, то можно себя самого перехитрить.

Не уверен, правда, что так оно с Гаврюшей и было, но что нам с тобой остается предположить?

— А как по-черкесски будет — лев? — спросил наконец Гаврюша.

— Каплан! — ответил Аскер.

Гаврюша глянул за окно, туда, где на краю зеленого поля виднелся рваный пакет, и радостно — ну как только смог радостно! — закричал:

— Смотрите, каплан, каплан!

Автобус вдруг резко остановился. Передняя дверь тут же открылась, и водитель громко сказал:

— Салам алекум, Каплан! Входи!

Гаврюша дернулся на колене у Аскера, вытянул шею и замер в недоумении и страхе: неужели сейчас в автобус, и правда что, вскочит лев?!

— Алекум салам! — слышалось впереди, и в салон поднялся седой симпатичный человек с веселыми добрыми глазами...

— Может, это даже лучше? — спросил Гаврюшу Аскер. — Мало ли что могло с нами приключиться?.. Если бы ты по-русски крикнул: «Лев!.. Лев!» Хорошо, если бы лев тут же умчался в лесополосу. А если бы бежал и бежал рядом с автобусом до самой остановки?.. А если бы он добежал до этого бетонного укрепления, в котором теперь рядом с дорогой сидят гаишники с такими же короткими, как их память, автоматами?..

— Она у них и правда короткая? — спросил Гаврюша, уже ожидавший от Аскера какой-нибудь очередной шутки.

Но голос у Старого Солдата был не очень веселый:

— Представь себе!.. Ни за что возьмут с тебя штраф, и если ты от них быстренько не отъедешь, могут тут же снова потребовать у тебя деньги!

— А тут вдруг — лев!

— Вот-вот... — поддержал Аскер. — Рядом с бетонным укреплением у них обычно стоит деревянный скворечник, куда они бегают в туалет, но если бы они вдруг увидели настоящего льва, в туалет они тут же превратили бы свое укрепление...

— А жить потом перешли бы в деревянный скворечник? — догадался Гаврюша.

— Там стало бы уютней, конечно! — согласился Аскер. — Нет-нет, чего бы мы только со львом не пережили!.. А так ты хорошего человека выручил, Джебраил!..

— У черкесов Каплан — любимое имя. Это — Кесебежев Каплан, — и Аскер слегка повысил голос. — Каплан, ыйт!.. Ты можешь к нам подойти?

Увидев Аскера, симпатичный человек с веселыми добрыми глазами поднял в приветствии руку и улыбаясь пошел к старому солдату:

— Мое почтение тебе, уважаемый Аскер, да продлит Аллах твои дни!.. Любимцем Бога будь!

— Благодарю тебя, Каплан, — сказал старый солдат вроде бы чуть ворчливо, и все же Гаврюша понял, что Старику приятны слова Каплана. — Пусть у тебя всего будет вдвое, и пусть Бог любит тебя не меньше, но ты скажи нам: долго ты стоял тут на краю поля?

— Очень долго! — согласился Каплан. — У нас сломалась машина...

— Э-ей! — поднял ладонь, останавливая Каплана, Аскер. — Только не надо сочинять нам тут сказку про машину и про бензин — все это тут как раз ни при чем... Мы с Гаврюшей только что занимались тут совсем другими историями. Я ему рассказал, как пустой прозрачный мешок, который сто лет никому не нужен, может превратиться в живого зайца, если радостно закричать: заяц! заяц!.. От всего сердца. Ты понимаешь?.. И тут Гаврюша спросил меня, как по-черкесски будет «лев», и только что с надеждой и с верою прокричал: Каплан!.. Каплан! Ты понимаешь?

Каплан Кесебежев на секунду прикрыл глаза и приложил ко лбу палец:

— Так вот почему я тут оказался?

— А ты думал? — рассмеялся Аскер. — Потому-то я спрашиваю тебя: долго ли ты пробыл никому не нужным пустым мешком?

— Больше десятка лет, Аскер, ты это знаешь!.. Правда, я был не прозрачным мешком, а коричневой коробочкой с гофрированной прокладкой внутри — ты, может, помнишь?.. Меня тогда выгнали из редакции и велели идти работать на целлюлозно-картонный комбинат, где делают как раз такие коробки...

Каплан Кесебежев сказал это так искренне и таким грустным тоном, что Гаврюша почти поверил, что так оно все и было.

— А кто хотел тебя съесть? — спросил он у Каплана. — Лиса?.. Или серый волк?

— Его хотели съесть серые люди, — сказал Аскер. — Они куда опасней серого волка!

— Ты все верно говоришь, Аскер! — грустно улыбнулся Каплан. — Вечером ко мне пришел серый человек и сказал: видишь, я не стал вызывать тебя в большой дом, не стал делать так, чтобы все это видели и об этом говорили... Я сам к тебе явился. Завтра утром ты должен выйти на работу на целлюлозно-картонный комбинат. Там тебя уже ждут. А если не выйдешь, то вечером к тебе придут уже другие люди. Ты потом будешь долго ехать и станешь потом работать очень далеко от теплого дома — на дальнем Севере...

— А что ты натворил? — спросил Гаврюша, подумавший, что перед ним, может быть, бывший лесной

разбойник.

— Он написал честные стихи! — ответил за Каплана Аскер. — И они подумали, что он — ненормальный, — старик как будто замялся. — А может, ты и правда Каплан, может, и правда? — тут Аскер сделал нарочно строгое лицо. — Ты теперь стал эфенди, учителем верующих мусульман, но люди в Майкопе говорят, что твоя дочка окрестилась в русской церкви и скоро выходит замуж за казака... Это правда?

— Это чистая правда, Аскер! — горячо воскликнул Каплан. — Ты же знаешь, что когда начинаешь чему-либо учить других, жизнь тут же спрашивает тебя: а сам ты пережил то, о чем говоришь?

И Аскер печально вздохнул:

— Аенасын — так!

— Но ты же сам говорил, что казацкие и черкесские богатыри росли вместе, — напомнил Гаврюша. — Почему тогда они стали такие разные?

— Так случается и сегодня, Джебраил: даже родные братья от одних отца-матери вырастают совершенно непохожи ми друг на друга, — начал Аскер. — А то, о чем мы говорим теперь, было тысячи лет назад... несколько сот лет. Не только черкесы — многие люди в наших местах жили тогда набегами. Наверное, ты уже слышал, что это такое, ым? Кончилась у тебя, предположим, соленая баранина — ел ты соленую баранину на ребрышках?.. Если нет, мы попросим Каплана, чтобы он свозил нас в аул к своим друзьям — там еще можно попробовать, что это... что это...

— Что это за вкуснятина? — подсказал Гаврюша.

— Да! Пальчики оближешь... Так вот: кончилась у тебя соленая баранина, а своих баранов у тебя давно уже нет. Что делать?.. И черкес ночью прыгает в седло, скачет в соседний аул и пригоняет оттуда целую отару... Либо стадо, либо табун. И если он успел закрыть ворота прежде, чем его догнали хозяева, все — бараны же его собственность, скотина уже — его... Не станем уточнять, как это называется нынче...

— Приватизация? — догадался Гаврюша.

— Ы, Каплан? — воскликнул старик. — Я уже говорил мальчику, что ему надо выставить свою кандидатуру в президенты!

— А ты не очень часто болеешь? — спросил Каплан построжавшим голосом.

— Что вы! — удивился Гаврюша. — Я пью только молоко!

— Вырастай! — как будто попросил Аскер. — Поскорее вырастай!

— ...Жили они набегами, — напомнил старому солдату Гаврюша.

— Да! — подхватил Аскер. — Черкесы были большие мастера на это дело!.. Они научились месяцами выдерживать коней в темном загоне... в какой-нибудь хитрой пещере, ым?.. Из которой коня выводили побегать лишь ночью. Зато потом такой конь привыкал хорошо видеть в сплошной тьме, и за одну только ночь на нем можно было ускакать очень далеко и до рассвета вернуться домой, ты понимаешь?

— Чего ж тут не понять? — согласился Гаврюша.

— Но это мы с тобой говорим о ближних набегах, — поднял палец старый Аскер. — А ведь есть еще дальние! Одним днем там не обойдешься, придется уезжать на много, на много дней! И в таком набеге ты можешь заболеть или тебя могут серьезно ранить, и тебе придется остаться в чужом краю,

чтобы переждать холодную зиму, а весной ты снова отправишься по тому пути, который наметил еще в ауле... это затягивает! А если ты в дальних краях женился и обзавелся детьми, ым?.. Вместе с ними, совсем уже взрослыми, ты возвращаешься на родину — их совсем не знают в родном твоём ауле, а самого тебя уже не узнают — так ты изменился, так постарел, а твоё лицо покрылось шрамами, которые ты получил в сражениях далеко от порога сакли, в которой вырос... «Кто это такой?» — спрашивают о тебе друг у дружки твои сильно постаревшие, а то уже и давно ослепшие соседи. И отвечают один другому: это какой-то незнакомый бродяга... Это казак! И ему говорят: иди откуда пришел!.. А ему уже не хочется бродить по свету, он начинает уверять, что вернулся на свою родную землю... ей!.. Тут много чего, скажу тебе, может случиться!.. И часто такому человеку ничего не оставалось, как продолжить свой дальний набег, и он то воевал с турками в Крыму и отдыхал потом у запорожцев на острове Хортица, то решил построить свой город и даже назвал его по-своему: Черкассы... Или потом — Новочеркасск... разве ты не слышал об этих городах?

— Ну как же! — сказал Гаврюша. — Конечно, слышал!

— Такой человек, который жил себе в ауле, а потом отправился в дальний набег и оторвался от корня, мечется между Западом и Востоком: то стоит под Варшавой, под польским городом, а то потом много лет идет в противоположную сторону, идет и идет, присоединяет к русскому государству целую большую страну — присоединяет громадную Сибирь, а потом переплывает Берингов пролив и строит себе саклю уже на Аляске, ым?.. Он уже почти не помнит, что он — черкес, и когда встречается со своими в Париже... ты ведь помнишь, Джебраил, что в начале прошлого века была Отечественная война с французами и на время пришлось у них отобрать Париж, чтобы они им не хвастали?.. Так вот, когда они встречаются потом в Париже, в который приходят с разных концов, то знакомятся заново, и почти такое же потом происходит, когда уже в последнюю войну, во вторую войну с германцами они потом вместе берут Берлин...

— И ты хочешь сказать, дедушка Аскер... — начал было Гаврюша и остановился, задумавшись. — Ты хочешь сказать... что по берлинской мостовой, как в песне, они и правда ехали вместе?

— Уверяю тебя, Джебраил! — серьезно сказал старый солдат. — Если ты расспросишь уважаемых стариков, наших земляков русских и черкесов, которые еще, слава Аллаху, живы, если ты прочитаешь мудрые и справедливые книжки, ты узнаешь, что в казачьем корпусе, которым командовал осетин Исса Плиев, русский генерал, был также адыгейский полк... И был кабардинский полк. Ты знаешь об этом?

— Теперь он будет знать! — ответил за Гаврюшу Каплан.

А сам Гаврюша глубоко вздохнул и сказал чуть ли не с восхищением:

— Представляю, какой мне надо иметь амбар!

— Амбар? — переспросил Каплан.

И Гаврюша постучал себя пальцем по лбу:

— Да, амбар. Где я должен хранить все то, что рассказал мне нынче старый солдат дедушка Аскер.

— Аферэм! — одобрительно воскликнул пожилой черкес. — Молодец!..

Должен тебе сказать, что в Армавире, где Гаврюшу встречала родня, они потом вместе с ним пошли на фольклорный праздник, и это в их честь Гаврюша слегка переделал свою любимую песню.

— Казаки! — выкрикивал Гаврюша припев. — Казаки!.. Едут, едут по Берлину наши казаки!

И тут он бросил вверх, свою папаху и еще громче добавил:

— А с ними черкесы!..

И зал отвечал ему такими громкими и дружными аплодисментами, которых он в жизни еще не слышал...

Но я теперь не о том.

Я уже о твоём амбаре, мой мальчик. Надежно ли ты хранишь в нём то, что говорят тебе старшие?.. Это очень важно, не забывай — хранить это бережно.

Почаще возвращайся к тому, что хранишь, и перебирай его мысленно. Добавляй туда то, что добудешь из умных и добрых книжек. И поменьше, скажу тебе, смотри телевизор: чтобы на амбаре твоём не поехала крыша.

\* \* \*

notes

Примечания

1

В романе Юнуса Чуяко — уважительное именование Пушкина: наш дорогой.

2

Уважительное обращение к пожилой женщине: наша мать.

3

Соответствует: беру себе твою боль.

4

Люба Балагова, «Царская любовь», стр. 176–177.

5

Зиусхан по адыгски — беру твою боль.

6

Темир-казак по-адыгейски — северный ветер.